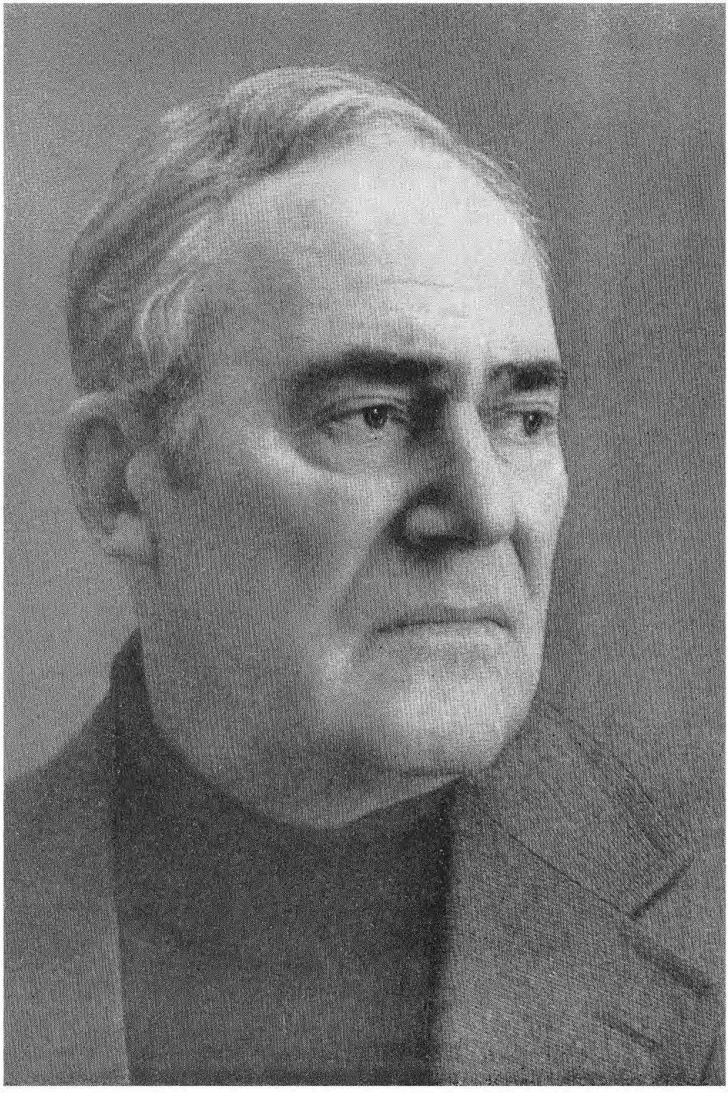
Вадим Кожевников

1

Scan Kreyder - 11.02.2018 - STERLITAMAK



Вадим Кожевников

Собрание сочинений

Вадим Кожевников

Собрание сочинений в девяти томах

Москва
«Художественная литература»
1985

Вадим Кожевников

Собрание сочинений
Том первый

Рассказы

1930—1943

Москва
«Художественная литература»
1985

Р2
К58

Вступительная статья
М. Синельникова

Оформление художника
Ю. Боярского

К $\frac{4702010200-172}{028(01)-85}$ подписное

© Вступительная статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

«ЖИВУЧЕЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА...»

Мотивы и образы прозы Вадима Кожевникова

Размышляя в одной из статей о предназначении художника, о проблемах литературного мастерства, Вадим Кожевников обратил внимание на важность вдумчивого, заинтересованного отношения к миру обычного человека-труженика. «Мимо «рядового» легко пройти, не заметив его достоинств, а, оказывается, он именно та типичная личность, которую необходимо воплотить в художественном образе, ибо он своим трудом убыстряет течение исторической жизни, приближает нас к будущему».

Знаменательное высказывание. В нем выражено многое из того, чем жил писатель, чему был верен на протяжении всего творческого пути. Проза Вадима Кожевникова плотно населена людьми, достойно выполняющими свой долг гражданина, труженика, воина. Есть среди них персонажи, чья деятельность отмечена мерой особой ответственности: профессиональные революционеры-большевики, героические военные разведчики, новаторски мыслящие хозяйственные руководители. Чаще же всего в книгах Кожевникова изображаются люди именно рядовые, с судьбами, биографиями, имеющими характер массовый, привычно узнаваемый. Суть, однако, в том, что какими бы различными, разнозначными ни были должности и занятия положительных героев, все они рисуются обычно писателем как личности масштабные, осознанно следующие интересам коллектива, народа, государства. Все они действительно причастны *исторической жизни.*

Большая традиция стоит за таким принципом изображения: она берет начало в самих истоках советской литературы, в горьковском восхищении величием и силой человека, живущего по законам социальной справедливости, понимающего бытие как деяние, как творчество. Несомненно, Вадим Кожевников — один из писателей, внесших свой вклад в развитие, обогащение этой традиции.

Читая прозу Кожевникова, неизменно чувствуешь, сколь активен автор в утверждении основ советского миропонимания, сколь горячо, заинтересованно воспринимает он новое в облике людей и облике страны. Истоки этой активности — в самом гражданском складе писателя. Его неутомимость, целеустремленность недаром проявлялись не только в

творческой, но также в большой литературно-общественной и государственной работе. Герой Социалистического Труда Вадим Михайлович Кожевников был одним из руководителей Союза писателей, бессменным, в течение тридцати пяти лет, главным редактором журнала «Знамя». Он был депутатом Верховного Совета СССР, авторитетным участником движения за мир, дружбу между народами.

Литературная деятельность Вадима Кожевникова началась в 30-е годы, когда в журналах («Рост», «Тридцать дней» и других) стали появляться его рассказы. Многие из них были следствием журналистских поездок: молодой писатель работал корреспондентом «Комсомольской правды», «Наших достижений», «Огонька». Он получил хорошую подготовку для развития художнической одаренности, для творческого труда: окончил литературно-этнологический факультет Московского университета, а главное, прошел жизненную школу, тесно общаясь с людьми, олицетворяющими собой идейно-нравственное богатство времени. Родители будущего писателя — профессиональные революционеры, сосланные в Сибирь. Здесь, в небольшом городке Нарыме, и родился в 1909 году Вадим Кожевников.

Вспоминая о своих детских годах, об обстоятельствах, влиявших на формирование убеждений, он писал: «С детства я слышал ожесточенные споры о политике, о жизни и путях страны, народа, о войне и мире, о земле и воле... Моя мать в 1906 году была судима по делу о большевистской типографии на ул. Лесной в Москве... Мой дядя Александр Сидорович Шаповалов — один из старейших участников революционного движения в России, рабочий, вступивший в 1895 году в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Будучи арестован царским правительством, он был сослан в Минусинский уезд, где и познакомился с Лениным». Среди друзей семьи многие хорошо знали Владимира Ильича. Сами родители общались с Инессой Арманд, с видным венгерским коммунистом Ференцем Мюннихом, с такими деятелями большевистской партии, как Киров, Куйбышев, Пятницкий...

Социалистическая новь, пафос преобразований, бурный рост самосознания человека-труженика, совершающийся в борьбе против отсталости, обывательских привычек и настроений,— все то, чем жила советская литература 30-х годов, было органически воспринято молодым Кожевниковым. Его многочисленные, как правило, весьма небольшие по объему рассказы проникнуты острым интересом к жизни, к фактам, случаям, ситуациям, в которых проявляются подспудные, сокрытые до поры человеческие возможности. Нередко возникает острота контраста, когда героическое взаимодействует с будничным, сливается с ним. Выводя в рассказах людей, представляющих разные, в том числе самые обычные трудовые профессии, молодой писатель стремится подчеркивать в своих персонажах яркое, индивидуально-особенное, стремится, пройдя через различные стилевые влияния, к характеристике краткой, скупо вырази-

тельной. Новеллистика раннего Кожевникова — это, скажем так, галерея «случаев», за которыми видно немало своеобразных характеров.

Добрыми советчиками молодого писателя были такие взыскательные мастера литературы, как И. Бабель и М. Кольцов. Тогда же началась творческая дружба с А. Фадеевым, который, будучи редактором «Красной нови», очень внимательно интересовался тем, что давал в журнал энергичный, переполненный жизненными впечатлениями литератор. Фадеев, вспоминал Вадим Кожевников, всегда подчеркивал: даже в очерках о самых что ни на есть индустриальных событиях главным предметом изображения должны быть люди. Очень важная установка для поры, когда в литературе, очеркистике иной раз восхищение какой-либо замечательной стройкой существовало как бы вне восхищения людьми этой стройки, вне раскрытия мира их души, когда возникали на сей счет и теоретические обоснования...

О глубине понимания молодым Кожевниковым человековедческих задач литературы лучше всего, пожалуй, говорит рассказ «Сорок труб мастера Чибирева» (1939). Случалось, в критике это произведение называли и повестью: может быть, потому, что оно по объему больше обычных рассказов писателя, а скорее всего потому, что многое вместило в себя его содержание: многозначные характеры, обстоятельства, емко передающие социальность времени.

Судьба Степана Чибирева — это судьба одаренного человека, мастера, которому новая жизнь, советская действительность дали возможность деловой и духовной самореализации. Отец Чибирева тоже славился искусным умением класть заводские трубы, его охотно звали подрядчики, но и угнетали наглым своим ловкачеством, превращали в жертву конкурентной борьбы. Для Степана в отношениях, общении с людьми главным стало сознание нужности своего труда. Переезжая, как то и положено в этой профессии, с места на место, Чибирев, при всей своей подчеркнутой самостоятельности, ершистости, всякий раз душой прикипает к заботам коллектива, чувствует, как соединяются с ними собственное уникальное мастерство, находчивость, мужество, без которых не выполнишь работу на высоте.

Думается, именно в «Сорока трубах...» вышел Вадим Кожевников к подлинной художнической свободе в изображении трудового человека. Рассказ лаконичен в стиле, языке, несложен в композиции и одновременно щедр авторским вниманием к тому, что составляет человеческую неординарность, «чудинку», способную осветить изображаемое особым внутренним светом.

Вот как обучает Чибирев знаменитой своей именной кладке. Показал на принесенных с собой деревянных кубиках, что и как надо делать, а потом, истребовав себе чаю, сел читать газету. Через некоторое время проверил, как идут дела у обучающихся, толчком ноги разрушил сооруженные ими кирпичные колодцы: «Чистый детский сад. Я им кольцевую

кладку велю делать, а они домики строят». Снова сел за стол, равнодушно, скучающе уткнулся в газету. «Но то, что в газете была продавлена пальцем дыра, через которую Чибирев следил за работой каменщиков, этого никто не заметил».

Чибирев вел себя капризно, неприятно... А затем — совершенно естественно возникающий психологический переход: откровенное объяснение с бригадой, приглашение к началу работы. «Ну, кого обидел,— извиняюсь. Видать, вы ребята подходящие. Я же нарочно лютовал, характер ваш, сознательность испытать. А вообще я человек артельный, веселый...»

В характере Чибирева, в том, как переданы внешние проявления душевного склада, можно увидеть много такого, что не раз скажется затем в творчестве В. Кожевникова, определит своеобразную манеру его повествования, особенности видения человека. Писатель любит рисовать симпатичные ему персонажи как бы в двух состояниях: в маске нарочитости и в душевной откровенности, открытости. Причем маска эта по функции своей защитна, она служит формой тактического «узнавания» человеком других людей, обстоятельств. Чего стоит одна эта продырявленная Чибиревым газета, позволившая ему увидеть многое и многих... В подобных деталях, находках ощущаешь еще и юмор, задорную и вместе с тем сдержанную интонацию повествователя.

Очень точно заметила, характеризуя раннее творчество писателя, увлеченность его героикой созидания, Е. Ф. Книпович: «Несомненный романтик по характеру мировосприятия, В. Кожевников обладал и столь нередкой застенчивостью романтика, не позволявшей ему прямо говорить о своей вере, воплощать «высокое» во внешне высоких образах». Продолжая, конкретизируя наблюдение критика, можно сказать, что эта особого рода застенчивость, включающая в себя изрядную долю задорности, доброго лукавства, будет проявляться в дальнейшем на всем писательском пути, что такой сплав сообщит немало своеобразия персонажам.

С «Сорока труб...» начинается в прозе Вадима Кожевникова углубленный разговор о мастерстве как о нравственном качестве трудового человека. Здесь же возникает в глубоком, художественно обоснованном воплощении и еще один из сквозных для его прозы мотивов: сердечность родных, близких людей, теплота понимания. Этот мотив связан с образом Анны Чибиревой, матери Степана, образом колоритным, исполненным обаяния. Символичен случай, происшедший со Степаном уже после смерти матери. Попав на огромной высоте в положение катастрофическое, гибельное, он находит выход, распустив связанную матерью фуфайку, дав возможность людям внизу привязать к ней бечеву, веревку, затем канат. Если бы оборвалась шерстяная нить, не спастись Чибиреву. «Но внимательные и любовные руки сучили эту нить».

Можно назвать и еще немало рассказов из довоенного творчества В. Кожевникова («Гудок», «Кипяток», «Огни», «Варвар» и др.), при-

несших писателю известность. Были замечены повести «Степной поход» (1936), «Мальчик с окраины» (1940). Первая посвящена гражданской войне. Во второй — история жизни и трудов талантливого изобретателя, конструктора современного оружия. Содержание повести — патриотическая устремленность ее героя, желающего быть максимально полезным Родине, внести вклад в укрепление ее оборонной мощи,— впрямую перекликалось с настроениями кануна войны...

Военные годы обозначили новую и важнейшую веху в творчестве писателя. Впечатления, полученные на фронте, в смелом, инициативном исполнении журналистских обязанностей, дали заряд для многих будущих произведений. Кожевников с 1943 года был корреспондентом «Правды», а до того служил в редакции одной из фронтовых газет.

«Хорошо помню Вадима Кожевникова в дни Великой Отечественной войны,— пишет Александр Кривицкий.— Он работал в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Помню его молодым, худющим, с упрямым подбородком на сухом, усталом лице.

Помню, как осенью сорок первого года мы в «Красной звезде» неожиданно получили с фронта его очерк «В полете». Кожевников был первым среди писателей — военных корреспондентов, кто участвовал в боевом вылете тяжелого бомбардировщика. Редактор «Красноармейской правды» приказал его арестовать за «самовольное сотрудничество» в другой газете. Пришлось выручать «виновника происшествия» через Главпур...»

Многочисленные очерки и рассказы, созданные Кожевниковым в военную пору, достоверно передали горячую, неостывшую правду времени. Оказалось среди них и произведение, заслужившее особую популярность,— «Март — апрель». Напечатанный в трех номерах «Комсомольской правды» (1942), этот рассказ вызвал огромную читательскую почту, заставил говорить о себе как об истинном литературном событии. Вот свидетельства писателей, принадлежащих к тому же, что и автор, фронтовому поколению. Продолжу строки Кривицкого: «Помню, как появился в печати... рассказ «Март — апрель». От этого произведения повеяло острым ветром бесстрашия, нежностью... Его герои повиновались чувству долга сердцем и сознанием». А это слова Михаила Колесникова: «В памяти людей моего поколения «Март — апрель» остался навсегда, сделался олицетворением чего-то очень важного, что помогло нам выстоять».

Как и в случае с рассказом «Сорок труб мастера Чибирева», «Март — апрель» не раз именовали повестью, и тоже, конечно, не из объема исходя. Рассказ чрезвычайно насыщен. Он насыщен событийно: его героям, капитану Жаворонкову и радистке Михайловой, выполняющим задание в тылу врага, приходится преодолевать, превозмогать труднейшие обстоятельства, не раз оказываться на волоске от смерти. Но прежде всего плотность повествования возникает благодаря точности, ненавязчивой содержательности деталей, передающих движения человеческой души. Писатель

пошел трудным и благодарным путем: трагическое ощущение войны, ее жертв, слито у него не просто с надеждой, но с радостью жизни, с верой в счастье.

Жаворонков, по сути дела, принадлежит к тому самому «застенчивому» типу характера, о котором выше велась речь. Капитан нелюдим, закрыт для расспросов, хотя чувствуешь: «нутро» его иное. В данном случае для особенностей внешнего поведения героя есть свои особые причины. «Холодной болью» застыла в сердце гибель 22 июня под гусеницами танка жены и ребенка. Он никому не признавался в своем горе: «не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия». Он стремился сосредоточить всего себя на борьбе с врагом, приказал себе: «... я должен драться спокойно».

Тонко ведется в рассказе психологическая линия отношений двух героев, ее перепады, нюансы. Трепетное, целомудренное чувство, пришедшее к капитану и радистке, как бы венчает их мужество, чистоту самоотверженности и доверия. А главная сила, главная «тайна» рассказа в том, что, взволнованно следя за его перипетиями, видя, как в заботе о девушке, в восхищении ею оттаивает, открывается душа Жаворонкова, все время ощущаешь неразделимость всей этой «частной» истории с жизнью и борьбой многих, всех тех, кто защищает Родину, кто идет на жертвы и лишения, кто не теряет, но приумножает в себе человечность... Небольшой штрих: когда радистка говорит Жаворонкову, спасшему ее, слова благодарности, говорит, радостно волнуясь, вкладывая в них и ей самой еще до конца не ясное чувство, — капитан смущенно (хотя и «резко») отвечает: «...где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?»

Не просто о неистребимости жизни этот рассказ. Он о неистребимости, победительности общества, которое воспитало в своих сыновьях и дочерях стойкость убеждений, возвышенность помыслов и чувств.

О великом гуманистическом смысле *советских основ* жизни, об истоках героического поведения граждан нового мира и ведется речь в произведениях Вадима Кожевникова времен войны. Собственно, это генеральная тема творчества писателя, начатая еще с первых рассказов, продолженная буквально во всех его произведениях.

Нарушу хронологическое течение разговора, чтобы привести знаменательные слова из романа «В полдень на солнечной стороне», созданного в 1973 году и во многом основанного на впечатлениях, памяти войны. Воспитывать лучшие качества в человеке, сказано здесь в одном из публицистических отступлений, значит исходить из «советского, живучего во все времена обычая». Живучее во все времена — то есть сохраняющее преемственность, доказывающее свою жизненную силу...

Попутно есть смысл остановиться на одном эпизоде этого романа, касающемся изображения военной действительности и того, как она сопряжена с жизнью довоенной.

Эпизод не принадлежит к ключевым, но, может быть, именно потому — так бывает в искусстве — сквозь детали, обстоятельства его выпукло проявляется, «прорывается» сущностное.

...Упорнейшие, тяжелейшие бои ведут наши воины против превосходящих сил противника, держат оборону на окраине районного городка. «Четырнадцать суток, слившиеся в один бой», они отстаивают этот плацдарм, уже «утратилось ощущение часов, и дней, и ночей, все слилось в бесконечные мгновения — между жизнью и смертью...» Советские воины выстояли. И их мужество, их солдатское умение тем более достойны восхищения, что это было подразделение, собранное буквально перед самым боем из усталых, измотанных долгим переходом людей. Политрук Конюхов очень жалел поначалу, что не смог провести беседу с бойцами, объяснить трудность задачи, сказать о вере и стойкости. Но и без слова политрука все оказалось ясным. А когда настала пора отойти, занять другую позицию, Конюхов заметил, что люди делают это неохотно. Слишком многое — долгие сутки боя, кровь, гибель товарищей — связало солдат с их плацдармом. А еще, вдруг понимает Конюхов, вот в чем дело: ведь плацдарм этот был необычный, какой-то совсем неожиданный. «...В молодой рощице было бедно выстроено подобие парка культуры и отдыха, со всяческими таперными аттракционами, спортивными сооружениями, эстрадами для самодеятельности и детскими площадками...» Именно здесь суждено было принять бой. И когда подразделение уходило отсюда, люди будто прощались с разрушенными, обгоревшими строениями бывшего парка. «И словно ошеломленные видением прежней своей жизни, в краткий перерыв между сражениями запоминали то, что надолго от них отсекла война и за что они будут бить врага». Именно об этом говорил потом с солдатами Конюхов — о той «доле счастья», которую каждый из них оставил в прежней мирной жизни и которую никто, кроме них самих, не может вернуть.

Многое берет здесь за душу, но как-то по-особому отзываешься вот на какую подробность: парк — бедный, он, собственно, лишь «подобие» парка. Не богата была страна, далеко не всюду могла она строить по высоким меркам, и в том, как обеспечивался человек, отнюдь не наблюдалось роскошеств. Куда важнее богатства было другое: забота о том, чтобы гражданин нового общества ощущал свою причастность к нравственным ценностям, воспитывал в себе высокие качества личности. Гуманное, человеческое содержание революции становилось содержанием повседневности, будничных, обыденных проявлений.

Эту духовность жизни, определенную Октябрем, и защищали в бою с фашизмом советские люди, верность ей пронесли через все испытания.

Есть, видимо, закономерность в том, что, задумывая в послевоенный период первое свое произведение крупной формы, роман, В. Кожевников захотел вернуться к истокам — и страны, и собственной биографии. Роман «Заре навстречу» — он создавался в 1956—1957 годах — посвящен боль-

шевикам, которые, оказавшись в сибирской ссылке, не прекращали мужественной борьбы против самодержавия, а после победы социалистической революции отдавали все свои силы делу защиты и укрепления народной власти. Примечательно и само время написания этой книги — время активного общественного обсуждения недавнего исторического прошлого, трудных, драматических моментов и проблем. Роман «Заре навстречу», наряду с другими глубокими произведениями литературы, искусства той поры, объективным смыслом своим деятельно участвовал в таком обсуждении, повествуя о прекрасных людях, носителях ленинской этики большевизма, утверждая высокую, непреходящую человечность революции.

В центре книги, автобиографическая основа которой несомненна, Тима Сапожков, сын революционеров, уроженец Нарыма. Его глазами даны многие эпизоды «взрослой» жизни, и к лучшим страницам романа принадлежат те, где ощущаешь восприимчивость, подвижность мальчишеской души.

Действительность, дающая уроки Тиме Сапожкову, сурова. Он рано понимает, что родителям постоянно угрожают беды, что в опасности нередко сама их жизнь. Много тяжкого о судьбах сверстников, в большинстве своем сирот, узнает Тима, живя одно время в приюте (родители в подполье и вынуждены расстаться с сыном). Не раз приходится мальчику испытывать боль, когда погибают хорошо знакомые ему славные, добрые люди. Враги коварны, они хотят запугать победивший в революции народ: расправляются с бойцами продотряда, убивают рабочих, отправляющих эшелон с углем в центральную Россию, затопляют шахту, обрекая на гибель шахтеров... Детская незащищенность, тяга к добру, к свету — как устоять им под напором всех этих впечатлений? Счастье Тимы в том, что его наставники, духовные учителя исподволь, неизменно закаляют его душу, характер, что во всем, совершаемом родителями и их друзьями, присутствует ясная, отчетливая справедливость.

...Сапожков-старший выполнял поручение пролетарской власти — производил обыск в доме бывшего царского прокурора. Нашли оружие, списки террористов. Когда обыск закончился, к Сапожкову, фельдшеру по специальности, подошел прокурорский дворник, попросил посмотреть тяжело больного ребенка. «Одну минутку, товарищи,— сказал Сапожков красногвардейцам и, разведя руками, объяснил: — Пренебрегать медицинским долгом не имею права». В дворницкой было темно. Сапожков, упрекнув: дескать, что же вы больного ребенка в темноте держите,— полез в карман за спичками. Только случайность спасла ему жизнь. «Очевидно, шаря в карманах, он машинально склонил голову, при выстреле обернулся и второй пулей был ранен». «Дворником» оказался жандармский ротмистр.

Мог ли Петр Григорьевич Сапожков, отзывчивый, деликатнейший человек, благоговейно относившийся к медицине, к врачам (осталось

пройти два курса университета), не откликнуться на просьбу о помощи? Хотя понятно было, что в контрреволюционном логове опасности подстерегают самые неожиданные...

Тима Сапожков совершенно точно знает: его папа и мама никогда никого не способны оставить в беде. Они ведь и борются за такую жизнь, где не будет несправедливости, так можно ли позволять себе быть несправедливыми хоть в чем-то?.. Очень разные люди Тимины родители, причем свойства их характеров «распределились» не совсем обычно: Петр Григорьевич подчас излишне восторжен, прекраснодушен, тогда как Варвара Николаевна способна быть волевой, предельно собранной, принимать на себя функции организатора. Но как же едины, как гармоничны они в главном: в коммунистической убежденности, в служении идее. И столь же безупречно цельны супруги Сапожковы в личной своей жизни, в искренности отношений друг к другу. Атмосфера семьи и атмосфера революции нераздельны для Тимы, вместе питают его ум, душу. В этой нераздельности, собственно, ключ становления характера юного героя — характера, который пестует сама революционная действительность.

Чисты, трогательны бывают в романе сцены, выказывающие близость взрослых к ребенку, глубину уважения к нему, дух равноправия, царящий в семье.

Роман «Заре навстречу» убедительно показывает: новая, пролетарская нравственность органично выражает, вбирает в себя все богатство простых норм человеческого взаимообщения. В семье Сапожковых дух большевизма соединился с лучшими традициями русской интеллигенции. А если еще учесть, что люди революции, герои романа, принадлежат к разным национальностям России, что особенностям их психологического склада автором уделено немало внимания,— картина Тиминых «университетов» (и общая картина времени, нравственного содержания его) возникает особенно насыщенная. Повествуя о прошлом, писатель, по сути дела, ведет речь и о будущем: о характере человека, озаренного светом коммунистического идеала, готового к борьбе, к исполнению патриотического и интернационального долга.

Оценивая значение романа «Заре навстречу» в контексте всего творчества Вадима Кожевникова, видишь: этот роман явился как бы «гнездом», основой для последующих творческих исканий писателя, главные линии работы которого в самом конце 50-х и в первой половине 60-х годов воплощены в повести «Знакомьтесь, Балуев» и романе «Щит и меч». Ни в чем внешне не соприкасаются эти произведения, резко разнящиеся темой, материалом, ничто впрямую не связывает их и с «Зарей навстречу». Однако несомненно внутреннее, генетическое родство всех трех названных книг. Писатель продолжил крупномасштабное (а повесть «Знакомьтесь, Балуев» объемна, тяготеет к романному жанру) исследование того человеческого типа, что рожден, сформирован революцией. Он «пробует», проявляет свойства таких людей в обстоятельствах

самых различных, рассматриваемых подробно, в широком временном срезе.

Главное поле действия повести «Знакомьтесь, Балуев» (1959) — современность, будни строительства газопровода. Центральный персонаж — хозяйственный руководитель, которому присуща глубина взгляда на мир. Глубина, проистекающая от осознания не просто производственной, но политической ответственности, от потребности всячески содействовать улучшению, совершенствованию жизни, приближению ее к общественному идеалу.

Роман «Щит и меч» (1965) повествует о советском разведчике, находящемся в нацистском логове, носящем мундир абверовца. В романе много острых, захватывающих положений, однако перед нами не детектив. Работая над «Щитом и мечом», автор, по собственному признанию, мечтал «показать, насколько советский человек слитен с коммунистическим идеалом».

Как видим, решая в своих произведениях крупных форм разные задачи, писатель неизменно ощущал их масштабную общность.

Павел Балуев — фигура примечательнейшая. Ни один из персонажей книг В. Кожевникова не вызывал в критике столько жарких споров. Но, собственно, на полемику и рассчитывал писатель: задор, некий вызов слышны уже в самом заглавии. Знакомьтесь, узнайте, оцените героя — он достойнейший человек, и он своеобычен, неординарен в поступках, манере вести себя... Полемично звучат и некоторые из авторских формул, установок, направляющих художественное исследование. «Действительно, какой он... человек грядущего? Как узнать его черты, по каким признакам угадывать? А если попробовать внимательно и терпеливо вглядеться, скажем, в чету Балуевых: вдруг уже есть в них нечто такое похожее?»

Собственно, здесь-то и может возникать некое противоречие — оно смущало в свое время иных критиков. Дескать, как же так: с одной стороны, писатель предлагает фигуру «пригодного» для будущего героя (а то и героев), с другой же — наделяет его (или их) «пестрыми», не одними только высокими, чертами: Балуев ведь и чудаковат, и покрасоваться любит, и порой выглядит сухарем...

Противоречие это, однако, кажущееся, порожденное прежде всего лукавой манерой повествования. Начать с того, что балуевские «странности» чаще всего служат прикрытием доброты, продиктованы желанием помогать людям без навязчивости. Другое дело, что такое желание порой осуществляется несколько неуклюже, что доводы Балуева — мол, он печется не о людях как таковых, а лишь о полезных работниках, об интересах производства,— могут подчас смущать собеседника. Однако же в этом и состоит одна из живых черт характера. Далее. Вдумчиво воспринимая неоднократные высказывания насчет грядущего и людей, достойных его, нетрудно понять: речь идет вовсе не о конструировании чего-то идеального. Вчитайтесь: речь о «чертах», «признаках» того, что имеется в реаль-

ной действительности, о «внимательном», «терпеливом» узнавании сущего.

Будущее создается, созидается сегодня — так можно определить пафос книги. «Мне кажется,— говорит автор в одном из отступлений,— если человек умеет работать для собственного удовольствия, испытывая самозабвенное наслаждение от своего труда, то можно считать, что он уже стоит одной ногой в коммунизме». Грань будущего, определенная в этих словах,— это одновременно и грань настоящего. Причем не только тех лет, когда действует, строит, мечтает Павел Гаврилович Балуев, но и лет самых нынешних. Более зрелыми, реалистичными стали наши представления о путях в будущее. Однако и прежде и теперь эти пути пролагает труд — умелый, организованный, творческий. Такой, какой и показан, какой и воспет в повести «Знакомьтесь, Балуев».

Живым чувством отмечены страницы, выявляющие зависимость морального состояния человека от места, занимаемого им в коллективе, от того, насколько проникается он общественными интересами. Балуев, что очень важно, глубоко «укоренен» в повести, связан множеством нитей с другими ее персонажами, и мы с удовлетворением отмечаем в людях «балуевское»: истинность, способность к духовному росту. Это хорошо видно и в молодых героях. В труде, в товарищеском общении выпрямляется Изольда Безуглова, девушка со сложной, драматической судьбой; теплеет, делается мягче, душевнее Капа Подгорная; критичнее становится к себе самоуверенный Борис Шпаковский; напрягая волю, совершает героический поступок Виктор Зайцев.

Возможно, не всегда достаточно полно бывают объяснены психологические причины самокритичных «обнажений», к которым прибегают некоторые герои. Однако бесспорно: открытый, целеустремленный, разумный стиль жизни, существующий на руководимом Балуевым участке, помогает людям быть свободными от корыстных чувств, от зависти, недоброжелательства, недоверия.

У передовых электросварщиков Марченко и Шпаковского — разные методы работы: первый стремится к максимальной выработке, для второго более важна виртуозность. Но вот однажды в шве, сваренном Шпаковским, обнаружен брак. Марченко, убежденный в преимуществе своего метода, испытывает было удовлетворение. Но как же искренна, неподдельна его радость, когда выяснилось, что Шпаковский не виноват, что трещина была в подкладном кольце. «На следующий день Шпаковский сварил три шва без применения подкладных колец. Это была поистине работа виртуоза». Примечательно, как развивается дальше эта ситуация: друзья-соперники задумываются над тем, чтобы сделать успех Шпаковского общим достоянием.

Осознание высокого смысла труда, своего рабочего искусства дает не просто удовлетворение — крылатую, звонкую радость. «Музейный шов. Такую вещь выставлять надо, как произведение»,— говорит восхищенно

знаменитый сварщик Босоногов, любуясь работой Шпаковского. И тот отвечает, волнуясь: «Знаешь, я сейчас счастлив, как Пушкин, когда его Державин за стихи отметил».

Тему труда, рабочего, профессионального мастерства, начатую, как мы знаем, еще до войны, В. Кожевников продолжает не только в повести «Знакомьтесь, Балуев», но и в цикле коротких повестей и рассказов, появлявшихся немного ранее или немного позже «главной» книги. «Товарищ Елкин», «Всю неделю дождь», «На Дальнем Севере», «Водолазы», «Трасса» — в этих произведениях описаны достойные люди, в них с разных сторон, опираясь на разный опыт, ставятся проблемы, связанные с духовностью трудовой деятельности. Но повесть «Знакомьтесь, Балуев» действительно главенствует в данном ряду: крупность, значительность ее содержания очевидна. На это, кстати сказать, и было обращено внимание во время появления книги: споры не помешали, скорее помогли сложиться объективной оценке. А позже и вовсе выявилось: балуевские (и авторские) заботы, размышления предвосхитили многое в дискуссиях о нравственном обеспечении работы хозяйственника, командира производства, начавшихся в литературе, критике десятилетие спустя. «Руководитель — это человек, который превосходит других не только знанием, но и драгоценными душевными качествами», — не правда ли, более чем современно звучат эти балуевские слова? Или другие: «Сейчас человеком трудно быть. Очень много с него, помимо должности и специальности, спрашивается по линии духовных, неписаных обязанностей».

Современен по своему звучанию и роман «Щит и меч». Все чаще говорим мы о политической теме в искусстве, о значении произведений, передающих остроту противостояния двух идеологий, социальных систем, разоблачающих империалистическую реакцию. В «Щите и мече» с гневной публицистической силой изображено крайнее воплощение этой реакции — идеология, политика, система жизни «третьего рейха», показано, что советские люди, борясь против фашистской экспансии, защищая интересы своей страны, выполняли историческую миссию спасения человеческой цивилизации.

Эти «сверхзадачи» достигаются в книге, тема которой вроде бы достаточно локальна. Рассказ о деятельности Александра Белова (Иоганна Вайса), других советских разведчиков ведется подробно, автором досконально изучен соответствующий фактический материал. Воссоздаются, собственно, детали повседневной, находящейся на грани жизни и смерти, героической *работы*.

В том-то, однако, и суть, что мы неизменно видим, ощущаем широту социально-политических обстоятельств, в которые такая работа вписана. В повествование нередко врывается авторский голос, раскрывая смысл событий, давая насыщенные характеристики мировым делам, обнажая чудовищность нацистских доктрин, всего образа мышления гитлеровцев. Сюжет строится так, чтобы каждый серьезный поворот его позволял со-

общать читателю нечто новое о состоянии вражеского стана, о том, как с поражениями немецкой военной машины в сражениях на Востоке усиливается, приобретает всеразъедающий характер ужас преступников перед неизбежным возмездием. А в первую голову политический смысл произведения связан с тем, как обрисован в нем характер главного героя. Каждый день Белова-Вайса отмечен не только сверхнапряжением сил, но и болью «раздвоения», несовместимости с враждебной, ненавистной средой. Надо ничем не выдать себя, не нанести ни малейшего ущерба выполнению главной своей миссии. Так и поступает герой. Мы ощущаем, как живет его душа, как мучится невозможностью вмешаться, наказать зло, помочь тому, что достойно помощи. И особо знаменательными бывают моменты, когда Белову-Вайсу все-таки удается влиять на устройство конкретных судеб, когда, мужественно и умно используя предоставившиеся шансы, он спасает людей, помогает им включаться в антифашистскую борьбу. Здесь особенно наглядно видно, какое идейное, духовное богатство движет всем поведением нашего разведчика, какие качества, воспитанные советским строем, несет он в себе.

В романе «Щит и меч», многоплановом произведении, совмещающем в себе различные изобразительные пласты, встречаются неровности в раскрытии некоторых линий повествования. Происходит это, думается, оттого, что по-разному может проявлять себя присущее прозе В. Кожевникова главенство авторской интонации. В произведениях крупных форм с главенством этим связаны и многие художественные завоевания, когда с живым интересом внимаешь вдохновенному, свободно текущему слову повествователя, и определенные издержки: авторская «мыслительная нагрузка» начинает превалировать над последовательностью в разработке характеров, в организации романного материала. Надо еще иметь в виду: своеобразие «Щита и меча» в немалой степени обусловлено новеллистической природой дарования писателя (что справедливо отмечает, в частности, исследователь его творчества Б. Леонов). Силу повествования здесь, как и в других романах, более всего определяют моменты высшего событийного (или публицистически-обобщающего) напряжения, все то, что наиболее выпукло выявляет художественную идею.

Одна из самых волнующих сцен романа — гибель на глазах Белова-Вайса чекиста Бруно, пожертвовавшего собой, чтобы попытаться предупредить о нападении на СССР. Взволнованны слова автора, осмысляющего, обобщающего этот подвиг, как и подвиги других чекистов-разведчиков. Писатель говорит о высшей стойкости и самоотверженности. Говорит о медленных пытках в гестапо (Бруно еще повезло — смерть была быстрой), об ухищрениях медиков, возвращающих мучеников к жизни, «что было ужаснее самой лютой смерти». Сотой доли этих мук «не перенес бы и зверь, а они переносили. Переносили и знали, что этот последний их подвиг останется безвестным, никто из своих о нем не узнает. Никто. Гестапо... мстило мертвым, устами засланных предателей клевеща на

них. И гестаповцы предупреждали свои жертвы об этом — о самой страшной из всех смертей, которая ожидает их после смерти».

И вот — слова, могущие служить не только выводом к сказанному, но патетическим итогом всего романа: «Не знаю, из какого металла или камня нужно изваять памятники этим людям, ибо нет на земле материала, по твердости равного их духу, их убежденности, их вере в дело своего народа».

Восхищение подвигом советского человека озаряет все творчество Вадима Кожевникова. И в гармонии с этим искреннейшим, горячим чувством находится постоянное стремление писателя познать, отчетливо представить корни, истоки героического поведения. Исследуется вдохновляющая сила пролетарской нравственности, подчеркиваются внутренние связи между воинским подвигом и трудовой моралью.

Знаменательны в этом отношении повести, созданные в самом конце 60-х годов,— «Петр Рябинкин» и «Особое подразделение». Они имеют много общего в методе изображения: подробно высвечивается одна судьба (в некоторых изданиях вторая повесть тоже называется по имени персонажа — «Степан Буков»), а главное, едина основная смысловая направленность: более всего интересует писателя, как в разных условиях — мирных и военных — проявляются родовые качества представителей рабочего класса — прочность характера, глубина понимания долга, потребность всегда быть мастером своей профессии, боевой ли, гражданской ли. Рябинкин и Буков — типичные, «коренные» рабочие. На фронте они, овладевая воинским умением, следуют трудовым навыкам, трудовым критериям оценок; вернувшись к мирным обязанностям, чувствуют себя обогащенными фронтовым опытом, новым пониманием жизни, людей.

Целен, постоянен Вадим Кожевников в своих художнических исканиях, интересах и пристрастиях: своеобразное сопряжение, сближение рабочего труда и труда ратного, что поставлено во главу угла в «Петре Рябинкине» и «Особом подразделении», отчетливо просматривается уже в рассказах военной поры. «...Я подумал о том, что в этой тяжелой войне сурово состязается с врагом весь гений моего великого народа,— сколько удивительных талантов сверкает в этих умельцах, отважных мастерах своей воинской, строгой и священной профессии»,— так завершается, например, рассказ «Воинское счастье», герой которого выполняет свои солдатские обязанности не только отважно, но чрезвычайно толково и умно. Или слова из другого рассказа, об умелых артиллеристах: «...было очень приятно знать, что полет каждого снаряда окрылен разумом строгого, точного и безупречного расчета» («Мастера расчета»). О великой важности того, чтобы воевать грамотно, можно прочитать и в книге о Балуеве: фронтовые годы очень многое определили в облике, системе представлений этого персонажа. И даже в «Щите и мече» внимательнейше, с явной удовлетворенностью подчеркивает автор все то, что свидетель-

ствует о высоком профессионализме Белова-Вайса, его, вновь употребим это слово,— работы.

Степан Буков, экскаваторщик на руднике, рассказывает инженерам, рабочим о войне. Рассказывает, преследуя при этом цель навести собеседников на мысль о лучшей организации производства. Буков о войне «говорил по-своему, не столько о фактах героизма, сколько о мудрейшей организации боя в соответствии с местностью, состоянием инженерных укреплений противника и его огневых средств, о том, как с ходом войны... менялась тактика». Справедливо будет посчитать: «по-своему» — это не только «по-буковски», но и «по-кожевниковски». С той, естественно, поправкой, что военные книги писателя о героизме говорят много и страстно.

Конечно, сам подход к фронтовой действительности, как к сфере героической деятельности, где необходима рабочая сознательность и рабочая сноровка,— не монополия писателя В. Кожевникова, он в той или иной мере сказался во многих произведениях нашей литературы. Но именно для Кожевникова такой подход стал едва ли не главным в изображении трудового человека на войне. Недаром и в «Особом подразделении» и в «Петре Рябинкине» мы находим такое множество ситуаций, подробностей, высказываний, свидетельствующих об исключительном интересе писателя ко всему, что связано с «рабочей косточкой» фронтовиков. «Рабочий коллективизм родствен серьезной армейской дисциплине» («Петр Рябинкин»). Или — из той же повести, когда речь заходит об умении Рябинкина владеть собой в бою, чувствовать, предугадывать действия товарищей: «Он еще на заводе обучился этой тонкой рабочей наблюдательности... привык к тому, чтобы ощущать себя частицей целого, от которого ты зависишь так же, как и оно, целое, от тебя зависит»... Или, например, такое возникающее в «Особом подразделении» словосочетание, как «рабоче-солдатский» («рабоче-солдатская смекалка», рабоче-солдатское оружие» — об умении владеть техникой).

В сборнике публицистических работ «Годы огневые» В. Кожевников писал: «...Мне посчастливилось почувствовать то удивительное родство, которое было присуще фронтовикам, удалось увидеть всю их человеческую красоту... И в послевоенное время я видел этих людей... у мартеновских печей, у прокатных станов, в цехах, где рождается новая техника, на стройках колоссальных жилых массивов. Именно такие люди двойного подвига — фронтового и трудового — стали героями... моих книг: Петр Рябинкин, Степан Буков, Елкин, Балуев».

О *двойном подвиге* советского человека и повествует писатель, выявляя принципиальную цельность его гражданского, общественного поведения, сближая времена, показывая логику исторической преемственности. Опыт такого исследования, предпринятый в «Петре Рябинкине» и «Особом подразделении», получил высокое признание: в 1971 году повести были удостоены Государственной премии СССР.

В романе «В полдень на солнечной стороне» (1973) излюбленные мысли, мотивы приобретают новое развитие и наполнение. Используя обширную романную площадь, В. Кожевников стремится, к примеру, показать и то, как проявление трудовых начал в военном деле связано с движением времени, с особенностями разных этапов войны. От боя к бою, от сражения к сражению, размышляет он, наши солдаты и офицеры все больше «вживались в войну», превосходство над противником достигалось не только яростным массовым героизмом, но «расчетливым, вдумчивым армейским мастерством — высшей квалификацией воина». Главное же, изображение разнообразных проявлений солдатского умения служит в романе основой для серьезных раздумий — раздумий о гуманизме. Рациональность — не самоцель, она помогает побеждать врага с меньшими потерями, а значит, сохранять возможно большее число жизней. «Чувство бесценности, неповторимости человека» обострялось тем больше, чем дальше шла война...

Характерен разговор о цене подвига, завязывающийся в одной из глав книги. В наступательном бою за железнодорожную станцию танк протаранил немецкий бронепоезд. Люди склоняют головы перед памятью героев-танкистов. «Сам бы за таких жизнь свою отдал...» — говорит сержант Лазарев, командир сорокапятимиллиметровки. Но он же говорит и о другом: «Ребята-подрывники уже было поезда достигли. Заложили б под днищами, рванули б и свалили. Погорячились танкисты...»

Лазарев, появляющийся в повествовании лишь несколько раз, принадлежит к персонажам эпизодическим, но таким, чей облик заметен, чей голос хорошо слышен. Коммунист, полный кавалер ордена Славы, до войны он был слесарем-сборщиком. Бесстрашие в бою сочетается у Лазарева с ясной разумностью действий; когда стрелял из орудия, «движения у него были мягкие, властные, неторопливые...» Особая бережность есть у сержанта к людям. Словно мастер-наставник, берет он к себе в расчет бойцов, нуждающихся в воспитательном воздействии, и, к удивлению многих, вчерашний трусоватый хлюпик приобретает постепенно качества исправного артиллериста. По этому поводу в романе даже вспыхивает спор. Командир роты Петухов говорит о наставничестве Лазарева с восхищением, комбат же Пугачев считает, что если уж браться за воспитание, так только кого-нибудь стóящего: «он бы из него героя воспитал, а не просто так себе солдата».

Спор этот оказывается не частным, преходящим: он задевает вопросы принципиальные. Капитан Лебедев, тоже участвующий в споре,— бесстрашный разведчик, много повидавший и переживший,— убежден: надо всегда помнить, что победа, «которую мы одерживаем и одержим», будет плодом не просто военных усилий, но «того лучшего, что есть в советском человеке и что должно быть потом...» Отсюда и интерес, и внимание к личности воина. Он ушел на фронт из жизни, организованной по законам советской нравственности, в ту же жизнь вернется; он должен ощущать

благотворную силу этих законов и в исключительных по своей тяжести, жестокости условиях фронта.

Подобную же программу воспитания широко обосновывает и осуществляет уже упоминавшийся нами политработник Конюхов. Свою повседневную работу среди солдат он подчиняет не только ближним, но и дальним задачам — заботе о том, какие придут из армии люди, какое влияние будут они осуществлять на устройство жизни «после всех горестей, потерь, отчаяния, невзгод» и учитывая трудности, «которые еще одолевать и одолевать».

Конюхов думает о людях на войне: мир каждого — «совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера, но есть нечто повелительно высшее — мировоззрение». Коммунистическое мировоззрение действительно *повелевает* людьми, придавая высокий целенаправленный смысл их каждодневным усилиям, объединяя в коллективном действии. О моральном единении общества и пишет В. Кожевников, воссоздавая картины боевой жизни армии, цементирующей силой которой были рабочие, коммунисты. А новый импульс разговору о личном и общем, об индивидууме и коллективе, ведущемуся в романе, дают обстоятельно развернутые линии, рассказывающие о послевоенном времени и прежде всего о трудовой деятельности Григория Петухова (он проходит поучительный путь от токаря до директора предприятия); этот персонаж, кстати сказать, во многом и скрепляет «военную» и «мирную» части произведения.

Роман «В полдень на солнечной стороне» показал, что в прозе В. Кожевникова еще более усиливается «мыслительное», публицистическое, философское начало. Вместе с тем писатель и здесь сохраняет прежний жадный интерес к «случаю», событию, к «особости» биографии, самого человеческого облика. Он сохраняет и неутомимость узнавания нового.

Со всем основанием заявили об этом и повести, написанные в середине и конце 70-х годов: «Белая ночь», «Пустыня», «Полюшко-поле», «Там, где нет ни пыли, ни мух», «Так было», «Лилась река» и др. Впечатляет разнообразие персонажей, представляющих многие профессии (почти все повести посвящены современности), впечатляет резкая смена географии: тут и Нечерноземье, и пустыня, и Дальний Север. А еще в произведениях этих как-то обновленно ощущаешь зримость изображения, живописность.

...Сурова и величественна природа арктического побережья. «Грозная сила пространства, необъятно распростертого, пустынного и мертвобеззвучного», способна подавлять людей, вызывать «щемящее чувство одиночества». А тут, в маленькой бухте, где разворачиваются события повести «Белая ночь» (1978), это чувство еще острее: раньше срока, опасаясь подвижки льдов из-за внезапной оттепели, уходит сухогруз, «сверкая огнями, как небесное созвездие»; транспортной колонне, встречавшей моряков, предстоит самостоятельно, без помощи судовых кранов поднимать на свои машины и прицепы грузы, оставленные на льду берего-

вого припая. Убрать, вывезти их необходимо без задержки: припай ненадежен, природа не дает людям никаких послаблений.

Несколько десятков людей, затерянных в ледовых пространствах, одержали верх над могучей природой, оказались сильней ее.

Собственно, лишь характер бригадира Егора Ползункова подробно исследован, да еще рассказана предыстория жизни бульдозериста Фенькина, даны штрихи облика Алены Ивановны, поварихи. Однако же, читая «Белую ночь», мы неизменно ощущаем образ бригады, всей бригады — коллектива. Это ощущение возникает уже тогда, когда Ползунков принимает ответственнейшее решение взять на лед с судна все без исключения грузы. У него были права и основания не делать этого, и в бригаде недаром недовольны: помимо риска, помимо тяжести труда, неизбежны еще и потери в заработке. Но, с другой стороны, разве пошел бы на такое бригадир, если бы не был уверен в своих подчиненных, товарищах своих? Судьбе угодно было испытать эту веру по самому серьезному счету: волею случая Ползунков не смог непосредственно участвовать в организации главных работ (проверяя толщину льда, он оступился, едва не погиб), но происходило все именно так, как если бы бригадир был на месте.

Цельная, сильная натура, Ползунков как бы концентрирует в себе качества, присущие многим. Именно это и позволяет ему мыслить шире, ответственнее многих, брать на себя инициативу, выходящую далеко за рамки его должности. Автор отнюдь не для красного словца сравнивает решение, принятое Ползунковым в бухте, с таким решением, «которое, пожалуй, должно и можно принять и министру. Если бы министру доложили об обстоятельствах, в которых оказались судно и приемщики грузов». Ползунковым руководили истинно государственные интересы: бригадир хорошо представлял себе, какие убытки, какая длительная потеря темпов ожидают стройку («как принято выражаться на собраниях, великую стройку века»), доставь он туда неполное, некомплектное оборудование.

Государственные интересы... Убедительность повести В. Кожевникова во многом с тем как раз связана, что высокое это понятие воплощено в конкретности человеческих проявлений. Помнили ли рабочие, задается вопросом писатель, о ценности, многоважности грузов? Конечно. Но не только в этом было дело. Особая, исключительная ситуация сражения со стихией, сознание смертельной опасности, которую таил в себе зыбкий лед, многократно обострили чувство собственного достоинства. «Люди боялись унизиться страхом смерти, и эта боязнь унижения делала их бесстрашными...» Вот так же, вспоминает Ползунков, достигались общие цели в условиях фронта: гордость каждого бойца обращалась в самозабвенную отвагу.

Точна, продуманна, крепко сбита эта повесть, очень характерная для мира интересов и проблем, волнующих писателя, исполненная широкого дыхания, неподдельного лирического одушевления.

Вадим Кожевников — художник, мастерски владеющий арсеналом различных, многообразных изобразительных средств. И все же, когда думаешь о чертах, определяющих его облик прозаика, особо отмечаешь такую черту, как открытая, горячая публицистичность.

Писатель заметил как-то, что, ведя рассказ, любит «присутствовать» возле героя, «обсуждать» его поступки и характер с читателями. Действительно, очень велика, мы говорили, роль автора в этой прозе. И когда в романе «В полдень на солнечной стороне» встречаешь определение «человеческие разборы» — так именуются беседы, которые ведет с бойцами политрук,— невольно приходит на ум: теми же словами справедливо сказать и о самом романе с его многочисленными подробными обсуждениями.

Пожалуй, в еще большей степени подходит под это определение роман «Корни и крона» (1981). Это, безусловно, одно из самых публицистически насыщенных произведений писателя, своеобразный диспут — диспут прежде всего, ради которого отодвигаются в сторону соображения композиции. Автор «Корней и кроны» как бы собирает вместе многие мотивы, возникавшие в его прежних книгах. В. Кожевникова остро интересуют сегодняшние особенности жизни рабочего класса, общественная ситуация, связанная с внедрением на производстве бригадного метода. И он стремится проявить, «проверить» в новых условиях качества и свойства людей, тип которых давно и хорошо ему известен. Стремится исследовать, как складываются в пору перестройки хозяйственного механизма отношения заводчан, как сочетаются в работе по единому наряду общественные и личные интересы, как проявляет себя «наука понимать людей», тайнами которой владеют любимые писателем герои.

Члены рабочей династии Должиковых, представители трех поколений, находятся в поле основного внимания. Рассказывая о них, автор рассказывает одновременно о прочных корневых связях нынешнего дня с днем минувшим, о преемственности исторической памяти: династия началась с Великим Октябрем, и во всех свершениях советского народа Должиковы принимали и принимают самое прямое участие. Особенно значима для всего звучания, смысла книги память о войне. Ветераны — и Должиковы, и другие заводчане — не слишком-то любят говорить о своей фронтовой жизни, а если все-таки говорят, то скромно, «стеснительно». Однако же вот фраза, произнесенная одним из Должиковых решительно и твердо: «Эту войну мы никогда никому забыть не позволим». Да, можно быть скромным, когда разговор о тебе лично, но подвиг народа, вынесшего невиданные доселе тяготы, уничтожившего фашизм, этот подвиг должен помниться постоянно, должен освещать все наше бытие. Герои романа, старшие и молодые, благодарно, благоговейно думают о том, «как дорого... заплачено» за мирное сегодня, заплачено «жизнями самых лучших людей». Они мыслят широко, интернационально, озабочены судьбами всех народов Земли. И когда, к примеру, старейшина

должиковского рода Семен Фомич вспоминает о временах прихода фашистов к власти, об обстановке в канун войны, когда рассуждает об опасных происках современных империалистических претендентов на мировое господство,— новейшая история человечества естественно воспринимается нами как нечто такое, к чему имеют самое непосредственное отношение судьбы Должиковых, частная их жизнь, каждодневный быт семей.

Раскрытие *политической сущности* событий, происходивших в минувшие десятилетия, происходящих ныне, и составляет, собственно, главную повествовательную задачу романа «Корни и крона». Да, все это — политика. И борьба рабочих, инженеров за новое на производстве, за эффективность и качество труда. И демократизм нашего общественного устройства, органически принимающийся советскими гражданами, черпающий силу в энергии масс (почти все Должиковы состоят в выборных органах — партийных, советских, профсоюзных). И горячий, истинно пролетарский интерес к развитию мировых событий. Роман обращает читателя к мысли о том, что непосредственно с рабочего места человека, с трудового, нравственного его облика берет начало ответственность за судьбы планеты.

Историческая жизнь народа — не абстрактное понятие. Она, эта жизнь, складывается из конкретных событий, конкретных судеб людей, привычно называемых рядовыми, простыми.

Проза Вадима Кожевникова тем прежде всего и значительна, что показывает эту конкретность. Показывает величие и справедливость идеи, направляющей жизнь в советском обществе — на нашей, солнечной стороне планеты.

Михаил Синельников

Рассказы

ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Реке было тесно. Она с трудом протискивалась в каменных узких берегах. Напрягшись, вода проталкивала вперед хрустящие плиты. Льдины сталкивались, переворачивались, показывали свое мокрое, истаявшее брюхо.

Андрей должен был встретить Наташу. Он шел по набережной, рядом с рекой. На нем было новое пальто. Он еще стеснялся своего нового пальто и потому избегал смотреть в глаза прохожим, боясь найти там немое восхищение, восторг.

Андрей был счастлив. Думая о Наташе, он мечтал о подвиге. Ну, например...

Девушка с желтым кустиком мимозы в кулаке, наклонившись над чугунными перилами, вдруг падает. Ее кто-то толкнул. Крик ужаса. На воде остается только желтая веточка. Надвигается синяя льдина. Андрей сбрасывает новое пальто, прыгает. Ледяная вода смыкается над ним. Царапая руки о лед, он вытаскивает бесчувственную девушку. Восхищенные люди протягивают к нему руки. А он набрасывает на плечи пальто и желает идти. Подъезжает машина. В лаке, в блеске. Ему предлагают садиться. Он просит шофера подъехать к кино «Ударник». Там, беспокоясь, ждет Наташа. Открывая дверцу, он говорит:

— Извините, Наташа, я задержался.

Или так: он запаздывает. Наташа собирается уходить. Увидев его, она обрушивается с упреками. Он в летной форме. Наташа спрашивает — почему?

— Не успел переодеться, только что с аэродрома, видите? — Он протягивает руку к глянцевитому небу, там висит туманный вензель.— Это был тренировочный полет в стратосферу. Видите, еще следы не рассеялись.

Взглянув на уличные часы, похожие на железную бочку из-под керосина, Андрей увидел: стрелки уже ка-

саются назначенного времени. Размечтался и чуть не опоздал!

Подбежал трамвай. Кондукторша дернула веревочную вожжу.

Андрей вскочил на ходу, толкнув кого-то, пробрался вперед.

Обратив к нему загорелое сухое лицо, человек в шубе сказал строго:

— Осторожнее надо.

— Обидели? — Андрей презрительно повернулся боком и, упершись рукой, заслонил окно.

Человек попросил:

— Уберите руку.

— А мне что, за нос держаться?

— Фу, как противно вы говорите.

— Противно? — ехидно переспросил Андрей. И, сделав подлое лицо, громко сказал: — На кухне не наговорился, здесь хочется.

Человек побагровел, хотел встать. Но вдруг, сжав челюсти, отвернулся.

Трамвай мчался, пошатываясь. В нем было сумрачно.

Андрей, держась рукой за петлю и приняв независимую позу, косился на пассажира.

Человек мрачно глядел себе на колени, хотя окно уже было свободно. На лице у него было горькое выражение подавленной обиды.

Андрею стало вдруг скучно. Подумав о Наташе, он вспомнил, как она обманула его, попросив позвонить в семь часов, а когда он дозвонился в половине восьмого — телефон до этого был занят, — начала обиженным голосом обвинять его в том, что он испортил ей вечер. Теперь она вынуждена идти в гости, куда ей идти совсем не хочется, и встретиться они не смогут.

Это была неправда. Идти в гости в этот вечер она договорилась заранее и очень хотела, а получасовое запоздание Андрея использовала, чтобы снять с себя вину и свалить ее на него.

Потом он вспомнил также: однажды после вечеринки Наташа пошла с его приятелем Лешей, а он плелся сзади с девушкой, которая ему вовсе не нравилась. Наташа даже ни разу не оглянулась.

Стало тоскливо, одиноко. Он почувствовал себя некрасивым, неприятным людям. Ему не хотелось больше видеть Наташу.

Человек в зимнем пальто встал и пошел к выходу. Глядя на его широкую, удрученную спину, Андрей подумал, что этот человек, наверное, приезжий, с Севера: там зима, а здесь весна, жарко, а он в шубе. Он приехал в Москву. Может быть, делегат. Там его уважают, ценят, считают замечательным человеком и знают в лицо. А тут его оскорбил грубо, нагло невзрачный человек. И даже, когда он захотел посмотреть в окно на невиданную, красивую Москву, о которой, может быть, хотел рассказать дома, противная, нахальная рука заслонила ему окно. И вот он сейчас выходит один в незнакомый город, подавленный грубостью, и чувствует себя очень плохо.

Трамвай, заскрежетав, остановился.

Андрей, увидев, что человек уходит, стал судорожно пробираться ему вслед.

Озабоченно оглядевшись, человек перешел дорогу.

Андрей крикнул мяукающим голосом:

— Товарищ!

Человек остановился.

— Вы вот что,— пробормотал Андрей сдавленно и громко добавил: — Извините.

Человек недоумевающе переспросил:

— Извинить?

И вдруг лицо его осветилось улыбкой. Глаза застенчиво засияли. Он, суетясь, забормотал:

— Ну что вы! Я же знаю, в трамвае...— Стащив с руки шерстяную варежку, он попросил: — И вы меня тоже. Может быть, и я вам что-нибудь не так сказал.

Ноги Андрея взлетали сами собой. Он шел через мост к Наташе. Он был почти счастлив.

1930

ПРОИСШЕСТВИЕ

Произошло это в ночную смену. В небе висели звезды. Возле главной конторы пирамидальные тополя, возвышаясь серебристыми башнями, стояли не шелохнувшись.

Стучали газомоторы. Пыхтели домны. С визгом вздымались бадьи по скиповым лебедкам. А бессемеры достигали до облаков шипучими фонтанами пламени, и облака блестели.

Коксовщицы широкими вилами сгребали с откосов в люки пахнущий лекарством кокс.

Проваливаясь, кокс дальше двигался самотеком по туннелю и оттуда уже падал прямо в бадью.

Работа была легкая, ночь хорошая, и коксовщицы пели песни.

Громче всех пела Таня Калмыкова. Стараясь придать голосу еще большую силу, она взобралась повыше на угольную гору и, скидывая оттуда кокс, голосила так, что было слышно колошниковым па домне.

Но кокс, лежащий в карьере, нельзя выбирать только из одного места. Коксовая гора зашевелилась и с сухим шорохом начала оползать. Захваченная колючим потоком, барахтаясь в этом угольном Тереке, Таня не смогла выбраться, и лавина поволокла ее к люку.

Подруги спешили к ней на помощь, но было уже поздно. Голова Тани в красном платочке исчезла в люковом колодце.

Коксовщицы с вилами наперевес бросились на угольную лавину, чтобы уголь окончательно не засыпал Таню в колодце.

Кокс шел колючей рекой, вычерпать которую у них не было сил.

И тогда все коксовщицы закричали, и их услышали не только колошниковые, но даже в кузнице.

Первым на эти крики прибежал с газоспасательной станции бригадир Первухин.

За спиной у него был ранец с кислородным прибором, закрытым железным щитом, на голове каска, в одной руке лом, в другой французский ключ.

Узнав, в чем дело, он, не размышляя, прыгнул в колодец.

Таня, погребенная по плечи под углем, тихо стонала в этом темном и страшном колодце.

Кокс медленно и верно сползал в ствол, шурша и поскрипывая.

Увидев человека, Таня принялась громко плакать, чтобы обратить на себя внимание.

Первухин быстро разгреб кокс, потом взял Таню под мышки и, натужившись, выдернул ее из угля.

Еще толком не пришедшая в себя, Таня набросилась на Первухина и принялась целовать его в уши, в щеки и даже в губы.

Первухин смутился, покраснел, хотя этого в темноте не было видно.

Повернувшись к Тане спиной, он велел ей вскарабкаться к нему на плечи, прохрипев:

— Извиняюсь.

Взял ее за щиколотки, поднял своими сильными руками, увязнув от тяжести по колено в угле.

Наверху Таню подхватили подруги и вытащили на воздух.

Обрадовавшись, они забыли о Первухине. Уголь снова начал сыпаться, и, если бы на Первухине не было каски, бригадир повредил бы голову.

Ухватившись за протянутые вилы, Первухин выбрался наверх.

Здесь, на площадке коксового двора, устланного чугунными истертыми плитами, Таня при всех пожала ему руку и сказала:

— Спасибо.

И взглянула такими сияющими глазами, что Первухин обмер.

Но, вспомнив о переднем зубе, который у него недавно сломался, Первухин сурово сжал губы и, ничего не сказав, повернулся и ушел.

Он шел к себе на спасательную станцию, и горько было

у него на душе. Он думал о своем лице. Ничего примечательного, кроме ржавых веснушек. А в этот момент ему очень хотелось быть красивым.

Таня намекнула Первухину о своем желании о чем-то его спросить. И велела для этого прийти на берег Днепра, к водной станции, с паспортом. Паспорт, как известно, в таких случаях служит залогом за лодку.

Спустя месяц, с этим же самым паспортом и с Таней под руку, Первухин, образно выражаясь, стучался в двери загса.

Вот как приходит к нам счастье.

Но прошло еще два месяца.

Первухин, вместо того чтобы хвастаться своей женой, дразнить доменщиков, которые до этого влюблялись в Таню целыми бригадами, начал приходить на работу хмурым, озабоченным.

И если раньше он сам напрашивался на трудные задания, заражал всех геройской решимостью, то теперь на аварийных работах вел себя так, что людям становилось скучно и опускались руки.

Таня больше не пела на карьере. Выронив вилы, она начинала тереть глаза и, когда спрашивали, почему она плачет, говорила, что попала пыль.

Начальник газоспасательной станции, старый горняк, иссеченный синими рубцами, оставшимися ему на память о всяких происшествиях, вызвал Первухина к себе в кабинет и сказал:

— Желаю говорить начистоту. Вываливай, в чем дело.

Первухин, стесняясь глядеть в глаза начальнику, наклонившись над столом и выковыривая ногтем застрявшую в щели спичку, печальным голосом рассказал о своем несчастье.

После того как Таня стала его женой, он жил как во сне. Никогда он не думал, что человек может быть таким счастливым.

Каждый день Таня удивляла его новыми, необыкновенными радостями.

Купила ему из своей получки желтые штиблеты и спрятала под подушку как сюрприз.

Сказал, что любит холодец,— на следующий день Таня наварила целый тазик.

Пожелал поступить в техникум — Таня тотчас притащила анкету.

И вдруг в разгаре этого счастья у него возникла мысль:

а что, если бы в тот памятный день был дежурным не он и из люка Таню вытащил бы кто-нибудь другой? Или если бы Таня вовсе не падала в люк и познакомился он с ней просто так? Разве Таня полюбила бы его?

Значит, своим счастьем он обязан расписанию, а также невыполнению правил технической безопасности. То есть фактам случайным. А сам он здесь ни при чем.

И Первухин твердо решил выяснить, за что его любит Таня. За случайное происшествие, сделавшее его героем, или за то, какой он есть?

Для этого ему понадобилось полностью принизить в глазах Тани героическое значение события с люком.

Ежедневно, с нудной настойчивостью, он высмеивал происшествие, подавая все факты в нелепом и глупом виде. И даже дошел до того, что о своей работе газоспасателя отзывался неуважительно, называл газоспасателей водопроводчиками.

Вначале Таня с ним горячо спорила, доказывая обратное. Но потом ей надоели эти неприятные разговоры. И она отвечала молчанием, когда Первухин снова затрагивал эту тему.

Первухин, оскорбляясь, начал говорить грубости. Не выдержав, она отвечала тем же.

В общем, начались у них ссоры и неприятности.

Однажды Таня, придя с работы с расстроенным лицом, рассказала Первухину, что, когда она переходила улицу, задумавшись о причинах, мешающих им жить счастливо, на нее чуть было не наскочил автобус, но какой-то прохожий успел вовремя отдернуть ее за руку в сторону.

Первухин спросил, нервно улыбаясь, долго ли она после этого висела на шее прохожего и чем теперь собирается отблагодарить этого героя за спасение жизни.

Таня, не стерпев оскорбления, ушла из дому.

И теперь живет у подруги. Встречаясь с Первухиным, она отворачивается и глядит в сторону.

Прослушав эту горькую повесть, начальник поднялся и стал ходить по комнате, размышляя. Потом, остановившись напротив Первухина, произнес:

— Если бы ты дежурил в ту ночь, по спал па лавке под огнетушителями, как это делают некоторые, не видать бы тебе Тани. Если бы ты не спал, а, прибыв на место происшествия, заколебался, не видать бы тебе Тани. Но ты никогда не позволял себе заснуть на дежурстве, потому что ты сознательный. И никогда не заколебался бы, когда дело

касается спасения человеческой жизни, потому что это твоя прямая обязанность.

Значит, всеми этими фактами тебе было правильно предназначено встретиться с Таней. И если бы ты не отрывал факты от причины их возникновения, ты никогда бы не позволил себе глупости, какие ты себе позволил. Можно сослаться на исторические примеры, когда непонимание этих законов природы ставило людей знаменитых в неловкое положение.

И он стал перечислять эти факты, расхаживая по комнате, осторожно махая своими сильными руками.

Вечером Первухин ждал Таню в «Деловом клубе» у вешалки.

Таня спускалась с лестницы, положив руку на перила. Увидев Первухина, она побледнела и стала фальшиво смеяться, повернувшись к рядом идущему пылетрусу Уварову в белых брюках.

Первухин шагнул и, заслоняя Тане дорогу, раскрыл рот, чтобы высказать в свое оправдание все исторические примеры. Но мысли его смешались, лицо жалобно сморщилось, и он прошептал только:

— Татьяна Димптриевна, один момент.

Но Таня, отстранив его, прошла с надменным лицом мимо.

Надевая пальто, поданное ей пылетрусом, Таня вдруг сказала вместо спасибо — до свиданья, и таким голосом, что пылетрус с пожелтевшим от обиды лицом растерялся и сразу выпустил из пальцев воротник Таниного пальто.

Таня подошла к Первухину и вежливо спросила его:

— В чем дело?

Первухин шел рядом с Таней и, волнуясь, подробно и правдиво рассказывал ей о всех своих сомнениях. И в конце он попросил ее сказать ему, за что же она его любит.

Таня остановилась и, глядя своими светящимися глазами в глаза Первухина, произнесла убежденно:

— Не знаю.

Первухин па этом успокоился. И теперь он снова работает как надо. Недавно опять совершил героический поступок, вытащив из газопровода водопроводчика, захлебнувшегося газом, потому что домна дала осадку и газ тяжелой струей выбил закрытый водяной клапан.

Вот какие угрозы таятся иногда в быту, и вот что бывает, если мы начинаем думать неправильно, не умея увязать причины и следствия.

1930

ПИРОГИ

На митинге выступил командир отряда. Повернув к бойцам измученное бессонными ночами лицо, он сказал:

— Бойцы, нужно организованнее к своему пищевому довольствию относиться. Грабеж получается. За кого воюем?

Бойцы зашумели и стали выбирать кантера.

Командир, сутулясь, качался в седле. Сон наваливался на него невыносимой тяжестью. Поймав выкрикиваемое имя Семена Варенника, он приподнялся на стременах и, напрягаясь, крикнул:

— Значит, Семена Варенника утверждаем. Давай его вперед.

Семен Варенник вышел. Сняв шапку, вытер вспотевшее лицо.

— Надсмеялись надо мной бойцы,— проговорил он.— Унизили. Но вы не думайте, что у меня в голове вместо мозга коровья плюха. За революцию я пострадать готов. А вы, бойцы, зря хохочете. Не велика наука из кадета юшку пускать.

Нахлобучив на глаза шапку, Семен Варенник пошел принимать тачанку в свое распоряжение.

Митинг кончился. Конники тронули коней с места щеголеватой рысью. Пехота, бряцая винтовками, поплелась в окопы.

Степь благоухала. Накрытая прозрачным синим сводом, она курилась томительными запахами. Изогнутый месяц висел в небе.

Белобрысый мальчик ел кашу, засовывая за щеку ложку. Женщина месила тесто. Тесто хлюпало и вздыхало в ее сильных руках.

Семен Варенник постучал в окно. Женщина подошла, вытирая руки.

— Партизаны кланяются! — сказал Варенник.

— Чего еще? — Лицо женщины стало сердитым и испуганным.

— От кадетов вас своими телами защищают, а кушать нечего.

— Самим жрать нечего! — Женщина вырвала у мальчика кашу и спрятала под фартук.— Самим жрать нечего! На дите бы не смотрела. Голодает.

— Ну что ж,— приветливо сказал Варенник.— Нет и нет. Пускай партизаны смерть не столько с кадетской пули принимают, сколько с нашей жадности.— И, отвернувшись, пошел к тачанке.

— Товарищ! — кричала женщина, высунувшись в окно.— Чего вы такой обидчивый? Вот курей пару нашла, возьми, пожалуйста! Может, бойцам бельишко постирать, вези. У меня у самой муж где-то бойцует...

Тачанка медленно двигалась по степной дороге. Облака сползали на край неба. Повозничий Семена, Богдан, беспечный партизан, изумлявший всех своей физической силой, съежившись, сидел боком на тачанке. Он держал в руках кубышку со сметаной и глядел неподвижно и внимательно в спину Семена.

В калмыцком хуторе, глиняном и желтом, остановилась тачанка. Калмыки вышли навстречу. У всех на груди красные банты. Калмыки улыбаются, хихикают: «Мы красные, нас нельзя трогать! И куричка тоже красный. И барашка красный. Их тоже нельзя трогать!»

Семен озирался. Красные ленты горели и извивались на рогах согнанной на площадь скотины.

Выпив калмыцкого чаю с солью и салом, Семен сказал атаману:

— Если у тебя вся скотина красная, гони ее на фронт. Там все красные. А дома держать будешь — за дезертирство казнить придется.

Качая головами, калмыки дивились Семеновой хитрости.

Вернувшись в станицу, Семен роздал мясо и муку по хатам, чтобы спекли пироги. Богдана он послал месить тесто. К вечеру все было готово. Погрузив пироги на тачанку, они отправились в отряд.

Гремучие ветры раскачивали черную ночную мглу. Небо погасло. Семен и Богдан заблудились в степи. Измучившись, решили прекратить безнадежное скитание. Прижавшись к пирогам, источавшим под овчиной мирное домашнее тепло, решили спать.

Рассветало.

В хутор въехали шагом. У крайней хаты остановились. Богдан кнутовищем постучал в закрытые ставни.

— Здорово живете, хозяева,— весело завопил он.

— Вы кто будете?

— А партизаны будем.

— А тикайте вы отсюда, оглашенные. Кадеты у нас. Вам, чертям, враз вмажут.

— Гони,— шептал Богдан, падая в тачанку.— Гони! Кадетам к обеду пирогов привезли! Гони, Сема!

Казацкий разъезд мчался к тачанке, сдергивая на ходу винтовки.

Пуская лошадей вскачь, Семен кричал Богдану:

— Пироги держи! Держи пироги! Они с такой скачки повываливаются.

Богдан, лежа на животе, обнимал пироги руками. Обращая к Семену багровое, напряженное лицо, он кричал:

— Может, Сема, бой примем?! Четверо казаков-то.— Ерзая, пробовал вытащить винтовку.

— Я бойцовскими пирогами кадетов кормить не намерен! — вопил Семен и гнал лошадей.

Казаки стреляли на скаку, но неверные пули их падали мимо. Тогда, пустив лошадей отчаянным галопом, приблизившись к тачанке, казаки остановились. С неподвижных лошадей они обстреляли тачанку точным огнем.

Икнув, Богдан разжал пальцы, сжимавшие обочины тачанки. Два огненных жала ударили в спину Семена. Слабея, он повалился на Богдана.

А кони все мчались, ударяя копытами в кованый передок тачанки. Неистовые донские кони вынесли партизан.

Не доезжая верст пять до Малой Куберлы, они остановились. Шипящая пена валилась хлопьями с их губ на землю.

Мерцающая синева лежала в степи. С неба стали капать созревшие дождевые капли. Падая на дорогу, они обволакивались пылью и лежали несколько мгновений, пыльные и круглые.

Раскинув ноги, Семен сидел на тачанке и, замирая от слабости, перебирал пироги. Испачканные кровью он бросал прочь. Богдан, огромный, тяжелый и беспомощный, пробовал помочь Семену, но поминутно впадал в беспамятство и валился ничком.

1931

РАСПИСКА

Ветер, ночь, степь. Полустанок.

У пакгауза навалена гора извести. Ветер сдувает известь. Черные, пропитанные нефтью шпалы белеют, как от снега.

Грязный паровоз стоит на путях. Туго клохчет пар.

На вокзале запустение. С питьевого бака свисает рваная цепочка, кружку кто-то унес. В разбитое окно выставлен пулемет, на полу расстрелянные гильзы.

Человек в шинели спит, обняв пулемет руками, во сне он шевелит бровями, чмокает.

В дежурке голубой мрак от дыма, на полу спят вповалку красногвардейцы. Возле телеграфного аппарата стоит молодой парень, весь в кожаном, голова его забинтована, коричневые пятна крови засохли. Болезненно морщась, он все-таки надевает набекрень фуражку и глядит на себя в блещущее чернотой окно.

— Пойти, что ли? — говорит он и садится. Прижимая к глазам ладони, страдальчески бормочет: — Двоится у меня все, гляжу, а у вас по две морды, как в цирке.

— С контузии не то бывает.

Машинист и его помощник играют в карты на сахар. Счастье изменчиво. Сахар переходит из рук в руки, темнеет. Склонив льняную светлую голову, за столом сидит конник, растопырив локти,— решает задачи по учебнику Шапошникова и Вальцева, найденному в разоренной квартире начальника станции. Лицо его от напряжения перекошено.

Помощник, отрываясь от игры, мечтательно глядя на лампу, говорит:

— Горяченького бы.

— Я те дам горяченького.

Машинист, сделав отчаянное лицо, идет с туза.

— На узловой мы сидим в дежурке, чуем спирт. Туда, сюда. И где ты думаешь? В лампе! Во всех лампах он налит был.

Машинист, положив на колени карты, уставился на лампу.

— А здесь смотрел?

Помощник горестно покачал головой, вздохнул:

— Керосин,— и покрыл туза козырем.

— Семь по восемь, семью восемь,— шепчет конник и вдруг, уткнувшись лицом в задачник, засыпает.

На улице заворчал автомобиль, голубые полосы света лизнули окна и снова исчезли в пасти тьмы.

В дежурку вошел человек в пальто, черной шляпе, белой рубахе навыпуск. Борода клинышком, очки... А в руках трость. Все удивленно уставились на него. Все, кроме спящих.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал человек.— Кто здесь будет начальник?

— Все будем начальники,— усмехнулся машинист.— А если желаете Карпенко, то он телеграфиста повел,— продавал, сволочь. От контриков деваться некуда.

Человек сел.

— Мне в штаб Первой Конной надо, как бы это устроить?

— Вы кто будете?

Человек вынул бумаги, протянул юноше в кожаном. По мере того как тот читал, лицо его вытягивалось, глаза заблестели восторгом.

— Товарищи! — воскликнул парень.— Вы знаете, кто здесь перед нами?

Внезапно лицо потемнело, он спросил вяло:

— А может, вы авантюрист, может, шпион. С палочкой, значит, для вида. А в палочке динамит. Знаем. Зови Карпенко.

— Так, правильно,— сказал человек,— это хорошо.

— А вот посмотрим, что будет хорошего.

Парень сел, выложил на стол перед собой револьвер.

— Но вот почему у пулемета боец спит, непонятно.

— Два дня отбиваемся, потому и спит,— проснувшись, сказал конник и удивленно стал разглядывать человека.— А мне ваша личность знакома. Неужели это вы? Просто не верится, такая фантазия.— Он встали вдруг, вытянувшись, отрапортовал:— Боец Первой Конной, Шестой дивизии,

третьего эскадрона Емельчук Степан, член РКП, а вот номер билета забыл.— И он виновато улыбнулся.

Человек назвал себя.

Машинист, услышав имя, растерянно переглянулся с помощником. Внезапно сгреб весь банк, положил перед человеком.

— Чайку желаете? Вот, значит, сахар, кипяточку. Один момент.— И выбежал.

Парень в кожаном стал сконфуженно оправдываться.

— Вы не обижайтесь, товарищ, не узнал, в глазах двоится.— Он со злобой хлопнул себя по забинтованной голове и весь сморщился от боли.

— Паровозик сейчас наладим,— сказал помощник и вышел.

Все придвинулись к человеку и, жадно заглядывая в глаза, спрашивали:

— Ну, как там?

Послышалось лопающееся грохотание стрельбы. Все насторожились.

Вошел машинист, вытер руки.

— Готов конек, аж шипит весь.

— Ну что ж! — Человек встал.

Конник засуетился.

— Вы не обижайтесь, товарищ, только мы с вас расписку возьмем, что вы, значит, паровозик не угоните, а как приедете, значит, сейчас же обратно. Нам он на всякий пожарный нужен.

Человек написал расписку.

Все вышли провожать его, улыбаясь, жали руку.

Паровоз тронулся, отдуваясь, выбрасывая седые кудри пара. Внезапно конник, сорвавшись, побежал за паровозом, снимая на бегу бурку.

— Товарищ Калинин, возьмите! — Он забросил бурку на паровоз и прокричал еще раз: — Возьмите, нам и без нее будет жарко.

Паровоз ушел. Рубиновый фонарь превратился в мигающую точку.

А люди стояли на перроне и счастливо улыбались, глядя друг на друга.

Припадая к земле, к станции бежали красногвардейцы.

Карпенко с наганом в руке подскочил к коннику.

— Где паровоз? — прохрипел он.

Повернув радостное лицо, конник сказал:

— Михаил Иванович Калинин на фронт поехал.

Карпенко переспросил, задыхаясь:

— Калинин, говоришь? — и, обернувшись к бойцам, крикнул: — Окапывайся вдоль насыпи!

Красногвардеец волок на веревке «максима», тот плелся за ним, как послушная собака.

Противник бил по станционному зданию снарядами.

Конник, сдерживая лошадь, глядел в небо.

— Чего поводья, как сопли, распустил? — прикрикнул на него эскадронный.— Давай веселей!

Бронепоезд подошел вовремя. Стремительный огонь разнес кадетов. Начальник бронепоезда разыскал конника.

— Давай расписку за паровоз,— сказал он.— Формалисты-чиновники. Не могли просто сказать, что утечь будет не на чем? Наколотили бы вам тут без нас.

— Наколотили б, как же, — усмехнулся конник, поправляя на разрубленном лице розовую тряпицу.— А расписка для чего? Ее понимать надо!

1932

КИПЯТОК

Кубовая чадит в зеленое небо горьким дымом, тропинка от кубовой к баракам обледенела.

В кубовой как в бане или в прачечной. Черный потолок и клетчатое окно покрыты студеными каплями. В котлах булькает вода.

На печке, скорчившись, обняв колени руками и положив на них голову, сидит кубовщик Семен Захарыч Кочет. Дощатые стены кубовой скребет ветер.

Сидит Семен Захарыч и дремлет, окутанный пуховой теплотой пара. Можно было бы давно уйти в барак и завалиться спать. Но Семен Захарыч ждет:

«Опять собрание, а мне — сиди. Вот возьму да уйду, остужу воду и уйду».

Но он отлично знает, что никуда не уйдет, и возбуждает в себе эту искусственную злобную неприязнь нарочно, чтобы веселее было ждать.

Всю жизнь работал Кочет. Потом пришла старость. Стал Кочет думать о смерти. И решил он поехать к себе на родину, в деревню, на Украину. Мечтал об уютной могилке, поросшей ласковыми цветами. Но не нашел Кочет своей деревни. Снесли ее с лица земли. На месте ее строили Краммашстрой, самый большой в мире машиностроительный завод. Вербовщик, подметив удрученного горем старика, подрядил его в кубовщики на четвертый участок.

В кубовой пусто, топлива не было, водопровод не работал, в котлах — глина, щепки. Кочет выгреб из котлов весь мусор, выпросив у одной женщины из соседнего барака, под залог своего сундука, ведро, натаскал из колонки воды, вымыл котлы, наполнил их, собрал на улице оставшиеся от постройки щепки, растопил печь. Печь дымила, наспех сложенные кирпичи вываливались. Кочет развел глину, подмазал щели. Работал Кочет с таким рвением для

того, чтобы хоть на время заглушить в себе злое, тоскующее чувство лишности в этом чужом и огромном мире, а там — будь что будет.

— Ребята, кубовая топится,— войдя в барак, сказал восхищенно бетонщик Нарышкин.

— Она уже давно топится, а мы все сырую воду пьем.

— Ей-богу, топится, дым видел,— уже обиженно повторил Нарышкин.— Самому не верится.

— Пойти посмотреть надо, может, пожар,— забеспокоился староста барака и, взяв со стола чью-то шапку, направился к выходу.

Но кубовая топилась по-настоящему, и вода в котлах клокотала бурно и звонко. Тогда все барачное население отправилось в кубовую. Кочет, скрывая тревогу и боязнь, недовольно, с озабоченной миной, сердито кричал:

— Двери не затворяй, с дыму чуть не задохся, ходют тут.

И было Кочету очень приятно от этих восторженно-недоумевающих лиц. Многие еще не верили. Открыв крышку котлов, заглядывали внутрь и, ошпаренные, отскакивали:

— Верно, кипяток! Чаек будем пить, ай да товарищ, как величать-то?.. Ай да Семен Захарыч, вот спасибо!

Так Семен Захарыч стал кубовщиком на четвертом участке.

Первое время он занялся устройством кубовой. Сходил в комхоз вместе со старостой барака. Разыскал там начальство, потребовал водопроводчиков, монтеров. Намекнул даже:

— Вода, вскипая без время, преет на огне, отчего у нее становится вкус нехороший.

Кочет и в такие тонкости вошел. Но начальство в часах категорически отказало:

— Не полагается по инвентарю.

Кочет для порядка немного поругался, но быстро успокоился на мысли, что в ближайшую получку сам купит часы. Он еще не раз ходил в контору и комхоз, требуя лужения котлов заново и прибавки топлива. Везде Кочету шли навстречу. Всякий раз, когда из барака прибегали за кипятком, Кочет испытывал сладостное тщеславное чувство. Чем больше восторгались «крутым кипяточком» барачные жители, тем ревностней Кочет относился к своей работе. На других участках кубовые пустовали, не было кубовщиков. Если находили какого-нибудь инвалида, то он,

побыв два дня, уходил на производство,— там он мог больше заработать, или в сторожа — работа спокойная и тихая.

В барак на четвертом участке стали приходить рабочие из других бараков — попить чайку. Приходили, стесняясь и опраздываясь, со своим сахаром, хлебом и кружками. Усаживаясь тесно за стол, гости всякий раз благодарили хозяев. Большая радость для человека — уютная нежность чаепития. В бараке стало весело и шумно. На окнах появились занавески из вырезанных узорами газет, стены завели плакатами, койки и углы были у всех прибраны, чтобы перед гостями не было стыдно. Барак премировали на конкурсе.

Дверь в кубовую распахнулась, туда ворвался белобрысый парень с двумя ведрами, покрытыми свежей голубой изморозью оцинковки. Парень остановился посредине кубовой и, поставив с громким стуком ведра на каменный пол, проговорил умильно и просительно:

— Не спишь, дядя Семен? А я вот как бы насчет кипяточку разжиться...

Семен Захарыч отвернулся. С неестественной тщательностью скручивая цигарку, помолчал, потом, стряхнув с колен махорочные крошки, хмурясь и разглядывая на свет цигарку, проговорил:

— Кипятку? А ты что, дров запас, чтобы тебе цельны сутки налить? Может просто водицы хлебнешь? Оно вашему пузу легче будет. Горячие вы больно...

Семен Захарыч плавным, медленным движением вставил в рот цигарку, похлопал себя по карманам в поисках спичек. Парень проворно поднес зажженную. Семен Захарыч кивнул, затянулся.

— Заседали?

— Собрание, Семен Захарыч, собрание,— с радостной готовностью подтвердил парень, томясь молчанием и робея перед высокомерным безразличием Кочета.

Семен Захарыч пристально смотрел на покорное белобрысое лицо и переживал самые сладкие минуты.

— Значит, заседали, надрали глотки, теперь саднит?

— Саднит, Семен Захарыч,— обрадованно сказал парень.

— Так что даже очень чайку охота?

— Охота.

— Ну, валяй с первого куба.

Парень рванулся, вода, заклокотав, ударила в ведерное днище.

Семен Захарыч расшаркал всклокоченным веником лужи по бетонному полу. Выгреб золу из топки. Выпустил оставшуюся в котлах воду. Пересчитал вслух, тыкая пальцем, оставшиеся поленья, держа в руке грязный колунишко и размышляя, куда его запрятать. Натянул на облезлую голову старинный картуз. Вышел. На дверь повесил пудовый квадратный замок. Замок на ключ не запирался, Семен Захарыч перевязал его веревкой, внимательно запоминая конструкцию узла; взяв щепку, засунул оставшиеся кончики веревки в замочное отверстие и пошел.

За день выпал снег. Мягкий, сухой, пушистый.

Вечереет, площадка обезлюдела, только жирные, грязные паровозики суматошно носятся по путям, грубо расталкивая покорное стадо товарных вагонов. Обледенелый белый обломок луны примерз к ветвям одинокого взъерошенного дерева.

Несмотря на поздний час, Семен Захарыч в барак не пошел. Обдуманными, осторожными шажками он направился в темноту.

Последнее время Семен Захарыч стал особенно внимательно прислушиваться, когда речь заходила о хозрасчете. Семен Захарыч осторожно сказал Чалому, очень восторженному человеку:

— А что, Чалый, ежели я, скажем, на топливо режим наводить буду, учтут при расчете?

Вместо ответа Чалый стал энергично трясти руку Семена Захарыча, выражая свое бурное восхищение сознательностью Кочета.

И Кочет перешел на хозрасчет. Топливо, отпускаемое ему, он теперь не жег совсем, а жег щепки, обрезки досок со стройки. Семену Захарычу хозрасчет очень нравился, и отзывался он о нем теперь с большим уважением. Сейчас Семен Захарыч опять направился на стройку — пополнять запасы.

С тихим шорохом падает снег. Голубое пламя электросварки озаряет темные провалы цехов. Долговязые серые телеграфные столбы тянут вдаль медную лямку проводов.

Семен Захарыч, вспоминая, как он хорошо, солидно держал себя с парнем, улыбается, хлопает руками в варежках.

Сторож, сидящий в теплом огромном тулупе, зажав между колен холодную винтовку, поднялся навстречу Ко-

чету. Семен Захарыч вежливо поздоровался с ним за руку, поругал погоду и, покрякав, принялся собирать щепу и обрезки. Сторож, с трудом сгибаясь в тулупе, помогал ему, делая довольно резонные замечания относительно того, что в пожарном отношении очень опасно, когда всюду щепа, что оборони бог — искра; надо, где следует, поставить вопрос.

Говоруха, счастливо зажмурившись, нагнулся и громко хлебнул из пестрой фарфоровой чашки.

— Семен Захарыч, чаевничать с нами, — повернувшись к Кочету, сказал он.— Уж очень сегодня кипяточек свежий.

Взяв в обе руки поданную Говорухой чашку, Семен Захарыч стал в нее сердито дуть, морщась от теплого пара, приятно увлажнявшего лицо. Аким Говоруха смотрел на Кочета восторженно и нежно.

— Вот он, наш поилец,— торжественно кивая на Кочета, говорил он,— самый главный и есть.

Плотник «из гостей», высокий и сутуловатый, с лицом желтым и узкоскулым, вздыхая, сказал с угрюмой деловитостью:

— Вам что, человека такого имеете, а я вот в тридцать четвертом чуть всухомятку не сдохся.

— Верно,— с удовольствием захохотав, сказал Говоруха.— Всухомятку жить неудобно.

Кочет, шумно прихлебывая чай, старался сохранить вид спокойный и равнодушный. Но, чувствуя, что ему нужно что-нибудь сказать, проговорил с притворной сердитостью:

— Хотя бы кто чайник почистил, некрасиво.

В бараке гулко, ярко от электрических ламп. Несколько человек лежат на койках. Остальные, глухо позвякивая о стол алюминиевыми горячими кружками, пьют чай. На столе в тряпочках лежит хлеб, в бумажках — сахар. Фарфоровый маленький чайник прикрыт меховой шапкой.

Семен Захарыч сбросил с ног окаменевшие бахилки, влез на топчан и, согнувшись, стал распеленывать ноги.

Сняв портянки, он тщательно расправил их, встряхнув, развесил на перекладине топчана, потом опустил на пол босые ноги, раздумчиво почесал мохнатый кадык и вперил равнодушные глаза в даль барака. Так он мог сидеть час, два, три...

За окном сопел ветер, морозный воздух с сухим шоро-

хом оседал инеем на стеклах. А в бараке было тепло и по-домашнему уютно.

В такие часы сладкого, бездельного томления, если в барак приходил кто-нибудь с беседой или докладом, его встречали радушно и весело. Особенно доволен бывал Кочет, он бестолково суетился, шумно искал особо прочный табурет, вытирал его фуражкой, усаживая смущенного таким восторженным приемом докладчика, строго кричал на неторопившихся рабочих. Начиналась беседа. Кочет вначале только молча выражал одобрение; подняв брови, он оглядывал рабочих торжествующим взглядом, значительно кивал головой, подчеркивая таким видом особо важные, по его мнению, места доклада. Но потом он становился просто невыносим, перебивал, вмешивался, спорил, горячился.

Шипучий, сухой снег роится вокруг еще не погашенных фонарей. Семен Захарыч ходит по кубовой, заглядывая во все закоулки, и никак не может вспомнить, куда он прошлый раз запрятал колун. Кубовая заплесневела белым махровым инеем. Семену Захарычу холодно и зябко, он трет мокрый замерзший нос тыльной стороной ладони и сердится. Наконец колунишко нашелся. Семен Захарыч наколол щепы, уложил ее в печь, вынул из кармана припасенную бумагу, засунул ее под щепу; в ладонях, сложенных лодочкой, поднес зажженную спичку. По мере того как щепа разгоралась, Семен Захарыч горстями осторожно подбрасывал в печь уголь. Обледенелая печь постепенно теплела, курясь паром. Семен Захарыч выгреб из поддувала золу и понес ее на улицу, чтобы посыпать тропинку от кубовой к баракам. Он шел, подобно сеятелю, равномерно разбрасывая горстью золу из совка на обледенелую дорогу. Небо сбоку нежно светлело.

В бараке еще спали. Горел свет. Вялый, бледный, лишний, а погасишь — сырая полумгла еще хуже. К окнам примерзли блистающие листья невиданных растений. Они осыпаны искристыми блестками. Они сплетены в извивах, прекрасные и дикие разлапые листья. В бараке зябко и тускло. Надо вставать, а вставать неохота. Вот еще чуточку, ну немножечко.

В механической гулко клокочет гудок, клокочет долго и равнодушно. Дежурный по бараку принес в двух ведрах кипяток. Дежурный нарочно стучит сапогами, роняет табуретки и ворчит. Но все уже и так встают и протяжно улыбаются.

Семен Захарыч шагал по строительной площадке, степенный, сдержанный, жмурился от солнца и снега. Рабочие, торопясь в столовую, вежливо здоровались с ним. Кочет всякий раз снимал новую шапку и осторожно клал ее обратно на голову, не глядя на знакомца. Семен Захарыч любил здороваться. Здоровался он всегда с большим достоинством и удовольствием. Семен Захарыч шел в строительный партийный комитет по личному делу.

Дверь в партком приоткрылась, и в комнату вошел Семен Захарыч Кочет. В новой шапке с аккуратно подвязанными ушами. Под мышкой он держал какой-то сверток.

— А, товарищ Кочет, пожалуйте,— заулыбался секретарь.

— Вот, Тернер, рекомендую товарища Кочета, лучший кубовщик, знаешь. Часами его недавно премировали на культбытконференции. Дали вам уже часы, товарищ Кочет?

— Дали, вот за этим и пришел,— сказал Кочет, кладя на стол сверток и начиная его развертывать.— Часы-то дали, а от кого, за что — неизвестно,— обиженным голосом продолжал Кочет, вытаскивая из свертка новые ходики.

— Вам что же, грамоту хотелось?

— Нет, зачем же, напишите тут,— Кочет ткнул пальцем в циферблат часов,— что, дескать, от кого и за что.

— Написать — это можно,— сказал секретарь и придвинул к себе часы.

Кочет подумал, снял шапку, положил ее на стол и, вздохнув, сел рядом с Тернером.

— Знаете Тернера?— царапая пером по циферблату, спросил секретарь.

— Я этого товарища знаю,— сказал Кочет, не оглядываясь на Тернера,— хороший человек, нужный. Доклады в бараке делает на любой вопрос.

— Ну как, вы во всем с ним согласны?

— Да нет,— подумав, сказал Кочет,— вот он, к примеру, говорит, что мы на производстве нажимаем, а в бараке у нас худо, за собой не везде соблюдаем, значит. А вот у пас в бараке чисто, потому что у пас барак премированный, значит, нам такие слова не подходящи.

— Слышишь, что он говорит, Яков?— расхохотался секретарь.— Закультурился, говорит.

— Товарищ Кочет, вы меня не так поняли,— взволновался Тернер,— ведь я говорил...

— Ну вот, написал,— не дав ему договорить, сказал

секретарь,— слушай, товарищ Кочет: «Часы сии даны товарищу Кочету, кубовщику четвертого участка, в знак благодарности за хороший, самоотверженный труд, который в Советской стране служит делу пролетариата всего мира».

— Уж очень хорошо получилось,— моргая и багровея, сказал Кочет,— только вы и печать поставьте, чтобы было вполне.

— Печать? Да зачем тебе печать? Ну ладно, вот рядом комната Григорьева, спроси у него печать,— поторопился согласиться секретарь, видя, что глаза у Кочета стали тускнеть от огорчения.

Кочет взял часы, забрал со стула веревочку и материю, в которую они были завернуты, и, попрощавшись, сказал Тернеру степенно и радушно:

— Заходите, Яков Михайлович, просто так, чайку попить, очень рады будем. Всего вам хорошего.— И вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Товарищ Романчук,— сказал, войдя в комнату, техсекретарь,— там старик какой-то скандалит, чтобы я ему печать на ходики поставил, говорит, ты велел.

— Ну и поставь. Это Кочет, кубовщик Кочет, читал небось в газете, как его расписали?

— Так это и есть Кочет! Какой старик скандальный, а?— подивился секретарь и вышел.

— Ты ее лучше приплюснувай, — торжествующе говорил Кочет секретарю.— Сказано тебе было печать поставить,— значит, никаких делов, тебе уважать меня надо, а ты рвешь, экий ты, парень, неловкий; подожди рвать-то, пущай присохнет, поспеешь, мне самому некогда, вот надо чай идти греть ребятам, а я тут у вас прохлаждаюсь.

Завертывая часы в кусок сатина, Кочет дал его пощупать секретарю и хвастливо сказал:

— Не нонышней выделки матерь. Рубахой сколько носил, и теперь еще вот сгодилась.— Взял часы под мышку, простился и вышел.

Кубовую действительно пора было растапливать.

1932

КЛОП

Клоп тоже после своей смерти мстит своим запахом.

Г. Гейне

Комендант лежит на кровати, увенчанной никелированными дутиками. Басовое ворчание, хриплый клекот сотрясают своды шишковатого носа. Дыханье коменданта колеблет мирную тишину. На щеках коменданта, багровых и пышных, лежат усы, выкормленные розовым жиром щек, восхитительные смолистые усы, курчавые и мощные, как рога бугая (усы были такие прочные, что ими, казалось, можно было бодаться). В пегую от веснушек шею коменданта впился клоп. Клоп визжал, упиваясь пьянящей кровью...

Какой-то толчок, исходящий из недр подсознания, пробудил коменданта.

Комендант вынул из подушек голову, сел на кровати, вперив взор в рыжего кота. Один ус у коменданта прилип к щеке, исполосованной розовыми пролежнями, другой сурово и дико вонзился в пустоту. Кот, конфузясь пристального взгляда, мягко соскочил с постели на пол и, притворно деловито мурлыча, пошел нюхать комендантские сапоги, стоявшие у печки.

Когда комендант еще не был комендантом, а носил старые брюки в полоску да на испуганно настороженном лице тощие растрепанные усы, тогда он работал в комхозе уборщиком. Постылая обязанность для мужчины, тем более для умного, каким комендант себя считал. И он грустил.

Убирая коммунхозовские комнаты, он немного задерживался и, стоя с поганым ведром в руке, всякий раз говорил укоризненно, но сдержанно:

— Я, как представитель рабочего класса, не могу все на одном месте, без движения. Обратите ваше внимание, товарищ.

И его выдвинули комендантом бараков. Комендант быстро сориентировался на новой должности. Благодаря умелой постановке дела у него завелись даже кое-какие культурные накопления, главным образом по линии казенных простынь, одеял и наволочек. Но это не было нахальным грабежом общественного имущества. Просто летуны, удирая со строительной площадки, иногда оставляли спальные принадлежности. Комендант бестрепетной рукой списывал вещи и аккуратно их забирал, не забывая заклеймить негодяев позором.

Комендант к своим служебным обязанностям относился с уважением и любовью. Для полноты благополучия коменданту не хватало только супруги.

Жену он нашел. Это была уборщица Пелагея из барака № 31.

Белая пухлая шея Пелагеи, опоясанная стеклянными бусами, держала голову с маленьким круглым ртом. В нежной ложбинке возле маленького хрящеватого уха у Пелагеи темнела сморщенная коричневая родинка, похожая на изюминку. Когда инспекция коммунхоза, обследуя барак, убеждалась в невероятной грязи и вызывала Пелагею, она выходила к обследователям с оцепенелым лицом, рассеянно двумя пальцами трогала за ухом родинку, что делала во всех затруднительных случаях, и молчала.

Если говорят, что фигура девушки похожа на скрипку или на гитару, женщины — на виолончель, то про фигуру Пелагеи я сказал бы, что она походила на контрабас, в ее жизни даже была этакая басовая уверенная струна. А этого как раз и не хватало коменданту. Смутное беспокойство не покидало его, оно царапало и жгло. Пелагея прочностью телес и равнодушием ко всему внесла в жизнь коменданта необходимое успокоение.

Комендант жил медленно и вкусно. Служебные обязанности не обременяли его. Изредка комендант заходил в барак, насупившись, поправлял плечом ремешок нагана в желтой кобуре, мрачно глядя на носы своих валенок.

Он говорил старосте негромким, но достаточно слышным, серьезным голосом:

— Партийцы есть? Позови!

Неохотно собиравшимся рабочим, членам партии, он что-то говорил значительным шепотом. Остальные рабочие

напряженно прислушивались, но ничего в приглушенном урчанье комендантского голоса разобрать не могли.

— Ну что? — спрашивали они у партийцев, когда комендант уходил.

Но те только раздраженно махали руками:

— Кто его знает, что ему надо! Муру какую-то прет человек.

«Сказать не хотят, — думали некоторые. — Секретничают, да еще с кем — с комендантом!..»

И в бараке становилось тревожно и нехорошо.

Комендант сидит на кровати. Он никак не может решиться на какое-нибудь движение. Сладость сонного изнеможения не покидает его. Волосатая муха — мухи всегда волосатые — села на руку коменданта и стала лизать ее. Комендант смотрел на муху и ничего не думал. Муха слетела к окну и начала там порхать, весело чирикая. Муха с лету клюнула коменданта в веко, комендант очнулся. Лицо его стало озабоченным. Комендант поднялся, пошатываясь, стал надевать валенки. Надев валенки, комендант выпрямился с побагровевшим лицом.

— Ишь, черт, проспал, — проговорил он огорченно, тревожно взглядывая на часы.

— Я так и знала, сволочь этакая, — негодующе заявила супруга, появляясь в дверях, держа на своих громоздких бедрах кошелки с какой-то снедью.

Пройдя стремительно в комнату, комендантша остановилась, слегка поддерживая кошелки руками, уставясь ненавидящими глазами в сконфуженное лицо коменданта. Ее огромные, как стремена, серьги раскачивались в ушах.

— Ты что ж, подлец? — заговорила она внезапно рыдающим голосом, оседая на стул. — Я и в кооператив, я и к Семен Егорычу. А он даже примуса разжечь не хочет. Подожди, Ванька! — взвизгнула она. — Уйду я от тебя. А ты, черт... — Комендантша заморгала жирными веками, словно слизывая ими что-то с глаз, но не заплакала.

Комендант суетливо вынимал из-под мышек супруги пакеты и оправдывался:

— Я, Панечка, заснул маленько. Ты не сердись, золотко, а к Семен Егорычу я сам схожу.

— Нет! — встрепенулась комендантша. — К Семен Егорычу я пойду. Он меня как женщину уважает. А ты ему кто?

Отдохнув, комендантша принялась выгружать из корзины кули и кулечки. Наконец она выловила тяжелую скользкую литровую бутылку водки. Увидав водку, комендант отвернулся, почувствовав холодное сосание под ложечкой. Комендант не мог пить вина. От вина коменданта всегда тошнило. Такое уж было несчастное свойство его организма. Но пить вино было необходимо. Когда кто-нибудь из нужных людей заходил к коменданту, супруги встречали такого человека приветливо. Изнемогая от радушия, они усаживали смущенного человека за стол. И комендантша начинала потчевать гостя. Сколько гостеприимства и нежности, сколько веселых шуточек! Нет, нигде на строительстве не встретишь такого добродушия и приветливости, как у этого коменданта!

— Ну, одну маленькую, с морозца, товарищ,— говорила своим самым нежным голосом комендантша.— Что вы говорите, товарищ, сердце больное? Такой мужчина... и вдруг сердце!

— От одной рюмочки ничего не будет,— осклабив в приветливой улыбке крупные, как ногти, зубы, поддакивал комендант.— Под яишенку одну рюмочку, прямо аромат! — Комендант улыбался еще шире, еще обольстительнее, уже заранее чувствуя слабость в тоскующем желудке.

На столе появлялась яичница, нежно потрескивая коричневыми ломтиками колбасы, посыпанная зеленым луком, неописуемая яичница, зеленые прозрачные огурцы, просвечивающие белым семенем, всклокоченная кислая капуста, шибающая в нос, и, наконец, заиндевелая бутыль с какой-нибудь травкой внутри.

— За всеобщее благополучие и за дорогого гостя! — говорил бодрым тенорком комендант.

И все выпивали. Комендантша, сделав губы дудочкой, осторожно выливала водку в рот; поставив рюмку на стол, она испуганно таращила глаза на огурцы и тяжело дышала, словно подавилась своими выпуклыми глазами.

Гость, выпив, мотал головой и, торопливо отломив кусочек хлеба, нюхал его, морщась. Комендант выпивал свою рюмку смиренно, без всякого выражения. Потом процедура повторялась. Комендантша, заметив, что нос у ее супруга бледнел, а лицо становилось серьезным и встревоженным, вставала из-за стола, извинялась перед гостем и выводила застенчиво улыбающегося супруга на улицу. Поддерживаемый за холодный потный лоб мягкой

и теплой ладонью супруги, комендант раздирающе рычал. Слабый и потный, он потом долго сидел с серым лицом на крылечке барака и кушал снег.

В бараки прислали партию плевательниц. Они были сложены в кладовой коменданта эмалированными колоннами. Они были замечательны, эти маленькие, блестящие посудины с мраморными прожилинами и вогнутыми, как у абажура, крышечками. Комендант часто заходил в кладовую и, разворошив соломенную упаковку, вынимал эмалированного карапузика. С невыразимой нежностью он гладил ладонью крутые бока посудины, потом щелкал ногтем и прислушивался. Посудина звенела чисто и звонко. Комендант бережно плюнул в нее и улыбнулся. Сиреневые глаза коменданта покрылись влагой умиления и нежности.

И коменданту захотелось дерзать. Желания запылали в крови багровым пожаром. Взволнованный комендант не выдержал и запродал плевательницы на колхозном рынке (крышечки комендант выбросил). Посуду бодро и бойко расхватали. И было коменданту радостно, безмятежно и сладко.

И шли дни, и были они прекрасны и замечательны, как все дни, и, может быть, коменданту хотелось петь, как хочется петь человеку, впервые поднявшемуся в небо на самолете на непостижимую высоту.

Но был еще день, яркий, красивый, как нарисованный. Пылало пунцовое солнце, небо стекало на стеклянную скорлупу снега голубыми переливами, и деревья, покрытые махровым инеем, превратились в каменные коралловые кусты. Под ногами пронзительно щебетали льдинки.

К крыльцу комендантского дома подошли двое. Белобрысый милиционер в каракулевой, голубиного цвета папахе и юноша с бодро вздернутым носом. На бедре у него, под веселой телячьей курткой, топорщился наган. Это было его первое оперативное задание. Юноша шел и мечтал о том, каким он будет вежливым, обходительным и учтивым. Об этом ему долго и наставительно говорил начальник, товарищ Петров.

«Ну, Вася! Валяй и помни»,— сказал товарищ Петров и хлопнул его по плечу и улыбнулся, обнажая розовые десны младенчески беззубого рта. Зубы у Петрова выбили в гражданскую войну колодкой револьвера.

Когда они вошли, комендант пил со своей супругой чай.

Клубы душистого пара бушевали над чайником. Милиционер был застенчив, он поздоровался, засопел и встал у входа. Комендант засуетился и, умильно улыбаясь, от ужаса завилял задом, как сеттер.

— Допивайте, гражданин, чай,— сказал юноша. И, сняв шапку, сел и стал ждать. Но комендант не мог пить чая, его тошнило от такого чая.

И шли дни. Красивое солнце щедро наливало потоками красок нашу богатую землю. Оно звенело кончиками лучей о снежную корку, и перламутровые льдинки шевелились переливами. На строительстве вызревали голубые стволы бетонных колонн, деревянные футляры опалубки не успевали пожелтеть и покрыться шелудивой занозистой серостью, как их отдирали, и на бетонных колоннах оставался оттиск льнувшего к ним дерева,— так на осколках каменного угля остаются отпечатки доисторических папоротников.

Коменданта на четвертом участке понизили в должности. Он стал уборщиком. Постыдная для мужчины, а тем более для такого великолепного, как комендант, обязанность. Усы на его лице теперь тощие, встрепанные, супруга покинула его. До чего у нас иногда могут унизить человека!

1933

АКВАРЕЛИ

Спокойствие его заразительно.

Хочется говорить так же медленно и точно, как он. Так же супить брови и так же поправлять на столе разложенные бумаги.

Он подчинял себе.

Звонил телефон, приносили бумаги, входили взволнованные люди. Он говорил, выслушивал, подписывал, снова обращался ко мне.

Я собирал материал по истории Первой Конной.

Этот человек прошел в ее рядах все фронты. О подвигах его рассказывали удивительные истории.

Вот одна из них.

В районе оперировала крупная банда. Руководил ею ветеринарный фельдшер. Отрядом «крестьянского интернационала» называла себя эта банда.

Отправившись в банду один, он назвал себя делегатом, потребовал созвать митинг. На митинге он прочел приговор, вынесенный главарю банды за грабежи и убийства. И тут же, обернувшись, застрелил фельдшера из нагана.

Он был рядовым конником, и путь его от бойца до председателя райисполкома — путь труда, упрямой учебы.

Его избрали членом ЦИКа.

Он охотно рассказывал все, что относилось к Первой Конной. Он говорил:

— Вам важно понять общий дух бойцов и обстановку. Обо мне неинтересно.— И с увлечением начинал рассказывать о Городовикове.

Спокойная уверенность этого человека, его сдержанность убивали мои чаяния узнать о нем что-нибудь подробнее. Я расспрашивал о его работе как руководителя района. Он показывал цифры, выкладки, объяснял их.

Я с восторгом говорил ему о том, как поразил меня их город. Я думал попасть в задрипанное захолустье, а тут, представьте, улица, отороченная новенькими каменными панелями. Аллеи взрослых деревьев. А дома! Накрахмаленные цементом, с чешуйчатыми крышами. Многоэтажные дома с итальянскими окнами, похожими на лоджии. Когда я шел с вокзала, в этих окнах светились махровые абажуры, огромные, как чаши виктории-регии, редкостное цветение которой я видел в мерцающем пруду ботанического сада и запомнил на всю жизнь.

Сосредоточенная деловитость сквозила у него во всем.

Спрашивая о новых книгах, он осведомлялся о цене, прикидывая в голове библиотечные лимиты.

В кино любил хронику.

На кирпичном заводе он добился производства керамики.

— У нас печи кафельные любят,— признался он почему-то виновато,— неплохо что-нибудь придумать с сюжетом или что-нибудь с картинками, декоративное.

В общем, я так ничего и не узнал о самом председателе райисполкома. Не пускал он меня в свой душевный мир. И кажется, не особенно обиделся бы, если б я сказал ему, что думаю о нем как о прекрасно дисциплинированном руководителе, но таком, которому все сверх сметы чуждо и непонятно.

Вечером я уезжал, зашел проститься к нему домой, мне сказали, что он будет через двадцать минут. Я сел и стал ждать. Взгляд мой упал на стол, там я увидел в сером картонном переплете тетрадь для рисования. От скуки я раскрыл ее. И чем дальше листал, тем больше переполнялся удивлением.

На шершавой бумаге я нашел рисунки акварельными красками. Неумелость, незнание перспективы сочетались в них с восторженной, фантастической смелостью. Поднимались чудесные здания со стремительными кровлями, которые увлекали их ввысь.

В бетонных берегах плыла река и наверху было написано: «Ссыпной пункт». Портиками и нишами оживленный фасад являл собой образец изящной, легкой архитектуры.

Вот уголок сада. Клумбы пышные, как торт, с детально выполненным орнаментом.

Киоски, похожие на беседки в стекле. А вот точная копия водной станции, фасад музея искусств. Вот люстры, как букет тюльпанов.

— Простите!

Председатель райисполкома стоял передо мной. Вежливо взяв тетрадь из моих рук, он повторил:

— Простите...

Я спросил удивленно:

— Ваше это?

Он закурил и молча сунул тетрадь под газеты.

Мы поговорили еще немного. Он не торопил, но часто поглядывал на часы.

Я встал и стал прощаться. Уже в коридоре я снова спросил:

— Все-таки чьи же это рисунки?

— Ну, я малевал,— признался председатель.— Так, баловство... Озеленяли город, а садовники без эскизов не могли. Художников нет. Ну, я в Москве на съезде был, купил альбом и краски за тридцать пять копеек и, сидя на сквере, прикинул, так сказать, общую схему.

— А здания?

— А здания — это вообще может пригодиться. Район у нас богатый, ждем увеличения ссуд на общее капитальное строительство.

— А раньше вы не рисовали?

— Нет, никогда.

Мы прощались. Я спросил, не нужно ли ему что в Москве.

— В Москве? Нет, ничего не нужно. Если будет время, картинок каких-нибудь пришлите, может, у художников попросите, нам для изразцов на печи. Да едва ли художники дадут, масштаб незначительный...

Я ехал. Вагон сотрясало. Мелькнул город и исчез. Мы мчались степью, бесконечной, как океан. Я видел склоненную голову председателя, озаренную зеленым светом абажура, раскрытую тетрадь для рисования и видел здания — приподнятые, стеклянные, воздушные...

1933

ДЕВЯТОЕ ЗНАМЯ

Нет ничего великолепней славы. Нет ничего восхитительней ее прикосновения. Но слава терзает и тревожит. И самые беспокойные люди — это те, кто видит свой путь, озаренный ее дивным светом, те, кого коснулась она.

От Краснодара до Ростова, от Ставрополя до Темрюка, от Кубани до Мапыча с вдумчивым почтением произносят люди, понимающие в работе, имя славного бригадира колхоза «Вторая пятилетка» Самаря.

Солнце делало на земле весну, оно тужилось и накалялось. И деревья протягивали к нему свои теплые розовые ветви. В кудлатой траве ползали крохотные жуки в киверах из синего металла и суставчатые муравьи в вороненых доспехах; малюсенькие пауки сучили незримую пряжу, и, плавая в нежном ветре, она прилипала к лицу.

А если сковырнуть высохшую навозную плюху, то под ней забегает и закопошится целый мир.

На почерневшем куске кукурузного початка, похожего на обломок пчелиной соты, сидела ранняя бабочка и трепетала белыми яблочными крыльями.

Самарь ходил по массиву и щупал землю. Он был один в степи. Для него одного туго выгнулось голубое глянцевитое небо, для него лились сладострастные песни жаворонков.

С писком лезла трава из земли, и ветер дул в камышовые трубочки, высвистывая небылицы о странах, в которых он побывал.

Но Самарь был деловит и равнодушен. Он мял в горсти землю и нюхал ее. И земля пахла.

Восемь знамен, восемь алых полотнищ с торжественными буквами, получил Самарь за четыре года своей работы бригадиром. Но желания человека безмерны. И Самарь

хотел завоевать девятое знамя — знамя политотдела, в золотой бахроме, с вишневыми кистями.

На юру, чисто подметенном ветром, возвышался стан колхоза «Вторая пятилетка». Две новые хаты с камышовыми крышами, нарядно подстриженными в скобку, вмещали хозяйство бригады.

Самарь обходил это хозяйство с вдумчивым сердитым лицом ответственного человека. За ним шли тревожной свитой звеньевые и конюхи. В конюшне Самарь нюхал и ворошил корма, щупал у лошадей зажившие болячки, растирал в ладонях свежий навоз, чтоб знать, впрок ли идут лошади корма.

Потом, такой же безмолвный и мрачный, прошел в конский гардероб, где на стойках и крюках из коровьего рога висела лошадиная амуниция. В красном уголке он приказал прибавить боевых лозунгов на стенах, отвязать карандаши и книги от столов, сказав, что такого подлого недоверия к колхозной совести он не позволит. И книги и карандаши тут же с поспешной радостью освободили от гнусной привязи.

Оглядев инвентарь, он зашел полюбоваться камышовой уборной и отозвался о ней положительно.

Потом долго пытал кухарку, чем и как она будет потчевать его производственников. Кухарка — багровая, свежая баба — застыдилась и начала сыпать такой скороговоркой, что Самарь, сделав болезненное лицо, махнул рукой и только попросил, чтоб не заводила любовников до конца сева.

Собрав всю бригаду к деревянной, ноздреватой, словно древний саркофаг, колоде, Самарь стал произносить речь.

— Товарищи производственники,— сказал Самарь,— богато я не умею балакать. Грамотные люди — тее политику знають. А я ничего не знаю, и оттого дюже стыдно мне на старости лет. Взял я вас до себя, людей самых твердых, и думаю: что́ с нас партия спрашивает — все сделаем в срок. Оглядел я наш стан веселым глазом и скажу: ничего не нужно лучше! Наша партия обрисовала всю постановку жизни, и сказала она... Чого она сказала? Чтоб колхозник стал зажиточным. А чого для этого нужно? Для этого нужно робить честно. Так будем же робить, товарищи. Робить так, чтоб аж пыль шла.

Просыпаясь, вздохнуло утро. Закивали белокурыми чубами камыши, здороваясь со знакомыми крячками. А го-

лые лягушки, продрогнув за ночь, пошли укладываться спать в теплую тину. Все зарозовело, зашевелилось.

Первым в стане продрал очи Трохим Божко. Просыпался он обычно медленно, важно. Сначала вздыхал, не разлипая глаз, вздыхал всем нутром, мучительно и сладостно. Потом начинал чесаться — не потому, что его что-нибудь беспокоило, а чтобы этим шевелением вызвать тягу к жизни. Потом он смотрел теплыми счастливыми глазами на затылок своей супруги, приподнявшись на локте, с веселой усмешкой дул ей в ухо.

Супруга просыпалась и, обозвав его кабаном, клала голову на его руку. Так они лежали еще с полчаса. Потом супруга вставала и готовила чай. Трохим, передвинувшись на нагретое ею место, снова засыпал. Просыпался он уже окончательно, почувствовав, как кто-то бьет его по голове тяжелым. Но его никто не бил по голове. Это просто петух, забредя в пустую хату, ходил по нему и клевал во что придется в поисках съестного.

Трохим прогонял петуха и снова засыпал. И когда бригадир Самарь приходил будить Трохима Божко на работу, он нигде не мог его найти: Трохим предусмотрительно прятался под кроватью и лежал там па кожухе, стараясь не дышать.

Но так было раньше. И не стоит терзать Трохима напоминанием о его постыдном прошлом.

А сегодня Трохим проснулся первым, пошел в конюшню, поговорил там со своим конем. Потом опробовал бункер, потуже прижал ключом гайки к жирному железу и отправился умываться, чтобы изумлять всех своим бодрым видом.

Бригада вышла на массив. Все увидели перед собою покорно распростертую степь, необозримую, прижатую с боков краями прохладного зеленого неба.

На крыше стана развевалось, трепеща розовыми журавлиными крыльями, восемь знамен. Они напоминали бригаде о девятом, еще не завоеванном.

В первой борозде пошел Самарь. Он клал сырые плахи земли в переворот так, что гряда заходила на гряду. Он показывал всем красивое мастерство качественной вспашки.

Четыре дня работала бригада Самаря. Четыре раза поворачивалась земля, подставляя то один, то другой морщинистый бок солнцу.

На пятый день, когда небо стало мрачнеть сумраком

и стала наступать неотвратимая ночь, бригада Самаря выполнила сев на 85 процентов. Оставалось каких-то 15 процентов. Зыбкая стеночка отделяла бригаду от заветного знамени.

Посоветовавшись с бригадой, Самарь решил закончить сев в ночь.

Синие, чисто вымытые звезды сверкали, но луны еще не было, она вызревала где-то в темных глубинах.

— Товарищи! — сказал Самарь.— Будем пахать с фонарями. Остальные колхозы — те дня через два луной будут пользоваться, но мы, как передовые, не должны рассчитывать на игру природы.

И все с ним согласились.

И еще сказал Самарь, обращаясь к своей бригаде, что лет ему много, и простуженный мозг в его костях отравляет его тело непереносимой болью, и, может, это есть его последняя пахота. Потому он просит дорогих производственников выполнить ее так, чтоб, вспоминая ее, он имел счастливую старость.

Черный ветер ночи задувал фонари. Но люди терпеливо переносили озорство ветра и зажигали их вновь.

Чтобы не думать о сладком сне, Трохим Божко орал песню, раздражая лошадей испорченным голосом.

В жизни Трохима было две ночи, когда он не спал. Первую ночь он простоял, безмолвный, у плетня, держа теплую руку своей будущей супруги. Второй была эта ночь.

С краю посветлевшего неба стало всплывать пунцовое солнце. Бригада Самаря покончила с севом. Усталые люди счастливо ухмылялись. Они требовали от Самаря, чтобы он сейчас же сел за составление рапорта, и подсказывали ему хвастливые, звонкие слова, которым он и сам давно выучился.

Но Самарь без проверки качества ночной пахоты не хотел составлять акта.

Он взял с собой звеньевых и пошел оглядеть массив.

И то, что увидел Самарь, заставило его сердце похолодеть от негодования.

На участке Федора Копья — могучего мужика с тихими голубыми глазами — он нашел четыре огреха. Четыре печальных островка, обойденные споткнувшимся плугом!

— Опозорили вы меня на веки вечные,— сказал взволнованным шепотом Самарь.— И пускай это горькое пятно останется до приезда нашего начальника политотдела това-

рица Борисенко. Пускай он меня и всех вас заклеймит невыносимым позором.

Звеньевые, тоскуя, стали умолять Самаря позволить им стереть эти позорные пятна, вспахать их.

Но Самарь не хотел давать пощады своему самолюбию. Он был непоколебим.

Тогда к Самарю подошел красный партизан Давид Тырса:

— Самарь,— сказал он,— я людей убивал,— и ударил себя в грудь кулаком.— Не упрямься, старый черт!

Но Самарь упрямился.

Огорченные люди пошли спать, чтобы видеть во сне дурные сны. На своих старческих ногах пошел с ними и Самарь.

Он никак не мог уснуть. Закутывал голову тулупом, хмурился так, что болели веки, но сон не брал его разгоряченный мозг.

Долго терзался так Самарь. Потом не выдержал, вышел из спящего стана, таясь от людей, взял лопату и пошел в тихую степь. Найдя четыре подлых огреха, он срыл их с лица земли. Постоял, улыбнулся тихой улыбкой, поглядел на летящих самолетным звеном журавлей и пошел спать.

1933

ДОЖДЬ

По степи шел дождь. Шел дождь — серый, тощий, длинный.

Шел и покачивался.

Степь была большая и плоская, и где бы ни проходил дождь, за ним ползли лужи.

Дождь был похож на утопленника, мокрый и холодный.

Мокла стриженая степь. Мокли снопы, сложенные в крестцах.

Если разворошить эти соломенные шалаши, запахнет теплой гнилью. А на нижних снопах увидишь белый налет плесени.

Много дней льет серая вода. И хлеб начинает гнить заживо.

Долговязый дождь все ходит по степи, и за ним покорно ползают жирные лужи.

Начальник политотдела еще вчера выехал в дальние колхозы. Положение угрожающее.

Сейчас в политотделе находится лишь помполит Борис Шелестов. Он только что приехал из Демьяновского колхоза, весь промок. Борис ходит в одних носках по пустым комнатам политотдела и тоскливо косится в окно.

Стекла окна, будто растворившиеся от потоков дождя, текли вниз, в грязь и сырость.

Сапоги Бориса, забравшись на печку, нахохлились. Греются там и сохнут.

Два дня тому назад Шелестов получил письмо от Тоси. Тося писала ему снисходительно и нежно.

«Глупый, ведь я люблю тебя,— писала Тося.— А ты подумал! Я сдала зачеты и выезжаю к тебе. Кстати, заеду к отцу, он работает где-то рядом. Прибери у себя в комнате

(мусор, наверное, лопатой будешь выгребать) и побрейся. Конечно, целую. Тося».

Борис проводит ладонью по щеке и восторженно улыбается.

Он шел по Тверской с Тосей.

На улице по радио исполнялась бравурная симфония.

Милиционер в белых перчатках, казалось, дирижировал улицей. Пиликая смычками, шлп трамваи. Гнусаво саксофонили автомобильные рожки. Вожатый бил в тарелки. Мотоцикл грохотал кастаньетами, а провода пели арфой.

— Ты мне все лицо своей щетиной поцарапал,— говорила Тося, счастливо улыбаясь.— Шел ко мне, неужели не мог побриться? Ты просто не думал обо мне. Ведь верно — не думал? — И Тося заглядывала смеющимися глазами ему в лицо.

Борис вынул письмо, посмотрел, потом понюхал. Письмо пахло бумагой.

— Иде помполит, иде он? — спрашивал тревожно срывающимся голосом председатель колхоза «Борец» Сурков. Он был мокрый и тяжело дышал, словно только что вынырнул из реки.

Сторожиха ткнула в дверь грязным букетом веника.

— Тута он. Ноги вытри сначала, чумовой. Убирай за вами.

— Товарищ Шелестов,— бормотал Сурков, задыхаясь,— мужики хлеб растаскивают. Настоящий караул, берите револьвер, и едемте.— Сурков схватился за голову и застонал.

Борис, надуваясь и багровея, натягивал засохшие сапоги.

Брюхатая лошадь стояла у крыльца под седлом и мокла. Кавалерийское седло красило лошадь. Но лошадь стыдилась своего обвислого, деревенского брюха и старалась поджимать его. А пузо все-такп обвисало.

Борис поймал ногой стремя и сел, ерзая, расправил пальто. Он еще не овладел искусством верховой езды, и штаны его прилипали к болячкам.

Сурков, падая животом на своего горбоносого меринка, моляще бормотал:

— Поспешаем, товарищ Шелестов, поспешаем,— и бил в пах лошади каблуками.

Темные придорожные деревья с взъерошенными перьями листвы знобило. Струи дождя, отгибаемые ветром,

текли наискось. Лошади скользили, растопырив ноги. Густо заквашенная грязь изможденно колыхалась и чавкала. Комья грязи слетали с копыт, нарастая на спине тяжелым пластом.

Первого увидели старика Володю. Он тащил снопы в обнимку, кряхтя, и лицо его было счастливым. Один глаз у него кроваво воспалился — попала щетинка с колоса. Но старуха вылизала ее из глаза. Увидев Шелестова, старик хотел броситься в сторону. Борис сказал коротко:

— Неси обратно.

— Несу, несу,— поспешно согласился старик Володя и побежал назад, спотыкаясь.

Борис снял кепку, чтоб остыть и успокоиться.

Несколько телег стояли, уже нагруженные хлебом. Караульщик, вытирая рукавом с разбитого лица кровь, сидел на снопе и плакал.

— Привет колхозничкам,— сказал Борис скучающим голосом, осаживая лошадь.

Борис слез с лошади, похлопав ее по шее, подошел к телеге. Спросил:

— Это ты себе наложил, Петухов? Много что-то. Ты шесть трудодней, как лодырь, имеешь.— Потом, отряхивая руки, подошел к другой телеге.— А это ты себе набрал, Никитин? У тебя двести сорок трудодней. Что ж ты себя обделяешь?

Никитин, маленький, коренастый, сконфуженно затоптался.

— Вы что ж, поровну делите, а кто как работал — не важно? — спросил Борис.

— Нет, зачем же,— выступил Никитин.— Мы поровну не желаем. Мы только хлеб спасаем. Изгадила его погода. Мы его по избам посушим, а раздел потом, чтоб не погнил хлебушко.

— В избе сушить,— кроме соломы, ничего от вашего хлеба не останется. Вы что ж, к нему караульщиков поставите?

— Ладно, только сгниет хлеб, тогда и совсем ничего не будет.— И колхозники стали обиженно разгружать телеги.

Борис видел, как поглядывают на него люди, ехидно, насмешливо.

— Вот что, товарищи,— сказал Борис, стараясь придать голосу больше равнодушного спокойствия.— Сейчас все до единого становитесь на разборку крестцов. Сере-

динные сухие снопы складывайте в скирды, а мокрые в сторону. С сушилкой я улажу.

Борис отошел к лошади и стал застегивать подпругу. Лошадь вздрагивала и, ежась, косила на него добрым глазом.

Куда же девать хлеб? Если б можно было на скорую руку навесы соорудить. Тесу нет. А все, что можно было использовать, использовано. Остается только одно — сараи кирпичного завода.

Но тут была загвоздка.

Директор кирпичного завода попросил весной три трактора для ликвидации пробки на заводе: в весеннюю грязь лошади не успевали увозить кирпич. Тракторы дали, а директор вместо двух дней задержал их на пять.

Борис пришел на завод. Директор вышел к нему, болезненно морщась и виновато улыбаясь. Его мучил приступ ревматизма. Он был в валенках, хотя на улице стояла жара, и казалось, он топал по полу не валенками, а распухшими сизыми ногами.

Борис резко сказал:

— Таких людей, как вы, нужно гнать из партии.

Директор выразил сожаление, что политотдел не смог послать к нему более умного человека. Борис напомнил, что он помполит.

— Очень жаль. Очень жаль! — ответил директор и ушел, не желая больше разговаривать.

Встречаясь потом с директором, Борис презрительно отворачивался, считая его делягой.

— Слушай, Сурков, а если на кирпичном заводе в сараях сложить?

Сурков грустно посмотрел на свои сапоги, залепленные мокрой грязью.

— Не выйдет, они ж на нас зуб имеют.

— А мы его, как члена партии, заставить можем.

— Это конечно,— согласился Сурков.— Только он своего дела хозяин и за свое дело ответчик, а мы за свое.

— Я тебе записку напишу.

— Официальную ежели,— оживился Сурков.

— Официальную.

Борис стал искать у себя по карманам бумагу, но, кроме Тосиного письма, ничего не было. Раздумчиво повертев в руках письмо, он решительно положил его на седло, перечеркнул Тосино послание, а на обратной стороне стал писать:

«Директору кирпичного завода 47
тов. Буракову.
Политотдел Сашинского района.

Настоящим прошу Вас предоставить навесы вверенного Вам завода для просушки хлеба колхоза «Борец».

Помполит *Шелестов.*

В случае отказа буду говорить по прямому проводу с райкомом».

Сурков вскарабкался на горбоносого мерина и, пряча письмо в шапку, заявил: «Ну, я скоком». И помчался, высоко вскидывая локти.

Борис ходил по жнитву, и желтая вода пенилась и чмокала. По небу ползли напитанные грязью тучи, а за ними по земле волоклись тени — тоже грязные и сырые. Все было заштриховано косым серым дождем. На дозорной вышке сидела ворона и каркала. Борис глядел на бурую дорогу — бугристую реку грязи. А что, если навесы кирпичного завода заняты готовой продукцией и директор откажет? Хлеб девать некуда. Свободных помещений нет. Сушить хлеб «домашним способом» по избам — это значит обречь его на расхищение. Оставить в поле нельзя — сгниет. По колхозу гуляют кулацкие наущения: «Теперь тот умен, кто про себя да про свою семью думает. Сгниет хлеб, спасай, кто сколько может». Нет, ждать нельзя. Единственное, что остается, использовать клуб и избу, в которой живет он и начполит.

С этим решением Борис сел на лошадь. «Буду в политотделе»,— сказал он бригадиру.

Вызвав избача, Борис предупредил, чтоб на всякий случай приготовился. Избач сокрушенно заахал и стал выносить все из клуба. Дома Шелестов печально оглядел стены, оклеенные веселыми обоями,— он так заботливо готовился к приему Тоси! Этажерка с книгами, столик, зеленая лампа, похожая на вазу, и коврик с нарисованной легавой собакой — все это теперь нужно унести.

В комнате начполита ничего не было, кроме кровати, прикрытой серым одеялом, да пустой кринки из-под молока, стоявшей на табуретке возле кровати.

Борис позвал плотника, и тот стал налаживать полати для хлеба. Потом плотник вынул раму и начал выводить

деревянные трубы для вытяжки. В комнату ворвался дрожащий ливень, стало мрачно и холодно, пахло сосновыми стружками и сыростью.

«Вот и встретил Тосю! — тосковал Борис.— Лучше бы уж она не приезжала».

— Наладил,— сообщил с радостным довольством плотник.— Чисто, как в бане, стало.— И высморкался в фартук.

Послышался чавкающий топот копыт.

Борис вышел на крыльцо. Сурков свалился с лошади, как с печки. Обдирая ноги о скребок, проговорил, сдержанно ухмыляясь:

— А здря мы страдание душевное принимали. Без нас директор распоряжение отдал, чтоб кирпич из-под навеса убрали. Вчера, говорит, хлеб ждал. Очерь серьезный мужик оказался. Вот тебе ответный документ.

«Помполиту Б. Шелестову.
Директор кирпичного завода 47 Бураков.
Настоящим предлагаю явиться ко мне в
8 часов вечера для переговоров о хлебе
и прочем. Прошу быть бритым.

Бураков».

Борис скомкал бумажку. «Еще издевается»,— пробормотал он обиженно.

К восьми часам вечера Шелестов подъехал к кирпичному заводу. Дождь все кропил уныло. Луна выскальзывала из пенных туч бледным обмылком.

Забрызганный грязью и утомленный, еле перебирая натруженными седлом ногами, Борис вошел в контору. Директора не было. Ему сказали — директор ждет дома.

Дверь окрыла маленькая, опрятная старушка. Борис не стал раздеваться, стараясь показать этим, что он пришел за делом и ему некогда. Не снимая кепку, он прошел в комнату.

За самоваром сидела Тося и улыбалась.

Директор захихикал, потирая руки:

— Проходите, молодой человек, проходите. Вы, кажется, знакомы?

Борис стоял в двери, как в раме, держась за косяк, и все у него плыло в глазах, и он улыбался глупо и счастливо...

В политотдел он пришел поздно ночью. Начальник набросился на него:

— Ты что, сдурел? Приехал я усталый, замерз, а тут все комнаты выстужены. А потом эти идиотские полати. Колхозников за кровати агитируем, а ты черт знает что затеял.

Но Борис только хохотал и лез обниматься.

Дождь ходил всю ночь, спотыкаясь в темноте и падая. Ходил и всхлипывал. Ему было страшно одному в пустынной черной степи.

1934

КАША

В тридцати километрах от города наступали банды Мамонтова. На оружейном заводе меньшевистские агитаторы уговаривали рабочих бросить работу. Они обещали белый пуховый хлеб от генерала Деникина.

Партийный комитет предложил нам разучить революционную пьесу, чтобы дать отпор контрреволюционным агитаторам.

Мы собрались в пустом хлебном ларьке, где помещалась ячейка. Мы спорили и горячились, рассыпая на колени крупную, как опилки, махорку.

Мы распределяли роли, и каждому хотелось играть главную.

Тряпичный язык светильника высасывал последние капли касторки, чадя и потрескивая. А мы всё спорили.

И тогда встал наш председатель ячейки Федор Хрулев. Встал — и на стене появилась огромная тень.

— Ребята! — сказал Федор Хрулёв.— Вы здесь каждый за себя уже говорили, и нет конца нашим разговорам. А враг волком бродит в тридцати километрах. Скажу я как председатель нашего большевистского коллектива: комиссара будет играть Мотька Сизов за свою дисциплину и за своего отца, убитого на фронте, остальные — как распределены вначале. Суфлером буду я. А теперь айда-те все на Щегловскую засеку.

Небо вздрагивало от гула далекой канонады.

Нам хотелось есть. Уже четвертый месяц мы жили натощак.

В Щегловской засеке рыли окопы. Мотька Сизов, усевшись на бревна, прижимая к груди гармонь, играл любимый нами марш «Старые друзья». Изредка он прерывал

игру, чтоб сунуть отмороженные руки под рубаху и отогреть их на голом животе.

— Ребята,— дрожащим, скорбным голосом просил Мотька,— дайте покопать, заиндевел я весь.

И кто-то торопливо и тихо уговаривал его:

— Нельзя, Моть, ты для энтузиазма поставлен, а ты — копать. Нельзя!

— Заиндевел, мочи нет.

И опять рыдающая гармонь выплакивала нехитрые звуки марша «Старые друзья».

К нам пришел бывший полковник Вербицкий, сизый старикашка с лягушечьей, без подбородка, челюстью, надменный и важный. Потер ногу об ногу, снял калоши, поднялся на сцену и сказал голосом, в котором дребезжали негодование и обида:

— Прошу слушать, иначе к чертям! За такой же паек я преподаю баллистику и тактику и только из любви к искусству — здесь. Лишние, марш со сцены!

Он кричал на нас, топал ногами.

— Вы, судари, понять должны,— он наливался трупной синевой,— искусство — это самое сущное человеческого бытия, а вы, вы... — и плевался.

Мы слушали его почтительно и жадно.

Иногда он декламировал сам, и в дряхлом голосе его звучала незнакомая нежность.

С нами он был брезглив и груб, с девушками торжественно вежлив.

Когда говорил с Таней, он брал ее руку и гладил своей. Таня стыдилась и краснела.

Мы все исподтишка любили Таню и, робея, любовались ее лицом. Оно было как ладонь, поднесенная к свету, прозрачное и нежное. Мы тоскливо завидовали Мотьке — ему по ходу пьесы полагалось целовать Таню.

Пьесу мы разучили быстро. На генеральную репетицию пригласили членов горкома и секретаря партийного комитета. Волнение терзало нас. Мы боялись забыть возвышенные и горделивые слова, которыми разговаривали на сцене. Волновался и Вербицкий. Вздрагивая, он пил валерьянку, закусывал мятными лепешками. Мы заслужили шумные похвалы и одобрения. И тут же было решено выехать на следующий день в деревню.

Голубое сиянье ширяло по небу, порхали пернатые снежинки. Мы напихали себе под одежду и в сапоги сена и, завернувшись в декорации, лежали на санях. Один только

Вербицкий сидел, как в печке, в бараньем тулупе. На дорогу дали по полфунта мерзлого хлеба, и мы его съели тут же. От холодного хлеба ломило зубы.

С нами ехал секретарь райкома Карпов. На нем желтая, растрепанная, как больничный халат, шинель и солдатские ботинки, из которых торчала бумага, навернутая для тепла. Карпов мерз, он часто соскакивал с саней и бежал сзади. Бежал, смешно припрыгивая, и полы его шинели развевались, как крылья.

— Вы, ребята,— говорил Карпов, с размаху падая к нам в сани,— винтовки под одежду спрячьте: промерзнут и откажут.

В деревне нам предоставили помещение Народного дома.

Мы расставляли скамьи и декорации. Мы и не думали о еде. Мы хотели перехитрить свои тоскующие желудки. Зал уже нагрелся человеческим теплом и гудел голосами. На эстраду вышел Карпов и стал говорить о фронте. Мы сели гримироваться. От приторного и жирного запаха грима нас подташнивало. Хрулев не выдержал. Он отломил кусок розового грима и стал жевать его. Голод мучил нас, но просить хлеба мы не хотели. Мы не хотели, чтобы кто-нибудь смел подумать, что мы приехали отъедаться в сытую деревню, и пили воду, чтобы унять томящее сосание в желудке.

— Робею я, товарищ Вербицкий,— вздрагивая вялой губой, сказал Сизов, герой нашей пьесы.

— А вы валерьяночки,— встревоженно зашептал Вербицкий,— непременно валерьяночки,— и стал ронять дрожащие капли в кружку.

Раздвинулся занавес, и зрители зашептали в восхищении. Они были поражены неожиданным праздником.

Мы должны были отыскать извилистый путь к сердцам этих людей. Озаренные волнением, мы забыли о робости и страхе и стали жить страстями своих героев.

Действие происходило в избе. По ходу пьесы на сцене нам нужно было есть кашу. Обычно мы хлебали из пустого горшка, чавкая и грустно вздыхая. Но тут председатель сельсовета, движимый щедростью и желанием, чтобы артисты сыграли пожизненнее, прислал целый горшок дымящейся, горячей каши. Ее принесли нам на сцену и поставили на стол. Душистый хлебный дух наполнил нас расслабленной истомой. Мы с благодарной яростью принялись пожирать кашу. Грим стекал с наших разгоряченных лиц;

мы уплетали кашу, торопясь и обжигаясь. Публика стала аплодировать, признав в этом мастерскую игру.

Почти вся труппа была на сцене. Только Вербицкий оставался за кулисами. Но и он вышел на сцену, морщась и кротко, бессмысленно улыбаясь, и стал пожирать кашу, стеная от нетерпения. Остался один только суфлер Федя Хрулев. Один только он не участвовал в этом пиршестве. Измученный могучим духом каши, он зашептал просительно и отчаянно:

— Кончайте жрать! Слышите, сволочи? — и стал выкарабкиваться на сцену.

Карпов, делая нам отчаянные знаки за кулисами, полез под сцену. Он успел схватить Хрулева за ногу и втянул его обратно. Скорчившись в темноте, негодуя, он стал его уговаривать. Мы тоже опомнились и не стали больше есть. Мы вошли в свои роли, терзаясь своей подлостью. Горшок с остатками каши Вербицкий унес за сцену и там один доел ее до конца.

Пьесу мы закончили с большим подъемом. Все встали и спели «Интернационал». И тут же нам было подано из публики тридцать заявлений о желании идти на фронт.

1934

ЛУННАЯ НОЧЬ

Объезжая бригады, я заблудился в степи. Блуждая в камышах, измучил лошадь. Лошадь хромала и, оглядываясь, просила отдыха.

Я решил ждать рассвета.

В небе копошились звезды. Все было озарено ровным голубым пламенем неба. Огромная тишина лежала в степи. Нигде я не видел столько невозмутимого покоя.

В земле напрягались разбухающие зерна, выталкивая зеленые побеги.

Я слез с седла, вынул краюху хлеба и стал есть, глядя на звезды. Лошадь подошла ко мне, втягивая воздух, всхрапнула: она тоже хотела есть.

Я разломил хлеб и отдал ей половину.

Слизав крошки с ладони, лошадь благодарно мотнула головой и пошла нюхать несъедобные, костлявые камыши.

Я был одинок под этим громадным прозрачным небом.

Где-то далеко заржала лошадь. Я крикнул. Через некоторое время ко мне подъехал облитый лунным светом всадник.

Это был участковый милиционер Мануйлов. Он сидел на коренастой косоглазой лошади. Шерсть ее курчавилась и свисала с брюха прядями. Поперек седла лежала большая собака. Собака лежала молча и неподвижно, шея ее была замотана влажным тряпьем, пахнувшим кровью.

Собака глядела на меня умными, страдающими глазами.

— Порезали Степку,— сказал Мануйлов, не отвечая на мое приветствие, и стал свистеть лошади, утомленно дышавшей и потной.— Порезали геройскую собаку,— повторил он,— кровью истекает. Прямо ножом в горло. Отдохнуть ей от тряски надо.— И Мануйлов, взяв собаку на руки, положил ее на траву.

Собака дрожала. Мануйлов снял френч и накрыл ее.

— Текёт кровь, все текёт,— бормотал он, разглядывая свои пальцы.— К доктору везу ее, в станицу,— сказал он, глядя мне в лицо с тоской и надеждой.— Десять километров осталось. Выживет, как ты думаешь? Степа, Степочка! — позвал он.

Собака зашевелилась.

— Лежи, лежи. Жива, значит... Наградить ее за храбрость нужно. Одного почти совсем растерзала, прямо в амбаре, другой — ножом в горло и убег. Собака — первый помощник. Бандит на дело идет — боится, потеет, а потом его собака по этому запаху и находит. Если б Степку в город подучиться послать, я бы с ним враз нашел, кто запасные части похитил. Враз нашел бы, как пить дать. Меня Степка от смерти спасал... Комедия! — Всхлипнув, он стал вертеть папироску.— Если бы я беспартийный был, я бы этого бандита на месте без суда убил. Степа, Степочка, жив, милый...

Скомкав недокуренную папиросу, Мануйлов пошел к собаке.

Я ехал рядом с Мануйловым и держал на коленях влажную собачью голову. Кровь капала.

Теплые лунные потоки стекали на землю.

Пролетел, размахивая усталыми крыльями, ветер.

Лошади шли в ногу, чтобы не мучить толчками умирающую собаку.

1934

ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

Сутулый конюх вывел из конюшни лошадь и стал показывать ее с хвастливой небрежностью. Лошадь раздувала ноздри, перебирала ногами и вскидывала красивую сухую голову с дерзкими золотистыми глазами.

Суетливый человек Захарий Выселков и его закадычный друг Семен Погребайло проверяли работу конюхов.

— Меня не обманешь,— крутясь возле лошади, говорил Выселков.— Сблудили как-то, сбили холку и начесом скрыть хотели. А я тут как тут. Я лошадь сразу, по глазам понимаю. Кажи дальше.

— Не мельтеши, Выселков,— мрачно бормотал Погребайло,— не люблю.

Захарий жалобно сконфузился и смолк. Его оскорбляла человеческая холодность. Он любил людей вежливых и обходительных. А еще он любил выдумывать. Все новое и необычайное волновало его воображение. Он выдумал посудину из глины, похожую на «морду» для ловли рыбы, и предложил использовать ее для истребления тараканов. Он поставил на крыше ветряк для маслобойки. В конюшнях он выдумал бункер для собирания навоза, облегчив труд конюхов. Он выдумал также кожаные шины из сыромятного ремня для сельсоветской таратайки.

Иногда азарт изобретательства становился слишком буйным — вроде изобретения телеги на гусеничном ходу. Тогда Захария звал к себе секретарь партийной ячейки и начинал лечить его дружескими убеждениями.

Захарий обижался и утихал.

Выписав из города учебник эсперанто, в унылой тишине принимался изучать всемирный язык. Но горение, буйство неистребимо жили в нем.

Не выдержав, он шел к начальнику политотдела, товарищу Левину, и начинал с упорной яростью убеждать его

построить ледяную дорогу к станции — ледяную реку, по которой сплавлялись бы караваны саней.

Шумный человек, он появлялся на всех собраниях, говорливый и восторженный. Тощий и маленький. Юркий и хлопотливый. С рыжими упоенными глазами. Он был отважен и яростен в своей правоте. Когда Захарий хотел достигнуть своего, он прикрывался упорной непонятливостью, и ничто в мире не могло разрушить ее.

— Не укрощай меня, Погребайло,— шептал Выселков.— Не горячи меня, Сема. Я до лошадей жадный.— И дружески гладил лошадь по спине. Судорожные, волнистые токи проходили по ее лоснящейся коже.

— Ну-ка,— говорил волосатый конюх,— ну-ка, голубка.— И лошадь поднимала ногу. Конюх брал ее и, вытирая полой копыто, говорил: — Видали? Как у барышни.

Темная чаша копыта, тяжелая слоистая раковина, лежала на его руке.

— Намарикюрена,— хвастался он.

И лошадь улыбалась, ибо лошади любят быть красивыми.

Погребайло сидел дома и читал газету, по временам запуская руку в деревянную миску, где плавали желтые и твердые, словно караси, соленые огурчики с укропом. На стене, на пестром коврике, висели централка в резной ложе, резиновая морда противогаза с сумкой и статная, как у балерины, протезная нога.

В дверь кто-то барабанил. Потом затихло, в щели появилось лезвие ножа и откинуло задвижку. В избу ввалился сияющий Захарий Выселков.

— Любой запор отмыкаю,— заявил он, ликуя.

— Чего пропадет, на тебя заявление сделаю,— ответил Погребайло и отвернулся.

— Не поверят. Я честный.— Выселков сел на скамью рядом с Погребайло и, вылавливая огурец из чашки, проговорил серьезно: — Сема, я тебя мобилизую. Парикмахерскую я в колхозе решил открыть. Через два дня в политотделе на эту тему доклад делаю. Тебя заведующим и мастером назначаю. Ты погоди, Сема, огурцом шуметь, дай скажу. Доктор уже для парикмахерской собственный халат отдал. Зеркала я добыл. Инструмент, какой надо, весь через Ивана Алексеевича заказал. И одеколону бутылку, чтоб пахло. Радио в парикмахерской поставим.

Чашки, кисточки и даже это — такое с резинкой, пш-ш-ш — заказал. Ты пойми, дело какое будет,— заискивающе шептал Выселков.— Красота! Картины повесим. Если хочешь, вывеску закажем с фамилией твоей. Девок стричь будешь, завивать будешь. Сема, жизнь-то какая!

— Дамскую стрижку уметь надо,— сердито отбиваясь от облапившего его Выселкова, бормотал Погребайло, стараясь спрятать счастливую улыбку.

— Ты, может, Сема, выпить хочешь? — восторженно орал Захарий, мечась по комнате.— Так я поставлю. Для такого дела не жалко.

— Ты погоди, нет еще моего согласия.

— Чего годить? Согласен — да и только! — кричал Захарий, роняя чашку с огурцами на пол.— Я тебя прошу, не кто-нибудь. Ты только, Сема, в это время руку половчи на животной на какой-нибудь, на овчине, чтоб классу достигнуть.

Состарился день, и наступил вечер — мягкий, теплый, пушистый, в глубоком снегу.

В политотделе людей битком набито. Накурено густо и ядовито. Накурено так, что рыжие суетливые тараканы дохнут и обмирают от этого дыма. Начполит товарищ Левин сидит за столом на председательском месте. Он затянут в хаки со щеголеватостью военного. Голубая лампа у потолка истекает добрым светом.

Встал Захарий Выселков. Встал и потребовал тишины и внимания.

— Хочу до нашей жизни докоснуться,— сказал он торжественно и тихо.— Очень приятная наша жизнь стала. Если где в другой стране рассказать, не поверят, смеяться будут.— Он замолчал, глядя перед собой и соображая.— Спланировали мы с товарищем Левиным, что мне с моим достатком делать. Всё наметили, а излишек остается. Нужно наладить с хорошей пользой доход наш. Есть у меня домысел до одного дела. Необходимо нам, граждане, открыть парикмахерскую. Нету смеха, к чему смех?! — гаркнул он повелительно.— Сколько мне лет? А лет мне тридцать четыре. А сколько товарищу Левину? Сорок. А кто из нас мордой старше? Я. Потому морда моя, как у животного, вся в дикой шерсти заросла. От этого мужик наш старее, некрасивее городского мордой выходит. Одно дело конюх наш, Степка Грачев. Почему он в бороде

ходит? А потому, когда он стрелочником работал, ему один пассажир первого класса для смеха в голову бутылку бросил. Ну, у него глаз на щеку, а личность всю стеклом порезало. Он бородой безобразие свое несчастное покрывает. А нам чего таить? Уродство какое или болезнь? Я понимаю, граждане, в бороде теплее. Но бабы, детишки без бороды ходят и не морозятся. Старики думают — неприлично с босой мордой ходить. Неверно, граждане. За что мы стариков почитаем? За знания, за ухватку. А если он лодырь и не знающий, то пусть он бороду, как ветлу, вырастит,— нету ему нашего уважения. И мастер у нас свой есть, герой гражданской войны, красный партизан Семен Погребайло. Правда, ноги у него нет, на колтухе ходит, да это не помеха. В парикмахерском деле не за зайцами бегать. С ним говорено, он уже песика своего для практики постриг, и очень чисто получилось. Довольно, граждане, жить нам волосатиками. Давайте жить людьми,— закончил Захарий и сел, сворачивая дрожащими пальцами цигарку.

Дорогой товарищ! Войдите и плотнее закройте за собой дверь, чтобы шипящий клубок морозного пара не замутил этих блистающих зеркал. Войдите и сядьте за этот стол и ждите своей очереди. Если вам скучно, почитайте журналы или наклонитесь и возьмите привязанные к ножке стола ножницы и почистите и подстригите у себя ногти.

На табуретке сидит мужик. Он растерянно, тоскливо улыбается. Голова у него уже подстрижена, но как только Погребайло приступил к его бороде мужик стал больным голосом проситься отдохнуть. Погребайло стоит возле него в докторском халате и негодует.

— Ведь не зарежу я тебя,— обиженно уговаривает он.

— Знаю, рука у тебя ловкая,— заискивающе хнычет мужик.— Сердце зашлось, погоди маленько. Тридцать лет ведь ее ношу.

Погребайло брезгливо прячет руки в карман и говорит внушительно:

— Все от политической неграмотности в тебе. Все, что ни спрашивал, ничего не знаешь. А если б знал, то понял бы — борода есть чего символ? Ну, давай решайся, а то товарища задерживаешь и лошадь томишь.

Последнее подействовало. Мужик, шатаясь, подсел к зеркалу и зажмурился. Погребайло взял оселок и стал лупцевать по нему бритвой, изящным движением шлепая

ее на ремень. Потом он погладил бритву о ладонь и прислушался.

Чирикающие ножницы обкусали бороду мужика. И тогда Погребайло поднес к его лицу кипящий, пышный букет пены. Сверкающие пузырьки блистали и гасли, вздуваясь снежным сугробом.

И пена ворковала. Погребайло держал бритву, как скрипач смычок, и лицо его было вдохновенно, и она пела, эта бритва.

В раме зеркала ярчайшими красками было написано два лица. Одно лицо было деревянное, испуганное, с закрытыми глазами. Другое пылало вдохновением.

Стальным клинком бритвы Погребайло высекал, как скульптор из рыжего куска дерева, новое лицо человека.

Потом Погребайло взял граненый флакон и зашипел пульверизатором.

Туманное благоухание наполнило грудь и ноздри.

Так пахнут студенистые венчики яблочных цветов.

Колхозник встал и припал к зеркалу, щупая руками новое, неузнаваемое свое лицо.

— Вот, дорогой товарищ,— обращаясь ко мне, сказал Погребайло и щелкнул в воздухе покрывалом,— вот какая политика. Вижу я, вы из центра, дорогой товарищ! — добавил он, тревожась.— Так взгляните в это окно. Видите — там, на улице, целый табун лошадей. Их пригнал сюда неспокойный мужик наш Захарий Выселков. Желает он, чтобы я лошадям тоже стриг хвосты и гривы. Вмешайтесь в этот перегиб, товарищ. И еще я вас хочу просить: нельзя ли мне поехать в город хоть на недельку, подучиться дамской стрижке? Она у меня не на высоте, а девчата хотят стричься красиво. Не хочу я их обижать недостаточной своей квалификацией.

1934

КОНОКРАД

Рыжая, большая, как теленок, собака ходит возле хлебного амбара в поисках тени. Собака работала ночным сторожем и теперь, после бессонной ночи, искала места, где можно было поспать.

В станице пустынно. Идет сев.

Участковый инспектор Мануйлов болен малярией. Четыре дня и четыре ночи он бродил по лиманам за Хнычем — вором и бандитом, скрывавшимся в камышах, и гнилые туманы отравили его. Горькая желтизна пропитала лицо, шею, руки. Он ходит по пустой канцелярии отделения милиции и скрипит зубами. На нем шинель, валенки и шапка со спущенными наушниками.

В деревянных козлах, коричневых от оружейного масла, стоят две винтовки и обшарпанный кавалерийский карабин. В углу лежит седло.

Мануйлов подходит к окну, отодвигает герань в горшках, глядит на улицу. И все он видит в желтом, невыносимом цвете.

Закрыв окно, он садится за стол, надевает радионаушники. В ушах его гулко и монотонно барабанит кровь: бум, бум, бум.

В канцелярию входит Андрей Княшко. Премированный звеньевой макеевского колхоза. Коренастый мужик с большим лысым лбом. Бодрое лицо моложавого старика покрыто веснушками. Веснушки у него даже на губах. Морщинистая, как старое голенище, шея обмотана шелковым кашне. В руках узелок.

— Слушаешь? — сказал Княшко, поздоровавшись.— А ну, я тоже послушаю.

И, взяв у Мануйлова наушники, надвинул их себе на голову.

— Здорово шпарят,— ухмыляясь и ерзая на скамейке, шептал он.

Потом снял наушники и сказал серьезно:

— С заявлением я к тебе, товарищ Мануйлов.

— Болею я,— пробормотал Мануйлов и стал кутаться.

— А ты покрепись, я быстро,— забеспокоился Княшко.

Княшко задумался, потом заговорил медленно, ковыряя в щели стола ногтем:

— В позапрошлом году, когда все гуртом в колхоз пошли, я тоже пошел в колхоз. Мужик я веселый, где все — там и я.

Табунщиком меня к лошадям поставили. Коней тьма, со всех дворов согнали. Конь без упряжи — зверь непослушный. Бегаю я за ними, маюсь. Лошадь, конечно, животное самое умное, есть даже которые под музыку пляшут. Но мне с ними мука.

Живу в степи, скучаю.

И стал ко мне заходить в степь Давид Сосунов, мужик умный, с мыслями. Курим мы с ним, жизнь обсуждаем. И просит меня Давид: «Продай лошадь». Лошади плохо считаны — почему не продать? В цене долго не сходились. Табаку выкурили пуд. Я так, а он эдак, упрямый мужик, хозяйственный. Потом сторговались, и за серого жеребчика с рваными ушами — он засекался в ту пору — взял я с Давида десять рублей и бочонок браги. Деньги он мне тут же отсчитал, а бочонок домой доставить обещался, и вот сколько времени прошло, но не доставил, жуликоватый мужик. Пускай это на его совести остается.

— А вот сейчас,— продолжал Княшко, приподымаясь и разматывая кашне,— сейчас этот самый единоличник Давид Сосунов уже не единоличник, а вступил вместе с серым жеребчиком в колхоз «Червонный Ерик». Мы, макеевские колхозники, соревнуемся с колхозом «Червонный Ерик», и я вовсе не желаю, чтобы они выходили на передовую линию на краденном из нашего колхоза коне. А потому прошу вернуть серого жеребчонка нашему макеевскому колхозу, как полагается, по всем правилам законов.

— Ты, что же, выходит, лошадь украл?

— Правильно,— с готовностью согласился Княшко и полез в карман за табаком.— А теперь нам этот самый жеребчик в самый раз придется: сев, а тягла маловато.

— Тут дело серьезное,— беспокойно шаря вокруг

себя руками, заговорил Мануйлов.— Привлечь тебя придется.

— А то как же? По всем правилам! Неохота им будет отдавать жеребчика,— хитро подмигивая, говорил Княшко.— Самый сев, а им, пожалуйте-ка, обратно краденого жеребенка.— И, хихикая, он похлопал себя по колену.

Мануйлов дрожащей рукой вынул из кошелька порошок хины, высыпал в рот и, взяв за горло графин, налил в стакан воды.

Морщась, он выплеснул остаток воды в окно. Вода, извиваясь, сверкнула в воздухе и, шлепнувшись о землю, убежала мелкими серебристыми ящерицами в лопухи.

— Свидетели есть? — спросил Мануйлов.

— А как же, я сам свидетель!

— Арестовать тебя придется.

— Обязательно. Я и нищу с собой принес, чтоб не скучно было.

Мануйлов, приложив к горячему лбу холодное стекло стакана, помолчал. Потом спросил:

— Сев у вас как?

— Сев полным ходом, пятьсот га осталось.

— Замену себе подобрал?

— Подобрал, да хилого,— погрустнел Княшко.— Со всеми в миру мужик жить хочет, не звеньевой, а херувим.

Мануйлов ходил по канцелярии и думал. А тело его горело и выло.

— Вот что, Княшко, давай подписку о невыезде и ступай в бригаду.

— Ты что, товарищ начальник, или в мозги зашло? — обиделся Княшко.— Нам коня надо, а ты — расписку.

Задребезжал телефон. Мануйлов пошел к нему, но звон слышался ему отовсюду. Дребезжали винтовки в козлах, дребезжали стертые стремена у сваленного в углу седла, дребезжали окна...

Он, заплетаясь ногами, кружил по комнате.

Очнулся, лежа на лавке.

Княшко изо рта прыскал ему в лицо воду и бормотал добрым старческим голоском:

— Умаялся, голубь, а я еще на тебя голос подымал. Эх ты, сердяга.

Мануйлов клацал зубами, его знобило. Княшко, укутав его, сел за стол, развернул узелок и стал закусывать.

Зазвонил телефон. Княшко, сделав сердитое лицо, взял трубку.

— Слушаю, слушаю, чего надо? Болен он, болен, говорят — хворает. Арестованный говорит. Сам трепло,— обиделся Княшко и повесил трубку.

Горький горячий запах полыни шел из степи. Вытягиваясь на цыпочках, раздувая грудь, горланил златоперый петух.

Возле амбара во сне тявкала рыжая собака. Ей снилось, что в амбар лезут воры, а она бросается и никак не может их достать. И, терзаясь, она вздрагивала и рычала.

1934

ЧЕРНЫЙ ЕРИК

Тревожными ночами казак Пелих и его холуй Егоша вывезли весь скарб в плавни.

В хате осталась бамбуковая мебель с алыми бархатными сиденьями и фикусы в зеленых кадках.

Таясь в серой, утренней тишине, Пелих и Егоша осторожно ходили по хате.

— Круши по-тихому стулья, Егоша,— сказал Пелих,— а я в сад пойду.

И Егоша аккуратно стал ломать мебель.

В саду Пелих брал за теплые горла вишневые деревца и кромсал их ножом. И деревья, истекая соком, беззвучно умирали.

В лиманах стояла вода, запекшаяся желтой пеной. Остров порос исхудалыми камышами.

Кроме Пелиха, его сына и зятя, на остров перебрался Гробченко с четырьмя мужиками из своего семейства и работником Грицыной.

Гробченко колхозники поймали в конюшне, когда он подсыпал коням в корма крысиную отраву. С ним хотели покончить самосудом. Но Гробченко начал требовать официального суда. Его посадили в станисоветский сарай, оттуда он, изловчившись, бежал.

— Кровь во мне горит, Пелих,— говорил Гробченко,— как вспомню гибель хозяйства.

Ночами Пелих и Гробченко с родственниками переправлялись на каюках на землю. Возвращались они со свежей убоиной — крали из колхозного стада коров.

Однажды им посчастливилось. Они увели стадо в сто двадцать голов. Торопясь, погнали стадо в лиманы. Но коровы не доплыли до острова — потонули. И потом долго плавали с вздутыми животами и скорбно оскаленными зубами, пока их не угнал в море ветер.

Грицыно и Егоша готовили обед, рыли на зиму землянки. Грицыно, тоскуя по земле, очистил кусок от камышей, вскопал лопатой и засеял маслянкой. Но земля была хлипкой; опоенная водой, она не давала всходов.

У Егоши не произошло перемен в жизни. Как и на хуторе, он был покорен хозяину, стягивал с него сапоги, послушно исполнял все, что ему приказывали.

Но Грицыно запротестовал.

— Раз я в бандиты записался — у всех тут права одни, не желаю прислуживать,— заявил он Гробченке.

В одну из поездок Пелих привез с собой жену Коробчука, одутловатую разбитную бабу.

Коробчиха, чтобы не делать среди мужиков скандала, жила со всеми по очереди.

Коробчиха сообщила, что Фаддея Березу зарезала его дочь Соня. Береза зарыл весь хлеб в яму, а сам лежал и пух от голода.

«Тятя,— говорила Соня,— отрой яму, дай поись хучь немного малым детям». Но Фаддей отказывал. «Пускай вас большевики кормят»,— говорил он.

Тогда Соня взяла секач и зарубила отца. Накормила малых, а потом пошла и утопилась в лимане.

— Каков казак! — восхищался Гробченко.— Помру, дескать, а большевикам не дам.

Грицыно, тоскуя в безделье, худел и чернел.

— Хоть бы сбежать отсюда,— жаловался он Егоше.

— Зачем? — спрашивал равнодушно тот.— Уйти — робить придется, а здесь жизнь легкая.

— Гниляк ты, Егоша,— возмущался Грицыно. И пробовал научить Егошу играть в шашки. Но Егоша никак не мог постигнуть хитрости игры.

Пелих частенько наведывался ночами в станицу, к атаманскому писарю Кушвиде. Кушвида устроился работать в стансовет по письменной части.

Плешивый сырой человечек, терзаясь от страха, принимал Пелиха. От него Пелих узнавал все станичные новости. Возвращался Пелих огородами и садами. В саду вдовы-красногвардейки Сычихи он натолкнулся однажды на ее сына Левку. Левка вышел в сад оглядеть птичьи силки. Он был бос, и теплый ветер ворошил его белые легкие волосы.

— Пелих! — вскрикнул он сдавленно, узнав его.— Ты, бандюга?

— Я,— стыдливо согласился Пелих.— Иду вот, зна-

чит,— заговорил он с торопливой приветливостью, приближаясь к мальчику,— иду вот...

Мальчик хотел бежать. Пелих набросился на него, сдавил лицо Левки ладонями, повалил его. Мальчик, извиваясь, вцепился зубами в руку Пелиха. Пелих, навалившись, бил Левку головой о землю. И голова, став мокрой, выскальзывала из его рук.

Когда хоронили Левку, лицо Сычихи было сухое, неподвижное, как придорожный камень. Потом она сидела дома с мертвыми глазами и молчала. Пионеры колхоза хозяйничали у нее в хате. Варили обед и насильно заставляли ее есть. Сычиха на все смотрела равнодушно и только один раз улыбнулась с судорожной болью в щеках — когда ребята доили ее корову.

Через два дня Сычиха ушла в плавни, взяв с собой ружье и хлеб. Сычиха выследила, где Пелих высаживался из каюка. Когда он вылез со своей компанией на берег, она выскочила из камышей и, припав на колено, выстрелила в упор.

Пелих, икнув, сел на землю, ловя в ладонь кровь.

Бросив ружье, Сычиха побежала в камыши.

— Не надо,— сказал Гробченко кинувшемуся за ней зятю.— Мы ее и так доймем.

И поджег камыши.

Ревущее пламя с черной траурной каймой метнулось по камышам, извиваясь в лапах ветра.

Сычиха пришла в колхоз черная, полуслепая. Розовая мокрая кожа свисала с ее тела клочьями. Но на лице была торжествующая улыбка...

— Завтра подводы с хлебом пойдут на сдачу,— сообщил Гробченко.— Нужно и нам запас сделать, с рыбы уже пузо ноет.

— Я пойду с вами,— заявил Грицыно.— А то кисну, как сазан на берегу.

— Добре,— согласился Гробченко,— только ружья я тебе не дам.

— Я и так,— обидевшись, пробормотал Грицыно и стал жаловаться Егоше: — Худая у меня жизнь, Егоша! Хозяйство имел, в поле уходил — детей за ногу к столу привязывал, чтобы не сгинули куда без присмотра. По праздникам в борще сало на нитке варил, чтобы на другой раз оставить. По чужим батраковал, потом через хозяина добровольцем к белякам ушел, а теперь вот бандит.

— А ты почаще ходи на дело с хозяином,— советовал Егоша.— Если бы не характер слабый, я бы всегда ходил...

Вытащив из ведра рака, он сломал его и стал выедать из брюха висящую бахромой зеленую рачью икру.

Спелая луна висела в небе. Серый степной пес, подняв вверх голову, нюхал луну.

Обоз с хлебом двигался медленно, ощупью. Ребята из комсомольской охраны, наоравшись песен, дремали на возах. Выпачканное темнотой знамя колыхалось на первой подводе. Возле мостика через Черный ерик подводы остановились. Мост был сломан.

— Як его угораздило? — тыкая в сломанное бревно кнутовищем, размышлял предколхоза Степанчук.— Вот зупинка!

В камышах моргнуло желтое пламя. Небо, оглушенное выстрелом, закачалось. Тело Степанчука поползло в ерик. В оглоблях повисла, вздрагивая, лошадь.

Банда выскочила из камышей. С возов хлестнуло залпом. Завизжал, припадая на перебитую ногу, зять Гробченки. Сам Гробченко, пригибаясь, бросился бежать. Грицыно за ним. Камыши хрустели у них под ногами.

Пробравшись к лиману, Гробченко вскочил в каюк. Ударив Грицыну в грудь веслом, оттолкнулся от берега. Грицыно кинулся в воду, хватаясь за каюк, перевернул его. В воде сцепились. Барахтаясь в тине, они искали скользкими пальцами горло друг у друга.

Здесь их и нашли ребята. Гробченко лежал с закушенным толстым языком. Грицыно сидел по пояс в тине, и кровь с его головы жирными каплями падала в воду.

Отбыв срок, Грицыно вернулся в станицу.

— Привет ударнику Беломорстроя,— сказал начальник политотдела Борисенко, здороваясь с Грицыной.— Ну как, ходят уже пароходы?

— Ходят,— пробормотал Грицыно и потупился.— Желаю я себя теперь, Борис Борисович, перед колхозниками оправдать, поскольку я стал законным человеком. Допустите хоть до самой черной работы.

— На птицеводческую ферму хочешь? — подумав, спросил Борисенко.— Ведь у твоего хозяина здоровенный птичник был, ты в этом деле должен быть важным спецом.

— Борис Борисыч,— бормотал Грицыно,— я же бандит и грабитель народного достояния, а вы сразу такое дело.— И уши его порозовели от волнения.

Грицыно стал хозяином породистого гусиного стада. Он быстро подружился с мужественным гусаком — Ермаком Тимофеевичем. Ермак Тимофеевич по-приятельски ходил за Грицыной всюду — и к амбарщику, и в правление колхоза, и даже к председателю. По утрам гусак приходил в хату и будил Грицыну, гогоча и стуча в дверь роговым клювом.

Первым делом Грицыно навел в гусином хлеву такую чистоту, какой не бывает и в хате в самый большой праздник. Грицыно срисовал с журнала хитроумную кормушку и заказал ее плотнику по своим чертежам. Потом составил расписание выдачи кормов гусям, разрисовал его цветочками и виньетками и вывесил на дверях гусарни. Когда гуси садились спать, Грицыно выходил на улицу и следил, чтобы никто не шумел зря возле гусарни. Большую войну ему пришлось выдержать с хлопцами, которые приходили сюда по старой традиции и невыносимыми голосами орали песни.

На общем собрании колхозников Грицыно, по просьбе Бориса Борисовича, рассказал о Беломорстрое. Он рассказал, как воры, бандиты и жулики искали себе прощения у рабочего класса, ломая скалы, выдавливая плывуны и рассекая болота.

На накладных Грицыно теперь подписывался так: рабочий птицеводческой фермы — беломорский ударник Грицыно.

Бывший атаманский писарь Кушвида перешел из стансовета в амбарщики. Встречаясь с Грицыной, он всякий раз испытывал страх, боясь, что Грицыно знает о его прошлой связи с бандой. Но Грицыно этого не знал.

Грицыно мечтал попробовать откармливать гусей силосом, паренным вместе с ячменем. Пища должна была получиться вкусной и питательной. И он робко попросил Кушвиду отпустить ячменя. Кушвида вначале замялся, говорил, что ячменя мало, но потом согласился и даже пообещал сам доставить ячмень вечером в гусарню.

Получив ячмень, Грицыно растроганно поблагодарил Кушвиду и подарил ему шитый бисером кисет, которым очень гордился. Запарив и замесив ячмень силосом, Грицыно отнес чан в гусарню и там стал раскладывать вкусно пахнущую пищу по кормушкам. Гуси радостно гоготали,

а Ермак Тимофеевич, распластав свои огромные прекрасные крылья, лез обниматься. Задав корма, Грицына вышел на улицу и сел отдохнуть.

В станице девчата пели песни. Сладкие, теплые звуки плыли в воздухе и наполняли сердце счастьем. С неба высунулось желтое любопытное ухо месяца, ибо ведь всем приятно послушать хорошие песни. Потом Грицыно пошел спать. Часа в три ночи он проснулся от шума и треска гусиных крыльев. Схватив лопату, бросился в гусарню, подозревая, что туда залезла лисица. Но лисицы не было. Гуси бились и трепетали, извивая по земле змеиные свои шеи. Белая метель из пуха и перьев бесновалась в гусарне. Гуси опадали и, трепыхаясь, оставались неподвижными. Грицыно хватал их холодеющие тела, прижимал к груди, встряхивал. Он раздирал пальцами их мертвеющие клювы, дул в горло, лил воду, но птицы умирали. Ермак Тимофеевич подковылял к ногам Грицыны и упал на бок, разевая клюв и жалобно хрипя.

— Господи, господи,— шептал Грицыно. Потом он ударил себя кулаком по лицу и со стоном выбежал из гусарни. Грицыно бежал, заплетаясь ногами, по безмолвной, залитой спокойным лунным светом станице.

...Борис Борисович проснулся. Солнце заливало комнату. Стол и два стула с толстыми деревянными ногами стояли, погрузившись по колени в солнечные потоки. «Трам-там-там,— запел Борис Борисович,— трам-там-там». Он мечтал о духовом оркестре. Когда ему однажды сказали, что Ивановская МТС не выполнила сроков сева, он удивился:

— Позвольте,— сказал он,— у них шестьдесят пять тракторов и свой оркестр! И они отстают? Не понимаю!

Колхозы окончили сев до срока. На бюро райкома Борис Борисович сказал:

— Вот подождите, когда оркестр добуду — не то еще будет.

А пока он обучался по вечерам, в свободное время, игре на корнет-а-пистоне.

— Трам-там-там,— пел Борис Борисович, лежа на спине, задрав ноги и натягивая штаны.— Трам-там-там,— пел он.

— Товарищ начальник, Грицыно повесился! — вбегая и натыкаясь на стулья, выкрикнул Разуваев и, всхлипнув, стал тереть глаза.

Машина мчалась. Борисенко, прижавшись к рулю, не

успевал выжимать педаль. И машина на ухабах прыгала и скрежетала.

Грицыно лежал на спине в хате. Колхозники без шапок стояли возле него. Шея Грицыны была поцарапана, лицо синее, в сухой крови из лопнувших на висках жилок. Дыхание с сипением вырывалось изо рта, забитого разбухшим языком.

Борисенко на всем ходу затормозил машину. Качнувшись и заскрипев, она встала. Расталкивая людей, Борисенко прошел к Грицыне. Раскрывая аптечку, сердито бормотал:

— У него гусей отравили, так он вешаться захотел! У него их отравили, а у меня не отравили? Что ж, мне тоже вешаться с тобой за компанию? — И, бережно подымая голову Грицыне, пытался разжать ложкой зубы.

— Товарищ начальник,— входя в избу, сказал предколхоза.— Кушвиды нигде обнаружить не можем. Не тюкнул ли его Грицыно за отравленное зерно? Нервный мужик! По старой бандитской привычке вполне мог это сделать.

— Чего тебе? — наклоняясь над Грицыной, спрашивал Борисенко.— Не пойму, чего ты?

— Ермака Тимофеевича спрашивает,— подсказал предколхоза.

И кто-то внес в хату взволнованно гогочущего гуся.

— Выжил! Все пищу своим дамочкам уступал, вот и выжил.

Ермак Тимофеевич, размахивая крыльями и переваливаясь, побежал к Грицыне. Грицыно слабо улыбнулся. Ермак Тимофеевич с клохтаньем терся своей гибкой, теплой шеей о свесившуюся руку Грицыны и курлыкал жалобно и нежно.

1934

У ЛОШАДЕЙ БЫЛ ПРАЗДНИК

У лошадей был выходной день. И лошади радовались своему празднику. Испытанный конюх Остап Чудь готовил им в кормушках угощенье.

Остап был вежливый человек, он даже с конями беседовал на «вы». Но с председателем колхоза он разговаривал грубо, требуя на лошадиный праздник лучшую пищу.

— Ладно,— сказал утомленный упорством Чудя председатель,— устраивай своим коням пасху, но за перерасход ответишь.

— Отвечу,— согласился Чудь, сияя, и пошел к амбарщику с запиской.

Больше всего Остап не любил людей горластых и нервных. Таким людям он всегда ставил в пример своих лошадей, их кротость, застенчивость и скромность.

— Как я могу тебе выдать лошадь,— говорил Остап какому-нибудь уполномоченному,— когда я твоего характера не знаю? Как я могу допустить тебя до лошади, когда ты даже со мной грубиянишь? Не дам я тебе лошади!

А если лошадь ему приводили со сбитой спиной от неумелой городской трусливой посадки, Остап свирепел.

Сегодня все лошади были дома, и Остап наслаждался своим счастьем.

Матвей Чубанец, неувядаемый старик, явился в конюшню. Он подошел к Остапу кавалерийской походкой и протянул наряд на коня.

Остап стал читать бумагу.

— Вам бы, папаша,— сказал с упреком Остап,— помереть бы спокойно, и возраст у вас подходящий, а вы еще коней портить хотите.

— Я тебе не папаша,— осадил его Матвей Чубанец,— а инспектор по качеству. Давай коня и не задерживай моих обязанностей.

— Хорошо, я дам вам коня, папаша, но вы выдьте отсюда. Может, вы мне сюда на своих сапогах заразу занесли. Уходите и дожидайтесь снаружи и в следующий раз об этом попомните.

Чубанец вышел и стал гулять возле конюшни, хлопая по голенищу искусно витой плеткой.

Остап вывел коня.

— Вот вам конь, папаша,— проговорил Остап с нехорошей усмешкой,— обласкайте его, как умеете.

— Что ж,— сказал Чубанец беспечным голосом, толкая коня кулаком в пах,— конь добрый, а если за ним уход, то он себя покажет. Бувайте здоровы! — сказал Чубанец, перенеся ногу через седло и давая шенкеля.

— Бувайте здоровы! — повторил Остап, ошеломленный дерзостью.

Конь не слушал шенкелей, он стоял на дрожащих ногах и не хотел уходить от конюшни, как не хочет выходить из-за стола человек во время праздничного обеда.

Но скользкая плеть укусила его, и он поскакал отчаянным галопом.

Чубанец сидел щеголеватой казацкой посадкой, обнимая истертые бока коня железными ногами.

Остап сел на колоду и решил выкурить цигарку, чтоб унять огорчение.

В конюшне Остап не курил и другим не позволял портить лошадям воздух.

Было тихо. Молодое солнце уперлось стройными лучами в могучую землю, и небо было синее-синее. Ну, такое синее, что если под это небо вывесить на просушку белье, так оно посинеет и без синьки.

Остап сидел, курил, наслаждаясь покоем. Но, видно, не дано человеку наслаждаться покоем.

К конюшне шел Гуртопенко — секретарь правления колхоза, тощий человек с закоптелым лицом. Его ноги были обуты в кожаные постолы — похожие на пирожки сандалии из сыромятной кожи,— и он смело месил ими грязь, шагая напрямик к Остапу. Он принадлежал к породе ретивых, горластых людей, какие не нравились Остапу.

— Чудь! — закричал он еще издали.— Давай лошадь!

— Две! — ответил Остап, криво усмехаясь.— Бери две, у меня их много.

— Экстренное донесение в политотдел доставить нужно.

— А еще чего хочешь? — злобно сказал Остап, вставая.

— Товарищ Чудь, прошу выдать лошадь,— официальным голосом проговорил Гуртопенко и хотел пройти в конюшню.

— Геть! Геть отсюда! — завопил Остап, закрывая собой двери.— Не имеешь права лошадей с их праздника снимать.

Гуртопенко отступил, страшась неистового блеска глаз Чудя.

— Не хочу я твоих лошадей тревожить, Остап, но срочное донесение в политотдел доставить нужно. Остап, не расстраивайся,— тревожно шепнул Гуртопенко,— нужно же.

— Давай донесение, я сам доставлю,— сказал дрогнувшим голосом Остап.

— Вот это орел! — радостно оживился Гуртопенко.— Ты же в момент доскачешь.

— Доскачешь? — отшатнулся Остап.— Доскачешь!.. Да за кого же ты меня посчитал? Да как бы я после в глаза своим коням смотрел? Пехом пойду.

— Невозможно, товарищ Чудь, грязь, тонко...

— Ладно, не твое дело. Только ты, Гуртопенко, будь другом, останься с конями. Всем заклинаю — никому не давай! Дашь — вот клянусь, побью! Ты знаешь, я горячий. Потом вот гнедая кобыла... Пойдем, покажу. Опросталась она недавно, а парнишка помер, так она тоскует. Утешь ее, поласкай, почеши за ухом, она любит это. Утешь... Да где тебе, грубый ты человек!

Остап шел, и тоска по брошенным коням грызла его сердце.

Единственной радостью в его тяжелом пути была встреча со знакомой лошадью из колхоза.

Остап остановился, поговорил с возницей, оглядел стоптанные копыта лошади и, настрого приказав сделать сайки, пошел дальше, еще больше тоскуя.

Переходя возле станции ерик, Остап поскользнулся на насыпи и рухнул в воду.

В политотдел он пришел ночью.

Сдав пакет, он наспех выжал в сарае штаны, переобулся и пошел, не отдыхая, обратно.

Хотя начальник и предлагал подождать до утра, чтоб утром подбросить его на машине, но Остап говорил, что до утра ждать не может, нужно задавать корма коням по расписанию.

Остап вернулся обратно с рассветом.

Гуртопенко спал, завернувшись в попону, и лицо его было счастливо.

Гнедая кобыла, терзаясь тоской о мертвом сыне, стонала.

Остап с отвращением перешагнул через распростертого Гуртопенко. Он подошел к гнедой кобыле, прижал ее голову к своей груди и, вытирая рукавом тяжелые лошадиные слезы, поцеловал ее в серые замшевые всхлипывающие ноздри.

1934

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОСТАПА ЧУДЯ

Я сидел на ступеньках конюшни с конюхом Остапом Чудем. Голубая ночь окутывала нас нежной томительной теплотой. В тишину погрузилась станица.

— Не могу я спокойно к лошадям относиться. Не могу,— говорил Остап.— Судить завтра будут, а сказать мне за себя нечего.

Держа под мышкой берданку, подошел ночной сторож, кудлатый старик. Попросил закурить, сказал, глядя с сожалением на Остапа:

— Терзаешься? Свидетелем я завтра против тебя буду. Объясню тебе, какая это такая священная собственность.

Остап тоскливо промолчал.

Мне было жаль Остапа. Я уважал его, беспримерно преданного лошадям человека, измученного тревогами, неистового, когда видел кнут в руках колхозника, и безгранично умиленного соломенными лошадиными шляпами, приобретенными для конюшни.

Остап даже на ночь не хотел покидать конюшни. Сутулый, пропахший лошадиным потом, он редко появлялся на людях.

Я часто приходил к Остапу вместе с секретарем правления колхоза Козюком, тоже страстным лошадником.

Говорили о многом, но все темы Остап настойчиво поворачивал по-своему. Больше всего он волновался, что теперь из-за тракторов народ перестал уважать коня.

Остап мог говорить о лошадях бесконечно. Бесчисленные истории знал он. И в каждом его слове трепетала благородная страсть к коню.

О прошлой жизни Остапа Чудя я знал немного. Знал, что он родился в станице, где на первый взгляд, казалось, жили не люди, а лошади. Там было так много больших

хороших конюшен, что маленькие хаты походили на кучи навоза, выброшенного из этих конюшен.

Но Остап был безлошадным.

Не было человека ничтожнее его. Тоска по коню мучила и изнуряла Остапа.

В гражданскую Остап ушел к красным с надеждой попасть в кавалерию.

В боях он проявлял мужество и осмотрительность, страшась за судьбу своего первого в жизни коня.

А когда колхоз «Красный луч» доверил Остапу двадцать семь своих лошадей, ошеломленный счастьем Остап с самозабвенной преданностью стал служить коням.

Чистокровный жеребец-производитель стоял в конюшне Остапа.

Изумительно красив был он.

Стремительно вытянутая голова его, с ноздрями розовыми, как жабры, блистала негодующими глазами. Весь в трепетной золотистой коже, жеребец гарцевал на сухих, напряженных ногах. Поджарый нагой живот оплетали смуглые ветви вен, полные горячей крови. Драгоценные слитки мышц двигались под сверкающей кожей.

Томясь избытком сил, жеребец шумел, метался в стойле. Вытягивая голову, он издавал грудное, клубящееся ржание.

И кобылицы, слыша его, слабели.

Потрясенный могуществом коня, Остап не мог с ним говорить без волнения, огромного волнения человека, которому доверили самое дорогое.

И жеребец почувствовал это. Он самодурствовал, как пьяный баянист на вечеринке. А Остап с подобострастной покорностью угождал ему.

Остап Чудь обходил конюшню.

Лошади, вороша сено, всхрапывая, мирно пережевывали мертвые цветы, и зеленая сладкая слюна висела на их губах. Они поворачивали головы, встречая Остапа.

Остап заглянул в кормушку жеребца и нашел в ней сено нетронутым.

Жеребец не хотел есть сено, как не хотел его есть и вчера. Он требовал ячменя.

А ячменя не было.

В колхозе остались только семенные фонды. Их нельзя было трогать.

Жеребец бушевал. Кровавыми глазами он косился на Остапа, не подпуская его к себе.

Жеребец злорадствовал, пугая фальшивой голодовкой. Ибо он все-таки жрал сено, таская его из соседских кормушек. Но Остап не знал этого.

В отчаянии Остап решился на подлость.

Выждав ночь, он пролез под амбар собачьим лазом и, проковыряв пол, подставил мешок под сухую струю ячменя.

В конюшне, таясь от людей, он кормил из подола рубахи жеребца, хрипящего от жадности.

Но Остап забыл заткнуть дыру, и ячмень золотой струей вытекал на землю. Вспомнив это, Остап в ужасе бросился обратно.

Заткнув дыру, успокоенный, он вылез из-под амбара. И тут его поймал ночной сторож.

Завтра Остапа будут судить.

...Остап очнулся от тягостного своего раздумья, поднял лицо, обеленное лунным светом, и сказал:

— Вот зажмурюсь и вижу ипподром. Скачут по нем кони, и скачет с ними мой жеребец. Скачет и обставляет их всех как миленьких.

1931

СЕАНС

Идет снег. Рыхлые, пропитанные водой хлопья падают на холодную землю.

Огромная река, медленная и сильная, движется вдоль глинистых обрывов.

На пристани томятся пассажиры.

Кругом глушь, бездорожье, тайга.

Ожидание порождает скуку, уныние.

Чувство заброшенности, одиночества вызывают эти одичалые бескрайние пространства.

Начальник захолустной сибирской пристани, сизолицый старикашка в куцем тулупчике и грязной заячьей шапке, он же кассир и диспетчер, суетится. Он бегает из одного помещения в другое и не обращает никакого внимания на пассажиров. На вопрос, скоро ли пароход, не отвечает, а лишь сердито машет руками и, не останавливаясь, убегает.

Сырость, слякоть. От холода реки начинает ломить плечи. При наступлении темноты на пристань из конторки выносят лампу.

Лампа. Ее желтый колеблющийся теплый свет еще больше разжигает тоску по далекому дому.

А снег падает, мокрый, липучий.

Река, холодная, сильная, трется о борт баржи.

Парохода все нет. Все прислушиваются, но, кроме тяжелого ровного шороха реки, ничего не слышно.

— Граждане пассажиры! Граждане пассажиры, внимание! — Это кричит натужливо старческим баском начальник пристани, выйдя из конторки.— Сейчас вам ввиду запоздания парохода, с целью культурного досуга, будет дан киносеанс. Прошу оставаться на своих местах.

Он появился снова с высоким табуретом и свернутой географической картой вместо экрана. Повесив карту об-

ратной стороной на стене, он вынес вместе с хромым, единственным на всю пристань матросом железный ящик. Сняв со стены лампу, старик поставил ее внутрь ящика. На экране обозначился бледный дрожащий круг.

— Сейчас, граждане,— бодро выкрикнул начальник пристани,— вам будет показана роскошная тропическая растительность острова Цейлон.

Яркая зелень и солнце заколебались на экране.

— Гибель «Титаника»! — продолжал старик.— Способы спасения утопающих. Ученая собака. Эпизод из империалистической войны. Наши бьют немцев.

После здания Томского университета на экран вылез сибирский экспресс, мальчик верхом на страусе, прыгающая сквозь бумажный круг лошадь, потом на экране появилось, по-видимому нарисованное химическим карандашом на стекле негатива, лицо человека в папахе, скуластое и молодое.

— Известный сибирский партизан Григорий Котельников! — выкрикнул старик ломаным цирковым голосом, задерживая картинку.— Погиб от рук интервентов геройской смертью храбрых.— Потом помолчал и добавил тихо: — Кто местные, те знают — сын он мой, Григорий-то... Мучили его вот здесь, у дебаркадера.

Кашлянул, застенчиво поежился, снова отчетливо и громко заговорил:

— Пароход «Илья Муромец». Пингвин. Способ повязки поломанной ноги.

Нежное, воркующее завывание парохода послышалось с реки. Никто не пошевелился.

Старик поспешно унес вместе с хромым матросом волшебный фонарь в конторку и, суетясь, стал расставливать пассажиров в очередь.

Пароход приближался. Сияющий, как люстра.

В нем было тепло, довольство, уют.

Хлюпающие клочья снега летели, как мошкара, на свет парохода.

— Принимай чалку! — кричали с парохода.

— Есть,— отвечали с пристани.

1935

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Нас было тридцать человек. Тридцать гимназистов старшего приготовительного класса первой мужской гимназии.

Учителей ненавидели, наделяли их прозвищами. На экзаменах плутовали, покупая у старшеклассников шпаргалки. Потом мы ходили на дом к учителям и, унижаясь, выпрашивали тройки.

Единственного из учителей мы уважали и любили — преподавателя чистописания Александра Ивановича. Маленького, нервного человека с голубыми близорукими глазами и юркими, взволнованными руками.

Он первый назвал нас товарищами и сказал: «Закона божьего и ятя больше нет». Он пригласил нас к себе домой, предложил создать свою школьную организацию.

Во время Учредительного собрания Александр Иванович принес в класс листовки списка № 2 — большевиков — и сказал, чтобы мы разносили их по квартирам и рекомендовали родителям, потому что это списки партии, которая за народ.

Отец Деева нахлестал Митьку по щекам стопкой избирательных листовок и пошел жаловаться директору гимназии. Директор пожал плечами и, сделав унылое лицо, сказал, что теперь свобода.

Александр Иванович привел на заседание человека в солдатской шинели. Глаза веселые, прищуренные. Он рассказал нам, что в Петрограде и в Москве тоже есть организация молодежи, и не только гимназистов, но и детей рабочих.

Мы связались с городской организацией — союзом молодежи, и часть наших ребят была принята в союз. В комиссариате нам выдали наганы и сформировали часть особого назначения.

Город был на военном положении. По вечерам мы дежурили на заставах, проверяли у запоздалых прохожих документы.

Однажды, когда мы сидели в дежурке и пожирали пайковую колбасу, к нам пришел комиссар и сказал, что Ново-Николаевск взят Колчаком, в Тайге стоит эшелон восставших чехов, город эвакуируется.

Через три дня город занял Колчак. Мы вернулись в гимназию. Вошел преподаватель закона божьего, священник Солнцев, на груди его болтался Георгиевский крест. Он долго укорял нас в безбожии и распутстве, потом, утомившись, велел выйти из класса Каценеленбогену и Гранату, чтобы начать занятия. Каценеленбоген и Гранат, покраснев, встали, чтобы выйти. Но мы тоже все встали и ушли из класса вместе с ними. Сережка Корявый — сын тюремного смотрителя — побежал в учительскую и позвал Александра Ивановича. Он вышел к нам, улыбаясь, и, размахивая руками, сказал, чтобы мы организовали забастовку.

Через три дня в газете нас напечатали в списках исключенных.

Сережку каждый день порол отец. И Сережка, спуская штаны, показывал нам свои ягодицы, полосатые, как у зебры.

Мы бродили по пристани, воровали арбузы, орехи. Иногда нанимались к торговцам кваса мыть бутылки. Когда нам удавалось достать лодку, мы выезжали в затоны и воровали в садках рыбу. Потом мы ее продавали на базаре.

Однажды пришел Сережка и сказал:

— Александр Иванович уже давно сидит в тюрьме, завтра его расстреляют.

Мы знали, где расстреливали.

Мы знали глинистые овраги Коштака, поросшие бурьяном и бородатыми кустами. И мы решили проводить своего учителя. Мы украли лодку и ночью, когда огромное тело реки, облитое луной, шевелится и дышит, отправились на Коштак.

Лежа в кустах, мы курили сигареты «Пчелка», которые продавались врассыпную на улице, и глядели в небо. Небо с тихим журчанием текло сквозь звезды. Сережка говорил, что неплохо бы украсть пулемет и ударить из него в солдат, когда они приведут Александра Ивановича.

Пахло теплой сыростью реки. В тальниках кричала одинокая птица. Мы продрогли. Приближался мутный

рассвет. Подъехал грузовик, из него вышли солдаты, офицер и Александр Иванович.

Солдаты выстроились и повели Александра Ивановича на бугор, а офицер шел сзади, держа в руке револьвер.

— Снимите сапоги,— сказал офицер.

— Что вы сказали? — переспросил Александр Иванович.

— Разденься, тебе говорят! — крикнул офицер.

Александр Иванович сел на землю и стал торопливо снимать сапоги; один снял, а другой — никак. Офицер что-то сказал солдату. Солдат положил винтовку, подошел к Александру Ивановичу и стал стаскивать сапог. Сапог все не снимался. Солдат волок Александра Ивановича по земле. Потом остановился и беспомощно огляделся. Александр Иванович оперся руками о землю и попросил попробовать еще — сапог снялся. Тогда Александр Иванович встал и пошел к оврагу. Портянки размотались и волоклись за ним.

Александр Иванович стал спиной к яме и, близоруко щурясь, глядел на солдат. Потом он, вспомнив, суетливо поднял руки к лицу, снял очки, осторожно сложил дужки и, держа очки в руках, стал беспомощно озираться.

— Готовься! — скомандовал офицер.

Александр Иванович поспешно сунул очки в карман и, держа их там в руке, горделиво поднял голову.

— Александр Иваныч! — завопил Сережка.— Александр Иваныч!

Залп заглушил крик Сережки.

Взвод шел обратно. Солнце жгло землю. Один солдат тащился сзади всех, прихрамывая. На нем были сапоги Александра Ивановича, и они жали ему ноги. Шаги взвода гулко падали на землю. Кузнечики звенели в сухой, пахнущей пылью и горячим солнцем траве нестерпимо пронзительно и звонко.

Мы лежали, прижавшись к земле, и дрожь сотрясала и сводила болью наши тела.

Первым поднялся Сережка. Он сказал нам хрипло:

— Пойду место заметить, где Александр Иваныч лежит,— и ушел.

1935

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Он входил, и все начинали улыбаться.

Его преследовала слава веселого человека.

Люди улыбались требовательно и нетерпеливо.

Он был застенчив и добр и не мог отказывать.

Он начинал шуметь и балагурить.

Шутовская подвижность не шла к его массивной фигуре.

Он работал в мастерской МТС кузнецом.

Размахивая кувалдой, он лепил из железа удивительные вещи.

Вся станица пользовалась его бритвами.

Памятник погибшим красногвардейцам украшала решетка из причудливо вьющегося железа. Это тоже было делом его удивительных рук.

Я заинтересовался этим талантливым человеком и стал ему надоедать своим любопытством.

Поколебавшись, он рассказал о себе.

Партизанские отряды Буденного после ожесточенного боя отошли от реки Маныч и скопились на станции Гашун. С ними находилось пятьдесят тысяч беженцев.

Буденный, осунувшийся, с кровавыми от бессонницы глазами, вызывал к себе командиров.

Слобода Большая Мартыновка, окруженная кольцом белых войск, отбивалась с неслыханным мужеством.

Окопавшись, люди жили в земле уже месяц. Женщины и дети тушили горящие хаты. В Мартыновке ночью и днем было одинаково сумрачно. Горький дым пожарища душил людей.

Стрельба не утихала.

Мертвые лежали всюду. От живых они отличались выражением покоя на лицах.

Раненые, если у них оставалось еще немного сил, выползали из окопов. Корчась и скользя, пробирались к самым ограждениям белых и выпускали в упор обоймы, если раньше их не раздирала сплошная свинцовая завеса пулеметного огня.

Валяясь в размокшей земле и дыша этим колеблющимся воздухом, пронизанным визжащим свинцом, люди чувствовали, как в них начинает проникать ужас.

И тогда, чтобы не побежать назад, они выскакивали из окопов и бежали вперед.

Это были молчаливые атаки.

Егор Марлыцкий, босой, с окровавленной, замотанной черным тряпьем головой, сутулясь, шел ровной, мерной, страшной поступью, уставясь белыми глазами в одну точку. Жена его в изорванном платье, помешанная после гибели детей, бежала за ним.

— Егор! — хрипела она, цепляясь.— Егор! Дети не емши, куда ты, Егор?

Егор остановился, переложил винтовку в левую руку, погладил жену по щеке.

На эту кучу измученных людей двигалась лавина.

Земля гудела и вздрагивала под тяжестью конского карьера.

Казаки генерала Гнилорыбова, картинно припадая к лошадиным хрипящим шеям, подвывая, неслись на мужиков.

Клинки их с хрустением и чавканьем падали на человека.

Мартыновцы встретили казаков боем.

Хлюпая рассеченными телами, они валились под лошадей.

Бесстрашное упорство мартыновцев побеждало. И казаки, повернув, мчались обратно, преследуемые.

Мартыновцы снова зарывались в землю. Женщины кормили ослабевших от ран и усталости, засовывая пищу в рот, как детям или слабоумным.

Егор Марлыцкий держал на коленях мертвую жену. К рукам его прилипли ее волосы. Он разбирал их с блуждающей усмешкой.

Перед Егором стоял кривоногий старик со слезящимися глазами, держа под мышкой винтовку. Он говорил, протягивая вареные картошки:

— Покушай, Егор, покушай, милый.

Снаряды гудели и лопались, разбрасывая землю.

Силы мартыновцев иссякали. Посылали лазутчиков. Но все они бесследно погибали, не в силах пробраться сквозь оцепления белых.

Степан Бирюк попросил позволить ему дойти до Буденного, и мартыновцы дали свое согласие.

Степан переобулся, пожал всем руки. Подошла жена, прикоснувшись холодными губами к щеке, отошла молчаливая.

— Возьми, Степан, на смерть идешь.

Ему сунули в руку бутылку с водкой. Единственную бутылку, ее берегли для умирающих.

Грязная ночная темнота стекла на землю.

Степан ползал по степи вторые сутки, но везде натыкался на заставы.

Выхода не было. И тогда он решился на последнее.

Вытащил бутылку водки, задыхаясь, выпил ее всю, встал и пошел напрямик к заставе.

Степь шуршала.

Степан вздохнул и вдруг завопил на всю степь с отчаянной удалью:

Расступись ты, мать земля сырая,
Пусти ты сына своего.

Через минуту он валялся на земле с заломленными руками, склонившиеся над ним казаки из разъезда испуганно, злобно спрашивали:

— Кто такой? Почему орешь?

И лошади наступали на него копытами.

Убивать лежащего неловко и тягостно. Казаки хотели заставить Степана встать, чтобы, не слезая с седла, достать его шашкой.

Расступись ты, мать земля сырая,
Прими ты сына своего,—

вопил Степан, барахтаясь и икая.

Казаки учуяли запах вина, и в побоях их появилась веселость.

— Чей будешь?

— Ротмистра Дундабова, коннозаводчика, человек. Выпивши, заблудился, станичники, а вы бить! Расступись ты, мать земля сырая.

Степан пробовал сесть, но, махнув рукой, снова упал. Посоветовавшись, казаки подняли его за шиворот и, прижав конями, повели.

Стиснутый лошадьми, он цеплялся за ноги казаков; осипнув, запрокидывая синее лицо, все орал песню.

Возле штаба была огромная лужа, полная бурой зловонной воды.

Степан внезапно сел на землю, оторвавшись от лошадиных теснивших его животов, и на корточках быстро пополз в лужу.

Забравшись в глубину, он бултыхался и вопил истошно:

Расступись ты, мать земля сырая!

Вышел есаул. Стоя в нижнем белье на крыльце, он закричал на казаков и велел им убрать пьянчугу.

Казаки полезли в лужу, подбирая шинели, и с отвращением стали вылавливать Степана.

Потом они оттащили его в сарай, сняли с него штаны, чтоб не удрал, и ушли.

Степан вылез из сарая и задворками выбрался в степь.

Его знобило. Грязь засохла на нем. Он чувствовал ее тяжесть. Ослабевший, шатаясь, он брел по степи.

К ночи он все же нашел красногвардейскую заставу. Он всхлипывал и целовал лошадиные морды.

Степана привели в штаб. Все встали, узнав, что это человек из Мартыновки. Командир батареи Бондаренко отдал ему свои штаны. Вишневые штаны с серебряными лампасами. Буденный обнял Степана, сказал:

— Идем, друг, идем.

С улицы слышался храп и лошадиный топот.

— По коням, по коням! — гремели слова команды.

Стремительным натиском, вихрем летела конница к осажденной Мартыновке.

Оскалив желтые зубы, могучие кони с грохотом вынесли батарею на курган.

Комбат Бондаренко завопил:

— Прицел сорок. Трубка сорок. Три патрона. Беглый огонь!

На жеребце, облитом золотом, Буденный летел во главе конницы.

Пришпорив коня в стремительный карьер, он догнал обшитого позументами ротмистра и, уклонившись от наганной пули, неизъяснимым поворотом кисти выбросил клинок.

Белые были разгромлены. Распростертый, вниз лицом лежал ротмистр.

Мартыновцы обнимали конников. Обнимали торопливо и нежно, как слепые.

Буденный, стоя на затекших ногах, хмурился. Он рвал ус с кожей, чтобы не пустить на глаза слезу.

Степан раздобыл гармонь. Истерзанный и грязный, но в вишневых штанах с серебряными позументами, он играл марш. Потом передал гармонь бойцу, а сам стал плясать.

Не зря утвердилась за ним слава самого веселого человека.

1935

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АКИМА КУРЯЧЕГО, А ТАКЖЕ МЕЛКИЕ ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЕГО НИЧТОЖНОЙ БИОГРАФИИ

Что делал Аким Курячий со своим горлом — неизвестно. А только, наверное, что-нибудь делал.

Многие пытались узнать у Курячего, каким это он маслом смазывает свою глотку, что слова из нее льются так музыкально и сладко.

Совсем неплохой тенор был у Акима Курячего.

Но большой талант жил в маленьком человеке. Он задавил у Курячего рассудок и оставил ему надменность, чванливость и жульническое умение отлынивать от работы.

Курячий думал: если он по вечерам ласкает наши уши своим пением, так мы этими ушами будем закрывать себе глаза на его поведение.

Курячий выступал по вечерам в ресторане станицы Славянской.

Среди пьющих мужчин Аким пользовался славой. Он умел всесторонне пользоваться своей глоткой.

Питался Курячий пивом и раками. Аккомпанировал ему на хроматическом баяне тщедушный человек, знаменитый гармонист Кизелупский.

У Акима была жена. Глядя на нее, думалось: сколько же нужно съесть всякого добра, чтоб быть такой толстой! Фиолетовый румянец пылал на ее щеках. Невысокий лоб лохматился дремучими бровями.

Жинка Курячего не состояла в колхозе. У нее была душа спекулянта. С утра до вечера пропадала она на железнодорожной станции и торговала там всякой снедью.

Она, как белогвардейский офицер, переодетый в юбку, ругала колхоз и Советскую власть и готова была на всякую подлость.

Но не только сила и предприимчивость таились в мощном организме Курячихи: лисье лукавство также жило в нем.

У Курячего теплилась мечта. Ему предлагали занять место в колхозном хоре, возглавить его своим лирическим тенором. А если он покажет себя, то его увенчают путевкой в Ростовский музыкальный техникум. Но у Курячихи были по этому поводу свои мысли. Она с беспощадной яростью вколачивала их в тихую голову мужа, и он отказался от предложения колхоза. А в пивной его вскоре заменили граммофоном.

В свое время, добившись своего, жена окружила Акима материнской нежностью. Она кормила его вкуснейшими блинами и оладьями, потчевала киселькомиз затиркой и, допустив до себя, истощала любовью.

Но Курячий не умел торговать. И, рассердившись на его бездарность, жена отказала ему во всех радостях.

Курячий жил, покинутый и голодный.

А ведь известно, что стоит только человеку ослабеть, как в его организм тучами лезут всякие ядовитые микробы. И стоит человеку отшатнуться от коллектива, как на него, ослабевшего, начинают ползти классовые враги нашего отечества и, овладев, приводят к гибели.

О печальной гибели Курячего я и хочу рассказать вам.

Началось так.

День был замечательный. В покое и тишине лежала раскрашенная солнцем степь. Только изредка пролетала одинокая птица, скрипя крылом.

В камышах плыла река, изгибая рыбье свое тело.

Безмятежно колыхалось небо на лаковых ароматных ветвях вишневых деревьев.

Хаты, забравшись в сады, дремали на завалинках, отгородившись от мира камышовыми заборами, запеченными в рыжую глину.

Ласковые мудрые мысли должны бы вызревать у человека в такую пору.

Отверженный и огорченный, Курячий сидел у себя в хате и глядел в окно. Одуревшие от скуки мухи бились головами о стекла. Во дворе по навозу бродили куры под предводительством энергичного петуха.

Петух, разгребая землю, самоотверженно уступал найденное зерно курам и за это пользовался их нежностью.

Курячий глядел на петуха и завидовал его неутомимости.

И в эту-то пору посетили Курячего церковный староста Степнюк, хилый старик с лицом лежалого мертвеца, и ка-

зак Дуба, известный своей молчаливостью и отвращением к колхозу.

Дуба вынул из кармана литровую посудину, ломоть сала и молча поставил все на стол.

Выпивая и закусывая, Степнюк говорил Курячему льстивые слова о его лирическом теноре. Потом, когда лицо у Курячего, после третьей кружки, стало мокрым и красным, Степнюк сказал, что прислан он от церковного схода просить Курячего заменить умершего в прошлом году попа. За это сход дает буланого жеребчика, жалованье шестьдесят рублей, помимо приношений и даров, которые он будет собирать за требы и молебны.

И тут же положил составленную сходом таксу за все богослужения.

Долго и красноречиво говорил Степнюк о том, что Советская власть вовсе не против религии и даже будет очень рада, если вместо старого попа в их храме будет новый, советский поп.

— А потом — хор! Да разве ж можно сравнить церковное помещение с клубом? Да там как завьется голос под купол, как затрепещет в высоте!..

Степнюк сладко жмурился, выражая на своем лице блаженство.

В контуженном винными парами воображении Курячего возникли слепящие образы. Вот он выходит в блещущем облачении на алтарь и поет, и переливается его голос, а хоркружок, стоя на клиросе, поддерживает его ручьистые переливы озерами своих вздохов.

Дней десять не выходил из дому Курячий, по всяким книгам заучивал церковный обиход, псалмы и молитвы.

Степнюк свозил Курячего в Ростов. Погуляв три дня на деньги, собранные на посвящение в сан, на четвертый они опохмелились и пожевали чаю, чтобы отбить винный дух. Потом отправились к архиерею. И тот рукоположил Курячего в сан.

Возвращаясь обратно в станицу, Степнюк величал Курячего «батюшкой», бегал на станциях за кипятком и пивом, ухаживал, всячески показывая свое уважение. Курячему все это нравилось, но, стыдясь пассажиров, он запретил величать его до станицы.

Переродилось сердце жены Курячего,— добрая, нежная голубка заворковала в ее груди. Заботливостью и ласками потчевала она Курячего. Она купила Акиму сатину на рясу и душистого мыла и велела мыть пропи-

танные грязью руки, чтоб прихожан, принимавших благословение, не отвращало от его рук. Положив голову Курячего к себе на колени и расчесывая его волосы частым гребнем, она шептала нежные слова и рассказывала удивительные истории из жизни святых старцев.

Торговля Курячихи расцветала благодаря буланому жеребчику и авансу натурой, выданному Акиму.

И когда станционный стрелок хотел оштрафовать ее за незаконную торговлю, она стала кричать ужасным голосом на весь базар о том, что ее преследуют за сан мужа, и, устрашившись политического конфликта, стрелок отступил.

Дебютировать Курячему решено было на всенощной. Курячий добросовестно заучил сто третий псалом, с которого должно начинаться богослужение. Великая ектения приводила его в смущение множеством непонятных слов, кафизмы — своей мрачностью, и только хвалебная песнь «Свете тихий» и «Богородице дево» утешали своими музыкальными возможностями.

И служба началась.

В церкви, пахнущей погребом, дышала солидная кладбищенская тишина. Штук пятнадцать свечей, бодро мигая, освещали истощенные лица известных великомучеников. Хоругви, похожие на белогвардейские знамена, украшали притворы.

И вот вышел на амвон Курячий. Переживая волнение, знакомое всем артистам, он забормотал псалмы.

Степнюк, прислуживая, суфлировал и тихим шепотом давал указания, что нужно делать.

Курячего удручала немногочисленная унылая аудитория, и он с нетерпением ждал начала музыкального момента.

Но когда нетленные старухи, собранные для хора, паршивыми голосами подхватили слова псалмов, содрогнулся Курячий и похолодел от ничтожности этого хора.

Слабея от горя, он побрел в святая святых и, сев на престол, стал мокрыми пальцами срывать с себя облачение. Но Степнюк не допустил этого. Он велел ему снова идти на амвон и произнести там проповедь.

Курячий вышел и стал говорить. Он бормотал по печатной шпаргалке.

Старухи и опрятные старцы, уставясь на него, шумели от удовольствия.

Курячий стучал по аналою крестом, требуя тишины и внимания.

...Курячий любил веселье. Но веселые люди его покинули.

Когда Аким Курячий шел по станице, никто не замечал его. Только один раз возле клуба окликнул его Чубанец, румяный старик.

— Что,— закричал он злорадно,— чижолая у тебя теперь специальность, чижолая! А вот в кино прет народ, прет, деваться некуда! — и захохотал, довольный своей жизнью.

Скучные дни наступили для Курячего. И он решил оставить специальность. Презренный и одинокий, он умолял Степнюка взять обратно буланого жеребчика. Но Степнюк отказывал, грозя подать в суд.

Курячий решил добиться освобождения другим способом.

Шли предпасхальные дни. Исповедуя старух и баб, он выпытывал у них на исповеди, кто что укрыл от налога, и составил длинный, подробный список укрывателей.

Начался сев. В воспаленном горячем небе ни облака. В станице пустынно. Только один Курячий томится в заброшенном одиночестве.

Страдая от жары, к нему зашел Степнюк и велел произнести сегодня после обедни проповедь о том, что в этом году обязательно будет засуха и спасение только в огородных злаках. И указал ему на соответствующие места в Писании.

Курячий произнес проповедь. По колхозу пошли слухи о засухе. Поддавшись панике, некоторые колхозники стали нанимать тайком за огромные деньги единоличников, чтобы те вспахали им огороды. Группа единоличников, объединенная церковным советом, нажилась на этом. А потом, через два дня, МТС вспахала колхозникам огороды даром.

Курячий получил из доли двадцать рублей.

По вечерам, когда со звоном остывали солнечные лучи и разливалась по станице настоянная на запахе яблонь и вишен прохлада, из степи слышалось пение. С мучительной тревогой прислушивался к нему Курячий. И злая зависть жгла горло. Иногда он пробовал петь сам, но отравленное водкой горло, шероховатое и воспаленное, не могло вылить гладко текущего слова.

По окончании сева политотдел устроил в станице праздник.

Посередине площади стояла нарядно украшенная трибуна. С нее начальник политотдела принимал колхозный парад.

Оплетенные медными змеями блестящих труб оркестранты, надуваясь и багровея, играли туш. Проехал на тракторе лучший тракторист Осипенко. Он был в фетровой шляпе и белых туфлях. За ним, шурша и блистая спицами, мчались на велосипедах бригадиры. Построившись в каре, проскакали на необузданных лошадях объездчики. За ними шли в колоннах бригады, неся завоеванные знамена и рисованные портреты лучших ударников.

В заключение празднества на трибуну поднялся демобилизованный красноармеец Васильченко.

Он смело подошел к коробочке микрофона. Но не стал произносить речь, а запел. Запел так, что все вокруг смолкло.

И защемило, заныло в груди Курячего, и захотел он броситься к трибуне и просить у всех прощения.

Но тут подошел к нему комсомолец Федько. На рукаве его была красная повязка. Обращаясь к Курячему, словно не зная его, сказал:

— Вам здесь что нужно, гражданин? Пригласительный билет имеется? Нет? Прошу удалиться.

И Курячий, холодея от тоски, пошел на ослабевших ногах домой и напился там до обалдения.

А станица шумела. С площади все пошли во двор МТС. Двор был посыпан ярким песком, и длинные столы с белыми скатертями скрипели от всяких яств, питий и закусок.

Защелкали пивные затычки.

Церковный совет предложил Курячему потолковать с прихожанами о вреде рисосеяния — «от него одна лишь лихорадка». Курячий отказался.

— Не желаю я вашу шайку обслуживать! — завопил он с отчаянием.— Не желаю! — И заплакал.

— Не желаешь? Ладно! — сказал Степнюк и перестал выплачивать попу жалованье.

А жизнь шла своим чередом. Здоровые, полные соков, жизнерадостные деревья наливались плодами.

Колхоз попал на красную доску. И все ходили гордые. В палисадниках расцвели пионы и маки, и коровы, забираясь туда, подходили к этим цветам и, замирая от восторга, нюхали, а потом съедали.

Отчаяние овладело одичавшим Курячим. И, бродя ночами, томясь страшной бессонницей, глядя на свежее небо, усеянное хрупкими звездами, он наконец решился...

В Ачуеве, в маленьком рыбацком городишке, в пивной, уставленной искусственными пальмами с железными, как на кладбищенских венках, листьями, в компании извозчиков кутил человек. Он был в розовой измятой рубахе, стрижен боксом. Бледная, как ощипанная курица, голова его болталась на тонкой шее. В пьяном хвастовстве он орал на всю пивную, что он член правления колхоза и все может и что он первый тенор и будет петь в опере. И порывался петь. Официанты, уважая за то, что он член правления колхоза, вежливо уговаривали его. Потом человек стал плакать, устав, лег щекой на холодную закуску, стоявшую на столе, и заснул.

Так кончилась одна печальная история Курячего и началась другая.

НОВЫЙ КАРУЗО

Хлюпая по воде лапами, пароход подвалил к пристани.

Пассажиры ринулись, матросы отпрянули. Разгоряченная толпа мгновенно исчезла с парохода.

Капитан, стоя на мостике, добродушно бранился с машинистом в переговорную трубу. По тихой реке плыла стоя водочная бутылка. Буфетчик выбрасывал мусор за борт.

Как говорится, тишина, мир и покой подняли свои прохладные знамена. Пахло солнцем, соленой рыбой, пароходом и горячей степью.

И вот на пристань вышло шесть человек, похожих на иностранцев. Седьмой, размахивая шляпой, тряс капитану руку и высокопарно благодарил его. Капитан потел и стыдился.

Этот человек был толст, со щеками пышными и розовыми, как ягодицы младенца. Когда он спускался с мостика, живот его колыхался. Сдерживая колыханье, он напрягался и багровел.

— Что за город? — спросил он у носильщика.

— Ачуев.

— Почечуев! — сказал толстый и расхохотался.— Почечуев! — кричал он, подходя к группе людей.— Вы слышите, Почечуев! Ох, я умираю.

Он плюхнулся всем телом на скамью под огнетушите-

лем и стал обмахиваться шляпой. Начальнику пристани он сказал, обольстительно улыбаясь, кивая головой на огнетушитель:

— Пустите его. Я весь пылаю, я горю.

В райкоме шел ремонт. Все было заляпано известью. Секретарь суетился и конфузился. Кепкой он вытирал стулья. Близоруко натыкаясь на кадки с цементом, извинялся.

Потом все уселись. Толстый, попросив у дам разрешения, снял пиджак, расстегнул жилетку, галстук сунул в карман.

— Здесь чудесно,— говорил он.— Богатейший материал! Смотрите, вот перед вами настоящий секретарь райкома. Ничего аффектированного! Обожженное солнцем лицо. Он застенчив. Застенчивый секретарь райкома. Смотрите, Белужин, вникайте, лепите образ. Мы поможем вам в путине, распоряжайтесь нами,— заявил он с воодушевлением.— Ах, боже мой,— всплеснул всем телом толстяк,— мы ведь еще не представились! Бригада столичного театра. Будем изучать действительность. Замечательная поездка. Что ни человек — тип. Типы и типы. Я обогащен впечатлениями. Я миллионер. Я чувствую, как все поет во мне. Ольга Андреевна, голубушка, у вас носик запылился. Ручку, ручку, дорогая.— Взяв руку миловидной, устало улыбающейся женщины, он поцеловал ее в ладонь. Сияя, обратился к секретарю: — Чудесная актриса и очаровательная женщина, я влюблен в нее, влюблен как мальчишка!

— Вы устали, наверное, товарищи? — сказал секретарь.— Пойдемте, я провожу вас.

Актеры в сопровождении секретаря райкома шли через базарную площадь. Белое солнце нещадно жгло. Воробьи клевали навоз. Возле амбара сидела собака и скучала. Толстый, держа секретаря под руку и размахивая жилеткой, говорил:

— Социализм я представляю себе с профессиональной конкретностью. Город. Диспетчерский пункт академического театра (театров, впрочем, не будет), учреждения, ведающего человеческими настроениями. Звонок. У телефона диспетчер. Говорит Арбат, дом сорок три, квартира четыре. Умерла прапрабабушка (люди будут жить долго). Пришлите сотрудника. Семья чувствует потерю. Верните

настроение. Актер является на квартиру и читает монолог, ну, скажем, из Шкваркина (с годами он приобретет шекспировскую силу), где как дважды два будет доказано, что бабушка не умерла, а, так сказать, видоизменилась, перешла из одного состояния в другое.

Будут также поставлены крупные исторические пантомимы, мистерии. Эпопея «Осада Царицына». Участвует весь город. Едят селедку, обязательно тухлую, все исторически точно и подлинно. На дома́ надевают белые полотна, проекционные аппараты передают все этапы разрушения города. Гул, грохот, стон спрятанных репродукторов.

По всей стране будут существовать города различных эпох и формаций. Желающие могут принять участие, пережить, изучить соответствующую эпоху. Это будет расцвет театра.

— Я страшно огорчен, мне уже сорок шесть лет. Почему не двадцать? Почему не двадцать, я вас спрашиваю. Впрочем, мне всегда дают меньше.— Он отстранился, с тревогой глядя в лицо секретаря.

Тот проговорил с убеждением:

— Я вам больше тридцати никак не дам.

— Что вы, голубчик! — засиял толстяк.— Ну какой вы милый! Нет, я старый, старый.

Толстый ел сухой, как известка, творог. И лицо его было счастливым. Рядом стоял актер Серафим Белужин, его раздражала жизнерадостность толстого, он ненавидел ее, как грубое несоответствие действительности. Глядя с отвращением на творог, он говорил черным махровым баритоном:

— Если раньше положительный герой в последнем действии вступал в брак, то теперь он вступает в партию. Трагедия! Вот материал для раскрытия творческого лица актера. Трагедия! Чтобы пахло спермой и кровью.

— Деревянное сиденье от унитаза — вот рама для вашего творческого лица, Серафим,— говорил толстый, доедая творог.— Изучайте действительность и не смейте входить в комнату Астровой, не постучав предварительно. Она мне жаловалась. Работайте над собой. Я знал одного скрипача. Двое суток без перерыва разучивал он трудный пассаж. В пылу не заметил, как от трения струны нагрелись, задымились и вспыхнули. Скрипка сгорела, но пассаж был разучен. Этот человек понимал искусство. Искусство — труд!.. Привет, привет! — засуетился он, вскакивая при виде секретаря райкома.— Вы за мной? Я готов! Вы

идете с нами, Серафим? Секретарь покажет нам город. Не идете? Вы погибнете, Серафим! Нельзя жить запасом старых образов. Вечером товарищеская чашка чая в райисполкоме. Умоляю вас, Серафим, вспомнить один случай. На банкете в честь столетия одного театра один наш общий знакомый напился так, что ноги его больше не держали. Так он ушел на руках, декламируя, и без шапки. На улице было сыро. Он простудился. Если бы вы тогда, Серафим, надели перчатки, вы бы были здоровы. Целую. Привет.

Бесчисленно звезд на небе. Мигают они там, светятся. Живут своей собственной космической жизнью и никого не трогают. Спрашивается, зачем нужно подглядывать за их личной жизнью, печатать в газетах астрономические происшествия, отвлекать внимание трудящихся, когда у нас и со своей планетой дел по горло? Целая канцелярия заведена на мировое пространство! Все звезды пронумерованы, и на каждую имеется документ. Хотя теперь даже собака имеет свой документ или там справку от домоуправления, что, так сказать, вышеупомянутый Бобик находится на иждивении такого-то гражданина, ввиду чего живодеров просят вышеупомянутого Бобика не тревожить. У овчарок, работающих по охране общественной собственности, имеется даже паспорт с перечислением всех ближайших родственников.

А вот у Акима Курячего нет никаких документов. Не успел он захватить их с собой.

Кое-что вы уже знаете об этом ничтожном человеке, и можно было бы не отвлекать вас больше, но вся штука в том, что глотка у Курячего была оборудована отличным голосом. И не нужно бы было ничего больше писать о нем после того, как дружеская рука нашей действительности, протянутая всем трудящимся, сложилась для него в кукиш.

Но Курячий был живуч. Он приспособился. На базаре выступал — пел, аккомпанируя себе деревянными ложками. Пел, вращая опухшей от этого труда шеей.

— Чудесно, чудесно,— лепетал толстый.— Особенно мне понравился этот завод, где вы меня познакомили с девушкой-инженером. Абсолютная чистота! Вы говорите — электростанция? Да, да, сколько дивной мощи и света! А вы заметили, какие глаза? Голубые озера. Ресницы — тенистый черный тростник. А теперь умоляю вас — на базар. Базар — это кипение страстей и красок.

Что может быть в природе наряднее, праздничнее базара? Что может быть шумливей, радостней, великолепней? В разверстых прохладных чревах кооперативных рядов поют патефоны, завлекая покупателей. Вежливые продавцы, замирая от восхищения, прикладывают к вашей груди пылающие галстуки, разноцветные рубашки и волосатые пиджаки. Нет сил удержаться от этих соблазнов. А какие платья! Какие чудесные платья висят за этими прилавками! Великолепие цветущих садов запечатлелось на их тканях, легких, как дуновение озерного ветра. А что, если ножку вон той девушки, вон той, которая покупает терку, засунуть в этот золотой чулок? Что вы тогда поделаете со своим сердцем? Купи́те гитару и перекладывайте шумы своего сердца на музыку.

А вон там, возле огромных базарных весов, таких огромных, что на них можно взвесить не только воз хлеба, а целый дом, расположился ряд торговцев предметами роскоши.

Гипсовые лебеди с вывихнутыми шеями, копилки, глиняные свистульки, толстые собаки из папье-маше, слоны с поднятыми, а также с опущенными хоботами, картинки, намалеванные на косо спиленных пластинках дерева, шкатулки, отделанные ракушками, и такие же рамки — это ли не достойное украшение всякого жилища?!

Здесь бродили парочки. Теснясь друг к другу, они стыдливо приценивались к этим вещам, ибо их место на комоде, покрытом вязаной скатертью, рядом с зеркалом, расписанным розовыми незабудками, вместе с фотографиями в проволочных, чугунных и фанерных рамках, еще пустовало. А как бы хорошо поставить их рядом с флаконами из-под духов на том комоде — внушительном постаменте, свидетельстве прочности совместного бытия.

Гудит базарная площадь, вся в золотом звоне солнечных лучей и сиреневой пыли. Она живет, шевелится и дышит, как одно большое жизнерадостное тело.

Жарко. Невероятно жарко. Еще немного, и трава, здания, заборы задымятся и запылают от этого страшного зноя.

Толстый потел. Теснота и давка изнурили его. Он дышал со свистом. Стиснутый, он колыхался, как буй. Секретарь, напрягшись, выталкивал его из толпы. Еще одно усилие, еще толчок, и пышный живот актера перестала бы месить добродушная толпа. Свежий воздух ворвался бы в слипшиеся легкие, и живительный румянец вновь

запылал бы на его щеках, так похожих на ягодицы. Но вдруг в уши его проникли цокот и ложечные трели. Это Аким Курячий исполнял перед кольцом внимательных слушателей марш из «Веселых ребят».

— Вы слышите? — сказал толстяк со стоном.— Кастаньеты. Ха, кастаньеты! Обыкновенные хлебальные ложки! Я скажу Володе Киршону, он напишет. В третьем акте массовый балет с ложками. Ах, сколько пищи, сколько пищи!

Оживившись, он вновь стал совать свой живот в толпу.

— Какой голос,— шептал он, обмирая, хватаясь за своего спутника.— Какой голос!

Рванувшись, он, как автобус, прорезал толпу. Бросившись к ошеломленному Курячему и ловя его, кричал:

— Идиот! Сумасшедший! Вы понимаете, что у вас голос! Я целую вас. Вы — талант.

Курячий отбивался.

Потом они шли втроем. Курячий, толстый и секретарь райкома. Толстый кудахтал. Секретарь подозрительно разглядывал Курячего. Курячий кротко говорил:

— Этот самый талант у меня еще с детства имеется, но у нас в колхозе его недооценили. Отсталый колхоз, план недовыполняет.

— Какого района колхоз? — спросил секретарь.

— В техникум меня послали учиться,— не ответив, сказал Курячий.— Путевка имеется. Приехал, а там ремонт — полы моют. Только зря трудодни истратил!

— Я напишу статью в «Известия»! — кипел толстяк.— Вы же находка, алмаз. Поставить голос — и он засверкает, как бриллиант.— Вынув носовой платок, он протянул его Курячему и сказал в изнеможении: — Нюхайте, чудесный аромат. Грамм стоит рубль золотом.

Актеры приняли Акима Курячего в свою дружную семью, полную смеха, веселья и жизнерадостных ссор. Белужин подарил Курячему пижаму. Курячий примерил ее и, не теряя достоинства, лаконично сказал:

— В получку сочтемся.

С языка толстого поминутно вспархивали трепещущие солнечные имена: Титта Руффо, Скипо, Баттистини. Курячий обиженно говорил:

— Вы меня этими цыганами не дразните. Если меня в покое содержать, кормить и ноты объяснить... Я ведь в хоре первым тенором пел...

Толстый рвался принять участие в путине.

— Я страстный рыбак,— вопил он,— возьмите!

В Москве, страдая бессонницей, он напустил в ванну живых пескарей, купленных в зоомагазине, и ночи напролет просиживал с удочкой в руках.

Рыбаки взяли его с собой на катер. Он декламировал и восхищался. В море сизая, стиснутая волна растормошила суденышко. Толстый мгновенно ослабел и стал умолять привязать его к мачте. Вцепившись руками в спасательный круг, он не хотел с ним расставаться. Вернувшись домой, с воодушевлением заявил:

— Я наслаждался опасностью!

— Аким, спойте, пожалуйста,— просила Астрова, сияя изумительными глазами, полными мольбы и блеска.

Аким жмурился и отвечал, хихикая:

— Если скажете — для вас хоть в помойную яму полезу.— Отхаркиваясь, Курячий скромно опускал взор и произносил: — Из «Паяцев» желаете?

Астрова сидела на скамье, обняв колени руками, опустив веки. Подняв свое овечье лицо, Курячий пел. Он пел. И неожиданны были эти красивые звуки, казалось бы текущие из самого сердца. И странно было смотреть на губы Курячего, корчившиеся в усилиях, лиловые и толстые. Сколько искренней горести, певучего отчаяния, тоски и трепета! Нет, это пел другой человек...

В сад бурно ворвался толстый. В калитку он протиснулся боком. Его только что взвешивали на базаре на тех больших весах. Он улыбался зрителям, довольный потерей четырех кило. Он с весов, как с подмостков, посылал воздушные поцелуи. Взволнованный и ликующий, он вопил о возвращенной молодости. Ткнув пальцем в скользкую лысину, сказал:

— Я чувствую, как от этого целебного солнца у меня начинают шевелиться будущие волосы.— Жестом фокусника развернул свернутую в трубку афишу: — Читайте, Курячий, читайте!

В афише черными, серьезными буквами среди прочих имен значилось имя Акима Курячего.

Это еще вопрос, сможет ли испанец пронести на плече новенький пиджак с таким шиком и небрежным изяществом, как его носит наш рыбак, прогуливаясь от центрального кооператива до райисполкома по главной улице,

уставленной белыми акациями. У испанца меньше бронзы в лице, меньше достоинства, да и на гитаре он играет хуже.

Вечерами наш город подымается на воздух, колеблемый пеньем и трепетом струн. Само небо высовывает желтое ухо месяца, чтобы послушать эти песни.

Концерт артистов московского театра превратил учреждения города в осажденные крепости. Промыслы, колхозы, баркасы слали телеграммы и делегации.

«Сто мест тчк лучшим ударникам тчк план перевыполнен...»

Десятки телеграмм, сотни заявок. Объединение артели холодных сапожников требовало пять мест. Колхоз «Червонный» категорически заявил: «На дни спектакля заказан самолет. Приготовьте места людям колхоза».

По баркасам объявили соревнование на право приобретения билета. На верфях окончание ремонта прогулочного катера решено было приурочить ко дню концерта. Начальник Освода постановил: матросу, спасшему в течение пятидневки пять человек, будет вручен в награду билет. Никто больше не рисковал купаться вблизи спасательной станции. Стоило только человеку отплыть метра на два от берега, как на него начинали сыпаться спасательные круги и, несмотря на все протесты и вопли, его выволакивали на сушу и делали искусственное дыхание.

Перед началом концерта зрители отдавали артистам рапорт о проделанной работе. Струнный оркестр после прочтения рапортов исполнял торжественные туши.

Потом из зрительного зала выходило четверо рыбаков, одетых, как не могут одеться испанцы по своей бедности. Вытянув шеи, стиснутые воротничками, они несли, выпятив грудь, на поднятых руках копченого осетра, забронированного в свою бронзовую скорлупу, огромного, как торпеда.

Работники хлебозавода несли пирог, украшенный лентами и яркими цветами из стружек. Витые спелые буквы извивались на нем: «Привет ударникам искусства от ударников хлебопечения!»

Курячий стоял за кулисами рядом с пожарником и, беседуя с ним о жизни, примерял медную каску и любовался собою в зеркале.

«А что,— думал Курячий,— если мне выступить в этой каске, очень ведь это красиво будет».

Делегаты всё шли и шли. Войлочно-прокатный цех развернул перед изумленными зрителями, как великолепный ковер, кошму. В середине ее — розовый медальон. А в медальоне из черной, из самой лучшей шерсти (я думаю, такая смолистая шерсть бывает только у пуделя) мерцал антрацитом силуэт знаменитого актера. Но делегат, взяв слово, почему-то говорил не о великом актере, а хвастал плотностью войлока, его эластичностью. И в заключение поклялся перевыполнить уже перевыполненные планы.

Только во времена славного Шекспира существовала настоящая дружеская связь между зрителем и сценой. Захотелось зрителю, он лез на сцену и, прикурив там у знакомого актера, начинал бранить или хвалить пьесу. Если зрители очень мешали, актеры с помощью бокса очищали площадку, чтобы иметь возможность в нормальной обстановке продолжать спектакль.

И вот великие традиции шекспировского театра ожили!

— А валенки? Ты про валенки скажи! — кричали из зрительного зала.

— Что ж валенки,— говорил смущенный делегат.— За валенки извиняюсь. Из кислой шерсти лепили. Теперь, граждане, это нам как тяжелый кошмар. Вот новый образец. Щупайте. Как из пуха, в кармане носить можно. Не валенки, а дивная мечта.

Хорошо было сидеть в зрительном зале. Хорошо, как в гостях. Приятно сознавать, что здесь собрались лучшие люди района, имеющие бесчисленные награды и отличия, и билеты они приобрели не за шалые рубли. Всей своей жизнью они заработали этот праздник.

На улице из рваного грязного неба текли потоки. Водосточные трубы храпели, отплевывались, задыхаясь от душившей воды. О дощатые стены временного клуба терся мокрый ветер.

Наступила внимательная тишина. Подол занавеса поднялся. На сцене стояла Астрова и улыбалась — всем, всем. Такая простая, милая!

— Я прочту вам отрывок из «Анны Карениной»,— сказала она.

И люди неожиданно вошли в чужой мир. Они сидели расслабленные, испуганные, ощущая руками голую спинку родного ребенка, страдая. Кто рвал ус, кто щипал губу, кто беззастенчиво вытирал слезы. Горе одинокой женщины поглотило всех.

С улицы послышался грузный топот, крики, брань, треск и тяжкое хрипение измученных лошадей.

Но эти звуки не могли заглушить нежных стонов страдающей женщины. Никто не шелохнулся.

И тогда в дверях зрительного зала появился возчик. В брезентовом мокром балахоне, с мясисто-багровым лицом, он появился с кнутом в руках и, растерянно оглядевшись, сказал хрипло:

— Извините, граждане... Простите за беспокойство. Цистерну в порт везем. А она застряла, цистерна. Пособите кто?!

Разъяренные люди хотели выбросить возчика на улицу. Но он, огромный и тяжелый, уцепившись за косяк двери, орал:

— Товарищи актеры, посодействуйте! Агитните, пропадаем!

На сцене появился толстый. Раздувая живот, он грозно крикнул:

— Объявляется перерыв до прекращения аварии! — и пошел к возчику, внушительный и энергичный.

Длинные тяжелые струи свешивались из темноты. Эти мокрые веревки хлестали людей, копошащихся в грязи возле огромной, как паровоз, цистерны. Белужин, забравшись на воз, с воодушевлением запел «Дубинушку», и никогда его баритон не достигал такой смолистой густоты и мощи. Оркестранты, накинув на плечи брезент, аккомпанировали. Толстый возился у колеса, перевязывая сломанный обод подтяжками. И когда цистерна пошевелилась и поползла, люди закричали и зааплодировали. Толстый, держась руками за штаны, раскланивался. Хотя аплодировали не ему, он это делал просто по привычке.

Все вернулись в театр, наполняя его шумным дыханьем. Толстый вышел на эстраду и объявил о том, что сейчас выступит колхозник Аким Курячий, человек с изумительным голосом, каким может гордиться государство. Все затихло, замерло. Но прошла минута, две, три, пять, а Курячего не было. Толстый визжал, он носился по сцене, он выбегал на улицу, в мокрую темноту, звал, но никто не приходил.

И на другой день Курячий не нашелся. От огорчения толстый осунулся; хныкая, он неотступно следовал за секретарем райкома и просил принять меры.

— Для страны это невозвратимая потеря,— с отчаяни-

ем говорил он.— С таким голосом люди рождаются в сто лет раз.

Сотруднику угрозыска Коле Прыткину было поручено произвести расследование по делу о таинственном исчезновении Курячего. Прыткин заплатил за три месяца вперед членские взносы в комсомольскую организацию, почистил коровинский маузер и, взяв запасные обоймы, выехал в район.

«Курячий должен быть найден»,— решил он.

И, несмотря на все опасности, трудности и разочарования, мы будем продолжать вместе с ним поиски Акима Курячего.

УТРО

Дождь обрушился с шуршанием бисерного занавеса. Прощебетав, крошечные капли разбежались. Запахло цветущим садом. Утро возвращалось из-за реки, перекинув через плечо радугу, как полотенце. Деревья, отряхиваясь, роняли увесистые дождинки. Сияние и свежесть исходили от только что выкупавшегося утра.

Открывались окна, сдвигались цветы в горшках, распахивались двери.

Люди рукоплескали утру, наклонившись над умывальниками.

В город... Да это не важно, в какой город. А может, вовсе и не в город, а в поселок пришло и начало хозяйничать это удивительное утро.

Председатель горсовета выезжал верхом на мотоцикле оглядывать свое хозяйство.

Стая собак ждала его появления с рассвета. Собаки сидели, терпеливо устремив взор на парадное крыльцо. Зной уже колебался в воздухе. Скучая, собаки подходили к тумбе, обнюхивали ее, задирали ногу.

Наконец появлялся он. Мотоцикл выволакивался за рога, как козел. Собаки, виляя хвостами, приветливо кивали и улыбались.

Выйдя на дорогу, председатель долго бежал рядом с мотоциклом, пока тот не начинал издавать звуки. Собаки скакали рядом, дружелюбно покусывая пестрые шины. Они любили эту шумную машину. А председатель горсовета не любил собак. Они портили вид города.

Но жестокий приказ не мог сорваться с его уст.

Все городские собаки находились в ведении главного врача больницы доктора Здравомыслова. Здравомыслов был замкнут и глубоко сосредоточен. Совершая прогулки в городском саду, он неожиданно останавливал какого-нибудь человека. Тот начинал кланяться и благодарить за спасение жизни. Здравомыслов властно указывал на скамью и, приказав обнажиться, начинал щупать швы своей великолепной работы.

Здравомыслов называл себя последователем великого академика Павлова.

В половине шестого вы могли наблюдать в нашем городе такую картину.

По кирпичному тротуару главной улицы по направлению к больнице начиналось собачье шествие.

Кирпичный тротуар — это наша победа, наша гордость, и вам, привыкшим к смолистой коже асфальта, не понять ее. Вам не понять веселья наших ног. Вы не ходили по вкривь и вкось разбросанным доскам, которые, когда ступишь на один конец, другим стремительно бьют по лицу. О, жестокое унижение провинциального тротуара! О, мрачная топь улицы, которую невозможно перейти вброд.

Собаки шли не торопясь. До шести часов еще оставался промежуток, который они ощущали с удивительной ясностью. Прохожие, встречая этих слуг науки, чмокали губами и начинали заискивающе улыбаться. Но собаки, не теряя достоинства, шли дальше, держась правой стороны.

Председатель горсовета, наполняя город стрельбой и взрывами, передвигался в пространстве. Старуха дворничиха, поливая улицу из лейки, козырнула ему. Милиционер величественным жестом преградил путь: коза переходила улицу.

На территории старого выпаса разбивали парк культуры и отдыха. Уже была сооружена сухощавая вышка для прыжков с парашютом. В обеденный перерыв плотники, каменщики, землекопы толпились на ней. Поплевав на ладони, они хватались за стропы и с лихим возгласом бросались вниз.

Бригадир плотников Козюрин, старик с фиолетовыми щеками и пористым носом, перед каждым прыжком торопливо и мелко крестился, закрыв глаза, испуганно взвизгивал и сползал на спине в разверзшуюся бездну. Спустившись, он снова с одышкой карабкался вверх.

Предгорсовета встретил прораб. Нижняя губа его, толстая и оттопыренная, придавала лицу озабоченный вид. На

прорабе была шляпа «здравствуйте-прощайте» из мочалки, похожая на тропический шлем. Прораб беспрестанно сморкался, плевал и кашлял, отчего казался оживленным и деятельным. Пожав руку, он тотчас захныкал. Проворно кашляя, сморкаясь, он жаловался на недостаток стройматериалов, на отсутствие механизмов и жесткие сроки.

Предгорсовета, внимательно выслушав, вынул из кармана перочинный нож, раскрыл, протянул прорабу, сказал, показывая себе на горло:

— Режьте сейчас же. Я не хочу, чтобы вы это сделали позже. Сад должен быть готов девятого к двадцати трем часам. Как фонтаны?

— Все в порядке,— оживился прораб,— даже имеется идея.

— Говорите.

— Вы помните памятник на бесхозной могиле вдовы купца Курощупова? Мраморный амурчик. Я решил водрузить его в группе центрального фонтана. Срубить крылышки, и будет мальчик вроде пионера.

— Я не позволю вам заниматься грубыми подделками под нашу эпоху.

— Скульптор Дамский лепит изваяние пожарного с брандспойтом. Оттуда будет бить вода. Позирует Григорьев. Это тот, который спас детишек из горящего сарая.

— Очень хорошо. Дальше.

— В пруду, за неимением лебедей, будут плавать гуси. Вечером никакой разницы. Аллеи будут украшены прилично одетыми статуями. Хотите взглянуть на клумбочку?

Клумба, похожая на торт, лежала как на медном блюде.

Председатель сел на корточки и замер. Выпрямившись, он сказал властным голосом всемогущего волшебника:

— Чего вы хотите? Говорите! Ну, говорите же!

Прораб, предварительно высморкавшись, робко сказал:

— Гвоздиков бы еще, Борис Маркович, кило три.

Председатель отшатнулся.

— Если бы вы, тьфу-тьфу, заболели, я бы дал вам с удовольствием три литра собственной крови! Три литра, вы понимаете? Но гвоздей больше не дам. Нет!

На обратном пути председатель заехал в детский сад.

— Ну, чего вы сегодня прорабатывали, ребята? — спросил он.

— Суп с рисом, котлеты, пончики с вареньем! — рапортовали ему люди с блистающими, двояко выпуклыми щеками.

По пути он остановился у киоска с фруктовой водой.

— Как газировка, товарищи? — допытывался он.— Щипет?

— Ничего, Борис Маркович, спасибо, щипет.

Завод фруктовых вод был его детищем.

— Скоро угощу вас безалкогольным шампанским. Пока.— И он загрохотал дальше.

Во дворе ассенизационного обоза он покрутил носом, проговорил:

— Я понимаю, вы имеете дело не с одеколоном. Таким запахом можно убивать. Вот клянусь, в сороковом году у меня будет канализация.

Поздно вечером председатель сидит за столом, согнувшись, как велосипедист, и пишет.

Иногда он поворачивает голову и кричит старшей дочери:

— Нина, возьми шефство над Мишей, он плачет.

Жена председателя работала секретарем парткома совхоза. Он ее видел редко. Белье себе и детям он стирал сам.

— Это я экономлю на горючее для мотоцикла,— говорил он возмущенной дочери.— Не думай, пожалуйста, что я боюсь отдавать белье в механическую прачечную. Просто мне нужно заниматься физкультурой. У меня растет живот.

— Нету у тебя живота.

— Что я, идиот какой-нибудь?! — сердился председатель.— У меня есть живот.— Надувшись, он выпячивал тощее пузико.

Все спят. Окна в предрассветной сини торчат в стенах. Вот председатель протягивает руку к пепельнице и извлекает оттуда полуистлевший холодный труп папиросы. Закурив, он мечтает.

Он мечтает о клекоте воды в фарфоровых унитазах, о ваннах с душами, похожими на никелированные подсолнухи.

Потом он торопливо покрывает бумажку цифрами.

С остервенением ковыряя карандашом в ухе, он шепчет с отчаянием:

— Нет, денег не хватит. Не хватит. Разве же это лимиты?

Проснулся он радостный и свежий.

— Нинка! — закричал он.

— Не кричи, мама приехала. Спит,— сказала, входя, дочь.

Шепотом он рассказал ей: в Ачуеве находятся артисты столичного театра. Если уговорить приехать одного-двух и устроить платный концерт? Это же вагон денег! Можно будет соорудить еще пару фонтанчиков сверх плана.

Днем он вызвал к себе председателя Осоавиахима.

— Здравствуй, Юра,— сказал он высокому лысому человеку в военной форме со щеками твердыми и выпуклыми, как бицепсы.— Я хочу поклониться тебе в ноги. Из Ачуева нужно привезти артистов-москвичей, понимаешь?

— Пошли фордишку.

— Автомобиль несолидно. Нужен самолет.

— Они побоятся садиться в самолет.

— А если с парашютом?

— С парашютом не побоятся.

— Так сегодня в шесть.

— Сегодня в шесть,— сказал, вставая, председатель Осоавиахима. Потом он вернулся: — Я забыл, моторист уехал в совхоз помочь сборке комбайнов.

— Я пришлю тебе слесаря-водопроводчика.

— Хорошо, пришли слесаря-водопроводчика...

Ока Кузьмич Жареный занимался профессией малопривлекательной, но зато очень выгодной.

Расхаживая по станицам с мешком за плечами, он скупал дохлых кошек, собак, крыс, хомяков и сусликов. Он не был агентом ни Союзпушнины, ни Утильсырья, хотя у него и имелось удостоверение, напечатанное на бланке счета гостиницы, в котором утверждалось, что он таковым агентом все-таки является.

Ока Кузьмич был человеком скромным. Он не злоупотреблял этим мандатом. Придя в деревню, он садился где-нибудь в тени, в холодке, раскладывал на разостланной рогожке карандаши, переводные картинки, стеклянные бусы, зеркальца, наперстки, бархатные бомбошки, нитки, пуговицы и ждал. И совсем он не был похож на паука, который ждет жертву. В обмен на натуру ребятишки и женщины натаскивали ему уйму всякой пропастины. Он уходил за околицу и там ножичком ловко вытряхивал окоченевшие тушки из кожи. Шкурки он складывал в мешок. Если было не поздно, он шел дальше. Если уже смеркалось, он отыскивал какую-нибудь вдову-единоличницу и просился ночевать.

На голове у него была фетровая шляпа. На плечах

старенький чесучовый пиджак. И то и другое внушало доверие.

Правда, вначале он работал несколько иным методом. И одет был иначе.

На нем были сапоги, ветхая кожаная куртка, украшенная всякими знаками с левой стороны, под мышкой с правой стороны брезентовый портфель, а на голове зеленая фуражка.

С недовольным видом он являлся к председателю сельсовета и, махнув перед измученным его лицом стопкой засаленных бумажек, требовал созвать сход.

На площадь выбегал босой мальчишка и начинал лупить болтом по подвешенному на проволоке буферу. Старики и терпеливые старухи шли на сход со своими табуретками и стульями. Трудоспособные — с негодующим рычаньем. Ибо эти сходы собирались чуть ли не по пять раз в день всякими уполномоченными и командированными.

На площади Ока Кузьмич произносил громовую речь, требуя немедленной сдачи причитающейся пушнины.

Обеспокоенные люди ловили со слезами па глазах кошек, собак и гонялись по амбарам за крысами.

Чуть ли не весь Ростов наряжал Ока Кузьмич в свои «манто» и чудные воротники из свежей собаки.

Среди скорняков Жареный славился размахом и выдумкой. Фининспектор неделями жил в парадном у Жареного, надеясь его встретить. Но Ока Кузьмич по ворчанию примуса, которым согревал себя фининспектор, узнавал о присутствии постороннего и избегал встреч.

Однако метод пришлось переменить.

Милиционер привез Жареного в город на телеге. И когда они проезжали мимо дома Оки Кузьмича, фининспектор, увидев печальную процессию, с радостным воем бросился к телеге и стал обнимать Оку Кузьмича.

Жареному запретили жить в больших городах. Но Ока Кузьмич не очень опечалился, он был человек нервный, его раздражали шумы больших городов.

Путешествия по сельской местности укрепили его здоровье.

И вот случилось так, что Ока Кузьмич, забредя поздно в станицу, напросился ночевать, по неизменной своей привычке, к холостой женщине. Эта соломенная вдова оказалась покинутой супругой Акима Курячего. Почувствовав симпатию к незнакомому человеку, она рассказала ему о жестокой своей судьбе.

Осведомившись подробно о Курячем, Ока Кузьмич вознегодовал.

— Бросить святой храм! — возмущался он.— Это варварство. Это вандализм. Вы должны сыскать вашего супруга!

Супруга стонала:

— Мне бы только увидеть его один раз. Выцарапать его зенки противные, больше я ничего не хочу.

Вы помните, как Аким Курячий стоял за кулисами перед зеркалом в пожарной каске и любовался собою, готовясь к выходу на сцену? С минуты на минуту он должен был продемонстрировать зрителям сокровища своего лирического тенора. Но лишь только он хотел с улыбкой повернуться к пожарному и спросить, платят ли ему с пожара или помесячно,— как улыбка его разбилась о вздымающийся могучий торс супруги. И улыбка, славная такая, как бабочка, улыбка, затрепетав, сдохла. Аким сделал рывок, но сильная рука впилась в него.

— Акимчик,— лепетала жена,— я по тебе соскучилась. Исстрадалась...— И она теснила его к себе, шагая размашисто и уверенно, как дворник, ведущий пьяного.

Рядом двигался Ока Кузьмич, держа в руке подобранную на улице дохлую кошку. Он был грозен.

— Я больше не буду,— горестно блеял Курячий.

Они вышли в степь.

Жестокий, всклокоченный бурьян шевелил свои паучьи лапы. Опухшая круглая луна лежала на облаке.

— Ты меня на актрису променял! — воскликнула жена и навалилась на Курячего.

— Спасите! — пискнул Курячий. Он брыкался и визжал. А Ока Кузьмич, прыгая вокруг Курячего, бил его кошкой и вопрошал:

— Где икона с ликом божьей матери? Где икона с ликом божьей матери?

Пожарная каска спасала голову Курячего от побоев.

И вдруг темное облако лопнуло, и из него обрушилась черная, грохочущая громада. С воем она снизилась над степью и покатилась к группе людей.

Икая от ужаса, Ока Кузьмич с необычайным проворством пополз на корточках в сторону. Курячиха с нежным воем испуганной женщины последовала за ним.

К поверженному Курячему подошел летчик. Это был председатель Осоавиахима, посланный за актерами.

— Вы что тут делаете? — спросил он Курячего строго.

— Гуляю,— залепетал Курячий, стирая с лица прилипшую кошачью шерсть.

— Кто такой?

— Актер. Ей-богу, актер,— оживился Курячий.— Пою академически.

— А ну спой.

Курячий запел.

— Идемте,— сказал летчик.

Курячий поплелся за ним. Летчик вынул ранец парашюта и стал надевать его на Курячего. Прицепив резинку к руке, он сказал:

— На авиационном языке это называется «соска», специально для неопытных парашютистов. При движении руки парашют раскрывается автоматически.

— Не надо,— жалобно сказал Курячий.

— Пустяки,— ответил летчик, подсаживая Курячего в кабину.— Так имейте в виду, в случае чего ногой на борт, вниз, и все в порядке.

Самолет завыл, рванулся, луна, облака ринулись навстречу.

Что переживал Курячий? О, слабость моего воображения! Нет, я не знаю, какими словами изобразить ощущение человека, впервые попавшего на небо.

Курячий весь отвердел в напряжении, впиваясь руками в сиденье самолета. Сначала он ничего не видел, ибо все заслоняло черное могучее гуденье мотора.

Но потом, потом он почувствовал, что становится пустым и легким. Курячий открыл глаза. Рядом, в воздухе, старательно размахивая ветхими крыльями, висел ворон. А внизу ворочалась выкрашенная зеленым цветом земля. Она подымалась и опускалась, как гигантский поплавок.

От этого зрелища у Курячего защемило сердце. Он со стоном дернулся вперед. Курячий переживал страшные муки, делал движения руками, требуя опустить его обратно на землю. Но летчик мотал головой и летел только вперед.

И вот, когда самолет пролетал над прудом, Курячий, чтоб прекратить свои страдания, решился на отчаянную выходку. Он расстегнул на животе ремень и встал.

Летчик, повернув к нему разгневанное лицо, что-то кричал, жестикулируя. Оставленный без внимания самолет споткнулся и нырнул вниз.

Курячий покачнулся и...

Падая, он кувыркался, дрыгал руками и ногами.

От этих ужасных движений парашют раскрылся. Курячий повис в воздухе и стал медленно сползать вниз.

Он упал на луг и, накрытый шелковым шатром парашюта, остался лежать без движения.

Самолет делал круги, совершая посадку.

Курячего выволокли из-под опавшей ткани. Несколько мгновений он оставался недвижим, потом внезапно вскочил и оживленным галопом устремился к видневшимся неподалеку зданиям. Не найдя больницы, он позволил отвести себя в столовую, где, совершенно потрясенный, ел, не замечая вкуса пищи.

В совхозе, куда Курячий неожиданно свалился с неба, его чествовали как героя.

Стоило ему выйти на улицу, как сейчас же вокруг собиралась стая мальчишек. Молча глядели они на него завистливыми глазами и просили:

— Дяденька, дай парашют с сарая прыгнуть.

Повариха приходила к нему утром и робко спрашивала, что он желает кушать.

Завклубом умолял Курячего сделать доклад о парашютизме. Курячий снисходительно обещал.

Вечером Курячий ссорился со своим спутником. Курячий требовал награды за прыжок. Но председатель Осоавиахима говорил, что прыжок пустячный. За такой прыжок, говорил он, наряды дают вне очереди. Но значок парашютиста пообещал дать, если Курячий завтра вылетит с ним и выступит в обещанном концерте.

Курячий помирился на значке.

У-2 № 374

Желаю говорить о вежливости.

Желаю лакомиться ею.

Ибо вежливость приятна, обольстительна и доставляет счастье и радость окружающим.

О, могучее мастерство приветливости!

О, кропотливая работа щек и губ, лепящих бесчисленные улыбки!

Одним нежным словом можно заставить посторониться самых мстительных и кровожадных трамвайных людей.

Я видел, как старуха со ртом, окованным зубами из хромированной стали, укус которых может быть смертелен, добровольно уступила очередь в кассу человеку, толкнувшему ее, но извинившемуся с искренним огорчением.

Чувство собственного достоинства у нас грандиозно выросло.

Некоторые людишки уже начали подзарабатывать на этом благородном чувстве.

Будьте внимательны, друзья и товарищи, не позволяйте проворным лапам устраивать из этих чувств балалайку...

Он появлялся, маленький, плотный, опрятный, с прыткими движениями, всегда взволнованный и приподнятый.

Он улыбался неутомимо, всем без исключения.

Миллион улыбок.

Вечером от этих улыбок у него болели щеки.

Он был вежлив. Нет, не вежлив. Это была страсть, стремительная, бушующая страсть учтивости.

Вы не сможете так ловко зажечь спичку, обнести всех грациозно и великодушно, а уж потом, обжигая пальцы, закурить.

Нет, вы не сможете так зажечь спичку!

А даже если и зажжете, не торжествуйте: он вынет ее у вас из рук и протянет вам же. И вы в умилении припадете к ней.

Я же говорю — не сумеете!

Он угощает, раскрывая коробку папирос. Он сидит, но расшаркивается под столом ногами.

Вы входите в комнату, он вскакивает, предлагает занять его стул. В комнате достаточно стульев, но он не эгоист, он не хочет сидеть, пока вы стоите.

Я болел от его вежливости.

Нет, как он улыбается, как он улыбается!

Вы чувствуете, начинают чесаться щеки, и вы делаете лицом какие-то непроизвольные движения. Но разве ж это улыбка? Так, дрянь. Грубая подделка сои под шоколад.

Вам не улыбаться, а икать. Да, икать нужно с вашим неповоротливым лицом.

Если бы у Валентина Степановича был хвост, то частота колебаний этого хвоста была бы необычайно высока. Но у Валентина Степановича не было хвоста, хотя мне иногда и казалось, когда он благодарил кого-нибудь, шаркая ногами, дрыгая щечками и вихляя всем телом, что хвост

у него есть. Небольшой, конечно, маленький, как у фокстерьера.

Валентин Степанович служил в Союзшерсти. В командировки он ездил в синем нарядном комбинезончике (его ему подарил один знакомый инженер).

Валентин Степанович и сам любил делать подарки. Для этого у него в чемодане была припасена целая уйма всяких вещиц. Блокнотики, карандаши, простые, и химические, и из пластмассы. Пачки паршивых сигарет «Тигр» в оранжевой обертке,— для незнающих людей они обретали торгсиновский ореольчик.

Нужно было видеть, с какой великодушной щедростью Валентин Степанович преподносит самый обыкновенный наконечник на карандаш. Нет сил отказаться!

А знаете, важна в конце концов не вещь, важна забота, нежность.

Валентин Степанович не просто так совал в руки предмет, грубо сказав «возьмите».

Нет, он сначала благодарил вас, ну, скажем, за то, что вы «устроили» ему костюм или дали машину для поездки в район, он восхищался вашей полнотой или худобой, а уж потом замечал, что на вашем карандаше нет наконечника, и преподносил свой.

Об устройстве человеческой души говорить не берусь, тем более функции таковой исполняет ваша нервная система, такая, знаете ли, сетка из жилочек, расположенных в организме. Дрыгаясь и сокращаясь, как тысячи мелких вожжей, ниточки эти понукают нас на совершение того или иного поступка.

Валентин Степанович умел обращаться с чужой нервной системой.

Обольстив, он устраивал свои мелкие делишки, не забывая, между прочим, и свои служебные задания.

Короче говоря, приехав в совхоз, где директором был жизнерадостный мужчина с нравом Ноздрева, он сумел оболванить всех.

Старшего ветеринара он научил танцевать танго, и, целиком поглощенный тонкостями изящных телодвижений, тот уже не стал сопротивляться преждевременной стрижке овец.

С животноводом Валентин Степанович ходил ловить рыбу, прикинувшись страстным любителем. Указывая на всякие тучки, он говорил, что если сейчас не начать стрижки, то с завтрашнего дня вот это самое облачко, тучное от

сырости, начнет сыпать таким дождем, что роскошное руно отсыреет и закишит червями.

Директора, у которого все клокотало внутри от жажды деятельности, он подбивал немедленно начать у себя на месте производство персидских ковров и даже обещал через трест выхлопотать необходимого специалиста из Ирана. Обнаглев от всеобщего дружелюбия, он проповедовал наспех изобретенную теорию: если немедленно не начать стрижку овец, овцы будут млеть от жары и дохнуть.

А овцы между тем набухали с каждым днем шелковой своей ватой. Каждый день они наращивали на свои жирные бока пуды шерстяного золота.

Но Валентину Степановичу хотелось домой, ему надоели неудобства командировочного состояния, и он не хотел дожидаться в совхозе назначенных государством сроков стрижки, а потому торопил, торопил.

Начальник политотдела совхоза не мог видеть без содрогания тучную, но проворную фигурку Валентина Степановича.

Пригласив Валентина Степановича на бюро парткома, созванного специально по вопросам стрижки, он получил такую отповедь.

— Во-первых, я беспартийный,— сообщил ему с радостью Валентин Степанович.— Человек, вам, так сказать, не подчиненный. И, принимая во внимание единоначалие, желаю иметь дело только с директором.

Чабан Апа Шуванов восстал против досрочной стрижки, но, будучи человеком от природы не красноречивым, он не стал убеждать Валентина Степановича во вредном его азарте. Храня на сплюснутом своем лице всегдашнюю невозмутимость, он прибегнул к известному азиатскому способу отделываться от нежеланного гостя. Он пошел к повару и попросил кормить приезжего особенно жирно. И повар понял его.

Валентин Степанович любил покушать. И он объелся пропитанной салом пищей. Желудок не вынес такого обилия.

Бледный, взъерошенный Валентин Степанович валялся на койке, стеная. Через каждые пять минут он вскакивал и с отчаянной стремительностью выбегал на улицу.

Слабым голосом он умолял, забыв овец и стрижку, отправить его в город. Мысленно подсчитывал число учреждений, которые должны были дать извещение в газету о его смерти.

Днем к нему зашел начальник политотдела и сообщил со сдержанным удовольствием: вечером Валентина Степановича отправят на самолете в город. Валентин Степанович растроганно благодарил и даже начал произносить длинную тираду о пользе политотдела, но ему не удалось закончить: очередной приступ заставил его схватить со стола газету и выбежать на улицу...

Шеф-повар Егор Галактионович Мерзликин — великий человек. Волшебник в белом халате, он знал тайны гостеприимства, но знал он и тайны мастерства.

Картошка, падавшая из его удивительных рук в котел, разворачивалась, приобретая сходство с чайной розой. Пельмени нежностью своей походили на розовое ухо девушки, а судак с подливкой...

Где они, рецензии, восхваляющие искусную руку мастера, творца этих шедевров? Их нет, этих рецензий. И быть не могло, потому что редактор совхозной многотиражной газеты страдал катаром желудка и восторгом от собственных передовиц.

— Я не повар, я химик,— настаивал на признании Мерзликин.— Вы затираете научного человека.

— Пишите о ходе соцсоревнования в цехе питания,— говорил редактор.

— Я желаю обсудить новую подливку! — кричал повар.— В Москве профессор Певзнер супами от ревматизма лечит. На него «Известия» бумаги не жалеют, а на меня жалеете. Ты, кроме каши на воде, ничего не понимаешь. Вот подожди, сдохнешь без витаминов.— И он уходил, рассерженный и гневный.

Ярость вдохновения, внезапная ясность чувств частенько посещали лысое чело Егора Галактионовича. Тогда он выдумывал новое блюдо.

Он расхаживал по столовой с нескрываемой тревогой изобретателя, наблюдающего за испытанием новой модели.

Усы его, спадающие на рот бурыми воробьиными крыльями, дрожали. Он наклонялся к обедающим и робко спрашивал:

— Ну как?

Случалось, после обеда рабочие устраивали ему овации. Он выходил из кухни и раскланивался.

Он торжествовал. А бурые усы его, затрепетав, слетали с губы и начинали порхать по сияющему пространству, размахивая своими воробьиными крыльями.

Презренье и негодование искажали его лицо, когда он видел, как некоторые люди, торопливо и суетливо ерзая челюстями, с бездарным безразличием глотали пищу.

Он подходил к такому человеку и произносил с яростью:

— Товарищ, я не желаю подвергать себя уголовной ответственности. Вы сейчас подавитесь и помрете.— Потом добавлял с укоризной: — Кушать не умеете. А еще тракторист — колхозная интеллигенция!

Егор Галактионович писал.

Он писал книгу. Самые сокровенные мысли вкладывал он в этот свой труд.

Книга была посвящена пище.

Я читал ее и знаю: подлинно замечательное творение. Некоторые главы были написаны таким возвышенным стилем, что в них слышалось бряцанье бронзы гекзаметра.

В них могучими, живописными словами изображалось таинство превращения сырья в изумительные яства, которые нужно медленно нежить на зубах, услаждая себя выделяющимися сиропами соков. Секреты тонких ароматов, способы сохранения витаминов переплетались с поэтическими излияниями истинного гастронома.

Сто блюд должна была вмещать в себя эта книга. И уже остались позади семьдесят восемь. Труд был недалек от завершения.

Наивысшей точкой его должен был стать торт «Праздник урожая».

Мерзликин предлагал свою работу районному издательству. Но ее отклоняли.

Правда, одно издательство в ответ прислало предложение написать брошюру в помощь колхозным поварихам. Но Егор Галактионович с негодованием отказался. Разве мог он, великий мыслитель и певец пищи, писать о примитивном едове?!

Курячий зашел в столовую, чтобы последний раз в жизни насладиться хорошим обедом. Сегодня в пять часов он должен был совершить прыжок с парашютом для развлечения колхозников, завербованных па прополочную в совхозе и прельщенных не заработком, а великим зрелищем парашютного прыжка.

Шеф-повар Мерзликин, жонглируя сверкающими ножами, отдавал приказания по кухне. Он сам наряжал подаваемые Курячему блюда в узоры из салата, усы-

пал морковными звездами, расписывал вензелями из крема.

Курячий кушал все эти произведения искусства без всякого воодушевления. Смертная тоска душила его. Уныло поклевывая вилкой, он размышлял о побеге.

К Курячему подошел повар. Состряпав на своем толстом лице заискивающую улыбку, он сказал:

— Товарищ! Ваше имя достойно быть написано на юбилейном пироге, я просто не могу вам сказать, как я уважаю вас за ваше геройство.

Курячий, подняв огорченное лицо, пробормотал:

— На могильной табличке напишут мое имя химическим карандашом. Дождик будет мочиться на мою могилку.

Уронив голову на руки, он прошептал с отчаянием:

— Таким человеком с самолета бросаться хотят. Эх, люди!

Мерзликин, робея, сел рядом. На лице его совершалась судорожная возня невысказанных желаний. Потом, решительно сняв колпак и вытерев руки, он заявил:

— Товарищ, если я нахально скажу, вы не обидитесь? Разрешите, я за вас прыгну. Вам лишний прыжок — только беспокойство, а для меня торжество кулинарии. Я знаю, что, может, из себя отбивную котлету сделаю, но при удаче ко мне все общественное внимание повернется. Я их не только печь переложить заставлю, я производство искусственного льда налажу. Книгу мою «Сто обедов» с портретом издадут. Товарищ, будьте добреньки, позвольте.

Курячий оцепенел. Неожиданный каприз счастья не сразу дошел до его угнетенного мозга. Вынув изо рта недожеванную котлету, он встал.

— Позволю! — заявил Курячий с восторгом. Потом, образумившись, сказал с деловым достоинством: — Пиши расписку, что прыгаешь без отказу, чтоб срыву не было. С милицией заставлю.

Повар, всхлипывая от радости, накатал расписку.

Председатель Осоавиахима четыре часа подряд инструктировал Мерзликина. И тот проявил недюжинную понятливость.

Рабочие совхоза, узнав о предстоящем прыжке повара, пришли в негодование. Они требовали, чтоб им также были разрешены прыжки, и даже предлагали установить плату за амортизацию парашюта по десять рублей с прыжка.

Курячий уже начал собирать деньги, но летчик запретил.

Самолет с басовым ворчаньем взлетел в небо и стал набирать высоту.

Сотни людей в поле задрали головы и держали их так, запрокинув, словно пьющие куры.

От самолета отделилось что-то черное и начало падать. Все ахнули и присели.

Момент, когда человек решает отделиться от самолета, неописуем. Судорожное теспение лишает мозг мысли.

Падая, повар ощутил, как у него похолодел и прилип к позвоночнику желудок, сперло дыханье, в глазах появилось яркое тошнотное голубое сверкание. Ужас! Он рванул вытяжное кольцо, похожее на металлические петли, болтающиеся на ремнях в автобусах. Прозрачная тугая пружина воздуха ударила в облако парашюта. Повара подбросило и стянуло лямками.

Желтый купол распустился ликующей тканью. Огромная, спокойная, теплая земля радушно всплывала навстречу. В полюсное отверстие парашюта воздух хлестал с журчащим воем. Мерзликин приземлился по всем правилам. Люди окружили его.

Ошеломленный, оглохший, он стал кричать заранее приготовленную речь.

Фотограф совхозной многотиражки, конюх Поддубный, припадая на колени, снимал Мерзликина во всех видах.

С подхалимской улыбкой тут же крутился редактор с блокнотом в руках, выпрашивая у героя-повара ощущений.

Зависть заела Курячего. Он стоял поодаль и мучился. Курячий любил почести и внимание, но сам отдал их другому.

Тихий, незаметный, он побрел в совхоз выпить пива.

Из-за пустынной улицы на него наскочил разъяренный конь в пене и огромных синих мухах. На седле возвышался Коля Прыткин, агент уголовного розыска.

Взглянув на Курячего, он сразу определил, пользуясь «датским методом опознания преступника на расстоянии», что это и есть искомый им объект.

— Вы Аким Курячий! — закричал он. И стал сползать с коня на землю.— Я сотрудник оперода милиции,— добавил он. И полез в карман за удостоверением.

Курячий, испытывая слабость, обмер, но здоровая инициатива победила. Он побежал, высоко вскидывая ноги, работая локтями.

Прыткин с криком «Стой, стрелять буду!» устремился за ним. Конь, недоуменно покачав головой, последовал за Колей грациозным галопом.

Самолет готовился к отлету. Летчик уже газовал, и трава вокруг машины шевелилась, как водоросли во время прибоя.

Директор, поддерживая кепку, кричал, предлагая сменять самолет на форд, давая тройку лошадей в придачу.

На носилках принесли Валентина Степановича. Потеряв всякий стыд, соскакивая с носилок, он не давал себе труда отыскать прикрытие и не добегал до кустов.

Суетливость этого пассажира и неутомимое торгашество директора раздражали летчика, и он спешил к отлету.

Но Курячего не было. Потеряв терпение, летчик, потребовав с директора обещание, что он доставит Курячего в город на машине (за это он обещал продать ему со скидкой планер), взял старт.

Через все поле к самолету бежал Курячий.

Самолет, вздрагивая, катился по земле.

Курячий, делая невыразимые прыжки, догнал самолет, но не успел влезть на крыло и, соскользнув, в отчаянии уцепился за шасси.

Самолет взмыл в небо.

Ужас. Черный ужас охватил присутствующих. Все видели, как Курячий, дрыгая ногами, взобрался на шасси и, усевшись на перекладине, как на качелях, замер.

Гул мотора звучал торжественной мелодией траурного марша.

Коля Прыткин подскочил к директору и потребовал машину, чтобы преследовать самолет.

Директор, поглядев на Колины мандаты, вернул их и сказал:

— У меня здесь не прокатный пункт. У меня здесь хозрасчет. Найдите, кто соловую кобылку увел, дам машину, а то вас из города не дозовешься,— и пошел в контору.

В мрачном нетерпении Прыткин устремился к конюшне изучать материал по похищению соловой кобылки.

В город была послана телеграмма о гибельном взлете самолета У-2 № 374.

И на этом автор смолкает. Ибо он уверен в том, что в наше бурное время, если к мелкой личности привлечено

общественное внимание, она будет спасена. И не только ради самой личности, а во имя авторитетного общества, в котором существует эта личность, как бы ни была она ничтожна.

И еще автор думает о том, что мы живем во время, когда крохотные блестки даже в мусорном человечишке способны привлечь внимание. И это вселяет веселую надежду на то, что совсем недалеко то время, когда не будет людишек, которым, подобно навозным жукам, неведомо назначение крыл, и каждый человек будет окрылен своим делом, нужным народу.

1935

ВАРВАР

Под сараем коношился сумрак. Утром в щели влезали голубые полосы света, в них роилась пыль.

Темнота пахла теплым тленом, куриным пометом, материнским теплым брюхом. Щенята, кусая сосцы, месили вымя мордочками, они топтались на нем, сердито визжали.

Мать лежала на боку с закрытыми глазами.

Когда мать начинал томить голод, она вставала, осторожно стряхивала щенят и уходила. Возвращалась, вновь наполненная молоком.

К сараю подходил человек, садился на корточки, звал:

— Куська, Куська!

Мать судорожно вскакивала, юля всем телом, выползала. Человек трепал ей загривок и, шумно дыша, говорил:

— У, сука...

Мать закрывала глаза и замирала от удовольствия.

Щенята ловили губами пальцы человека и сосали их, но молока там не было.

Человек пришел снова; сев на корточки у лаза, он долго перебирал щенят, мял им выпуклые пузики, дергал за лапы. Отложив одного в сторону, он вдруг страшно закричал:

— Мария!

Вышла женщина, неся впереди себя самовар. Вода клокотала и билась в нем.

Поставив самовар на землю, женщина робко сказала:

— Погодили б, Опанас Кондратыч, жалко кобельков-то,— и высморкалась в фартук.

— Ступай, баба!

Опанас Кондратыч брал щенка за шиворот, клал на землю, придавив щепкой, осторожно обливал кипятком из ковша. При этом он улыбался и лепетал:

— Ишь мышата...

Сука металась вокруг. Она припадала к земле, ползала и скулила.

Хозяин плеснул на нее из ковша остатками кипятка и, глядя на вертевшуюся с визгом собаку, сказал с чувством:

— Ишь расстраивается, падла.

Хозяин ушел. Мать метнулась к оставшемуся щенку, утащила под сарай. Всю ночь стонала она, слизывая с ошпаренного тела шерсть.

Хозяин приходил; наклонившись, он совал в лаз руку и звал:

— Куська, Куська... поди... дура.

Мать рычала, у нее дрожала челюсть, щенок прижимался к ней и тоже рычал.

Хозяин кричал:

— Поди, стерва!

Мать выползала и лизала хозяину ноги.

Щенку было скучно одному. Правда, он мог до отвала упиваться молоком. Его от обжорства даже тошнило, и спал он у матери в самом теплом и нежном месте. Но ему было скучно. Мать с рассветом уходила в отару, ночью хозяин привязывал ее на цепь.

Щенок искал веселья. Он подходил к лошади и лаял на нее. Потом он мчался к петуху. Петух стоял на одной ноге, опустив на глаза белые веки, и молчал. Щенок целился ухватить его за хвост, но петух оборачивался и клевал в голову. Обиженно скуля, щенок уходил.

Ночью он бродил с матерью по двору. Мать, лязгая цепью, все время прислушивалась и ходила, ходила.

И вдруг стало светло, как днем, только все было красным. Так днем не бывает.

Сарай шипел. Красное, живое билось в нем.

Из дома выбежал хозяин, весь в белом. Он кричал:

— Подожгли... спасите... люди!

Он прыгал возле сарая, лил в него из ведра воду. Набежало много людей. Они кинулись на сарай и били его топорами. Потом во двор притащили человека и начали бить и его.

Утром сарая не было. Черные, обугленные бревна валялись по двору.

Хозяин подошел к Куське с лопатой. Куська хотела бежать, но цепь держала ее.

— Так ты добро стережешь! — вопил хозяин и бил ее лопатой, как били того человека.

Щепок, когда хозяин ушел, подкрался к матери, ткнул носом. Она была холодная и твердая. Он теребил ее за ухо, визжал, но мать не хотела вставать.

Хозяин позвал его. В руках он держал ножницы для стрижки овец. Щенок подбежал, лег к ногам и захныкал. Хозяин, захватив его морду рукой, обрезал ножницами хвост и уши.

— Злее будешь,— усмехнулся хозяин.

Щенок кувыркался по земле и визжал от ужасной боли. Щенка посадили на цепь. Уши и хвост его затянуло синей коростой. Он забирался в самый угол конуры и, боясь всего, дрожал. Хозяин, наклонясь над конурой, расстроенно бормотал:

— Как бы не испортился пес. Учить надо.

Учить его он приходил дважды в день. Садясь перед конурой на табуретке, он толкал щенка палкой и шипел:

— Возьми, возьми!

Щенок плакал и визжал. И, когда боль становилась уже нестерпимой, он бросался на палку и грыз. Хозяин дергал палку к себе.

Приносили мясо. Хозяин привязывал его к веревке и начинал бить им щенка, пока тот, осатанев от голода и злобы, не вгрызался. Хозяин радостно бормотал: «У, варвар!..» И эта кличка утвердилась за щенком.

Он подрос. Хозяин не прекращал учебы. Иногда он заманивал к себе во двор бездомную собаку; закрыв калитку, спускал Варвара с цепи, а сам, забравшись на крыльцо, наслаждался зрелищем собачьего боя. Варвар при виде человека приходил в бешенство. Он ожидал боли, издевательств; давясь, он бросался, и падал навзничь, и грыз цепь, и на железных звеньях оставались следы костяной муки от его зубов.

Щенок вырос в огромного угрюмого пса. Губы его были оттопырены двумя смертоносными клыками.

Люди, заглядывая ему в глаза, отворачивались и говорили:

— И впрямь варвар! В хозяина зверь.

Однажды охотники привезли хозяину живого волка с перебитой ногой.

В воскресенье хозяин пригласил к себе гостей. На крыльцо были выставлены венские стулья.

Работник спустил Варвара с цепи, потом открыл дверцы сарая, где сидел волк, и, схватив вилы, бросился к крыльцу, чтоб в случае чего оградить гостей.

Колченогий волк, болтая перебитой лапой, вышел из сарая. Облепленный навозом, тощий, хромой, с крупной головой на могучей шее, волк, поджав под брюхо хвост, закружил по двору, потом прижался к забору, в тень, и замер. Он не мигая глядел на людей, и в глазах его не было тоски.

Варвар шел на волка, опустив морду к земле.

— Возьми, возьми его...— выли с крыльца и махали руками.

Варвар приблизился к волку, остановился. Звери глядели друг на друга, не шевелясь.

Они сцепились — волк и собака. Они катались по двору. Кто-то из гостей сбежал с крыльца и стал бить по катающемуся клубку палкой.

На крыльце воодушевленно кричали.

Варвар уполз от мертвого волка в свою конуру.

Пьяный гость подошел к конуре с рюмкой в руках. Хихикая и качаясь, он сунул в конуру рюмку.

Отчаянный вопль огласил двор. Размахивая рукой, гость бежал к крыльцу и требовал, чтобы собаку убили.

— Убить нельзя,— сказал хозяин,— пес службу несет. А поучить могу.

И избил пса плетью.

Хозяин за последнее время уже не привязывал Варвара на ночь к проволоке, а спускал его.

Варвар бродил по двору, огромный, понурый, и, когда он слышал ликующие собачьи вопли, в груди его начинала клокотать тоска, но он не мог лаять, как все собаки. Он глядел на луну, и клыки его обнажались.

Однажды днем в закрытые ворота кто-то стал сильно стучать. (Ворота теперь закрывали и днем.)

— Кто? — спросил хозяин.

— Комиссия.

Хозяин отцепил Варвара, а сам бросился в дом. В ворота все стучали. Люди вошли в разбитую калитку, но, увидев Варвара, отпрянули. Милиционер вытащил наган.

— Не тронь,— сказали ему.— Пес теперь тоже будет общественный, нельзя пса портить.

Люди остановились в замешательстве.

— Чего ждете? — кричали сзади.— Мороку разводите... Стреляй, товарищ милиционер!

Вперед вышел старик. Он шел к Варвару, вытянув руку. От старика пахло овцами.

Варвар попятился, шерсть его дыбилась; нежная во-

ркотня человека, его спокойствие, глаза, глядящие в упор, смутили собаку, и она отступила к конуре.

Человек взял цепь, пристегнул к ошейнику, и, когда отнимал руку, собака рванула его за кисть.

Но человек не отскочил, не закричал. Сунув прокушенную руку под мышку, он долго стоял перед конурой, внимательно разглядывая собаку.

И пес, забившись в конуру, вдруг взвизгнул по-щенячьи.

Варвар сидел на цепи. Хозяина он больше не видел. В доме поселились другие люди. Пищу выставляли в лоханке возле конуры и уходили. Он недоверчиво глядел на нее и все ждал, когда же это мясо начнет крутиться в воздухе, бить его, доводя до неистовства. Когда люди смеялись, он вздрагивал.

Пес не ел. А люди, проходившие мимо, говорили с отвращением:

— Не жрет, о хозяине тоскует.

Через несколько дней пришел старик чабан. Он отвязал Варвара и увел его. Варвар, сгорбленный, с судорожно дрожащей челюстью, плелся за ним, не спуская глаз с птичьей, слабой стариковской шеи.

Собаки на чабарне встретили Варвара враждебно.

Варвар зарычал, присев по-волчьи, готовясь к бою.

Но старик властно прикрикнул на него.

Освобожденный от цепи, Варвар стеснялся своей свободы. Он лежал под крыльцом и вылезал только на зов старика. И когда старик повел его в отару, Варвар все останавливался и озирался. Ему казалось: еще шаг — и цепь рванет его и повалит.

Ночью Варвар загрыз двух ягнят.

Старик сокрушенно глядел на его мокрую морду. Варвар рычал и облизывался.

Ночью старик взял его к себе в хату. Потом принес ягненка и положил рядом. Варвар дрожал и скалил зубы. Ягненок тоже дрожал и жалобно блеял. Варвар вскочил и перешел на другое место, но сколько он ни менял мест — старик таскал за ним ягненка и клал рядом. От овечьего запаха Варвара тошнило. Он закрывал глаза и притворялся спящим. Ягненок, притулившись к нему, заснул. Варвар не спал, не спал и старик. Всю ночь он просидел над собакой.

К собакам Варвар относился с злобным презрением. Но все попытки расправиться хоть с одной кончались плохо. Стоило ему сцепиться с одной, все остальные шли на по-

мощь, и Варвару, несмотря на его силу, всегда попадало.

Ночью Варвар обходил отару. Овцы, прижавшись друг к другу, спали. Залитая лунным светом степь была тиха и неподвижна. В овраге, заросшем бурьяном, метнулась тень. Припадая к земле, Варвар полз. Он чуял едкий запах волчьего пота.

Волчица лежала, вытянув морду меж лап.

И Варвар, вместо того чтоб залаять, как делают это все собаки, сзывая к бою, молча прыгнул.

Грудью ударил он вскочившую волчицу. Зубы Варвара сомкнулись на ее горле, рот наполнился шерстью и кровью.

Волчица скребла ногами, стараясь разорвать ему брюхо. Но Варвар крутился и все сильнее сжимал зубы. Волк, таившийся в кустах, бросился на Варвара, ударом клыка разрезал ему плечо. Варвар упал и завыл в смертельном отчаянии.

Собаки услышали этот вой и дружной стаей бросились на помощь.

Варвар, пошатываясь, плелся к чабарне. Изнемогая, он падал, и тогда собаки останавливались и ждали. Потом подходили к нему и начинали зализывать раны. Варвар, чувствуя собачьи языки, закрывал глаза и трепетал от незнакомой ему ласки.

Варвар стал многоопытным вожаком. Собаки его уважали. Он привык к человеческой ласке, и, если старик забывал поласкать его или поговорить с ним, Варвар бродил весь день подавленный и хмурый. Но беспокойство не покидало Варвара. Ему все казалось, что вернется хозяин и будет хихикать, тыкать в него палкой. Во сне он злобно рычал, и шерсть его шевелилась.

Старик, просыпаясь, спрашивал:

— Ты чего, Варварушка? Блохи... Вот погоди, в табачке искупаю, никаких блох не будет.

И, повернувшись на другой бок, снова засыпал.

1936

ДИВНЫЙ

Поезд мчался по бесконечному саду. Лужи блистали в зеленой траве. Деревья махали вслед ветвями в цветочном одеянии.

Поезд остановился у крошечного полустанка, нагретого солнцем. В купе вошел опрятный старичок в брезентовом пальто, в военной фуражке.

Он занял нижнюю полку, распаковал фанерный чемодан, вынул оттуда яйца, хлеб, соль в коробочке из-под вазелина. Стал есть. Он открывал рот и отдувался. Заметив, что на него смотрят, старик улыбнулся.

— Хоть пальцем заталкивай, не лезет всухомятку. А ведь с утра ни маковой росинки.

Он запрокинул голову и стал пить прямо из чайника.

В окне мелькали телеграфные столбы.

Старик утолил жажду и огляделся. Ему очень хотелось с кем-нибудь поговорить. Он дождался, пока сидевший напротив него белобрысый юноша съел бутерброд, и спросил:

— Вы в гражданской войне не участвовали?.. То-то, вижу, не пришлось — молоды, значит.

Старик вытер усы и полез в карман. Из бумажника он вынул изношенную картинку, изображавшую белую лошадь.

Бережно расправляя картинку на коленях, он произнес, нежно улыбаясь:

— Дивный это. Может, слыхали? От Виллы и Дикого — драгоценных кровей покойник был. Теперь семя его, рассоренное по здешним степям, ищу по самого Семена Михайловича приказу. С ним, с Буденным, мы вместе у коннозаводчиков батрачили, вместе на войне бедовали. А после он меня на конзаводы послал. Обезлошадела страна. Так я вроде лошадиного Мичурина. Со всей страны

лошадей собирал. А Семен Михайлович учиться послал. И сейчас я в чине конского доктора нахожусь. Катаюсь по здешним степям, ищу следов Дивного.

Тимофей Слободкин, боец 3-го эскадрона 6-й кавдивизии, отбил в атаке сказочного коня. По неписаному уставу Первой Конной, лошадь убитого врага переходила бойцу в собственность.

Чистокровный араб с розовыми нежными губами вздрагивал и оседал на тонких ногах.

Восхищенные бойцы толпились вокруг коня и глядели на него влюбленными глазами.

Слободкин степенно говорил:

— Такому коню цена одна — нету цены, бесценный конь.

На лоснящемся черным лаком жеребце подъехал комбриг. Он сидел в бурке, как в шатре. Чеченская шашка в облупленных ножнах прижималась к его ноге.

— Что за базар, товарищи? — спросил комбриг, приподнимаясь на стременах.

Взгляд комбрига упал на араба.

Он стал предлагать Слободкину за коня все, что имел.

Тимофей Слободкин отказался. Он твердо взглянул в глаза комбригу, вытянул руки по швам, вобрал живот и объявил:

— Этого коня я товарищу Ленину назначаю.

Комбриг выпрямился перед бойцом и взял под козырек.

Бойцы, взволнованные этой сценой, стали кричать «ура», а боец 4-го эскадрона Рамишвили восторженно выпалил из нагана.

Утром Слободкин получил мандаты на себя и на лошадь. Попрощавшись с бойцами, он пошел к коновязи за жеребцом.

Война разорила человечьи гнезда.

В опустошенных деревнях гнил на корню хлеб, люди умирали с голоду.

Тимофей Слободкин пробирался со своим драгоценным конем к узловой станции. Он остерегался населенных пунктов, боялся проселочных дорог.

Лошадь и человек являли собой жалкое и страшное зрелище. Тимофей вымазал коня навозом и грязью, чтобы блистательный вид его не привлек завистливых глаз. Бешеное степное солнце испепелило траву, зелень. И конь голодал. Унижаясь, Тимофей выменивал свою одежду на

овес и сено. Но вскоре Слободкину не на что было выменивать фураж, и он начал побираться.

Крестьяне угадывали в измученном жеребце добрую породу и изредка соглашались накормить его, если Тимофей давал жеребца покрыть чахлую и шелудивую деревенскую клячу.

— Он еще молодой! — мучился Слободкин.— Ему нельзя, он сдохнет от этого.

Тимофей страдал, когда ему приводили обратно жеребца, изможденного и дрожащего, и совали в руки буханку хлеба или мешок гнилого овса.

Тимофей упорно пробивался вперед.

Жеребец, натягивая повод, склонял голову к мерзлым проволочным кустам и жевал их, стеная от голода.

Слободкин напоролся на казачий разъезд. Закричав, он ударил жеребца, и гордое животное рванулось.

Сзади хлестали выстрелы.

Со станции спешили навстречу конные красноармейцы.

Вытирая рассеченное лицо, Тимофей отдал рапорт комиссару вокзала.

— Будет вагон, товарищ,— сказал комиссар, возвращая мандаты.— А на коня взглянуть можно?

— Его покормить, почистить нужно, не в форме конь, замучился. Месяц блуждали,— суетился Слободкин, забегая вперед.

Они вышли на улицу.

Жеребец, даже измученный, был прекрасен.

— Дивный! — нежно позвал Тимофей.

Конь сделал несколько шагов и стал опускаться на колени; он пробовал поднять свою голову с вдумчивыми глазами, но она падала. Глаза его меркли.

Тимофей кинулся на землю, начал дуть жеребцу в ноздри, но тело лошади замирало.

Комиссар вокзала, сняв фуражку, стоял над мертвой лошадью и над бьющимся на земле человеком...

Старик кончил свой рассказ, закурил и поглядел на расписание:

— Через пятнадцать минут будем проезжать, где Дивного убили.— Глядя в черное окно, украшенное сияющими огнями, добавил: — Теперь я, значит, по тем местам, где Слободкин с конем проходил, ищу следов Дивного.

— Ну и нашли?

— А как же! — оживился старик.— Вот здесь недалеко колхоз «Очаг Буденного», там я сынка его нашел. Прямо живой папаша. Чего-чего только люди не пережили, а вот сберегли, выходили!

Взглянув на часы, он заторопился и стал укладываться. Когда он запахивал брезентовое пальто, на его гимнастерке блеснул орден Красного Знамени.

Поймав восторженный взгляд белобрысого парня, старик проговорил, торопливо застегиваясь:

— Если бы и вы на фронте были, молодой человек, тоже орден бы заработали. А вот в пятьдесят с лишним вуз окончить попробуйте. Этим хвалюсь, не скрываю.

Пожав молодому человеку руку, старик вышел из купе.

Поезд сотрясался, скрипел тормозами. Подъезжали к станции.

1936

ЦЫПЛЯЧИЙ ОБОЗ

Самолет, дрожа, набирал высоту. Внизу лежали все те же горы — лиловые, горбатые. Крутиков, сидя в задней кабине, от скуки поедал яблоки. Увидев зеленый лоскуток долины, он высунул руку и, ткнув в плечо Вронского, показал вниз. Но Вронский только мотнул головой. Внезапно вылезла сизая гора, и самолет на полном газу взмыл свечой вверх.

Оба летчика работали в гражданской авиации, обслуживая труднейшие горные районы.

Они вели скитальческую жизнь воздушных шоферов. Два месяца опыляли гниющие болота парижской зеленью. Три месяца таскали в Сванетии медикаменты, книги, газеты и киноленты в жестяных плоских коробках. Месяц работали в Армении на аэросеве. Теперь они летели в самое глухое место горного лабиринта — обслуживать птицеферму, доставлять цыплят из инкубатора в горные аулы.

Крутикову было лет двадцать пять, он еще втайне наслаждался золотыми пуговицами и крылатыми нашивками на рукаве и фуражке, знаками своего летного достоинства.

Вронский в авиации работал давно. Ему предложили остаться в Ростове старшим инструктором. Но, прикинув ставку инструктора и свой теперешний заработок, он отказался. Он был деловит и хозяйствен. Перелетая из района в район, осведомлялся о ценах и, в случае разницы, запасался, чтоб не тратить зря денег.

Ветры, хлынув в расселины, кидались на самолет, и тогда он начинал, шатаясь, размахивать крыльями, ища опоры в бешеном воздушном потоке.

Самолет бросало. Крутиков подносил ко рту яблоко, тыкал им себя в подбородок, в скулу.

Залитые в ледники вершины блистали.

Вид этого стеклянного льда вызывал мысль о катке.

Тишина наступила внезапно. Самолет кружил, идя на посадку.

Внизу виднелись белые игрушечные домики, крошечные лошади, лохматые деревца — все мелкое, ненастоящее, похожее на учебный макет.

Выйдя из самолета, Крутиков спросил:

— Где директор?

— Я,— сказал человек, худой и желтый.

— Ангар приготовили? Хотите яблоко?

Директор взял яблоко и стал вытирать его руками.

— Ангар в конюшне будет. А самолет — это чудесно! Очень рад.

Директор повел летчиков в столовую.

Размахивая ложкой, директор говорил:

— Теперь мы снабдим самые отдаленные пункты первоклассным птичьим племенем. Кроме того, самолет — агитационный фактор. Горцы считают позорным заниматься курами. Курица — это оскорбительно для мужчины. Я расскажу вам случай. Факт. Снабдили леггорнами. Председатель колхоза входит в птичник. Цыплята, попав в бадью с водой, гибнут. И что ж он сделал? Он стал кричать: «Эй, женщины!» А нам брошюры о птицеводстве шлют на русском языке. Агитируй тут.

Наклонившись над тарелкой, директор стал с ожесточением пожирать щи.

Когда подали второе, он сказал гордо:

— Видите, плов!

Летчики поселились в маленьком домике, искусно сложенном из плитняка. На крыше дома лежали большие камни.

Крутиков спросил:

— Зачем камни?

— От ветра.

— Да мы тут как в яме.

— Бывает, птицам крылья ломает — такие ветры.

Крутиков просил:

— Уберите лошадь. Нельзя лошадь в одном помещении с самолетом держать.

— Она же не курит, лошадь,— меланхолично отзывался завхоз.

Крутиков уходил в горы, прихватив с собой молоток. Он мечтал найти залежи драгоценных минералов.

Однажды он прибежал к директору, мокрый от пота, пыльный, в ссадинах. Бросив на стол камень, восторженно завопил:

— Золото, смотрите, золото!

Директор взял камень, осмотрел и выбросил в окно.

— Это слюдяные блестки, многие заблуждаются. А вы, вместо того чтобы обувь по горам трепать, ящиками для перевозки цыплят занялись бы.

Все население птицефермы трудилось не покладая рук. Эти желтые пискливые одуванчики были страшно прожорливы.

Летчики бродили без дела.

Вронский жаловался:

— В птичник не пустили. На сапогах, говорят, зараза.

Он уходил в конюшню и там купал в керосине разобранные части мотора.

С первой партией цыплят вылетел Крутиков. В кабину он еле втиснулся в огромном волосатом тулупе. Вронский бежал, поддерживая самолет за крыло, и кричал что-то напутственное.

Задняя кабина, хвост — все было начинено длинными ящиками. В ячейках, как в сотах, сидели цыплята.

Самолет шел ввысь.

Снежные нелюдимые горы.

Воздух прозрачен и холоден.

Крутиков внимательно и осторожно вел машину. Вынужденной посадки в горах не бывает.

Лицо Крутикова стыло от морозного ветра, а все тело обливалось потом от жаркого цыплячьего дыхания. Ноги, упертые в педали, мокли и скользили в сапогах.

Все население аула высыпало встречать самолет. Женщины толпились вдали, стыдливо прикрываясь.

Скрывая волнение напускным равнодушием, к Крутикову подошел председатель колхоза и стал произносить длинное витиеватое приветствие, кося глаза на самолет.

— Принимай цыплят,— перебил его Крутиков,— такую температуру развели.

Вытащив первый ящик, он протянул его председателю. Но тот отпрянул, озираясь, и стал что-то смущенно лепетать, указывая на женщин.

Крутиков обращался к другим мужчинам, прося помочь, но все отступали и прятались друг за друга.

Крутиков направился к женщинам.

— Помогите, гражданочки! Что ж мне с цыплятами?

Женщины шарахались от него.

Потом две из них отделились от толпы и подошли к самолету.

Крутиков влез в кабину и стал отгружать ящики. Женщины принимали их.

Но когда ящики вскрыли, оказалось, что половина цыплят сдохла: цыплята погибли от жара собственного дыхания.

Крутиков сконфуженно трогал их вялые тельца. Мужчины, хихикая, показывали на него пальцами.

Вечером Крутиков жаловался Вронскому:

— Через этих цыплят только авиацию дискредитируем. Тоже мне дело — в цыплячьем обозе работать! Слепнев через Северный в Америку сыплет. Громов рекорд беспосадочного поставил, Коккинаки в стратосферу лазит, а мы тут извозчиками.

Вронский, посасывая трубку, говорил:

— Что ж, работа здесь интересная. А касательно цыплят — сам говорил — предрассудок, и сам же обижаешься.

На другой день с цыплятами вылетел Вронский.

Отыскав по возвращении Крутикова, он сказал сердито:

— Дохнут.

Крутиков просверлил в ящиках сотни мелких отверстий.

В следующем перелете у него погибло шестьдесят процентов цыплят.

Теперь цыплята замерзали от сильного притока холодного воздуха.

Вронский говорил, щурясь:

— Я твоей Наташе письмо послал.

— Ну?

— Ну и о тебе, кстати, написал, как ты цыплят душишь.

— Ты зачем ей пишешь? Какое тебе до нее дело?

— Она же мне знакомая. Сам ведь познакомил.

— А я напишу твоей жене, что ты за доктором ухаживаешь.

— Ну, уж это гадость! — И Вронский отвернулся.

Кислый туман завалил горы.

Над долиной шли дожди.

Крутиков сидел в хате и тосковал. Наташа писала ему:

«Я простудилась и не выхожу из дому. Вчера очень думала о тебе. Скоро ты? Подумала и расплакалась. Ты, наверное, с кем-нибудь там треплешься? Ну и черт с тобой! Жду. Целую. Наташа».

Брызгал дождь. Во дворе стояло худое, оборванное дерево и дрожало.

Дождь. Туман. Скука.

Цыплята всё дохнут. Пробовали делать так: в крайних ящиках просверливали мелкие отверстия, в средних — большие, чтобы воздух растекался равномерно. Не помогло.

При сильной вентиляции цыплята простуживались, при слабой — угорали и тоже дохли.

Делали среднюю — внезапно налетало холодное воздушное течение и застуживало цыплят.

Частые температурные колебания приводили летчиков в отчаяние. Они ссорились.

— Ты — ползучий...— щелкал в воздухе пальцами Крутиков, силясь вспомнить нужное слово.

— Гад,— подсказывал Вронский.

— Нет, эмпирик.

На ферме уже стали поговаривать о том, чтобы отказаться от самолета — нерентабельно и дорого.

Директор пожирал хину. Желтея и худея с каждым днем, кричал:

— Смешно! В стратосферу лазить научились, а цыплят за сто километров возить не могут?!

Летчики, видя общее возмущение, стыдились ходить в столовую.

Ели они у себя в доме. Вронский, облизывая ложку, жаловался:

— Никогда еще в таком захудалом состоянии не был. Людям в глаза смотреть стыдно. Управление сводку просит. Часов много налетали, а цыплят гробим. Жизнюха, черт!

Крутиков надел калоши и ушел бродить по двору. Воняло затхлым туманом. Он с отвращением поглядел на столпившиеся горы и направился в конюшню, к самолету. В денниках стояли лошади и жевали сено, они привыкли к самолету и не обращали на него внимания.

«Пойду к директору,— решил Крутиков.— Нужно договориться окончательно. Раз не получается, чего зря горючее и цыплят переводить!»

Окна директорского домика были закрыты решетчатыми ставнями.

На крыльце сидел птицевод Агаш и щелкал подсолнухи.

— Болен директор,— сказал Агаш.

Крутиков протянул руку за подсолнухами, спросил:

— Зачем ставни такие?

Агаш недовольно пробормотал:

— Зачем? Жалюзы это. Воздух пускает. Сколько нужно, пускает. Поверни планки — мало будет, поверни — много будет.

Крутиков напряженно переспросил:

— Воздух, говоришь, регулируют?

— Зачем плохо слушаешь? — ворчал Агаш.— Зачем не понимаешь? Не нужно дураком быть. Нужно умным быть.

Крутиков возвращался с восторженной, растерянной улыбкой. Он даже не заметил, как колыхнулся туман, и пернатый ветер, покружив, сел на дерево, и дерево покачнулось от тяжести.

Войдя в хату, Крутиков схватил Вронского в охапку, стиснул и стал валить на койку, хохоча в лицо. Вронский отбивался и возмущенно ворчал:

— Опять от Наташи письмо получил. Ну, пусти, часы раздавишь!

— Жалюзи! — кричал Крутиков.— Жалюзи! Понимаешь, копчик: регулировать в полете можно. Повернул — закрыл, повернул — открыл.— Крутиков плясал лезгинку, держа над головой тарелку и стуча в нее, как в бубен.

Вронский сидел па койке, улыбаясь, просил:

— Положи тарелку, расколешь.

К трем часам ящики со стенками, сделанными как жалюзи, были готовы.

Крутиков решительно заявил:

— Через час лечу.

— Метеорологический бюллетень читал? — зловеще предупредил Вронский.

Крутиков убежал за тулупом и шлемом.

Самолет заправили, вывели в поле. Вронский, держа Крутикова за руку, серьезно предупреждал:

— Не лети, Андрей, подожди до завтра. Погодку чуешь?

— Чую.— И Крутиков бултыхнулся в кабину.— Есть контакт! — завопил он и поднял руку.

Туман густо клубился. Самолет барахтался в нем.

Крутиков, не глядя на заплесневевшие горы, гнал самолет ввысь, где небо было озерной чистоты и леденяще холодно. Все время Крутиков регулировал специальной

ручкой доступ воздуха в цыплячьи ящики. Это раздваивало его внимание. Стада кудлатых туманов ползали внизу.

Снижаться в дымной, слепой мгле было жутко. Напрягая глаза до слез, Крутиков сжимал штурвал, ежесекундно готовясь рвануть его на себя. Первый толчок о землю был слаб, второй и третий сопровождались скрипением и треском. Самолет споткнулся и встал. Крутиков ударился грудью о ручку штурвала.

Люди кричали, размахивали зажженными ветвями. Лица их были полны жалости и удивления. «Ай, джигит, ай, джигит!» — вопили они.

Крутиков, поднявшись на крыло, кричал:

— Принимай пассажиров. По первой категории доставил.

И вытаскивал ящики, царапая руки.

— Считай,— просил он.

Ящики вскрывали, из них с жалобным писком выбирались взъерошенные цыплята.

Штук двенадцать остались лежать в ящике неподвижными комочками.

— Не может быть! — бормотал Крутиков. Он взял в руки цыпленка и, жалостливо глядя на него, стал дуть в обвисшую, слабую, как бутон, головку, и цыпленок зашевелился.— Это он обмер, обмер.

Горцы, восторженно глядя на летчика, улыбались и тоже кричали:

— Омер! Омер!

Один из них подошел к ящику и вдруг, оглянувшись, взял цыпленка и тоже стал дышать на него, как это делал летчик, и цыпленок ожил в его руках.

Протягивая его людям, горец что-то восхищенно бормотал. Цыплят стали брать в руки все, бережно дуть, как на меркнущий уголь, и цыплята оживали.

В птичник мужчины вносили цыплят, держа руки лодочками, и торжественно ставили на землю.

Три дня прожил Крутиков в ауле, ремонтируя шасси.

Старик художник, сидя подле него на корточках, чеканил на медном блюде его портрет.

1936

СТАРИННАЯ КАРТА

Раннее утро. Воздух холоден и блестящ. Трава на аэродроме усеяна круглой и яркой росой.

Возле курительного бачка столпилась группа людей в черных кожаных пальто. Запрокинув головы, они смотрели вверх. Один из них для удобства улегся на спину, глядел в бинокль, изредка бросая короткие замечания.

Испытывалась экспериментальная машина конструкции И. Г. Степанова.

Высоко в небе, под самым куполом, словно воздушный гимнаст в серебристом трико, кувыркался самолет.

Самолет медленными кругами набирал высоту. Потом ринулся вниз на полном газу.

Введенная в плоский штопор машина, ввинчиваясь, стала падать, теряя очертания.

И внезапно, почти бесшумно, она начала распадаться в воздухе.

Из падающих обломков вывалилась крошечная фигурка летчика. Черный комочек падал, потом над ним вспыхнул белый дымок парашюта.

Тревожно завывая сиреной, по полю промчалась карета Скорой помощи.

На открытой машине к месту приземления летчика подъехали члены комиссии.

Конструктор сидел рядом с шофером, плечи его тряслись. Лицо было горько-желтого цвета.

Летчик Арчил Гоглидзе, приземлившись, отстегнул стропы парашюта. Снял перчатки, нагнувшись, сбил пыль с испачканных сапог. Выпрямившись, сказал глухо:

— Переместить точку над задней центровкой.

Прихрамывая, летчик шел через поле. Карета Скорой помощи следовала за ним. Врач в белом халате, раскрыв дверцу, звал его.

Летчик остановился и сказал сердито:

— Ну чего вы пристали? Ездите тут на своем катафалке. Ну!

Конструктор Степанов не мог забыть зрелища бесшумного распада машины в воздухе, изуродованных обломков ее, вдавленных в землю.

Он исступленно засел за работу. Он работал сутками, не зная отдыха.

Летчик-испытатель Гоглидзе и заслуженный старый пилот, коренастый, седой, с массивным лицом, Глебов приходили к нему.

Степанов, отрываясь от чертежей, жаловался, что очень трудно работать. Боязнь, неверие в себя заставляют сотни раз проверять самые пустяковые расчеты. Он показывал на изорванные клочки бумаги.

У него тряслись руки, клокотало в горле, глаза блестели.

Гоглидзе растерянно сказал:

— Тебе, Ваня, отдохнуть надо. Давай вместе в отпуск поедем. Рыбу половим, подумаем вместе, а?

Глебов пробасил:

— Вот это правильно! — Потом, показав на валяющиеся под столом клочки бумаги, добавил серьезно: — А это зря. Что не нужно — сжигай. Идея конструкции замечательная, достояние государства, тайна, а ты разбрасываешь. Не годится так.

Степанов прищурился, поджав дрожащую губу, и произнес тихо:

— Отдыхать я не буду. Или через месяц все переделаю, или все к черту!

Глебов осторожно погладил себя по колену большой темной ладонью.

— Вот что, Ваня! Скажу, как думаю. В авиации скорость — великая вещь, торопливость — дрянь. Ты свое самолюбие забрось подальше. Отдохни, обдумай как следует, а потом со свежей головой. А про машину забудь. Арчил знал, что она должна сломаться в воздухе. И Арчил ее красиво сломал, а главное, выяснил, почему сломал.

— Знал? — вздохнул Степанов.

Арчил заерзал на стуле.

— Ты подожди, Ваня, не волнуйся...

— Так почему ты молчал?

— Фу, чудак,— усмехнулся Арчил,— что значит мол-

чал? Это я так думал, а теперь мы все так думаем. Значит, есть ясность.

Сильное нервное переутомление лишило Степанова душевного равновесия. По настоянию Гоглидзе и Глебова он получил от авиазавода отпуск, но вместо поездки в санаторий засел дома и продолжал с отчаянным ожесточением безуспешно работать.

Гоглидзе и Глебов, обеспокоенные состоянием друга, придумывали тысячи способов, чтобы оторвать его от чертежной доски, заставить отдохнуть и тем самым вернуть жизнерадостную бодрость. Они знали, что в результате получат от Степанова машину совершенной конструкции.

Но Степанов упорствовал.

Как-то Глебов отозвал Гоглидзе в сторону, вынул из кармана и протянул ему сложенную потертую бумагу.

— Что это? — удивленно спросил Арчил, разворачивая бумагу, испещренную глянцевитыми пунктирами и знаками.

— Видишь ли,— сказал Глебов,— у меня был старший брат, Сергеем звали. Он умер. Товарищи прислали мне его бумаги. В них я нашел эту карту.

Брат Глебова в свое время был сослан в Сибирь, бежал; скитаясь в тайге, он обнаружил железорудные залежи. В остяцкой хате молоком нанес на эту бумагу место их расположения.

— Мы на днях с тобой в отпуск уходим, и я хотел предложить поехать втроем, проверить действительное существование этих залежей.

Арчил взволнованно тряс руку Глебова, высоким голосом произнося слова благодарности за честь быть участником этой экспедиции.

Успокоившись, спросил деловито:

— А кого ты наметил третьим?

— Третьим будет Степанов,— сказал Глебов.

— Степанов? — протянул Арчил разочарованно, и лицо его вытянулось. И вдруг, лукаво ухмыльнувшись, он спросил, заглядывая в глаза Глебову: — Ну, скажи, пожалуйста, сам придумал или попросил кого про карту сочинить?

У Глебова потемнело лицо.

— Ну ничего,— поторопился согласиться Арчил.— Все равно. Это хорошо придумано!

Они пошли к Степанову.

Степанов вяло потрогал карту, спросил насмешливо:

— Тоже мне стивенсоны. Небось сами состряпали.

— Ваня! Клянусь! — страстно воскликнул Арчил, таращa глаза, и зачем-то поднял вверх руку.

Глебов сказал тихо:

— Это брата почерк, по письмам можно проверить.

— Хочешь, сейчас за письмами сбегаю! — с излишней яростной готовностью заявил Арчил.

— Не надо,— вяло сказал Степанов.—Я согласен. Все равно. Мне действительно лучше проветриться. Спасибо, ребята.

Закупили снаряжение, резиновую складную байдарку, непромокаемые мешки для припасов, болотные сапоги, консервы. В общем, все необходимое для скитаний по глухой, дикой тайге.

Пять суток их мчал сибирский экспресс.

Степанов успокоился в пути, у него даже не дрожали руки. С веселым воодушевлением он говорил о путешествии.

Арчил шутил, подмигивая Глебову, потирал руки.

Глебов хмурился и был задумчив.

Сошли на небольшом разъезде. Паровоз неторопливо давал гудки, пока выгружали на платформу их припасы.

Оказалось, что дальше по маршруту проложена узкоколейка.

Ночь тряслись на открытой платформе с кирпичами, мерзли.

Узкоколейка обрывалась прямо в тайге, сумрачной, тесной.

Пошли пешком, распределив ношу. Лил дождь. Вода стекала с ветвей деревьев широкими толстыми струями, под ногами чавкала земля.

Арчил притих, с тревогой поглядывая на Глебова, говорил:

— Скажи пожалуйста. Сверху смотреть приятно, а на самом деле — какое неблагоустройство!

Остановились на ночлег, разбили палатку. Арчил сидел у костра весь в дыму, закоптился. Жаловался, что единственное средство спастись от укусов мошкары — противогаз.

Два дня они плыли в резиновой байдарке по сильной и холодной реке. Один берег ее был высокий, обрывистый, с угрюмо нависшими скалами, другой — низкий, пологий, болотистый.

Как-то, когда плыли посередине реки, они услышали

у себя над головой свистящий шорох. Подняв головы, увидели несущуюся лебединую стаю.

Арчил суетливо нагнулся, вытащил ружье и, становясь на колени, выпалил сразу из обоих стволов. Сила отдачи повалила его на спину. Лодка накренилась, зачерпнув воды, перевернулась.

На берегу они развели костер, сушили мокрую одежду. Провиант затонул. Лебединые тушки, подвешенные над костром, треща салом, источали аппетитные запахи. Но Арчил грустно смотрел на эту добычу. В воде погибли провиант, палатка, одеяла...

Пошли пешком, налегке, кожа нестерпимо зудела от укусов мошкары. Арчил сказал:

— Хватит. Давай возвращаться. Отдохнули!

— А залежи? — спросил Глебов.

— Я не нервный,— сказал Арчил,— какие могут быть залежи? Это штучки для Степанова, а мне не нужно.

— А нам нужно! — спокойно произнес Глебов.— И прошу больше со мной так не разговаривать.

Путники пробирались сквозь низкорослую болотистую чащу кустарника, ориентируясь по компасу.

Арчил плелся позади, грустный, недоумевающий. К концу дня путники заметили, что они кружат по одному и тому же месту. Стали внимательно следить за компасом, стрелка его вертелась, как жук на булавке.

— Магнитная аномалия! Ура! Нашли! — взволнованно во все горло закричал Арчил.

Хохоча, Гоглидзе обнимал Глебова, целуя его в щеки, восторженно предложил немедленно допить в честь открытия оставшийся коньяк. Потом Арчил стал извиняться перед Глебовым.

Но Глебов не проявил радости, скорее, он был растерян.

Он не позволил Арчилу допить коньяк, отказался выслушивать извинения. Сказал только:

— Мы все-таки заблудились. Ночевать в болоте нельзя, нужно выйти на сухое место.

— При чем тут заблудились? — кричал Арчил.— Я бы хотел всю жизнь так заблуждаться!

Но Глебов торопил, и они неохотно шли за ним, погрязая по колени в ржавой пенистой жиже.

Погас день. Грязный сумрак становился все темней, гуще. Наступила глухая ночь.

Болоту все не было конца. И путникам приходилось уже осторожно нащупывать ногами кочки, при каждом шаге

с сопением уходящие глубоко внутрь. Черная гладь воды выступала без краю и грозила своим безмолвием.

Обессиленные, они проваливались по пояс в засасывающую почву. Мокрая одежда затрудняла каждое движение.

Арчил, отчаявшись, не захотел идти дальше. Он сел на кочку, поставив в лужу ноги, и заявил, что здесь будет ждать рассвета.

И когда силы уже совсем оставляли путников, далеко впереди вспыхнули огни. Они блистали во тьме, словно гигантская люстра.

— Что это? — воскликнул Степанов.

— Мираж! — медленно произнес Арчил.— Болото фосфорится. Не понимаешь? Дошли до точки.

— Это поселок, товарищи,— сказал Глебов.

И они продолжали путь. Потом почва стала устойчивее, плотнее. Заросли кончились. Они вышли на твердую землю.

Впереди простиралось голубое жесткое бетонное шоссе.

Они пошли по шоссе, ничего не понимая, бездумные от усталости.

На рассвете они добрались до поселка.

Глебов, оставив обессиленных товарищей у забора какого-то домика, ушел. Он вернулся на машине. Шофер с огорчением оглянулся на сиденье, на которое повалились выпачканные болотной грязью люди.

На следующий день путешественники присутствовали в клубе на торжественном вечере, посвященном пятой годовщине существования рудника.

Арчил, сидя в президиуме и ерзая на стуле, обратился к соседу и спросил:

— А про ту руду, которую мы на болоте открыли, вы тоже знаете?

— Во вторую очередь наметили разработки,— ответил сосед.

— Значит, выходит,— огорченно пробормотал Арчил,— Глебов проморгал свое счастье? Эх, дубина!

На следующий день путешественников отвезли на аэродром. Через два дня они были у себя дома.

Арчил, обидевшись на Глебова, почти не разговаривал с ним. Степанов с воодушевлением принялся за работу.

И снова в раннее осеннее утро, когда поле на аэродроме серебрилось от инея и воздух блестел, как натертое стекло, высоко в небе крылатой сияющей птицей кувыркался,

парил, падал, скользил, переворачивался изящный, как ласточка, самолет.

Арчил старательно мучил машину. Глубоко ввинчивал в штопор, бросал в пике, бил о стиснутый воздух.

Воздушные смерчи ревели, злобно нападали на, казалось, очень хрупкую, сухощавую машину. Но машина парила широко, вольно.

Самолет снизился. Из кабины вышел Арчил. Он снял перчатки, вытер горячее потное лицо, сказал:

— Такой машины ни у кого нет. Машина нам подходящая.

И, не улыбаясь, подошел к Степанову, торжественно пожал его руку с горячими вздрагивающими пальцами.

У курительного бачка его нагнал Глебов.

Арчил, не подавая руки, спросил:

— Скажи, пожалуйста, сколько лет у тебя лежала карта? Чего ты ждал? Ты нехороший человек! Ты не имеешь права называть того славного человека своим братом.

Глебов потупился, потом сказал, усмехнувшись:

— Видишь ли, у меня никогда не было братьев.

— Так кто же тогда был тот человек? — воскликнул Арчил.

— Это был я,— сказал Глебов глухо.— Десять лет назад я передал копию этой карты в Академию наук и даже ездил в экспедицию в качестве проводника и забойщика. Пять месяцев тому назад мне, как старому, так сказать, кадровику, прислали приглашение участвовать в торжественном юбилее. Ну вот, я вас вроде и пригласил поехать со мной. Очень мне было интересно поглядеть, что стало теперь с этими местами.

Арчил снял шлем и, помяв его в руках, жалобно сказал:

— Прости, пожалуйста, дай руку, нет, дай обниму тебя, у тебя был замечательный брат.

1936

ГНЕВНОЕ МОРЕ

Староста артели грузчиков Борьмак сидел в пивном баре. Он уже собирался раскрыть рот, чтоб привычно закричать: «Степа, на когтях, еще одну!» — как к нему подошел милиционер и, смущенно теребя кобуру, предложил выйти.

Жора пожал плечами, пробормотав:

— Если хотите таскать человека в такую жару в отделение, то надо бы за ним приходить не с пушкой, а с зонтиком.

Расплатившись, он вышел.

Жоре лет сорок, сединой испачканы его курчавые волосы. Когда-то он был борцом, куплетистом, моряком.

С семнадцатого до двадцатого года в биографии Жоры провал.

Но светлой правдой в этих годах было у Жоры одно приключение, которое дало ему право жизни...

В восемнадцатом году контрразведчики поймали моряков-коммунистов.

Выведя на мол, шкуровцы привязали их к железной балке колючей проволокой, чтобы сбросить в море. И тут из маячной будки вылез Жора, взлохмаченный и нетрезвый. На руке он подбрасывал гранату, похожую своей рубчатостью на ананас.

Шкуровцы, покидав оружие, полезли на катер.

Катер, фырча, отскочил от мола, Жора, изогнувшись, метнул гранату, потом еще две...

Сейчас Жора работал в артели грузчиков.

Жора часто бросал работу. Но когда отгружали машины — их многотонность требовала огромного умения,— Жора появлялся вновь. И не было по всему побережью более искусного такелажника. Если же грузили клепку, фрукты, дерево, марганец, Жора равнодушно отсиживался.

Он любил веселье, дружелюбную болтовню, с его языка

срывались чудесные названия городов — Порт-Санд, Гавр, Марсель. И звучало это в его устах так же просто, как Тула, Рязань, Армавир.

В получку Жора любил угощать всех и давать взаймы.

Ураган разразился внезапно. Стремительный вихрь раздирал кровли домов. Разбрасывая жестяные листы, он наполнил ночь грохотом и визгом. Взбесившаяся вода вздымалась в небо, разбрызгивая желтую злобную пену.

Стоявшее на причале иностранное нефтеналивное судно оторвало от пирса. Тяжкие волны притиснули судно к молу. И от этой гибельной тесноты заклепки стали лопаться и отскакивать, как пуговицы.

В колышущейся тьме забились позывные сигналы бедствия.

Они заполняли все существо человека щемящей дрожью.

Жора шел из грузовых складов порта домой. Плотная стена ветра давила грудь, стесняла дыхание.

Согнувшись, Жора с трудом передвигал ноги, словно шел по воде.

Сквозь гудение и грохот он услышал сигналы аврала и, охваченный восторгом деятельности, вместе с аварийной командой бросился к катеру.

Спасательный катер «Норд» вышел на помощь погибающим.

Ветер бил. Тяжкие горы воды погребали катер. И когда он снова выкарабкивался наверх, из клюзов, как из ноздрей утопленника, текли потоки.

Катер едва полз.

Нефтеналивное судно сносило на камни. Капитан, запершись в каюте, кашлял и, задыхаясь, пил коньяк.

Предотвратить аварию мог только кормовой якорь. Три других погибли в море с оборванными цепями. Но заевший стопор не давал стравить цепь. Стопор нужно было отбить кувалдой. Однако никто не хотел идти на корму, залитую кипящим морем, и ценой своей гибели добиваться спасения для других.

Катер не мог пришвартоваться.

Тогда, перебросив ракетой трос на нефтеналивник и закрепив его за мачту, с катера стали спускать людей на гибнущее судно. Спускали в скользящей петле.

Первым в этой страшной люльке перебрался Жора.

Схватив кувалду, оглушаемый ударами тяжелой воды, он переполз на корму и, отбив стопор, вернулся на ют.

Размахивая разбитыми руками, он заполнил судно криком. Жора орал на притихших и ослабевших от прикосновения смерти людей.

Жора облазил трюм, добыл запасные концы. Успев хлебнуть коньяку в каюте капитана, балагурил и трепался с моряками. Ибо он знал все языки, на каких разговаривают люди, плавающие в море.

Бесстрашие и деловитость спасательной команды вернули железному утопленнику жизнь.

«Норд» оттащил ковыляющий, с перебитыми мачтами, в лохмотьях железа нефтеналивник. Дрожащее и перепуганное судно вновь пришвартовали к пирсу упругими, толстыми манильскими концами.

Иностранных моряков отправили спать в Интерклуб.

А спасательная команда всю ночь, до фиолетового рассвета, возилась на нефтеналивнике, отбивая его у разъяренного моря.

Жора ушел вместе с иностранными моряками. Он рассказывал им чудовищные вещи об их стране. Моряки слушали внимательно и вежливо.

И никто не кричал: «Жора, брось травить!»

— Вы получите медаль за ваше мужество,— сказал Жоре один из моряков.

— У нас за это медалей не полагается, у нас это дело обыкновенное,— отвечал Жора, обижаясь, что его прервали.

Начальник отделения предложил Жоре сесть. Перекладывая бумаги, искоса поглядывая на Жору, он сказал:

— От капитана иностранного нефтеналивного судна поступило заявление начальнику порта. Во время спасательных работ, производимых советской командой, у него из каюты пропал хронометр. Вы участвовали в спасательных работах в качестве добровольца. На вас падает подозрение. И мое мнение — кроме вас, это никто и не мог сделать.

Жора побагровел. Засопев, он сказал:

— Кроме меня, некому, это верно.

— Значит, хронометр взяли вы?

— Хронометра я не брал.

Матросы с «Норда» продолжали встречаться с моряками с нефтеналивного в Интерклубе. Но между ними уже не

было дружелюбия,— ничего, кроме холодной вежливости.

Арест Жоры тяжкой обидой лег на сердце матросов, но говорить с иностранцами о случившемся они не хотели. И все же кочегар Степан Фоменко, не вытерпев, обратился к иностранным морякам с горькими словами:

— Человек шкуры не пожалел, а вы...— Плюнув, он отвернулся.

Иностранцы потребовали объяснения. Выслушав, ушли ничего не сказав.

Два дня они не показывались в порту.

В эти дни на нефтеналивник никого не пускали, прекратили ремонтную работу. На судне происходило что-то тягостное и беспокойное.

Через два дня в Интерклуб явились три иностранных матроса с нефтеналивника и заявили, что они присланы от экипажа. Хронометр обнаружен в личных вещах первого помощника. Экипаж просит извинения у советских моряков. И помощник придет лично просить извинения у моряка Жоржа.

Эта встреча произошла в Интерклубе в шесть часов вечера.

Первый помощник капитана в сопровождении матросов подошел к столику, за которым сидел освобожденный из-под ареста Жора, и, прикоснувшись рукой к козырьку облепленной золотом фуражки, с каменным лицом, деревянными словами произнес слова извинения.

Жора вспотел, размяк, лицо его стало жалобным, он замахал руками. Помощник, исполнив свой долг, повернулся на каблуках и вышел.

Через месяц на имя моряков спасательной команды катера «Норд» пришло письмо от моряков нефтеналивного судна.

Они писали: «Как здоровье товарища Жоржа? Как здоровье и дела уважаемых моряков катера «Норд»? В настоящее время все матросы нефтеналивного находятся под следствием за оскорбительные действия, направленные против начальствующих лиц экипажа. Жмем ваши мужественные руки и остаемся в ожидании того времени, когда отношения между людьми станут братскими».

1936

ДИРЕКТОР ЗВЕРИНЦА

Волга изгибалась на повороте.

Светило солнце. Блестело небо.

Крошечный буксир, хрипя от натуги, волок тяжелую баржу.

Костя сидел на песчаной косе, голый. Солнце жгло спину. Рядом стоял секретарь горсовета. Голова его была обмотана полотенцем, как чалмой, белый живот вываливался из трусов, словно тесто из квашни.

Секретарь жалобно умолял:

— Ну, еще пятидневочку побудьте. Побудьте, а? Мы вам, если надо, бананов из Москвы выпишем. Бананов, а? Может, вам мяска надо?

Внезапно из песчаной выемки, наполненной водой, послышался стук, точно захлопнулась дверца несгораемого шкафа.

Костя встал. Секретарь встревоженно оглянулся.

Из выемки торчала голова крокодила, вытянутая, как радиатор гоночной машины.

Крокодил глядел на секретаря зелеными глазами.

Секретарь всхлипнул.

— Вы не бойтесь,— сказал Костя.— Он не кусается. Хворает. Аппетиту нет. Год искусственно кормлю. Врачей приводил,— не знают они, как крокодила лечить. Вот здесь солнечными ваннами выхаживаю. Каждое утро на пляж вожу, пока никого нет.

Поймав на своей руке, изуродованной синим мозолистым шрамом, испуганный взгляд секретаря, Костя объяснил, улыбаясь:

— Гиена это. Жрет всякую дрянь, какую в клетку суют посетители. Желудок пришлось промывать,— она и тяпнула.

Секретарь зачем-то внимательно посмотрел на свой живот, помял его, потом сказал Косте:

— Специальность у вас очень опасная, прямо героическая. Ну, так останетесь, а? У меня ведь слет на днях открывается, культурно делегатов обслужить надо. Останетесь, а?

— Не могу, товарищ,— официально сказал Костя.— У меня договор. На трассе Москва — Волга уж баржи готовы.

Костя лег на спину и закрыл глаза. Секретарь еще поканючил и улегся рядом.

Жгло солнце. Широко и сильно плыла Волга.

Костя — директор передвижного зверинца. До этого он работал на заводе слесарем. Мечтал быть летчиком. Его вызвали в райком. Секретарь сказал Косте:

— У частников зверинцы забираем. Нужно культурно дело поставить. Возьмешься?

И Костя поехал принимать зверинец у частника.

Из клеток исходило теплое зловонье. В стеклянной коробке, завязавшись бантом, лежал удав.

Хозяин, коренастый человек с бабьим лицом, усмехаясь, говорил:

— Тут, знаете, одной агитацией не возьмете.

Костя сердито спросил:

— Почему лисица не в клетке?

— Выскочила! А вы ее посадите.— И хозяин услужливо открыл дверцу.

Потом невесть почему он резко переменил тон и попросил Костю зайти в контору подписать акт приемки. Вежливо откланявшись, он снял с гвоздя шляпу и ушел.

Постояв один в конторе, Костя вернулся в зверинец.

Клетка тигрицы была открыта. Зверь недоверчиво высунул голову и шумно сосал ноздрями воздух.

Бежать, звать на помощь? Кого? Кто поможет?

И Костя пошел к клетке.

Тигрица прижалась к полу и, раскрыв пасть, шипела на приближающегося человека.

Она напряглась, готовясь к прыжку.

Костя понял — все кончено.

Инстинктивно он сунул руку в карман. Что там? Спички!

Он вытащил спички и шаркнул о коробок всю горсть. Взорвавшееся пламя ткнул в морду зверя.

Тигрица отпрянула. Костя захлопнул дверцу. Ослабев, он сел па землю. У него кружилась голова. Тошнило от страха и смрада.

Костя приехал в райком с твердой решимостью отказаться от зверинца. Но в райкоме, обуреваемый жалостью к зверям, он стал требовать новых просторных клеток с покатым полом, увеличения средств на корма́, научного руководства.

И он стал директором девятого передвижного госзверинца.

Оп прочел Брема. Он разыскал старика Геннадича, бывшего служителя зоосада, и вместе с ним составил новый рацион зверям.

Вскоре зверинцу вручили путевку на турне.

Костя зашел к Кате. Она работала в заводской столовой кассиршей. Катя сидела в стеклянной будке на высоком табурете. Она стучала по кнопкам кассовой машины и вертела ручку. Выскакивали чеки.

Слезая с высокого табурета и поправляя волосы, вспыхнувшие на солнце, Катя сказала:

— Я ходила в райком, там уже все оформили. Я попросилась к обезьянам.

Зверинец начал свою кочевую жизнь. Он повидал всякое, и среднеазиатские ливни — такие, при которых океаны низвергаются с неба и вытесненный воздух булькает и шипит, а дышать нечем.

Клетки плавали по этой злобно рычащей воде.

А в Новороссийске норд-ост сбил зверинец в одну кучу.

Тропические звери не могли переносить студеных вечеров осени и тоскливо дрогли. Ребята кутали зверей в одеяла. Когда рожала львица, никто не спал. Врач, к которому обратились за помощью, сказал: «Вы с ума сошли!» — и, захлопнув дверь, шумно набросил цепочку.

Звери болели.

У белого медведя от постоянного пребывания в воде начал гнить подшерсток.

Костя трудился над медведем месяц. Когда зверь замирал в чутком сне, Костя просовывал в клетку руку и выстригал шерсть.

Ребята хвастались друг перед другом сообразительностью своих питомцев. В припадке восторга привирали.

Катя, например, уверяла, что ее обезьяны хихикали, когда бурая медведица Дунька ударом лапы вышвырнула Агеича из клетки за то, что он вошел туда с папиросой в зубах.

Звери действительно были очень занятны.

Стоило посмотреть, как рыжие хомяки таскали куриные яйца в свою нору. Хомяк брал яйцо в передние розовые лапы, ложился на спину, а хомячиха волокла его за коротенький хвост.

А когда в клетку ставили кувшин молока, хомяк забирался на край, макал в молоко хвост и опускал его хомячихе, а та слизывала падающие капли.

В зверинце были львы, тигры, крокодил, гиена, медведи, удав, волки, дикобразы, антилопа-гну, олени, попугаи и обезьяны. Была даже пантера. Костя выманил ее у старого дрессировщика. Дрессировщик уже не работал. За пантеру ему не раз предлагали солидные деньги, но он не отдавал и мучался с нею в своей холостяцкой комнате, да еще в коммунальной квартире. Он любил свою пантеру и хотел отдать ее даром, но только в «очень хорошие руки».

Костя понравился дрессировщику.

— Вы ведь ее не обидите,— не спросил, а убежденно сказал он.— Возьмите... Мне соседи житья не дают. А она такая милая!

Бесконечно вытянутая, с женскими, прикрытыми глазами, пантера неслышно ступала на своих замшевых подушках. Мех ее, блестящий, теплый, с нежными подпалинами, уходящими под брюхо, был прекрасен. И движения были необычайны. Казалось, она оплетала самое себя гибкими узлами своего эластичного тела. Подпускала к себе пантера только Костю. Жмурясь, она прижимала к круглой голове косые уши и мурлыкала, когда он гладил ее и говорил ей ласковые слова.

И Костю начали ревновать.

Гамадрил Петька неистовствовал, когда Костя подходил к пантере. Он визжал на весь зверинец, протягивая к Косте длинные руки с крошечными детскими пальцами. И, видя, что Костя не идет, начинал бросать в клетку пантеры всякую дрянь.

Петьку уносили в другой конец зверинца. Он катался по полу и кусал себе руки желтыми зубами.

— Катя,— звал Костя,— иди, Петька психует.

Катя брала Петьку на руки, и, обняв ее, он начинал всхлипывать.

Однажды, когда Костя снова крикнул: «Катя, иди, Петька психует»,— и Катя подошла, гамадрил вырвался из ее рук. Проскакав по зверинцу, он сквозь решетку вцепился в спину пантеры зубами и стал рвать ее.

В руках у Кати был только совок. Она попыталась отогнать Петьку, и он испуганно шарахнулся.

Катя плакала.

Гамадрил прижался к ней. Лицо у него было виноватым.

Огромная река небесного цвета плыла широко и сильно.

Горело солнце.

Секретарь встал и побрел в воду.

Зажимая нос, заткнув пальцами уши, он несколько раз окунулся. Потом вышел на берег и стал вытирать пышное свое тело мохнатым полотенцем.

Взглянув на Костю, он проговорил робко:

— Ну, так как же? Остаешься, а?

Прошел пароход, белый, огромный, блестящий. Река с шумом провожала его до поворота. Пароход скрылся, а река, взволнованная, все никак не могла успокоиться.

Костя сказал, уклоняясь от ответа:

— Погодка самая летная.

В песчаной выемке лежал крокодил и глядел зелеными всасывающими глазами.

На пожарной каланче пробили восемь раз. Костя полез в воду и стал выманивать крокодила. Тот послушно выполз на берег.

Надев на голову крокодила ржавый намордник, Костя вел его к зверинцу — на цепи, как большую собаку.

Крокодил следовал за Костей на кривых, как у таксы, лапах. А секретарь семенил сзади. Он говорил:

— Вот крокодил! Кажется, фантазия,— так? А ведь из него чемоданы делают. Останетесь, а? Может, вам фанерки нужно? Подкинем, а? — Потом, в отчаянии воздев руки, воскликнул: — Ведь слет же у нас передовиков-животноводов! Им зверинец — просто наглядное пособие. Останьтесь, а?

Внезапно пошел дождь. Светило солнце. Блестящие капли спускались, как бисерные нити.

В фанерной будке Катя продавала билеты. Гамадрил Петька сидел у нее на руках. Схватив монету, он совал ее себе за щеку.

— Отдай! — притворно сердилась Катя.

Шумела базарная площадь. Вдоль улицы у заборов лежали перевернутые вверх дном лодки. Сухощавая пожарная каланча упиралась макушкой в небо.

Высунувшись из открытого окна конторы Заготзерно, старик в розовой майке кричал:

— Григорьев, прими телефонограмму!

— Счас,— ответили ему с пристани.

Волга напрягалась. Она тащила сырые тяжелые баржи, сверкая на солнце своим сильным телом.

1936

БОЛЬШОЕ НЕБО

Командир отряда, матрос Белокопытов, отрываясь от бинокля, прокричал в ухо красногвардейцу Григорьеву, чтобы тот пробрался в обсерваторию и принял меры для защиты здания от снарядов.

Григорьев, токарь Путиловского завода, курчавый, низкорослый, приложив растопыренные пальцы к грязной солдатской фуражке, сказал громко:

— Будет исполнено, товарищ командир.

Григорьев объяснял задание посланным с ним красногвардейцам:

— Небо сторожить, ребята,— это не коров пасти. Комета какая-нибудь сорвется — они сейчас в трубу посмотрят, а в трубе увеличительные алмазные стекла, через них как есть все видно. Опять насчет религии ими точно доказано: бога нет, а звезды — расплавленный металл. Понятно?

Шел блестящий и крупный дождь. Туман медленно сползал в низину. Отяжелевшие, облепленные грязью ноги разъезжались. Но когда один поскользнувшийся боец, чтобы не упасть, оперся о землю прикладом винтовки, Григорьев грозно крикнул:

— Зубами цепляйся, а оружия пакостить не смей!

Раздобыв лопаты, красногвардейцы копали в огороде землю. Набив ею мешки, они носили их с побагровевшими, склоненными лицами в обсерваторию через внутреннюю железную лестницу и складывали на крыше.

Глядя на грязный пол обсерватории, Григорьев заметил огорченно:

— Ишь наследили, разуться б надо, ребята.— Потом, указав на купол и на свои босые ноги, добавил: — Чисто в мечети мусульмане,— и громко рассмеялся.

Зябко потирая желтые руки, к Григорьеву подошел худощавый румяный старик в белом халате — профессор Стрижевский. Нервно моргая, он спросил:

— Что тут происходит, господа?

Григорьев, не обижаясь на «господа», бойко ответил:

— А вот небесную канцелярию обороняем: если из тяжелых ударят, вашим трудам крышка.

— Но ведь это обсерватория,— сердито оборвал его профессор.

Григорьев отступил на шаг, оглядел профессора и, мотнув головой в сторону города, сказал злобно:

— А там, товарищ, женщины и дети, и ничего — долетают.

До ночи возились красногвардейцы на крыше обсерватории, устилая хрустальный ее купол мешками с землей. И когда хотели уже спускаться, над люком появилась голова профессора. Задыхаясь, он тащил на крышу огромную пухлую перину. Пряди седых сухих волос спадали на его влажный лоб.

Григорьев, принимая из обессиленных рук профессора перину, сказал, просияв глазами:

— Вот за это спасибо!

Ночная тьма, казалось, тяжко вздыхала от орудийного гула.

Придавливая рукой окурок, Григорьев дружелюбно спросил профессора:

— Сказывают, звезда такая есть — Маркс. Это что, в честь нашего учителя называется?

— То Марс, товарищ,— поправил тихо астроном,— в честь бога войны.

— Бога? — переспросил Григорьев.— А Маркса нету? — И, взглянув серьезно в утомленные глаза профессора, сказал озабоченно: — А нужно было бы завести, товарищ профессор.

— Да, но это должна быть новая звезда, ее нужно сначала найти.

— Чего искать! — задорно воскликнул Григорьев.— Вот она! — И, протянув руку к небу, он указал на самую большую звезду.

Профессор вышел проводить красногвардейцев; спотыкаясь, он расстроенно бормотал:

— Как же так, я вас чаем хотел угостить!

— Благодарствуем, нельзя нам,— за всех отвечал Григорьев,— нас и так совесть замучила — долго прохлаждались тут.

Пожав руку профессору, красногвардейцы скрылись во тьме.

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса пятые сутки, зарывшись в землю, отбивался от противника. Взбесившийся враг забрасывал отряд снарядами. Пули роились в воздухе, и нельзя было оторваться от земли, но красногвардейцы подымались и бросались в атаку.

Григорьев, лежа у горячего, трясущегося пулемета, испуганно оглядывался, когда снаряд, описав высоко в небе дугу, тяжело плюхался далеко позади, там, где возвышалась на бугре хрупкая стеклянная голова обсерватории.

В минуту затишья, толкая локтем пулеметчика, Григорьев тревожно шептал:

— Досада меня мучает. Случай был взглянуть на звезды, какие они есть на самом деле, а я застыдился профессора попросить: все ж таки интеллигенция...— И, приподнявшись на локти, он оглядывался.

Внезапно что-то черное с грохотом пронеслось мимо, как поезд, и Григорьев удивился, что боль может быть такой сильной и нестерпимой. Погружаясь в темноту, он чувствовал, как по лицу у него что-то текло.

В упорных боях с 21 по 25 октября белые были разбиты и отброшены к эстонской границе.

Красногвардейский отряд имени Карла Маркса, покинув ненужные теперь окопы, расположился на временный отдых.

Отряд сильно поредел, а все оставшиеся в живых носили на себе страшные следы тяжелых битв.

Двор обсерватории был устлан сеном, на нем вповалку спали измученные бойцы. У Григорьева на правом глазу чернела повязка, забинтованная рука висела на ремне. Мучимый лихорадкой, он баюкал ее, как младенца, сидя на крыльце в накинутой на плечо трофейной шинели.

В высоком, чистом небе вздрагивали звезды. Григорьев глядел на небо и искал сиротливым глазом среди трепетно пылающих планет звезду, которая еще не имеет названия.

На крыше обсерватории возились люди; они осторожно освобождали прозрачный купол от тяжелых мешков земли.

Из флигеля вышел профессор Стрижевский; зябко кутаясь и шаркая ногами, он осторожно шел по двору, обходя спящих людей.

— Товарищ профессор! — слабо окликнул его Григорьев. С трудом поднявшись навстречу, он спросил, протягивая руку: — Ну как, нашли звезду-то?

— Ах, это вы, голубчик? — наклонился к нему профессор и вдруг воскликнул: — Боже мой, что у вас с глазом?

— Уполовинили,— объяснил Григорьев и добавил: — Ну ничего, зато вы за меня теперь в оба посмотрите.

Потом, вытянув руки по швам и подтянув подбородок, он попросил застенчиво:

— Товарищ профессор, разрешите поглядеть?

— Ах, прошу вас, пожалуйста! — засуетился обрадованный астроном.

— А ребятам тоже можно? — взволнованно спросил Григорьев.

— Но они же спят.

— Для такого дела... — И Григорьев зычно крикнул: — Кто желает звезды смотреть, вставай!

Сев на высокий металлический табурет, Григорьев припал единственным глазом к рефрактору. В таинственной тишине обсерватории он слушал рассказ профессора о величавой жизни вселенной. Небесный океан раскрывал перед ним свои глубины.

А на улице, в холодной ночи, выстроились кашлявшие, продрогшие бойцы, чтобы увидеть далекое небо.

Вспыхивали и гасли огоньки папирос, люди шутили хриплыми голосами, толкались, пробуя согреться.

Но, входя в помещение обсерватории, движимые каким-то инстинктом, они почтительно снимали фуражки.

Выходивших из обсерватории бойцов охватывало великое волнение от виденного, хотелось молчать и думать, и уже никто не помышлял о сне.

1936

МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Осенью 1920 года по раскисшему тракту тащилась бричка. Костлявая лошадь, по уши забрызганная грязью, опутанная сетью веревочной упряжи, вытянув голову с розовыми губами, покрытыми болячками, волокла этот возок, издали похожий на шалаш огородника. Высокий возчик с кривым мокрым глазом шагал рядом со своей лошадью.

Лошадь, поскользнувшись, садилась на землю, тогда поднявшиеся вверх оглобли непомерно вытягивали ее шею, хомут налезал на морду, в туго налившихся лошадиных глазах появлялись слезы.

Возчик наваливался плечом на передок. Кричал, отчаянно дергал вожжи. Лошадь делала судорожное усилие, потом валилась на бок.

Возчик хватался за кнут. Тогда из брички высовывалась голова Райвичера.

— Если вы ее ударите, она умрет,— говорил Райвичер и поспешно вылезал.— Это же не лошадь, а кошка чахоточная.

И они отдыхали. Лошадь, возчик и Райвичер.

Полежав, лошадь поднималась, осторожно махая хвостом, жевала сено. Возчик курил, моргая сиротливым глазом. Райвичер разговаривал.

Райвичер не мог не разговаривать. Тяжелые мысли мучили его, и он чувствовал: если будет молчать, заболеет.

Райвичер не считал себя бедняком, нищим. Он говорил: «Я только неудачник». И вызывающе улыбался. Но это — на людях. Дома, раздраженный, измученный, он превращался в деспота. Облачившись в ситцевый халат, Райвичер усаживался за стол и гневно шептал:

— Рая, я выгоню тебя в шею, если еще раз узнаю, что ты ходишь стирать людям белье. Мать Семы не может быть прачкой! Из Семы я сделаю человека.

И для этого Райвичер не щадил ни себя, ни жены, ни сына.

Восемнадцатилетний дылда, сын учителя греческого языка Кочедыгина, встретив Семена на улице, сорвал у него с головы картуз, помочился и снова нахлобучил на голову Семена. И Семен, маленький, худой, нервный Семен, в исступлении кинулся на этого откормленного парня, повалил его, пинал, всхлипывая и рыча.

Отец заставил Семена пойти извиниться.

— Сема,— молил отец,— на всю жизнь тебе не видать гимназии как собственных ушей.

— Меня все равно не примут.

— Нет, примут, это тебе говорю я, твой отец.

— Не пойду, лучше повешусь.

— Мать! — вопил отец.— Мать, становись перед нашим сыном на колени и ползи, я тоже встану, он этого хочет. Гордец! Наполеон!

Началась война. Райвичер готов был обрубить сыну пальцы, выколоть глаз, привить венерическую болезнь, лишь бы сына не взяли в солдаты.

А сын пошел и записался добровольцем.

— Я хочу защищать нашу родину от немцев,— заявил он жестко.

Отец кричал, хрипел, падал, обнимал сыну ноги. А тот молча собирал вещи. Может, это была месть отцу за его отвратительную заботу, не щадящую ни чести, ни самолюбия сына?

Отец глядел на Семена сумасшедшими белыми глазами, потом схватил его за грудь, поволок и вытолкнул на лестницу. Туда же, громыхая, скатился раскрытый чемодан...

— Ну, как Сема? — спрашивали у Райвичера.

— У меня нет сына,— глухо отвечал он и, сутулясь, проходил мимо.

И вот умерла Рая. Тихо, послушно, без агонии. Райвичер остался один. Он бродил в своем ситцевом халате по комнате, опустившийся, старый. Рассеянно, все время почесываясь, нагибался, что-то искал. Наконец он нашел фотографию жены. Жена на этой фотографии была молодой, тонкой, в свадебном уборе. Держа перед собой фотографию, Райвичер шептал:

— Раечка, ты не сердишься?

Ложась спать, он поставил портрет на стул рядом с лампой. Утром он увидел: портрет почернел, покоробился от жара непогашенной лампы. И Райвичер решил отыскать

среди старых негативов снимок жены. В кладовке, роясь в пыльном стекле, он нашел связку писем. Развязав веревочку, обнаружил, что это были письма Семена к матери. С войны.

Скорчившись, Райвичер читал эти письма. Он задыхался от умиления, шептал, прижимая к щеке пахнущую мышами бумагу:

— Раечка, что ж ты со мной сделала? Ведь шесть лет, проклятые шесть лет ты скрывала от меня это.

Стиснув в кулаке письмо, в развевающемся халате, Райвичер бегал по комнате.

— Хорошо же, Семен, я тебя достану! — хрипел он.— Чтобы тебе было худо, я расскажу, как умерла твоя мать, нищая, брошенная сыном.

Возчик гладит ладонью мокрые бока лошади и печально насвистывает. Туман. Пресмыкаясь, ползает в сухощавых камышах сизая речушка. Земля усеяна грязными, дряблыми листьями. Вороны, кружась с отчаянным криком над черными деревьями, дерутся в кровь, роняя перья.

А Райвичер говорит, потому что он не может не говорить:

— Я — фотограф-пушкарь. Тридцать лет работал от фирмы «Смоленские с сыновьями». А кто я на самом деле? Художник! Допустим, вы приходите ко мне. Клиент! У вас, я извиняюсь, не хватает одного глаза, а вы желаете вступить в брак...

— Я — женатый,— хмуро сказал возница.

— Допустим, для примера. Что же вы получаете на руки? Молодого красавца с парой очей, как у тигра. Фотографию помещаете в киевской газете. Холостяк желает поделить сердце... Сейчас же — отклик вдовы с каменным флигелем... Так люди делают себе счастье! А дамы?! Я их так обрисовывал — родственники не могли узнать! Из снимка, допустим, свиньи мог полицмейстера сделать. Ретушь — искусство!

— А лошадь можешь снять?

— Лошадь? Я львов в цирке снимал! Они могли меня свободно покусать.

— А меня с лошадью можешь? — недоверчиво спросил возница.— Сколько возьмешь?

— Пустяки.

— Нет, не стоит,— вздохнул возница и, покосившись

на небо, сказал: — Вороны — глупые птицы, дерутся, а с чего дерутся — не поймешь.— И зачмокал толстыми, мозолистыми губами.

Лошадь вздрогнула, взмахнула хвостом.

— И-эх, борзая! — высоким голосом прокричал возчик, потом, обернувшись к Райвичеру, весело попросил: — Прибавить бы надо. Куда везу? Пули, все такое... убить могут. Мне помереть легко: один глаз прикрыл и — покойник. Да коня жаль. Прибавьте чего-нибудь.

— Я вас сниму. Желаете? — спросил Райвичер.

— Товарищ взводный, на заставе человека задержали. Чудной: папашей вашим назвался. Прикажете в штаб доставить?

Взводный, огромный человек с синим румянцем и темными, выпуклыми, суровыми глазами, вместе с ветеринаром в конюшне пускал кровь захворавшей лошади. Лошадь дрожала. Взводный, обняв ее шею сильными руками, нежно шептал в лошадиное ухо ласковые слова.

Повернувшись к бойцу и не отпуская лошадиной шеи, взводный рассеянно спросил:

— Папашей, говоришь, назвался? Кто ж такой?

Красноармеец, весело улыбаясь, выглянул из конюшни и всплеснул руками:

— Сюда ведут. Выйдите-ка!

Взводный вышел на улицу. Жмурясь от солнца, он остановился, растопырив мокрые руки.

Подкатил возок, окруженный конвоем, и оттуда раздался визгливый, испуганный голос Райвичера:

— Сема, ты весь в крови! Ты же ранен, Сема!

Взводный, пряча руки, бормотал:

— Это конская кровь, папаша, вы не волнуйтесь.— Потом, обращаясь к бойцам, растерянно подтвердил: — Папаша, ребята, действительно. Сюрприз!

Райвичер слез с возка, медленно, на затекших ногах подошел к сыну и, не здороваясь, стал его разглядывать. Потом, поморщившись, сказал раздраженно:

— Что ж ты матери врал? Командир! Конюх! Так бы и писал — конюх.

— После, папаша, разберемся. Товарищи, может, кто свезет папашу до моей хаты? А я сейчас, мигом. Вы извините, папаша, такая неожиданность.— И исчез в конюшне.

На козлы к кривому возчику забрался молодой боец.

Поставив в ногах винтовку, он повернулся к Райвичеру сияющим лицом и прокричал:

— А я говорю: старик еврей приехал!

— А вы что думаете, я римлянин? — сухо отозвался Райвичер.

Боец серьезно сказал:

— Мы за национальность всех наций. Только стой обеими ногами на нашей платформе,— и, обидевшись, смолк.

Райвичер, наклонившись, робко спросил:

— А скажите: Сема ваш приятель?

— Это как? — не понял боец.

— А вот он вас попросил меня к дому доставить.

— Так ведь он приказал! Командир он мне или как?

— Командир? — переспросил Райвичер. И, получив еще раз подтверждение, стал с любопытством глядеть по сторонам.

— Ну, папаша, теперь давайте поздороваемся,— сказал взводный, нарядный, подтянутый, в блестящих сапогах.

— Эге-ге,— сказал Райвичер, на цыпочках подходя к сыну и легонько касаясь вытянутыми пальцами его головы.— Это что такое?

Взводный, сердито пригладив волосы, пробормотал:

— Седина, что ли... Ну, как там у вас? Мамаша что?

Райвичер с перекошенным лицом опустился на лавку. «Почему я молчу? Вот он стоит передо мной, молодой, седовласый, усталый человек. Бей же его! Бей! Зачем молчать? Ну, говори же! За этим же ты сюда приехал. Ты слышишь, Райвичер?»

И, сделав усилие, старик глотнул воздух и сипло спросил:

— Почему сразу — мать? Почему не спрашиваешь, как доехал до тебя отец? А? — И вдруг сердито крикнул: — Сердится мать, почему редко пишешь.

— Ты знаешь? — спросил взводный.

— Вместе читаем,— застенчиво глотая слезы, улыбнулся Райвичер.— А ты думал, у тебя отец что бешеная кошка? Ну позлился. Сколько же можно?..

— Значит, ша, забыто, папаша.— И взводный, обнимая отца, прижался своим горячим лицом к костлявому, трясущемуся плечу старика.

— Ша, Сема, ша,— шептал отец, заикаясь, плача и похлопывая ладошкой по широкой, мускулистой спине сына.

Отец и сын пили чай, любуясь друг другом.

В хату вошел кривой возчик. Стащив рваную шапку, угрюмо поздоровался с взводным.

— Сейчас рассчитаемся,— засуетился Райвичер.

— Выйдемте,— сказал возчик.— В хате не желаю.

— Ишь,— подмигнул Райвичер сыну,— надбавку просить хочет. Ушлый мужик.

На улице возчик сурово заявил Райвичеру, отталкивая его руку:

— Мне денег не надо.

— А чего ж вам надо? Рожна?

Возчик стал горячо шептать в ухо Райвичеру:

— Я же тебя кокнуть хотел. Думал — шпион к красным ползет.

— Ну? — испуганно удивился Райвичер.

— Ну вот... Извиняюсь...

— Это к делу не относится. Сколько?

— Милый,— заныл возница,— конь у меня есть. Оружие тоже есть.— И он, торопливо разбросав сено, вынул со дна брички винтовку.— Мужик я нормальный, попроси командира. Сына попроси. Да ты не сомневайся. Вот,— возница совал в руки Райвичера замурзанные бумажки,— документы все в порядке. Я же на действительной в драгунах был.

Райвичер с изумлением уставился на возчика, а тот, поймав на своем лице пристальный взгляд, вдруг рассвирепел:

— Кривой? — закричал он.— Кривой я, говоришь? Да я...— И снова залепетал: — А ты с меня карточку сделай. Говорил, можешь с двумя глазами. Сними. И сыну... Вот, дескать, кавалер. Век буду...

— Чтоб я обманул сына?! — вознегодовал Райвичер.

На крыльцо вышел взводный со стаканом чая в руке. Райвичер торопливо рассказал о происшествии.

— Ты что ж, порядка не знаешь? — весело прикрикнул на возчика взводный.

Возчик стоял, вытянувшись в струнку, высоко вздернув подбородок, прижимая к ноге винтовку.

Взводный поставил стакан на ступеньку, перелистал документы, сунул в карман.

— Завтра в канцелярию явишься. Зачислим.

Возчик шлепнул разбитыми каблуками и на цыпочках пошел к лошади.

За окном густая ночь, унизанная новенькими звездами. У коновязи сонно всхрапывают кони. Райвичер не спит. Мысли, большие и маленькие, ликующие и испуганные, теснятся в его голове. Райвичер ворочается, вздыхает, потом, приподнявшись на локте, пристально глядит в темноту, туда, откуда слышится ровное дыхание сына.

— Сема, ты спишь? — шепотом спрашивает Райвичер.

Сын шевелится, потом нащупывает кружку с водой, гулко пьет, так что слышен каждый глоток.

— Чего вам, папаша?

— Сема,— шептал Райвичер,— Сема, а ты стрелял в кого-нибудь? Сам, лично?

Сын молчит, потом ложится на бок, натягивая одеяло, бормочет:

— Спите, папаша, мне завтра вставать рано.

— Я сплю, сплю,— поспешно шепчет отец.

Но он не спит, а думает.

На улице дует холодный ветер, и от этого шипят кусты в палисаднике. Лошади, фыркая, теснятся друг к другу, стуча копытами.

Еще не успели продрать горло деревенские петухи, еще сияла в небе прозрачная луна, а Райвичер уже проснулся. Бесшумно оделся и вышел на улицу.

Навстречу поднялся кривой возчик и сказал:

— Здрасте. А я туточки товарища командира дожидаюсь, напомнить о себе хочу.

— Характер! — подивился Райвичер и пошел на хутор.

Пожилая женщина сидела на корточках и доила корову. Тонкие, сильные струи со звоном ударялись о днище подойника. Проворно двигая руками, женщина обернулась и сказала приветливо:

— Что это вы, незнакомый старичок, в такую рань бродите? Не курей ли воровать собрались? — Вытерев о фартук руки, она выпрямилась и стала вдруг выпуклой и огромной. Она сказала грубым голосом: — А ну покажь документы. Так вы папаша взводного? — удивилась женщина.— Сынка, значит, проведать? Да пожалуйте в хату. Да так и зовите — Власьевна. Да какие деньги — чай, яички не чужие, с-под квочки вот, тепленькие. Да вы в карман не ложьте, подáвите. Я в платочек заверну. Платочек после занесете. Председательница я здешняя. Ну ты, Жиганка! — грубым басом закричала женщина на корову.— Я тебе рога пообломаю, баловница! — И, сильной рукой притянув к себе голову коровы, поцеловала ее.

Райвичер не застал сына. Наведя порядок в хате, он перебрал имущество, дивясь его скудости.

Сын пришел поздно. Содрав со сковороды усохший блин яичницы, свернув его, он стал есть жадно и торопливо, поставив перед собой книгу.

Райвичер, обиженный таким презрением к пище, сердито сопел.

— И что у тебя за шинель, Сема? Это же сплошная простуда. Вели, чтобы тебе выдали новую, с каракулевым воротником.

— Папаша!

— Что «папаша»? — возмутился Райвичер.— Перестань читать, если с тобой разговаривает отец.

Взводный бросил книгу и обернулся.

— Сема, ты знаешь, что я тебе скажу,— вкрадчиво зашептал Райвичер,— если теперь Советская власть не интересуется национальностью, то, скажем, если бы ты был моложе, тебя бы приняли в гимназию?

— Могли бы.

— А, скажем, в университет?

— Всюду, папаша, всюду.

— Семочка,— восхищенно бормотал Райвичер,— дай я поговорю с командиром полка: может, отпустит.

— Куда?

— Ну, в университет, конечно,— сказал Райвичер.

— Папаша, вы меня изводите.

— Извожу! Я! Отец! — И Райвичер, покраснев, стал кричать и ругаться, как он это делал дома. Он видел, что у сына потемнело лицо, стала вздрагивать щека, и ему было до боли жаль сына и стыдно, но удержаться он уже не мог. Такой у него был характер.

Взводный выехал в штаб. Райвичер бродил один и скучал. От скуки он решил постирать сыну белье. В хату без стука вошел комиссар Охрименко, и старик очень смутился.

Большой, толстый, с глазами навыкате, пахнущий лошадиным потом, Охрименко, раскрыв крошечные, поребячьи вздернутые, пухлые детские губы, заговорил вдруг таким густым и сильным басом, что занавески на окнах заколебались.

— Добрый вечер, товарищ Райвичер. Мне взводный казал, що вы фотограф,— гудел комиссар, пугливо косясь на хрупкую табуретку,— и вся справа с вами. Мабудь, вы скажете, що я нахал, то это будет правда.

— Садитесь, товарищ комиссар,— конфузливо стряхивая с пальцев мыльную пену, предложил Райвичер.

— Ничего, я и постою. Так я вам кланяюсь низенько, товарищ Райвичер. Может, поснимаете кого из бойцов для удовольствия? От себя скажу: великая польза с того будет. Бойцу на себя взглянуть приятно — какой он есть герой детина! А, скажем, батька с маткой родные глянут на такую фигуру? «Эге,— они скажут,— вот она какая, Советская власть, справная, що мой сын такой нарядный и боевитый ей служит». Пид старость также интересно внукам казать, якой я был молодой. И будут ваши портреты добрые люди хранить наравне с орденами и отличиями. Подумайте также об истории. Яки таки люди за коммунизм бились. А вот они, те люди! Может, костей их уже нема будет, а все с бумаги таращатся. Це великое будет дило.

— Я вам скажу,— торжественно заявил Райвичер,— у вас — настоящая голова.

— Може, и настоящая,— согласился комиссар,— а за вас я скажу, товарищ Райвичер, що вы просто казак. Так, значит, завязали? — Комиссар осторожно хлопнул толстой ладонью по плечу Райвичера.

Райвичер добыл у завхоза красок. На фанерном щите изобразил замок с бойницами и пушками. Наверху развевалось красное знамя, в пруду плавали лебеди и корабль.

— Дома у меня осталось чудесное панно,— хвастался Райвичер.— Бешеное море, скалы, рыбий хвост. Над рыбьим хвостом дыра. В эту дыру по сих пор влезали клиентки с распущенными волосами. Русалка! Огромный успех. Если бы я умел рисовать, я бы изобразил рысака, ставшего на дыбы и потоптавшего императора Николая Второго. Всадник! В голове отверстие. Сюда всовывали б свои веселые молодые лица бойцы. Очень великолепная политическая картина!

На площади, перед штабом полка, установил Райвичер вместе с комиссаром свою шикарную картину, изображающую замок, пруд и корабль. Фотоаппарат стоял, вытянув свои длинные, поджарые, как у кузнечика, ноги.

Оповещенные бойцы толпились, ожидая очереди. Штатское население завистливо любовалось бойцами. Дивчины, украсившиеся бумажными цветами и лентами, лукаво посмеивались.

Сказать прямо, это был праздник.

И солнце сияло, словно летом,— может, для того, чтобы

самому сняться вместе со своими лучами на этом великолепном фоне?

Даже раненые бойцы, покинув санитарные тачанки, приковыляли к штабу. Расположившись в первых рядах, греясь на солнце, они слабыми голосами подавали советы.

— Спокойно, не волнуйтесь,— кричал Райвичер, суетясь возле окаменело сидящего на табурете бойца.— Не нужно быть сфинксом. Примите веселую военную позу. Почему у вас дрожит в руке сабля? Вам дать валерьянки? Не моргайте. Вас не перед пушкой посадили.

Взмахивая черной крылаткой, Райвичер бегал между клиентом и аппаратом.

— Что за смех! — прикрикнул он на раненых бойцов.— Вы не на приеме у зубного врача. Какие могут быть шутки! Отдохните. Я подожду.

Боец вялой рукой вытирал потное застенчивое лицо.

— Ах, вот теперь вы испортили себе всю прическу. Пойдите, причешитесь.

Боец вставал, шатаясь, подходил к зеркалу, прибитому к столбу, и, поймав привязанную за веревочку гребенку, начинал выкладывать на лбу чуб, лихой, как росчерк делопроизводителя.

Виновато улыбаясь, боец усаживался снова.

— Что такое! — возмущался Райвичер.— Приходит к тебе молодой нормальный человек. Герой. И вдруг перед аппаратом его сводит судорога. Не нужно так таращить глаза. Отморгайтесь.

Бойцы уносили свои карточки на растопыренных пальцах. С изумленным восхищением, беспрестанно останавливаясь, подзывали друг друга, требовали признания.

— Гляди, похож? А, похож! Прямо как я! Вот даже шишка на ухе. Все как на самом деле.— И заливался счастливым сконфуженным смехом.

— Денег не беру,— пряча за спину руки, отступал Райвичер от благодарного бойца.— Я штатский человек, и мне уже с вас польза, что вы за Советскую власть, ту власть, при которой мы все с вами можем быть студентами. Спрячьте сейчас же деньги, а то я вас могу оскорбить.

— Как живой! А какая одежа справная! Дитятко, кровинка моя,— благоговейно держа в морщинистых руках карточку и боясь капнуть на нее слезами, причитала старая мать.

А отец! Взволнованно кусая бороду, поглядывая из-за плеча жены, он хвастливо и подавленно шептал:

— Не каждого поди снимают. Отличиться надо. А сапожки! Погляди, какие у него сапожки! Хромовые! А тут мололи, что они босые. Обойди все село, мать, докажи всем, какая она есть, Красная Армия...

Что касается хромовых саног, то их была одна пара, и принадлежали они трубачу Евзерихину, самому нарядному мужчине в полку. Фотографируясь, ими и пользовались бойцы. А если у кого и гимнастерка и штаны были не в порядке, так что ж тут такого? На разок приятель всегда даст!

Зайдя вечером к Райвичеру, комиссар сказал:

— Если вам не хватит материала, то мы в город нарочного пошлем. Составьте списочек.

Потом, вынув из кармана бумажку, разгладил ее мягкой ладонью, изуродованной синим мозолистым рубцом ранения.

— Товарищ Райвичер, я тут лозунги для фона принес. Не возражаете?

— Не возражаю,— солидно согласился Райвичер.— Только попрошу красивыми буквами, я — эстет.

Вернувшись через несколько дней из штаба, взводный доставил командиру полка приказ о выступлении.

Счастливое оживление охватило бойцов. Люди проверяли оружие. Облегчали седельные сумки от лишнего хлама, успевшего накопиться во время отдыха, мылись, переодевались во все чистое.

Только один Христоня Трегуб облачился в старое, заплатанное барахло.

— Щажу,— заявил он.— В бою испортить могут, порвать там или запачкать чем, а я мужчина аккуратный. С германской войны гимнастерка, а в ней хоть сейчас в гости.

— Да ты беляков постыдился б,— укоряли его бойцы,— подумают, что ты босяк.

— А я им думать не даю. Я их на месте казню,— огрызался Трегуб. И, засучив рукава, осторожно сбривал клинком клок шерсти на могучей темной руке.

— Парикмахер! — восхищались бойцы.

— Как есть! — самодовольно ворчал Христоня.

Нервные боевые кони, почуяв тревожное возбуждение,

вскидывали головы. Храпели и нетерпеливо били копытами.

— Ну вы, шпана! — испуганно кричал ветфельдшер, отскакивая от литых, сверкающих копыт.

— И напрасно вы только коней оскорбляете своим присутствием,— беспокоился начальник конзапаса,— это же легкоатлеты, а не кони. Вы бы лучше на меня внимание обратили. Зуб вот ноет и ноет.— Начальник конзапаса раскрыл горячий рот с толстым, жалобно дрожащим языком.— Может, найдутся какие щипчики?

— К коновалу ступайте,— сердился ветфельдшер.— Хотите под шумок недомерка всучить? Я вас знаю. Страдалец! — И, скорчившись, бесстрашно бросался под лошадиные животы.

От командира полка взводный пошел в свою часть. Люди, охваченные деятельностью, не отрываясь от своих занятий, кивали ему головами, заговаривали.

— Товарищ взводный, тут один боец, Тарасов Митрий, хочет перед всем взводом показаться.

— А что такое?

— Товарищ взводный,— застенчиво выступил высокий, тощий красноармеец,— я из «Красного кавалериста» статью наизусть выучил. Разрешите вслух, с выражением, бойцам прочесть.

— Товарищ взводный, що я придумал,— взволнованно шептал пулеметчик Ивелев.— Я ледку с погреба в кошму заверну, чтобы не таял, потом буду им воду для пулемета студить. Это же сколько лишнего огня по гадам будет! А?

Возле дома взводный наткнулся на лежащего пластом, прямо на земле, вестового Гаврюшина.

Держа в руке увеличительное стекло в медной оправе, Гаврюшин что-то разглядывал, сдавленно, восхищенно хохоча.

— Гляньте, товарищ взводный,— обернулся Гаврюшин.— Обыкновенный мураш, а сквозь это волшебное стекло словно громадный чудак в железе.

Гаврюшин был известен в полку своей безмерной страстью к этому увеличительному стеклу. Он канючил у бойцов разрешения поглядеть в глаз либо в ухо. Ужасался. Всплескивал руками. Не было предметов, к которым он не склонялся бы со своей лупой. Постоянно таская в кармане какой-то мусор, дорожа им, как дорожит коллекционер одному ему понятными драгоценностями, Гаврю-

шин мог часами безотрывно глядеть на какое-нибудь мушиное крыло, немея от восхищения.

— Вот, товарищ взводный,— с сожалением отрываясь от мураша, сказал Гаврюшин,— фельдшер мне сказывал, есть такое стекло, что через него можно видеть самые малюсенькие насекомые, которые из породы микроб. И что через них все болезни и несчастья. Вот бы мне такое стекло! Я бы их, сволочей, как блох, выслеживал, да к ногтю. Мелкие, а вред громадный. А я их со своей злобой все равно дойму. У меня терпения на сто лет хватит.

— Завтра выступаем, знаешь? — спросил взводный.

— Знаю.

— А ну покажи оружие.

— Обижаете меня, товарищ командир,— простонал Гаврюшин, снимая с плеча винтовку.— Я свое оружие через стекло обсматриваю. Обыкновенным глазом того не сыщешь, чего я своим стеклом обнаружить могу.

— А это что такое? — наклонился взводный к ложу винтовки.

— «Бей белых микробов»,— горделиво прочел Гаврюшин.— Мой лозунг, сам выдумал. Она же трофейная, товарищ взводный! Чего хочу, то сделаю.

— Оружие народное,— сурово оборвал взводный,— народ тебе его доверил, и должен ты его беречь, как глаз, и уважать.

— Да народ не обижается, я бойцам показывал — одобрили.

— Одобрили!.. Теперь начнут все надписи на оружии делать. Выдумываешь ты все, Гаврюшин, пустяки.

— Пустяки? — возмутился Гаврюшин.— А гранаты на ремне бросать кто ребят научил? Я! Летят, как из пушки.— И вдруг, засияв, сообщил: — А папаша ваш тут нас почем зря снимает. Прямо магазин открыл! И все просит, чтобы мы вас в бою берегли. Как будто мы сами не понимаем. Он и командира полка просил, чтобы в самую свалку не пускал. Трогательный старик,— вздохнул Гаврюшин.

— Просил? — ужаснулся взводный.— Всех просил?

— Как есть кругом! Даже из чужого взвода ребятам рассказывал, какой вы хороший человек...

Взводный долго не решался войти в хату. Он сидел на крыльце, седой, оскорбленный, одинокий.

Отец не спал. Волнуясь, ждал сына.

Подоконники и стол были уставлены сохнувшими негативами. Райвичер с наивным хвастовством выставил их,

чтоб показать сыну, сколько он успел сделать в его отсутствие.

Райвичер ходил по комнате и, копаясь в бородке, мысленно разговаривал с сыном:

«Сема! Худо-бедно, а я что-то понял.

Мне один ваш парень читал наизусть Ленина. Они били в сердце, эти слова, и сердце мое дрожало. И мне хотелось целиться не из фотоаппарата, а из пушки. Ты представляешь меня артиллеристом?

Ты не сказал мне, Сема, что ты большевик. Правда, ты знаешь, я не одобряю людей, занимающихся политикой... Но если ты состоишь вместе с товарищем Лениным в одной партии, то это просто хорошо. Я знаю, вы хотите сделать всем людям столько хорошего, что мне хочется плакать, почему я старый и не попользуюсь всем этим хорошим.

С твоими веселыми людьми я совсем позабыл о том, что я нищий еврей. И мне об этом никто не напомнил, Сема.

Комиссар сказал, что выдаст благодарность с печатью за то, что я прилично снимал бойцов. Мне не нужно благодарности, я прошу тебя, как сына и командира, оставить меня при себе. Если нужно, я могу чинить обмундирование бойцам. Ты же знаешь, я портной немножко.

И если тебя, сохрани бог, убьют, твой отец не будет царапать себе лицо и биться головой о камни.

Он встанет с сухими глазами и скажет всем...»

Райвичер подымал лицо и глотал восторженные слезы.

«Скажет всем...»

Взводный вошел в хату и, не здороваясь, не глядя на изумленного отца, угрюмый, сел на топчан. Склонившись, стал стягивать сапоги.

— Папаша,— придушенно сказал взводный,— вы могли бы воздержаться магазин здесь открывать. Если вам деньги нужны, сказали бы...

— Деньги? — удивленно подымая брови, переспросил Райвичер.— Зачем мне деньги.

Взводный распеленал ноги, встряхнул портянки, развесил их на топчане. Этими размеренными, медленными движениями он хотел успокоить себя.

— Вам, папаша, придется сегодня уехать. Завтра мы выступаем. Да и вообще штатским в части пребывать не полагается.

— Я штатский? Сема, что ты говоришь?!

— Погодите кричать! — сказал сын, вставая.— Кричать не надо, по-хорошему давайте. Вы тут с вашими

штучками меня перед бойцами дискредитировали. Кто дал вам право говорить обо мне с командиром полка? — кричал взводный.— Кто? — И щека его дергалась.

— Сема, Сема...— только и шептал отец.

Потом он вскочил и, тряся тощей бородой, стал метаться по комнате, бросая как попало вещи в деревянный чемодан. Сохнущие негативы падали со звоном вперемежку со склянками с химикалиями.

Закутывая фотоаппарат в плед, Райвичер закричал голосом раненого человека:

— Ты — зверь! Ты — не сын!

— Тише, папаша,— угрожающе прохрипел взводный.

— Вот, вот!..— топтал ногами чемодан Райвичер.— Что мне нужно было, старой собаке?..

— Без спектаклей, папаша,— просил взводный.

— Выгоняешь? Нет! — Райвичер вдруг сел на чемодан и решительно заявил: — Я не уеду отсюда. Пусть придет командир полка. Я буду с ним разговаривать.

— Я отправлю вас под конвоем.

— Хорошо, я уеду,— вдруг, ослабев, покорно прошептал Райвичер.— Я понимаю, ты стыдишься меня. Я понимаю. Приехал старый еврей и вдруг заявляет, что командир — его сын. А сыну не нужен такой отец.

— Я не позволю, чтобы вы здесь болтали чушь! — заикаясь, кричал взводный, силясь натянуть на босые ноги сапоги.

Райвичер отвернулся к стене. Его спина, выпачканная мелом, вздрагивала.

Равнодушный, вялый, старик дал усадить себя в тачанку.

Обращая к Райвичеру веселое потное лицо, повозничий спросил:

— Как вас? С ветерком? Кони — звери!

Райвичер молчал. Голова его никла на грудь.

— Обожди,— сказал взводный.

Он сбегал в хату, вернулся, положил рядом с безучастным Райвичером два свертка.

— Тут вам деньги, папаша. И шаль маме. Кланяюсь ей.

— Шаль? — спросил Райвичер.— Кому шаль? — Глаза его блеснули.— Матери? Твоей матери шаль?

Внезапно глаза Райвичера потухли. Он сказал равнодушно:

— Шаль возьму. А денег не надо.— Он сбросил их на землю.— Подавиться тебе твоими деньгами.

Взводный махнул рукой, повозничий высоко поднял локти, лихо гикнул. И тачанка покатила, подскакивая на ухабах.

Сквозь застилавший глаза туман взводный глядел вслед. Согбенная фигура отца качалась. Казалось, вот-вот он упадет с тачанки и останется лежать на земле.

Подскочил Гаврюшин.

— Беляки прорвались! Из штаба дивизии звонили: немедленно выступать.

И сильный стальной звук трубы, взволнованный, трепетный, возбуждающе-тревожный, рванулся и пронзил воздух.

Евзерихин, вскинув трубу и закрыв глаза, наливаясь кровью, трубил. И торжественные, ликующие звуки наполняли сердца людей гордой отвагой и бесстрашием.

Слышал ли эти звуки Райвичер? Нет, не слышал.

Слабый, беспомощный, сгорбленный, он подпрыгивал и качался на тачанке.

Дорога шла лесом. Пахло гниющей листвой. Вытянувшись, летели в небе белые лебединые облака.

— Конь у меня,— повернувшись к Райвичеру, говорил повозничий,— ничего себе конь. В бою как собака. За вражьих коней зубами хватается. А что это вы такой скучный, товарищ Райвичер? Может, у вас зубы болят? И, простите за вопрос, почему вы сегодня утром за обмундированием не встали? Очень нарядная обмундировка.

— Какая обмундировка? И что вы мне голову морочите со своим конем? — простонал Райвичер.

— Да что вы! — Повозничий даже лошадей остановил.— Приказа не читали? Вас же в полковые фотографы зачислили, с выдачей полного комплекта и тачанки для передвижения. А жалованья сколько положили — не помню. Вот я и дивлюсь, куда это вы едете?

— Слушайте,— жалобно взмолился Райвичер,— не морочьте вы мне голову, она и так болит, моя голова.

— Я не вмешиваюсь, может, вы уже получили? — И оскорбленный повозничий погнал лошадей.

Райвичер, робко касаясь локтя повозничего, тихо спросил:

— А скажите... вы смеетесь?..

— Мне, товарищ Райвичер, смеяться над собой надо,— горько сказал повозничий.— Меня за простунок в обоз

списали. Я же гордостью своей весь замученный. В приказе висю. Наказанный.

— Поворачивайте, пожалуйста,— зашептал Райвичер, хватаясь за повозничего.— Назад! Я хочу видеть этот приказ.

Склонившись над тазом, Власьевна мыла голову. Розовые, синие и голубые крошечные мыльные шары, нежные, как одуванчики, порхали вокруг. Власьевна не видела этих прелестных пенных цветов. Она не видела даже своих розовых круглых плеч, покрытых нежной кожей.

Сердито мяла она в сильных руках свои волосы, мокрые, гибкие и длинные, как водоросли, и сердилась на свою косу, которую не раз грозилась отрезать.

Не успела Власьевна ополоснуть как следует тяжелые свои волосы и выжать их, скручивая со скрипом в жгут, как дверь в хату распахнулась и на пороге выросла тучная фигура комиссара Охрименко.

Жалобно звякнув шнорами, Охрименко замер.

Власьевна, скрестив руки, стараясь скрыть свою наготу, подняла гневное лицо. И, может быть, плеснула бы она нахальному человеку под ноги мыльную воду и вытолкнула бы вон из хаты, если б комиссар, зажмурясь так, что все лицо его смялось в морщины, не сказал испуганно:

— Не вижу.

Сделав неверный шаг, Охрименко зашептал:

— Полк выступает. Прорвались беляки. Имея особое задание, мы не можем сейчас заняться их ликвидацией. Возможно, беляки займут село. Предупреди коммунистов. Всё.

— Стыдно в глаза смотреть? — зашипела Власьевна.— «Все»! Я тебе дам — все. Да открой буркалы бесстыжие. Ухо́дите! А мы как? Коммунисты — они при народе останутся, я им найду дело. А ты скажи, что мне делать? У меня ж три тысячи пудов хлеба в амбарах!

— Сжечь.

Власьевна дернула к себе комиссара за ремни и, тыча ему в лицо кулаком, кричала:

— А вот это видел? — Оттолкнув его, поспешно одеваясь, она отрывисто бросала: — Беляков я видеть не желаю. За село будем биться. Придется худо, до вас известие пошлем. Если дела вам прийти не позволят, отступим в болото. Ничего, не потонем, и хлеб с собой заберем. С вас пять

ящиков патрон причитается,— вскинув голову, неожиданно требовательно заявила Власьевна.

— Четыре,— робко сказал комиссар.

— И винтовок.

Набросив на мокрую голову платок, Власьевна выбежала на улицу.

Комиссар остался один.

«Хорошая. Вот бы мне, сироте, такую жинку,— грустно подумал он.— Я бы ее любил и нежил».

Поколебавшись, он направился к двери. И вдруг, усмехнувшись толстым лицом, поспешно сел за стол, вынул фотографию и написал:

«Мое сердце с вами. В знак уважения и памяти Володя Охрименко».

И, положив сверху свой наган, ушел, мечтательно улыбаясь.

Полк шел на рысях. К взводному подъехал комиссар на хрипящем под тяжестью его тучного тела поджаром дончаке.

— Папаша же где? — крикнул комиссар.

— До дому отправил, чтобы здесь мороку не разводил.

Комиссар запрыгал на седле от изумления.

— Ты что, сдурел? Дурень ты, дурень! Такого драгоценного человека полк потерял! — Потрясая руками, он завопил: — А я бойцам обещал их с генералами пленными после боя заснять!

— Ну, дамочки и мамаши, пошушукались, хватит. Я буду говорить.— Власьевна оправила на груди кофту и, оглядев всех черными дерзкими глазами, встала.— Собрала я вас, женок и матерей, тайно от мужиков. Давайте нашу бабью судьбу сообща решать. Красная Армия ушла. Неприятности на фронте. Беляки не сегодня-завтра в село придут. Повадку этих гостей знаете: за грудки да в овин. А мужиков, чтоб завидно не было, шомполами. Угощение готовить не надо. Народ проворный, сами сыщут. Кто за то, чтоб беляков с поклоном встречать? Кто за то, чтобы им угощение на вилах поднести?

Лишь двое воздержались.

И Власьевна, широко улыбнувшись светлым лицом, стряхивая слезинки с черных ресниц, задушевно сказала:

— Кланяюсь вам, женщины, от Советской власти и говорю спасибо. А теперь ступайте по домам и собирайте мужиков. Будем биться.

Окопы выкопали на совесть. Но фронтовик Никита Мальцев ругался:

— Та это ж канавы, а не окопы. Из них и не вылезешь. В атаку идти или тикать? Гроб, могила.

Власьевна сконфуженно шептала:

— Ты не ори, Никит, ты толком скажи, чего делать теперь.

— Подзасыпать малость надо, только и делов, и досок под низ настлать. В случае дождя чтоб ногам свободней было, а то увязнут.

— Бороны-то я все наперед свезла и гвоздями вверх положила.

— Правильно,— восхищался Никита,— для кавалерии — горе. Ну и баба.

— Для кого баба,— сухо отвечала Власьевна,— а тебе председательница.

— Ребята! Пускай бог меня лично накажет, а вы не тревожьтесь! — кричал, стоя на возу, кузнец Григорий Булач и сбрасывал на землю прутья разобранной церковной железной решетки. Черное лицо его с расплющенным в драке носом выражало восторг.— Власьевна, иди, я тебя обойму. Да не фыркай ты, гордая, я ж любя.

Оружия не хватало.

И когда Никита Мальцев приволок старенький пулемет с заплатанным кожухом, выкрашенный им собственноручно синей краской, все восхитились и закричали «ура».

— Где ж ты достал такую красоту? — всплеснула руками Власьевна.

— На память подарок, в день ангела,— усмехнулся Никита.— И харчей к нему — два ящика патронов имеется.

Пришел и Сазоныч, старик-охотник, вместе со своей собакой.

— Где мне тут разместиться? — спросил он сурово Власьевну.

Забравшись в окоп, он сделал в земле чистую ямку, пересчитал аккуратно патроны, разложил и, цыкнув на пса, замер.

В углублении окопа кипело два самовара. Женщины рвали простыни на бинты.

— Власьевна, подь сюда,— тихо окликнул охотник Сазоныч.— Седай, что скажу. Про охотничий случай скажу.

— Сазоныч, ты смеешься.

— Баба, не дери носа. Общей пользы происшествие.— Сазоныч лизнул цигарку, стряхнул крошки с колен и, боязливо косясь на Власьевну, сказал: — Зимой я на рябков ходил. Рябки что твои куры. Вкусные, сволочь, я их после на весь год засолил. Кормился.

— Сазоныч, ты смеешься.

— Обожди,— сердился Сазоныч.— Волки меня чуть не задрали. Оцепили невиданной стаей, разбираться им некогда, чи старый, чи молодой,— отощали. А патронов всего два. Так что́ я сделал? Наломал валежника и зажег. Так двое суток от них, чертей, огнем отбивался. Закоптел, как угольщик. А отбился. И гляди — живой. Вполне могу руками-ногами дрыгать.

— От страху ты, что ли, побасенки разводишь? — И, стряхнув цепкие руки старика, Власьевна поднялась.

— Не поняла, значит,— обиделся Сазоныч.— Лошадь — она тоже зверь.

— Ну?

— Ну! Вот тебе и «ну»! Значит, вели перед окопами соломы настлать. Как они наскочат — мы зажжем. Кони попугаются. Тут, значит, их и дави. Поняла? Ветер куда дует? Не знаешь? В их сторону дует. Нам — ни дыму, ни угару.

— Стой! Стой!

Сзади по тачанке хлестнули выстрелы.

Повозничий охнул, схватился за живот.

— Гони! — прохрипел он, желтея.

Два всадника выскочили наперерез. Райвичер, вжав голову в плечи, дергая вожжи, визжал на лошадей. Тяжкие копыта ударяли в кованый передок, ошметки грязи били в лицо.

Всадники приближались. Обнаженные клинки блистали в воздухе.

— Погибаем,— хрипел повозничий,— на котлеты к господу богу.

Внезапно, со стоном повернувшись и кося глаза на живот, повозничий попросил:

— Товарищ Райвичер, отстегните гранату.

— Отстегнул, ну и что? — кричал Райвичер.— Я же не знаю, как с нее стрелять.

Пригибая за шею Райвичера к себе, раненый слабым голосом раздельно шептал:

— Колечко на ней видите? Сдерните тое колечко. Скажите про себя «раз, два, три» и кидайте. Кидайте! — прохрипел повозничий, выворачивая белки и задыхаясь.

Райвичер оглянулся. Две лошадиные вытянутые морды с припавшими к ним всадниками приближались.

Райвичер, встав на колени, сдернул кольцо и, зажмурив глаза, прошептав «раз, два, три», бросил гранату — прямо, по-бабьи, вытянув руку.

Тяжкий удар опрокинул его на спину.

Райвичер очнулся. Голова его тряслась. Холодное небо качалось.

Липкой от крови рукой боец застенчиво гладил старика по лицу. Райвичер приподнялся и спросил удивленно:

— Я жив?

Роняя густую пену, лихие кони вынесли тачанку к партизанским окопам.

Власьевна бережно взяла на руки раненого, жалостливо причитая, понесла его к женщинам.

К Райвичеру подошел Никита Мальцев.

— От мужиков я...— И смущенно ухмыльнулся.— Поскольку вы только военных снимаете, а теперь мы вроде им ровня, желаю запечатлеться.

— Хорошо,— сказал Райвичер,— после.

— Зачем же после? Может, после кто из ребят и не сможет сняться в силу своего мертвого тела? Обидно им будет.

Райвичер кивнул головой и стал равнодушно устанавливать штатив.

Люди замерли, вытягивая перед собой оружие.

Белые появились внезапно. Черная лавина в молчании развернулась. Было видно, как у орудий возилась прислуга.

Райвичер попросил:

— Оружие мне! — Отстраняя охотничью берданку, он сказал: — Мне гранату. Я люблю гранаты.

Люди следили за деловитыми и неторопливыми приготовлениями противника.

Первый огневой удар был ужасен. Пыльная лента, вздымаемая пулеметным ливнем, дымила над насыпью. Прижимаясь к земле, люди закрывали глаза.

Снаряд, обжигая, сотряс воздух. За ним другой, третий. Казалось, от этого грохота должно было треснуть небо.

И тогда кто-то истошно завопил и стал карабкаться из окопа. За ним полезли другие.

Вцепившись в рыжего мужичонку, Власьевна тащила его вниз.

И тогда раздался голос Райвичера. Он стоял возле фотоаппарата в черной крылатке и страстно кричал:

— Пускай бегут, подлецы! Мы заснимем их трусливые спины и рожи. И будем после всем показывать. Бегите! Я вас уже заснял! Бегите!..

И беглецы, угрюмо косясь па Райвичера, возвращались.

С гиканьем вылетела сотня.

— Не жгите зря патронов, подпустите ближе,— умолял Никита Мальцев.

Первым, старательно целясь, выстрелил охотник Сазоныч. Рыжая собака Сазоныча кинулась из окопа, послушная своему охотничьему инстинкту.

— Пропадет песик, ребята,— поворачивая старческое лицо, закричал Сазоныч.— Обожди стрелять, дай псу голос подать. Затопчут.

Мчалась сотня. Рассыпная стрельба как комариный зуд. Э, как будут они сейчас кромсать это беспомощное ополчение! С визгом, ёканьем, наотмашь, слева направо, справа налево, как капусту!..

Дрожала земля.

И снова страх мертвенной тяжестью навалился па людей.

Власьевна, оглянувшись на серые лица, выхватила из костра горящую ветвь и выскочила из окопа. Добежала до соломенной гряды, сунула туда пылающую ветвь, и солома вспыхнула.

— В штыки! — вопил рыжий мужичонка, выскакивая с вилами наперевес. А за ним бежали с винтовками, с топорами.

Никита Мальцев, припав к синему пулемету, нажал спуск, и пулемет задрожал, захлестала свинцовая струя.

Передние конники успели перемахнуть на бешеных конях через пылающую степу, задние падали с внезапно отпрянувших коней, смешиваясь в живую, бьющуюся, стонущую кучу.

Атака была отбита.

К Власьевне подошел кузнец. Вытирая окровавленную голову, сказал серьезно:

— Давай, поцелуемся, Власьевна.— И, осторожно при-

коснувшись усами к ее щеке, прошептал: — Так как же, девонька, люблю я тебя или нет?

— Не то время, Гриша, погоди.

— Чего годить? Давай сейчас перед всем народом объявимся: так, мол, и так.

— С бомбами — ко мне! — кричал Райвичер.— Я вам в двух словах... Вот видите это колечко? Содрав его, считаете «раз, два, три»...

— По-хозяйски с патронами,— метался Никита.— По-крестьянски, аккуратнее.

Белые переменили тактику. Сосредоточенным огнем они решили смести партизанский отряд.

Пробитые пулями самовары валялись на земле. Возле них стояли раненые.

Тяжкие сугробы земли взлетали с ревом.

Пулеметный огонь свинцовой крышей прижал людей лицом к земле...

— Ветрюга-то живой, сильный. Степь! Воздух вкусный. Дышать бы и дышать ненасытно.

— Дышать мне нечем, ластушка.

— Молчи, Гриша, не напрягайся.

Кузнец лежал на земле, жадно раскрыв сухие губы, в горле у него свистело. Власьевна гладила его холодную руку, целовала запавший висок.

Поверх разбитых снарядами брустверов лежали мертвые и вздрагивали от толчков попадавших в них пуль. Живые стреляли по белякам.

Раненый, сидя на дне окопа и обшаривая себя трясущимися руками, тоскливо, виновато шептал:

— Не встать... Скелет поломан.

И голова его никла на грудь.

Стрельба стихла разом. И стало страшно от этой тишины.

Никита Мальцев, встав на колени перед синим пулеметом, сказал громко:

— Теперь держись, ребята.

Белые, горяча коней, мчались в атаку.

Из леса показалась еще одна лавина конных.

— Братцы, давайте кто-нибудь ко мне,— молил старик охотник.— Боюсь я один помирать.

И вдруг конные лавины сшиблись. Шорох и звон кавалерийской схватки огласили степь.

Первым опомнился старик Сазоныч. Он бежал, хромая, выбросив вперед ружье.

— Красная Армия, ура!

Рыжий сеттер его, лая, несся впереди, оглядываясь, болтая ушами.

Враг был разбит, уничтожен.

Бойцы, опустив поводья, выпростав усталые ноги из стремян, развалившись на седлах, отдыхали.

Шурша знаменем, проскакал знаменосец.

Из лесу слышались одиночные выстрелы.

Проехал Христоня Трегуб, гоня впереди себя пленного с бледным, парусинового цвета, лицом. Пóтом труженика была покрыта затрапезная гимнастерка Христони. Он тяжело отдувался и морщился.

— Будь добреньким, Степа, срежь. Треплется оно у меня на морде и ноет.— И он показал на свое ухо, вывернутое и висящее.

— Ступай на перевязочный,— пряча руки, отстранился Евзерихин.

— Видишь,— указал Христоня на пленного,— взял его на свою шею. Не хочешь? А ну подержи, я сам.— И, побледнев, грязным носовым платком ухватился за окровавленное ухо...

Возвращались бойцы.

Но не вернулся Гаврюшин. Не вернулся он. А может, со своей неудержимой страстью к таинственной жизни микробов стал бы со временем знаменитым ученым?

Пуля, холодеющая, потерявшая на исходе силу, тюкнула Гаврюшина в грудь, в боковой карман гимнастерки, где хранилось увеличительное стекло. И стекло это спасло жизнь Гаврюшину, но само разбилось.

Вместо того чтобы думать о жизни, Гаврюшин остановил коня, вынул осколки волшебного стекла. Может, он думал, что можно их склеить? Но в это время другая пуля, горячая и сильная, ударила Гаврюшина в сердце, и он наклонился и стал падать с коня на землю.

Не вернулся и кривой боец, тот, что привез в часть Райвичера. Ошибся он в своих расчетах, весело смеясь над своим уродством: «Мне помереть — один глаз прикрыть, и токо».

Не прикрыл он своего единственного глаза, когда лежал на муравчатой земле, весь изрубанный, с раскинутыми руками и ногами.

Глаз его дерзко и гневно глядел в небо, словно спрашивая: «Что же это я недосмотрел, когда слева ко мне подлетел кадюк и высек из меня душу? Но разве я виноват? Я же

был один. Было бы нас в это время два, не жить тому кадюку на свете...»

Но те, кто вернулся, несли в сердце своем клятву отомстить врагу за друзей-товарищей.

Бой кончился. Раненых отправили в летучий госпиталь. Бойцы занимали квартиры.

Власьевна вручила Райвичеру фотоаппарат.

— Сберегли,— сказала она, вытирая платком бледные губы.

— За кузнеца не беспокойтесь,— вежливо поблагодарив, сообщил Райвичер.— Я с ним беседовал. Вы меня тоже приглашаете на свадьбу?

— Какая тут свадьба! — скорбно махнула рукой Власьевна.— Был бы жив.

Подошел Христоня Трегуб.

— Товарищ Райвичер, от бойцов просьба,— покойного Гаврюшина заснять, чтоб его геройский образ матери отослать с имуществом и прочим. Пускай утешится, седая.

— Слушайте, товарищ Трегуб,— наклонившись, прошептал Райвичер.— У меня случайно дамская шаль завалялась. Нельзя ли матери Гаврюшина: мол, от сына забота. Вы меня понимаете?..

— Что вы такие смирные? — расхаживая вдоль рядов выстроившихся пленных, спрашивал Евзерихин.— Может, вам чего на трубе сыграть? «Чижика» не желаете?

— Уйди, Евзерихин,— просипел Трегуб. Голова его была обмотана белой марлей, из-под которой торчали только усы да синяя шишка носа.— Над врагом в бою смеяться надо, а если он пленный — молчи. И труби себе в трубу потихоньку.

— Мне от музыки уши тошнит,— сказал Евзерихин.— На, бери трубу, давай клинок.

— Мне труба ни к чему,— отступил Трегуб.— У меня грудь слабая.

Райвичер снимал пленных. Комиссар, подъехав, сказал Трегубу:

— Товарищ раненый боец! Прошу выйти из панорамы.

— Так какой же я раненый? — обиделся Трегуб.— А что на голове намотано, так я и развязаться могу. У меня собственный пленный есть.— И, сделав умиленные глаза, прошептал: — Разрешите, товарищ комиссар, с ним засняться на память.

Райвичер устанавливал фотоаппарат. Слушая выкрики

комиссара, он каждый раз с большим удовольствием подносил к козырьку ладонь и говорил:

— Есть, так точненько, товарищ комиссар.

Подъехал взводный. Глядя на отца в красноармейском обмундировании, энергичного и суетливого, он тихо сказал:

— Папаша, вы бы ремень подтянули, а то он у вас на заду висит.

— Попрошу,— повернувшись к взводному, зашипел Райвичер.— Попрошу не дискредитировать меня перед пленными, товарищ взводный. Спокойно! — Он поднял руку и сделал зверское лицо.— Спимаю!

— Папашу бачишь? — лукаво ухмыльнулся взводному комиссар.— Артиллерист! Прямо в историю целит, никак не ближе.

И он захохотал так, что лошадь под ним зашаталась.

1938

ОГНИ

Командир пограничной дальневосточной заставы получил письмо от бывшего бойца заставы Кудряшева, демобилизовавшегося полгода назад.

Кудряшев писал о том, что женился, живет очень хорошо, счастлив. Но в конце письма была жалобная приписка: Кудряшев просил начальника устроить его куда-нибудь поближе к отряду, с которым он сжился за время пребывания на заставе.

Командир предложил Кудряшеву работу бакенщика в зоне реки, где по фарватеру проходит граница. Бурная река, ширясь во время разливов, изменила русло. Советские суда, проходя этот участок, могли случайно зайти в чужие воды. Хороший бакенщик окажет здесь большую помощь судоводителям.

Пароход не смог подойти вплотную к берегу. Большой черной лодке пришлось два раза курсировать туда и обратно, чтобы свезти все имущество Кудряшевых на берег.

Жена Кудряшева, маленькая, полненькая, с сердитыми серыми глазами в темную крапинку, раскрасневшись, поминутно вправляя под платок выпадавшие русые прядки, нахмурив сросшиеся на переносице темные брови, тоненьким грозным голосом кричала на матросов:

— Тише: посуда!

И матросы чуть ли не на цыпочках выносили на берег тяжелые ящики.

Она так бойко распоряжалась выгрузкой, что можно было подумать — это вовсе не молодая женщина, а опытный агент, сопровождающий грузы.

Пароход, дав прощальный гудок, ушел. И стало тихо.

Огромная холодная река, озерно ширясь па плесе, ползла с тихим шелестом. Пахло сыростью и теплой гнилью.

Вокруг косы, на которой стояла вросшая в землю темная хата бакенщика, тянулась бесконечная топь. В промоинах жирно блестела закисшая вода.

Настя, угнетенная тишиной и дикой мощью окружающей природы, вошла в грязную, запущенную хату и стала прибирать ее, склонившись и пряча огорченное лицо. Она подметала дощатый черный пол просяным веником, не сняв пальто, не развязав шали. Нищета этого жилища подавляла ее.

Василий смущенно ворочал сундуки и фальшиво-веселым голосом расхваливал будущую жизнь в этом золотом краю.

Настя выпрямилась и, гневно ткнув веником в бревенчатые серые стены, горько сказала:

— Хуже последнего единоличника жить будем... Кровать куда ставить?

Действительно, железная кровать с блестящими, под дуб, спинками не вмещалась в эту хату, а мебели было еще очень много. Настя, хлопнув дощатой дверью, вышла, спустилась на берег, села на мягкий, обитый красным бархатом стул, стоявший у самой воды, и, поджав ноги, заплакала мелкими сердитыми слезами.

Василий робко подошел к жене. Отнимая от мокрого лица руки и грубо отталкивая его, Настя злобно шептала:

— Обманул ты меня, Васька, заманил. Разведусь, уеду и имущество заберу. Попортила только зря все в дороге.— И злобно оттолкнула ногой стул с бархатным сиденьем в воду.— Пусть пропадает, лишь бы самой-то целой возвратиться из этого гиблого места.

Первую ночь на новом месте они спали под открытым небом на пышной кровати. Спали одетые. Настя не сняла даже калош.

На следующий день Василий съездил к начальнику погранзаставы и попросил помощи. Смущенно разводя руками, он говорил:

— Жена у меня колхозница, привыкла у себя там к роскошной жизни, ну и бунтует, хоть разводись.

Через два месяца на косе была выстроена новая хата с резными наличниками па светлых окнах, и даже дворик огородили забором, выкрашенным охрой.

Приехал начальник заставы и спросил Настю, не нужно ли еще чего. Настя составила такой длинный список, что Василий не на шутку рассердился.

Начальник, улыбаясь напористости этой маленькой женщины, заявил:

— Все можно достать, только не сразу.

И потекли дни. Настя очень полюбила свой дом, называя его теремком, без устали передвигала мебель, желая все получше расставить. Она привезла с собой даже горшки с фикусами.

На ковре с изображением белых лебедей и голубой беседки Настя повесила карточки подруг, деревянные веера, туфельку из ракушек и пришпилила на самом видном месте перевязанную розовой лентой косу, которую она, соблазненная модной прической, отрезала сгоряча, о чем сейчас очень жалела.

Найдя в зарослях дикий виноград с мелкой и темной сморщенной ягодой, Настя попробовала варить из него варенье, но ничего не получилось. Зато варенье из голубики и клюквы удавалось на славу.

Василий ходил на охоту. Настя ставила в протоке плетеные верши, обмазывая для приманки тестом вдавленные, как донышко бутылки, отверстия, уходящие внутрь конусом.

И всегда к утру верши были полны рыбой.

Начался ход кеты. Рыба, теснясь, сама выбрасывалась на берег, подпрыгивая, шлепалась в мелкие лужицы.

Настя, не зная усталости, мокрая, в рыбьей слизи и крови, потерявшая от жадности всякую меру, завалила рыбой весь двор. Потом она долго мучилась от запаха гниющих рыбьих внутренностей. Поглощенная хозяйскими заботами, она забыла, что она так далеко от родных мест.

Проходившие пароходы, не останавливаясь, гудели, давая знать бакенщику, чтобы он выехал и взял со спущенной в воду доски газеты и письма.

Только иногда Настя подходила к самой воде и, с испуганным любопытством глядя на другой берег, таящийся в туманной дымке, удивленно спрашивала:

— Вася, неужто там заграница?

Василий долго и подробно рассказывал жене о соседней стране и о том, как внимателен должен быть бакенщик на этом ответственном участке.

Как-то вечером во время передачи из Москвы супруги услышали далекий голос диктора, произнесший фамилию бакенщика Кудряшева, отмеченного приказом наркома за образцовую работу.

Настя, возбужденная, затопила печь и быстро напекла

из пресного теста шаньги с вареньем. Плутовато улыбаясь, она поставила на стол бутылку клюквенной настойки.

Кудряшев, проворно перебирая пальцами, играл на балалайке, пел песни, рассказывал Насте о своей жизни на погранзаставе. Он говорил, поглядывая в окно на широко блестевшую реку, и, видя огоньки бакенов, был спокоен и счастлив.

Ночью светила луна. Покрытая сверкающей чешуей река плыла, словно огромная, невиданной красоты гигантская рыба.

Василий, просунув ладонь под затылок жены, притягивал ее теплое лицо, чтобы поцеловать в переносицу, где пушились сросшиеся растрепанные брови. Настя приникла к нему и вдруг скорбно, жалостно прошептала:

— Васенька, я... У меня, кажется...

Василий вскочил с кровати; босой, он бегал по хате, ушибаясь о мебель, ликуя, кричал:

— Настенька, честное слово? Ну, скажи «честное слово», слышишь, Настенька?

Потом Кудряшевы долго шептались. Они были одни. Но лучше всего о таких вещах говорить шепотом. Настя беспокоилась о том, что, когда младенчик подрастет, ему нужно будет учиться, а учиться негде.

Василий утешил ее. К тому времени они переедут в Комсомольск, а лучшего города для их парня не найти.

И Кудряшевы продолжали шептаться, глядя широко раскрытыми глазами в темноту.

Река плыла голубая, ослепительная. Огни бакенов уверенно светили, приподнятые на жестяных конусах. И сом, огромный, скользкий, с висячими белыми усами, темный и длинный, как торпеда, шевеля сильными прозрачными плавниками, лежал на воде, завороженный этим светом, и река не могла сдвинуть с места его мощное тело.

Наступала осень. Листья винограда покраснели и покрылись черными точечками.

Река ширилась, наливаясь мутной водой. Пошли дожди. День и ночь с несмолкаемым шорохом и хрустом падала с набухшего неба вода.

Настя тоскливо смотрела в мокрое окно: все кругом было завешено струящимися отвесными, вздрагивающими водяными нитями.

И только цапля в непромокаемом оперении бродила по болоту на своих длинных ходулях и ковырялась в иле тонким, вытянутым, как циркуль, клювом.

Настя нервничала и не раз принималась плакать, пугаясь водяного потока.

Кутаясь в платок, она шептала:

— Васенька, я ведь не щука какая-нибудь, чтобы в воде рожать.

Василий решил поехать на заставу — забронировать в колхозном родильном доме место и попросить катер.

Он заправил бакенные лампы трехдневным запасом, отпустил якорные концы: прибывала вода.

— Ты, Настя, смотри тут,— наказывал он жене,— послезавтра транспорт пойдет с демобилизованными ребятами. Я к этому времени вернусь, но на случай — гляди в оба.

Настя осталась одна. Дождь прекратился, и было тихо, только сипло вздыхала река, вползая на берег.

Воздух набухал туманом. Туман шевелился и густел до желтизны. Он надвигался на землю сизым сумраком.

Настя, пробираясь ощупью в сыром дыму, подходила к воде и глядела тревожно на сморщенные огоньки бакенов.

Водяная пыль пропитала влагой одежду и, осев на сомкнутых Настиных бровях, на переносице, блестела крошечными светлыми каплями.

Вглядываясь в огни бакенов, Настя вдруг заметила: они двигались, медленно уходили к другому берегу.

Настя ахнула и шире открыла глаза. Огоньки плыли.

— Оторвало! — ужаснулась Настя и, схватив весла, бросилась к лодке.

Протока, где стояла лодка, превратилась в яростную реку. Лодка, наполненная водой, затонула, повиснув на короткой цепи.

Настя пробовала вытащить затонувшую лодку на берег. Острая боль в животе опрокинула ее на землю.

Настя со стоном побрела к дому. Забравшись на крышу, опираясь рукой о трубу, стала глядеть.

Бакены не снесло водой. Две лодки с гребцами оттаскивали их в глубь фарватера. Закрепив бакены на новом месте, лодки ушли на чужой берег.

И Настя, мертвея от тоски, поняла, что произошло.

Транспорт с демобилизованными красноармейцами, держа курс на огни, попадет в чужую зону!

Настя спустилась с крыши. Она снова пыталась вытащить лодку.

Холодная, сильная вода опрокидывала ее и волокла

вглубь. Обессиленная, наглотавшись тинистой воды, Настя выползла на берег.

Снизу реки послышалось равномерное, глухое дыхание парохода. Настя поднялась с земли и, шатаясь, заковыляла к дому. Ноги ее скользили и разъезжались.

Настя таскала на крышу дома тяжелые бидоны. Облив деревянную крышу керосином, Настя подожгла ее.

Шипучее пламя, взорвавшись, поколебало воздух, ринулось вверх.

Настя пошатнулась. Пламя коснулось ее мокрой одежды, горячий жар обжег тело. Настя сползла с лестницы, закрывая лицо руками

Крыша падала, треща, брызгая сухими искрами.

Настя бросилась в хату. Первое, что ей попалось на глаза, был приемник «ЭЧС-3». Обрывая провода, она потащила его на улицу. Кинулась снова. Комната наполнилась едким дымом. Настя успела схватить только стул с мягким бархатным сиденьем.

Дом горел. Огонь, выбрасывая красные крылья, бился, стараясь оторваться и взлететь высоко в небо огненной гигантской птицей.

Посинев, туго треснули стекла. Из окон повалили клубы мохнатого, вонючего дыма.

Настя стояла по пояс в реке с искаженным красным лицом, прислушиваясь к шуму приближающегося парохода.

На пароходе внезапно глухо и часто застучала машина, потом все стихло, послышалось железное журчание цепи. Гудки.

Настя с деревянным, спокойным лицом пошла к горящему дому, села на стул, взяв себе на колени ящик с радиоприемником. Пламя горящего дома согревало ее.

Красноармейцы боролись с огнем. Но пламя, сожрав все, стихло.

Закопченный, мокрый, Василий подошел к Насте и, подымая ее, поцеловал в сросшиеся на переносице мохнатые брови.

— Васенька! — простонала она и, задохнувшись от слез, покачнулась. Шепотом, глотая слезы, рассказывала: — Измучилась я. Что делать? Думаю, ведь не смогут они без жалости проехать мимо горящей советской хаты. Вот и...

Красноармейцы стояли кругом, и лица их были почтительно строги.

Василий смущенно бормотал:

— А я вижу — туман. Ну и вернулся, чтоб транспорт проводить. Такой ответственный транспорт.

На двух стремительных катерах приехало пограничное командование.

Командир заставы, поддерживая Настю под руки, проводил ее на катер, в каюту с шелковыми занавесками, где стоял широкий диван, застланный пушистым одеялом.

— Это вам уже давно приготовили. Только, так сказать, ждали сигнала,— сказал командир и застенчиво улыбнулся.

— Товарищ,— смущенно попросила Настя,— там стул с бархатным сиденьем, зачем же ему пропадать, стулу.

Командир повернулся и побежал за стулом, подбирая на ходу полы шинели.

Рассекая воду, по реке мчались суда речной флотилии. Из окованных стальными доспехами башен торчали, вытянув голые горла, орудия.

Река расступилась. Испуганные волны бежали шумной ватагой на берег.

Пахло горьким дымом.

1938

ВАЗА

Гончарные изделия будянского колхоза издавна пользовались известностью.

Сказочное цветение природы — фантастические сады, перенесенные руками будянских гончаров на бока макитр, горшков и плошек, волновали воображение.

Стоило взглянуть хотя бы на эти миски, где в чудесной стеклянной глубине, как в глубине пруда, неподвижно висели лилии и кувшинки,— и человеку сразу становилось приятно и хорошо. Будянскому колхозу предложили выставить свои изделия на международной выставке.

Гончар Егор Грызлов, потрясенный ответственностью заказа, сказал:

— О народах, которые за тысячу лет до нас жили, по глиняным черепкам судят, а я должен целый предмет представить. Вещественное доказательство нашей власти.

Грызлова считали первым гончаром в Будянке.

Высокий, чуть сутулый, с застенчивым большим лицом, освещенным внимательными глазами, замкнутый, сосредоточенный, Грызлов безжалостно относился к своей работе. Вынув из горна еще горячую посуду, осмотрев, он разбивал ее тут же заранее припасенной палкой, если находил хотя бы одному ему известные недостатки. После он ходил подавленный и хмурый. В такие минуты лучше было его не трогать. Грызлов мог обидеть человека зря, без всякой причины.

Обдумывая новую работу, Грызлов запирался в хате. Он бродил из угла в угол, курил, хватаясь за голову руками, стонал, словно у него болели зубы.

Зато, когда Грызлов, возбужденный мыслью, работал, не было человека, который умел бы так наслаждаться трудом. Не было человека ласковее, счастливее и добро-

душнее. Но работа подходила к концу, и характер Грызлова портился. Он снова становился мнительным и раздражался по всякому пустяку. И когда посуда была почти готова, он увядал: равнодушный, он отходил от готового изделия, едва взглянув на него тоскливыми глазами.

И снова Грызлов начинал метаться, искать. Каждый раз, принимаясь за работу, он думал, что создает неповторимое, никем не сделанное, и всегда вкладывал в свой труд все силы. Его могли волновать самые непонятные вещи. Найдя в горне дрянную глиняную черепушку, на боку которой, запекшись, переливалась, как живая, глазурь, словно в ней был застеклен солнечный луч, Грызлов делался счастливым. Он берег черепок как драгоценность. От таких черепков у него дома было тесно.

В минуты удачи Грызлов любил высказывать свои мысли:

— Сделать из глины индюка, чтобы он был как в натуре,— это можно. Но ты сумей свое превосходство над индюком показать, который до тебя природой выдуман. Ты попробуй свой умственный перевес над природой показать, сразись с природой. В вещи мы должны выразить себя, а не посторонние предметы. В вещи человек соврать не может. Она сразу мне скажет, какой ты есть человек. В вещи все выглядит фактически.

Все это он произносил отрывисто, злым голосом, точно заранее обижаясь, хотя с ним никто не спорил.

Изделия Грызлова вызывали у всех чувство восторга,— столько в них было нежной красоты.

Посуда Грызлова не продавалась. Она стояла на полках в сельсовете, в райкоме партии, как в музее.

Грызлов заперся у себя в хате — думать над темой будущего произведения.

К концу дня, когда начинало смеркаться, во двор к Грызлову приходил секретарь правления колхоза Перко. Усевшись на бревна, осторожно расставив ноги, Перко тихо играл на гармонии печальные, длинные вальсы. Перко ходил сюда, как на службу, зная, что Грызлов любит музыку, а музыка помогает человеку думать.

Грызлов работал. Он готовил для будущего произведения глину. Пудра — грубый порошок, если сравнить ее с размолотой глиной. Сплавы редкостных металлов не так сложны по своим химическим составам, как это глиняное

тесто. Непотревоженная сдобная смесь лежала больше года под мокрыми рогожами, вызревая.

И Грызлов каждый день месил, нежно массировал глину, чтобы придать ей эластичность, гибкость, упругость живого тела. Он отрывался от работы только для того, чтобы торопливо и равнодушно закусить.

Но самого главного еще не было. Не было мысли, которая своей стремительной силой создала бы из этого сдобного глиняного теста дивную форму. Грызлов мучился и искал. Но сосредоточенности не было. Мысли его двоились.

Виновником этого душевного раскола являлась Елена Ильинична Кутузова — руководительница колхоза, женщина миловидная, подвижная, но с грубым голосом и непреклонным характером, хотя губы у нее были нежные, пухлые и немного вздернутые, а на шее — родинка.

Колхозники звали свою председательницу «Ильиничной». Имя это звучало ласково и почтительно.

Одевалась Елена Ильинична в ватную куртку и носила юфтевые сапоги. Для передвижения имела верховую лошадь, с которой обращалась строго, по-мужски.

Во время страды Елена Ильинична не слезала с седла по суткам.

Оставаясь ночевать в поле, она залезала в фургон к трактористам и, если было прохладно, ложилась на нары и спала, свернувшись калачиком рядом с каким-нибудь парнем. И тот вовсе не дивился, увидев утром, что рядом с ним всю ночь спала женщина. И даже ребята, у которых сны были такие, что после они ходили словно очумелые, не позволяли себе не только сказать о ней что-нибудь скверное, но даже подумать. И уж если что разрешали себе, так это накрыть Елену Ильиничну своим пиджаком, потому что утра были холодные, с туманом.

Иногда Елена Ильинична неузнаваемо преображалась. Она приходила в клуб в шелковом платье, в узеньких туфельках на высоких каблуках, надушенная. Волосы ее, поспешно завитые, слегка пахли паленым.

В приподнятом настроении она танцевала со всеми без разбору, писала записочки, когда играли в «почту», краснела от комплиментов.

Вечер кончался, все выходили на улицу, возбужденные, радостные, продолжая балагурить и ухаживать. Елена Ильинична внезапно становилась задумчивой и, отказавшись от провожатых, уходила. Появлялась она снова

в старой одежде, с заботливой морщинкой у переносицы, обследовала хозяйство и так отчитывала человека, от комплиментов которого час тому назад краснела, словно влюбленная, что тот сразу становился серьезным. Елена Ильинична безбоязненно руководила хозяйством колхоза.

Колхоз был передовиком по выполнению всех планов. Но колхоз занимался также производством художественных гончарных изделий. Елена Ильинична как руководительница отвечала за все, значит, и за искусство.

Нужно изучить, как рождается чудесное семечко, которое потом превращается в растение, чтобы с самого первозачатка жизни вмешиваться и влиять на него, как это делал Мичурин, выращивая волшебные плоды.

Елена Ильинична изучала гончарное искусство и много времени уделяла гончарам. Но гончары, как и все люди, занимающиеся искусством, были очень самолюбивы и нервны.

Всякий раз, заходя в мастерскую Грызлова, Елена Ильинична робела, на щеках ее появлялся румянец, и она, такая самостоятельная, со свободными и сильными движениями, здесь конфузилась, не зная, куда девать руки. Застенчиво улыбаясь, стараясь не смотреть в глаза Грызлову, взяв в руки макитру, она нежно держала ее, словно младенца, и умиленно начинала лепетать пискливым, несвойственным ей голосом.

Грызлов тоже почему-то смущался. Однажды, взяв вазочку, он случайно дотронулся до руки Елены Ильиничны, вздрогнул и уронил вазочку,— она разбилась. Елена Ильинична, присев, собирала осколки, и, когда Грызлов взглянул ей в глаза, он увидел в них такое скорбное выражение, что все внутри него заныло.

И часто потом, глядя в лицо Елены Ильиничны, когда она выступала на собраниях, он искал снова это выражение и не находил его.

Сейчас нужно было думать только о работе, а нежные мысли мешали Грызлову. Желая отделаться от них, он грубил всем, ругался и даже выгнал Перко с его вальсами: эта музыка направляла его мысли не в ту сторону.

Грызлов заперся в хате и никого не хотел видеть.

Но к нему проник гончар Кудинов.

Кудинов верил в глину. Он говорил, что из нее можно сделать все, что необходимо человеку в его жизни. Он

пробовал делать из глины мебель и даже стаканы для снарядов. Бесконечно испытывая их, он завалил твердыми, словно чугунными, черепками весь двор. Черепков хватило после замостить улицу от сельсовета до его хаты. И, проходя по этой мостовой, сияющей всеми цветами радуги, Кудинов испытывал одновременно сладкую грусть и бодрость воодушевления. Ибо дерзкое упорство украшает человека.

Кудинов, бегая мелкими шажками по хате, беспрерывно закуривая и выплевывая окурки, предложил Грызлову сделать ванну с барельефами из жизни колхоза. Ванна — это символ культуры, даже за границей мужики в ваннах не моются.

— Но ведь у нас тоже не моются.

— Обучим! — накинулся на него Кудинов.— А потом пойми, простору сколько для изображения! Посуда в человеческий рост, всю биографию колхоза показать на ней можно.

— С обжигом трудно.

— Здрасте! — удивился Кудинов.— А почему я к тебе обратился! Ты первый гончар, ты и должен придумать.

Грызлов, увлеченный нетерпеливой страстью Кудинова, принялся за новую работу.

Елена Ильинична заходила еще в мастерскую Грызлова, но тот держался официально, и она, потупившись, уходила. И Грызлов, слыша, как Кутузова кричала на лошадь, вздрагивал, словно это кричали на него.

Новая работа была изнурительно тяжелой. Громоздкие посудины оседали и лопались или получались кособокими. Грызлов перебрал тысячу способов, но ни один из них не годился: лепные барельефы не давали возможности подвергнуть ванну равномерному обжигу. Сделали гладкую. Кудинов ликовал: в еще горячую ванну налил воду и тут же, у горна, стал остервенело мыться, счастливо крича, что работа удалась.

Но Грызлов, угрюмо взглянув на коричневую гладкую посудину, махнул рукой и ушел, несмотря на то что Кудинов кричал, чтобы он потер ему мочалкой спину.

Грызлов не пошел сдавать ванну комиссии. Кудинов один погрузил ванну на тачку, приволок в правление и там восхищенно кричал, бил ее ногами, доказывая прочность, звал желающих испытать, размахивал руками.

Несмотря на убедительные доводы Кудинова, комиссия отвергла экспонат: такие изделия не могли со всей полно-

той отобразить художественное мастерство будянских гончаров.

...Близился день сдачи всех экспонатов для международной выставки.

Грызлов ночами просиживал в мастерской. Глина неуклюже ворочалась в его руках, потела, липла, и если бы она была живой, то, наверное, измученная, повизгивала бы, как делает собака, когда она не понимает, чего от нее хочет хозяин.

Высоко в небе висела матовая луна. Прозрачность всюду была необычайная. Казалось, все сделано из стекла и все такое хрупкое, что может разбиться от легкого шума или дуновения.

Усыпленная тишиной, природа погрузилась в дремоту. Спали цветы, плотно зажмурив венчики, опустив головки на ослабевших стебельках. Раскрыв рот, спала щука. Замерла река в камышах, вздыхая и шевелясь во сне. Спали люди.

Не спал дед Наумыч, ночной сторож. В овчинном, пахнущем собакой тулупе Наумыч ходил в этой тишине на цыпочках, зажав под мышкой колотушку, и стерег для людей сон.

Не спал Грызлов. Желтый, похудевший, он сидел перед станком, погрузив руки в глину, и глядел в одну точку. Он курил теперь очень много, всюду валялись окурки,— раньше он никогда не позволял себе бросать окурки на пол мастерской.

Грызлов останавливал гончарный круг; осмотрев изделие, кулаком расплющивал свою работу, потом начинал сначала. Скрипел станок, и сопела глина под нервными руками Грызлова. И опять взмах кулаком, и опять изуродованная сырая лепешка. Грызлов, уронив голову на руки, лег лицом в мокрую, пахнущую сыростью глину и сидел так, в позе отчаяния.

Дверь в мастерскую открылась. В лунном свете, холодном, ярком, стояла Елена Ильинична. Она была в ситцевом платье, в туфлях на высоких каблуках. И шею ее обнимал кружевной воротничок, легкий и прозрачный,— казалось, что он сделан из инея.

Елена Ильинична нерешительно остановилась.

Грызлов поднял голову, обомлел и внезапно ехидно спросил:

— Проверять пришла?

Елена Ильинична прошептала:

— Я в город не поехала, сюда зашла.

Грызлов, указывая на возвышение, где лежала глина, язвительно и горько сказал:

— Трибуна вот. Привычны с трибуны высказываться. В чем дело?

Елена Ильинична покорно села на ящик с глиной. Глаза ее были широко раскрыты, лицо — голубое от лунного света. Она заговорила словно не для Грызлова, а для себя.

— Меня грубой считают. Да, я грубая. Мужа кулаки убили. Сам знаешь, пока колхоз не окреп, чего натерпелась. Но глядела я на тебя, на твою работу и думала: сколько ласковости, любви в этом человеке. Как он чувства свои возвышенно показывает. И казалось мне: можешь ты такое красивое сделать... И вот...— И вдруг прошептала совсем тихо: — Ты и мое сердце понять должен...

Грызлов, пробуя освободить руки от глины, простонал:

— Товарищ председательница, я же сейчас могу что-то такое сделать!..

И хотел встать.

Елена Ильинична поднялась, дрожащими руками поправила на шее кружевной воротничок. Хотела шагнуть к Грызлову, но, помедлив, тихонько ушла, словно растаяла в лунном свете.

Егор выбежал на улицу. Волшебное голубое зарево луны сияло на небе. Как могучие водоросли, тянулись ввысь тополя, и, как огромные рыбы, плыли вверху облака, и тишина кругом была подводная.

Егор хотел жалобно закричать, позвать, вернуть.

Подошел бессонный Наумыч и сказал:

— Тишина для мыслей самая подходящая. Мысли у человека должны являться бесшумно. Чего ходишь?

Расписной петух, ослепительный, великолепный, птица-рыцарь в когтистых шпорах, надменный забияка, хрипун и вор, захлопал крыльями, ногой зашаркал, напрягшись, закричал. Ему ответили другие петухи. Проснулись куры. Поднялось солнце, растопырив тысячи лучей. Река блестела. Тополевый пух скользил по гладкой, отшлифованной воде.

Есть такая могущественная сила. Она может заставить нас, если будет нужно, срывать с неба звезды, обжигая пальцы. Сила любви к женщине.

Грызлов работал. Дни оставались считанные. Он ходил похудевший, закопченный, с застенчивым, счастливым лицом.

Через месяц из Москвы приехала комиссия принимать экспонаты для международной выставки. На площади был установлен стол, на него для всеобщего обозрения водружался предмет.

Очередь дошла до Грызлова.

Упакованное в солому изделие поставили на стол.

Грызлов снял солому, и глазам зрителей представилась ваза. Пурпурная, стремительно вытянутая, очертаниями своими напоминающая фигуру девушки с опущенными руками, напряженно приподнявшуюся, словно для полета ввысь.

Это легкое изваяние переливалось внутри, в глубине, цветами солнечной зари.

И невольный вздох восхищения, словно ветер, прошелестел по площади.

Возле вазы, протирая потное пенсне пальцами, ходил профессор-художник. Его глаза сияли.

Профессор восторженно шептал:

— Это настоящая вещь!

Потом он спросил Грызлова:

— Почему вазу опоясывает такой странный, необычный узор, похожий на обыкновенный кружевной дамский воротничок?

Грызлов потупился, почесал бровь и сказал:

— Так...

Вазу укутали в солому, положили в ящик, набитый стружками, ящик заколотили, погрузили на полуторатонку. Багажный приемщик черной краской написал:

«Будянская — международная выставка. Павильон СССР. Осторожно. Стекло».

В паровозе бурно кипела вода, и паровоз дрожал, черный, блестящий. Машинист легонько осаживал его, сжимая стальные пружины буферов у вагонов, чтобы бережно, без рывка, взять с места состав.

1938

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Они вошли во время большой перемены — три человека с винтовками за плечами. Оглушенные бурным вниманием детворы, растерянно остановились.

Один из этих людей, забойщик Акулов, коренастый, кривоногий старик с лицом пористым, словно из шлака, поколебавшись, снял с головы заячью шапку с длинными ушами, сердито спросил:

— Где учитель?

У двери учительской они нерешительно потоптались.

Старик Акулов, осторожно приоткрыв дверь, просунул голову. Представился:

— Из отряда мы. Родители-делегаты. Колчака бить уходим.

Учитель встал, потрогал очки, неуверенно сказал:

— Желаю успеха.

Акулов оглянулся на своих спутников, потом посмотрел на стул.

Учитель попросил:

— Пожалуйста, садитесь.

Акулов сел, полез было в карман за кисетом; взгляд его упал на портрет Толстого.

Седой старик стоял, засунув большие руки за ремешок, опоясавший просторно ниспадавшую белую рубаху, босые ноги его с растопыренными пальцами упирались в землю. Борода косо лежала на плече, маленькие глаза смотрели пристально и сердито.

Акулов спрятал кисет, подошел, потрогал раму портрета и, обернувшись к учителю, лукаво сообщил:

— Силен старик!

Учитель ухмыльнулся.

Акулов нахмурился и сурово-официально сказал:

— Уходим, значит. Когда вернемся — военная тайна.

Поселок без власти остается. Жалованье тебе получать будет не от кого. А чтоб ребята без занятиев расхулиганничались, этого мы не желаем. Корову мы тебе привели от отряда. Она тебе вроде как жалованье вперед за год. Раз заплачено, обязан учить. Чего бы там ни было,— и наставительно добавил: — Хорошая корова, дойная.

— Мне не надо коровы,— твердо сказал учитель.

Партизаны шли на цыпочках по смолкшему коридору. В классе начались уроки.

— Мне не надо коровы,— повторял учитель, забегая вперед партизан.

— Золотой,— шепотом произнес Акулов,— с коровой-то оно вернее будет.

И партизаны ушли, на ходу поправляя плечами сползающие ремни винтовок.

Жена учителя назвала корову Муму, ребята — Партизанкой.

Отряд покинул поселок. Перед уходом партизаны всю ночь из пожарной машины поливали водой поднятый нагорá уголь. Они не хотели оставлять колчаковским эшелонам даровых харчей для паровозов. Дымящаяся вода льдом спаяла угольную насыпь в гигантскую глыбу.

Вьюга наметала снег, сухой, как толченое стекло, засыпала поселок.

Я помню нашу улицу, убеленную снегом. Светло-зеленые ночи декабря. Протяжный скрип бесчисленных полозьев. Колчаковская издыхающая армия ползла через наш поселок. Холодный огонь стужи проникал сквозь одежду. Солдаты, почерневшие, обожженные морозом, стонали на санях. Но нам не жаль было этих людей, хотя детским сердцам наиболее доступна жалость.

Ночью на станцию пришел воинский эшелон. Офицер в сопровождении солдат обошел шахтерские хаты, сгоняя женщин и стариков к угольной обледенелой горе. Паровозам нужно было топливо.

Не все жители поселка вернулись обратно домой.

Утром ребята побежали на гору, чтоб до школы несколько раз прокатиться со стеклянного склона.

Улегшись на обледенелые плахи, скользкие и тяжелые, словно из голубого камня, мы мчались вниз; жесткий ветер обдирал наши лица. На повороте возле копра мы чуть было не наскочили на обледенелые столбы, криво вкопанные кем-то ночью в землю. Руля ногами, мы пролетели мимо них. Но Варя зарылась с головой в сугроб, из сухой снеж-

ной пыли торчали только ее ноги; потом она поднялась и, хохоча во все горло, опершись рукой о столб, стала вытряхивать из валенка набившийся туда снег.

И вдруг мы услышали ужасный крик Вари.

Внутри обледенелого столба мы увидели скорченного человека.

Колчаковцы отомстили ледовой казнью за скованный уголь.

Улицы поселка были завалены военным скарбом. Отступление колчаковцев походило на бегство французов в 1812 году, изображенное па картинках в хрестоматии по русскому языку. Ребята напяливали на себя английские френчи, поверх полушубка подпоясывались широкими брезентовыми зеленого цвета ремнями, собирали патронташи, сделанные из хорошей подошвенной кожи.

Мы пробовали тащить в дом все эти находки, но матери безжалостно выбрасывали тесаки и патроны на помойку.

Брошенные бегущей армией больные лошади, худые, как степные собаки, бродили по поселку. Голодая, они грызли доски заборов и даже трупы павших лошадей.

На нашей улице не было мальчишки, который не захватил бы в собственность такого коня. Забравшись верхом, дергая веревочную уздечку, мы ездили на этих измученных животных.

Кормили мы их на свалке. Разрывая смерзшиеся навозные кучи, мы выдирали клочки сена, соломы, прилипшие к навозным плитам. Но скоро на обобранной свалке не осталось и этого корма. Мы пытались кормить лошадей опилками, распаренными в воде, но лошади не хотели их есть, хотя ожесточенно выгрызали в заборах огромные дыры. Видя, как с каждым днем наши кони все больше слабеют, видя их дрожащие ноги, мокрые, тоскующие глаза, мы не выдерживали и гнали коней от себя. Но лошади не хотели уходить. Они преследовали нас. Они собирались возле школы, когда мы занимались, или, стуча копытами, поднимались на крылечки наших домов, когда мы сидели дома. От нас прятали хлеб. Но разве кусками, унесенными тайно, можно прокормить лошадь? Нам влетало от матерей, когда утром им приходилось стаскивать с крыльца окаменевший труп лошади.

Школа отнимала у нас мало времени. Увлеченные новизной этой жизни, мы занимались плохо и неохотно.

Учитель, отчаявшись, кричал:

— Я мученик, а вы... вы...— и, махнув рукой, уходил пить воду.

Стояли жестокие морозы, топлива не было. Каждый из нас обязан был приносить с собой в школу полено. Но вскоре наши матери не смогли давать нам ни поленьев, ни завтраков. Занимались мы в шубах, в шапках; чернила замерзали, мы плевали в чернильницы и согревали их дыханием. Мы научились писать в варежках.

Учитель, запрещавший нам раньше во время перемен устраивать стычки класса с классом, вдруг сам с притворным задором предложил:

— А ну покажи третьему классу где раки зимуют!

Но нам не хотелось бороться. Нам хотелось хлеба, тепла.

После того как двое ребят заболели воспалением легких, Петр Антонович вынужден был закрыть школу. Он сказал об этом, собрав нас в насквозь промерзшем большом зале, сказал и разрыдался. Муму он давно съел, а вся его семья ютилась в кухне. Жестяная печка пожирала мебель и книги.

В поселке по-прежнему царило безвластие.

Неожиданно на станцию приехал бронепоезд красных. У паровоза была сбита труба. В стальных заиндевелых доспехах вагонов чернели вмятины и пробоины. Косая бахрома сосулек висела под крышами. Мы с жалостью разглядывали этот тяжело раненный бронепоезд.

На перроне мы увидели нашего учителя. Он мял в руках шапку и о чем-то просил командира бронепоезда, тощего человека в фуражке и в стеганой промасленной куртке. Приплясывая, хватаясь за мерзнущие уши, командир нетерпеливо кричал:

— Ну, чего вы ко мне пристали? Ну, где я вам топливо найду, ну, где? Ведь вы сами говорите, что шахтеры уголь водой залили. И правильно сделали. Теперь до весны его никакая сила не возьмет.

— Вы понимаете,— умолял учитель, и лицо его страдальчески вздрагивало,— я обещал докончить учебный год. Я связан словом.

— Да что вы на самом деле! — закричал уже совсем продрогший командир.— Мы к вам случайно попали, а вы наваливаетесь.

Увидев проходившего мимо матроса, он крикнул:

— Комиссар, поди сюда! Поговори с ним. Такой липучий!

Комиссар подошел.

— Топлива! Или я лягу на рельсы и не дам поезду тронуться,— твердо заявил учитель.

— Простудитесь,— весело сказал комиссар.

— Лягу! — закричал учитель.— Видите,— он показал на нас рукой,— разве это дети? Целые дни они палят из винтовок.

— Ничего, пускай учатся,— рассмеялся комиссар.

Учитель отшатнулся. На его лице было столько горечи и обиды, что матрос вначале опешил, потом сказал торопливо:

— Вы расскажите толком, в чем дело, товарищ!

Выслушав, матрос указал па ледяную блистающую гору, возвышавшуюся над поселком, и спросил:

— Эта, что ли?

— Да...— подтвердил Петр Антонович и поспешно заявил: — Революция — это созидание, это будущее...

— Понятно,— перебил его матрос.

Обернувшись к командиру, он спросил:

— Со снарядами у нас худо?

— Шестнадцать осталось, ты сам знаешь.

— Четыре придется им дать,— сказал комиссар.

Командир от изумления, несмотря на мороз, побагровел.

— Да на кой им снаряды? Печи топить?

— Ударить по горе из орудий — наломает им, сколько нужно.

— Да нам через беляков пробиваться! — с отчаянием закричал командир.

— Не жадничай,— задушевно сказал матрос и, кивнув на учителя, серьезно произнес: — Что ж, за ребят он один перед революцией отвечать должен?

Обрадованный учитель, тревожась, спросил:

— А не промажете?

Командир оглянулся на учителя и, ухмыльнувшись, сказал:

— Не промахнемся. У нас расчет, математика.

— Вот видите — математика! — воскликнул учитель.

— Ладно, сагитировал.— И командир пошел к бронепоезду, на ходу бросив: — Вы бы уши чем-нибудь заткнули или в сторонку отошли. Сейчас ударим.

Четыре удара, четыре свистящих вопля, вырвались из напряженно вытянутых орудийных стволов, и мы увидели,

как над ледяной горой поднялись четыре черных фонтана и медленно рухнули.

Бронепоезд ушел. Учитель долго стоял на рельсах, размахивая шапкой.

Уголь мы возили в школу на санях. Учитель шел вслед за санями, жадно подбирал оброненные куски угля и клал их в карман, потом в шапку.

На следующий день мы пришли в школу. Печи с раскаленными дверцами источали жар. Мы нерешительно сняли шубы и шапки.

Петр Антонович собрал нас в большом зале.

— Дети,— сказал он,— это тепло, согревающее нас, добыто из самого драгоценного материала. Помните об этом, дети!

И тогда Варя Грачева спросила:

— А они пробились, Петр Антонович?

Петр Антонович поглядел на нас внимательно и серьезно, потом тихо сказал:

— Вы должны хорошо учиться, дети.

Через три месяца наши отцы вернулись домой. Колчак был разгромлен. Весна украшала землю. Деревья вытягивали ветви и выбрасывали зеленые пучки листвы. Солнце было огромным и тяжелым.

На торжественные экзамены Петр Антонович пригласил наших родителей. Он волновался. Просил нас не волноваться. Но мы тоже волновались.

Старик Акулов, сидя в президиуме, каждую секунду поправлял очки, сползающие с носа, щелкал на счетах, проверяя наши устные ответы по математике. Он все время кричал:

— Красиво! Тютелька в тютельку! Как в аптеке.

Потом он наклонился к Петру Антоновичу и шепотом спросил:

— Коровка-то как поживает?

Петр Антонович покраснел и сказал:

— Спасибо, ничего.

— Может, вы ее скушали? — полюбопытствовал Акулов.— Так на здоровьечко.

1938

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Зяма работал в отделе писем.

Он читал чужие рукописи, вместо того чтобы писать самому.

На летучках заведующие отделами тревожно ждали, что скажет Зяма.

Он никогда не говорил один. Вокруг него стояла невидимая толпа его корреспондентов.

В любое время дня и ночи Зяма мог мчаться поперек или вдоль страны к своему корреспонденту, чтобы «намыть» там одиннадцать строчек информации.

Эти одиннадцать строчек, одиннадцать патронов, вложенных в обойму, били наверняка.

Каждый боец может стать командиром полка, дивизии, корпуса, армии.

Каждый газетчик хочет быть фельетонистом.

Зяма страстно мечтал о тесных сомкнутых колонках в четыреста строк. Но ничто не вызывало у Зямы такого приступа застенчивого страха, как вид чистого листа бумаги.

Всегда возбужденный, с всклокоченной седой и курчавой головой, Зяма не умел сладить с собой.

Он не умел говорить тихо, сидеть на стуле. Стулья выскакивали из-под него.

Руки его действовали помимо воли. Они мелькали, схватывали со стола всякую мелочь, уносили на улицу, утаскивали на совещание. И после заставляли ходить Зяму по коридорам редакции и жалобно восклицать:

— Товарищи! Я унес чужие очки. Скажите, чьи это очки?

Если б Зяму можно было излечить от бумагобоязни, сводив к гипнотизеру, он мог бы писать романы толстые, как Тарас Бульба.

Он знал тысячи фактов, и он кричал о них, бегая по коридорам редакции, но Зяма не умел остановить себя, чтоб медленно и вдумчиво рассказать об одном.

Ночью я возвращался с Зямой из редакции после дежурства.

Высокие дома блестели черными стеклами.

Улицы были пустынны и походили на русла каналов. Мы шли по этому высохшему руслу.

Белая светящаяся луна мчалась по небу. Луна прорезывала насквозь теплые пенистые облака и выскальзывала вновь, сияющая.

Глядя вверх, в небо, я испытывал чувство падения.

Я глядел на эти серые, словно вывалянные в пыли облака и мысленно подыскивал для них подходящее сравнение. Зяма мешал этому.

Запинаясь, хватая меня за отвороты пальто, тесня к фонарному столбу, он выкрикивал содержание очередного письма, и казалось, он не читает, а нюхает близоруко поднесенную к глазам бумагу.

Я невнимательно прислушивался к каркающему голосу Зямы.

Письмо было адресовано депутату Верховного Совета, Герою Советского Союза, знаменитому летчику.

Оно было написано возвышенными нелепыми словами.

Мне никогда до сих пор не приходилось слышать, чтоб депутата называли ангелом-хранителем и в заключение клялись в благодарности до гроба. Но какая-то простая трогательная человеческая правда заставила ожить эти окаменевшие слова.

Помимо воли, медленно и машинально я представил, как все это было.

...Летчик спит.

Раннее утро.

Один за одним в окнах соседних домов вспыхивают желтые огни.

На улице дымится туман.

Автомобили с непогашенными фарами, осторожно шаркая шинами, повизгивая тормозами, пробираются в туманной мгле.

Синоптики предсказали плохую погоду. И летчик решил выспаться.

Может быть, открыта форточка?

Ток холодного воздуха шевелит занавесь.

Открылась дверь. В комнату на цыпочках вошла ра-

ботница. Она медлила. С тревожным сожалением глядя на спящего, осторожно дотронулась до его выпуклого плеча.

Летчик, жмурясь, не открывая глаз, сел на постели, натянул под одеялом бриджи, надел сапоги. Все это он проделал быстро, почти автоматически.

Застегивая гимнастерку, не оборачиваясь, он спросил:

— Что случилось?

— К вам там две пожилые гражданки пришли,— сказала работница грустным голосом.

Летчик потер ладонями лицо, взъерошил волосы. Стало понятно: только сейчас он проснулся.

— Какие гражданки?

— Старые, плачут.

Он вышел в столовую, подтянутый, свежий, огромный человек с большим добродушным лицом, освещенным светлыми застенчивыми глазами.

Две старушки разом поднялись к нему навстречу.

Сухие седые пряди выпали из-под диковинных шляпок, окутанных черным тюлем, щеки, свисающие, словно пустые мешочки, тряслись.

Глотнув воздух, они обе одновременно заплакали.

Расплескивая воду, они не могли поднести к губам тяжелые стаканы. Горе обессилило их. Упавшими голосами старухи рассказали о себе. Они сестры, пенсионерки. Нет никого близких, даже знакомых. Соседи не любят их. Из дома сестры почти не выходят из боязни попасть под автомобиль. Единственное живое существо, которое их любит,— это собака Дези.

— Она никому никогда не причиняла вреда. Она старая, ее кормят только кашей.

Позавчера Дези вышла погулять на улицу. На ней не было ошейника. Когда Дези нюхала тумбочку, собачник набросил на нее сачок и, вытряхнув в кузов автомобиля, похожий на железный сундук, увез.

Сестры, увидев это, выбежали и стали кричать.

Потом пошли туда, где находятся клетки с собаками.

Но их не пустили даже повидаться с Дези.

Им сказали, что Дези будет уничтожена, как бродячая собака.

Старухи снова разрыдались; казалось, от этих рыданий внутри у них должно что-нибудь разорваться.

Одна из старух открыла висящие на шнурке маленькие черные часики и, посмотрев на них, воскликнула:

— Помогите! Ведь ее может уже не быть в живых!

Летчику в своей депутатской практике приходилось сталкиваться с большим, настоящим человеческим горем.

Но тут?!

Летчик, поджав под стул ноги, недоумевая, спросил:

— Что же я, собственно, должен сделать? Ведь мне, право, не приходилось до сих пор выручать собак из такого положения.

Старухи, прижавшись друг к другу, плакали.

Летчик, вздохнув, поднялся.

— Ну что ж, давайте поедем.

Работница обмахнула стол фартуком, громко сказала:

— Кто будет звонить — я телефонограмму приму. Может, действительно ученая собака, а ее — на воротник.

Тяжелая черная машина, шелестя шинами, мчалась по улице.

Измятые старухи забились в угол.

Низкий мягкий замшевый потолок висел над ними; в середине потолка мягким и пыльным светом сиял продолговатый фонарик. Старухи, не мигая, глядели на этот фонарик. Улица бесшумно неслась на них.

Летчик сидел впереди. Сквозь блестевшее стекло видны были тяжелые увесистые плечи, склоненный затылок, большие руки его чутко дремали на круглом ободе руля.

В Моссовете дежурный стал неуверенно звонить в уголовный розыск. Летчик сказал, что уголовный розыск тут ни при чем.

Летчик вышел из Моссовета и в ответ на тревожные взгляды старух махнул рукой и, протиснувшись боком к рулю, поехал по улице Горького, остановил машину возле милиционера.

Приоткрыв дверцу, он шепотом расспросил милиционера, что в таких случаях нужно делать.

Милиционер посоветовал ехать в приемник и рассказал дорогу.

Старухи, видя сквозь толстое стекло милиционера, решили, что тот хочет оштрафовать за быструю езду. Копаясь в сумочках, они считали деньги.

Летчик сердито покачал головой и дал газ.

Старухи с поднятыми руками запрыгали на сиденье.

Взъерошенные, давно не стриженные тополя окружали кирпичное здание приемника.

Летчик вошел внутрь. Старухи, спотыкаясь, последовали за ним.

Найдя заведующего, летчик проговорил просительно:

— Верните, пожалуйста, этим гражданкам их собаку. Она у них единственная.

Заведующий — молодой парень в синей косоворотке,— не спуская восторженных глаз с летчика, огорченно заявил:

— А мы всю партию уже в институт отправили.

Старухи опять дружно разрыдались.

— Поедем в институт,— решил летчик.

В институте летчик долго ждал директора.

Директор, румяный старик с выпуклым животом, отчаянно жестикулируя, кричал, что скоро ему придется экспериментировать только на волках: с этими собаками происходят вечные недоразумения.

Летчик послушно молчал.

Наконец, утомившись, профессор сказал служителю:

— Верните этому молодому человеку его собаку. Пускай этот молодой человек бегает с ней на зайцев, а я лучше буду работать с шакалами, чем выносить эти постоянные скандалы.

Летчик вышел к старухам.

Кривоногая собачонка с вздутым розовым животом, вытаращив заплаканные глаза, вырвалась у него из рук и злобно, противно тявкнула.

Старухи с нежным воплем бросились к собаке.

Когда первый порыв радости прошел, одна из старух наклонилась к дрожащей собаке и сказала ей сюсюкающим голосом:

— Ну, Дези, дай же, пожалуйста, дяде лапку.

Но собака только злобно рычала и тряслась. Старуха выпрямилась и произнесла сияющим голосом:

— Вы не обижайтесь, пожалуйста, она еще не пришла в себя.

Летчик натянуто улыбнулся и попрощался со старухами.

Туман уползал, волоча серое свое тело по переулкам. Небо стало блестящим. Летчик поехал на аэродром.

Бортмеханик, спускаясь по стремянке с крыла большой серебристой машины, увидев летчика, спросил недовольным голосом:

— Где ты пропадал? Тебе звонили.

Летчик, застегивая под подбородком шлем, для чего ему пришлось закинуть голову, сказал, что ездил по делу.

Мы шли с Зямой по улице. Рассвет размывал черноту ночи. На дорогу выходили дворники в белых фартуках, к груди их были приколоты английскими шпильками медные шестиугольные дворницкие медали.

Дворники поливали улицу, держа указательные пальцы у медных наконечников шланга.

Зяма шел, спотыкаясь о резиновые кишки.

Потертая луна еще висела в небе.

Зяма посмотрел па луну, как смотрят на циферблат испорченных уличных часов, и сказал:

— Вчера я посетил этих старух.

Они оказались родными сестрами знаменитого в свое время русского авиатора. Он носил длинные усы и эспаньолку. Имел собственную слесарную велосипедную мастерскую. Он летал на самодельном биплане на ярмарочных площадях. За деньги.

Во время полетов он надевал смокинг, жокейскую фуражку и брал с собой в воздух белую собачку.

Не эту, конечно, ее мамашу.

Он думал, что она приносит ему счастье.

А может быть, его просто страшило это одиночество среди бамбуковых палок? Он восседал на велосипедном сиденье и видел у себя под ногами тяжелую твердую землю.

Замечательный русский летчик Нестеров впервые тогда совершил мертвую петлю.

На ярославском ипподроме этот человек за пятьсот рублей согласился повторить ее.

Сестры его, ужасаясь одного только слова «мертвая петля», страшась за жизнь брата, спрятали белую собачку, думая, что он без нее не полетит.

И он не хотел лететь без этой собаки, но полученные вперед пятьсот рублей уже были истрачены па покупку старого автомобильного мотора. И он полетел. И разбился.

Старухи до сих пор считают себя виновницами его гибели.

— Я застал этих старух в слезах. Они надевали на свою облезшую собаку стеганую попонку... И целовали ее наперебой в мокрые вытаращенные глаза. И ты знаешь почему? Они решили отдать ее летчику. И ты знаешь зачем? Чтоб она приносила ему счастье. Как ты думаешь, что он будет теперь делать с таким счастьем?

— Зяма! — воскликнул я.— Но ведь это здорово!

Зяма остановился и посмотрел на меня внимательно и серьезно. Очки его гневно блестели.

— Для тебя,— сказал он,— факты — это все равно что гвозди. Ты собираешь их и вколачиваешь в стену, а потом вешаешь на них все, что придется.— И серьезным редакторским голосом добавил: — Не вздумай писать что-нибудь про этот факт. Мы переслали письмо летчику — и достаточно. Завтра, то есть сегодня, придешь ко мне в отдел, и я подберу для тебя подходящую тему.

И я обещал Зяме ничего не писать про этот факт.

Но дома, бесшумно пройдя в комнату, я увидел, что Леля уже спит. Если б она не спала, я рассказал бы ей все и успокоился, но она спала и даже улыбалась во сне.

Я присел к столу и быстро написал вот это.

1939

КАК-ТО НОЧЬЮ

Как давно работает Алексей Мироныч в институте, точно сказать затрудняюсь.

Если же обратиться с этим вопросом к самому Алексею Миронычу, то он ответит уклончиво:

— Порядочную сумму лет.

Наверное, эта «сумма лет» была очень большой, если Алексей Мироныч стеснялся назвать ее.

И правильно делал. При чем тут возраст? Что он, старик, что ли?

Роста Алексей Мироныч был невысокого. Лицо имел гордое. Ходил всегда бритым. На щеках и подбородке густая сеть разноцветных жилочек образовывала нечто вроде румянца, и от этого издали он казался моложавым.

Одет он был в длинный пиджак и серые брюки в полоску. Носил пожелтевший твердый воротничок, который — острили сотрудники — можно мыть вместе с шеей.

Алексей Мироныч работал мастером при химической лаборатории института.

Из хрупкого и легкого стекла он конструировал аппараты, похожие на прозрачные скелеты летающих птиц, столько в них было мудрой законченности и естественной простоты.

Благодаря его изумительно точным и удобным приборам институту удалось закончить в кратчайшие сроки целый ряд научных исследований.

— Вас, Алексей Мироныч, нужно орденом наградить за такую работу! — часто восклицали очарованные его приборами сотрудники.

Алексей Мироныч, скромно улыбаясь, отвечал:

— Это я больше для собственного удовольствия.

Алексей Мироныч, обидчивый, мнительный человек, очень страдал, если какой-нибудь лабораторный опыт не

удавался, и, хотя его успокаивали, объясняя, что аппаратура отличная, виноват анализ, Алексей Мироныч огорченно произносил:

— Нет, нет. Нужно еще подумать.

Надев синий халат, он садился на высокий табурет с круглым сиденьем и заново начинал складывать из хрупких стеклянных косточек прозрачный скелет прибора.

Синее пламя горелки освещало его озабоченное лицо, тонкие кропотливые пальцы.

Деликатная чувствительность заставляла Алексея Мироныча избегать лестных разговоров о своей работе.

Он боялся излишних похвал. А всякое, даже мелкое пожелание воспринималось им как оскорбление.

Алексей Мироныч был гордецом.

Но он имел право на это, право труженика, отдавшего всю свою жизнь, все свои радости своему искусству мастера химической аппаратуры.

Алексей Мироныч жил в коммунальной квартире, в неряшливой комнате. Худая железная кровать. Роскошный книжный шкаф красного дерева, впитавшего в свою древесину вишневый сироп тропического солнца. Письменный стол, длинные полки из серых простых досок, уставленных «сервизами» стеклянной аппаратуры. Вот и все. Да еще в углу стояло рыхлое грязное кресло.

Он был холост. И когда ему становилось тоскливо от одиночества, Алексей Мироныч подходил к столу и осторожными внимательными пальцами собирал из стекла прибор неизвестного назначения. Увлекшись, он забывал обо всем на свете, улыбался, чмокал губами или вдруг начинал петь забавную песенку, когда-то очень давно им слышанную:

По улице ходила
Большая крокодила,
Она, она веселая была.

По вечерам Алексей Миронович всегда сидел дома. Близких знакомых у него не было. Кино он не любил. А в театре так волновался, глядя на сцену, что на следующий день чувствовал себя скверно.

Однажды ночью Алексея Мироныча вызвали к телефону. Набросив поверх нижнего белья пальто, испуганный и недоумевающий, он босиком брел по темному длинному коридору, ударяясь о детские коляски и сундуки.

Осторожно дунув в трубку, он сказал:

— Вас слушают.

Незнакомый громкий веселый мужской голос, захлебываясь, начал поздравлять Алексея Мироныча с награждением орденом.

Алексей Мироныч, смущенный тем, что из-за него проснулись соседи,— ему никогда никто не звонил по ночам,— и оскорбленный игривой веселостью неизвестного, закричал:

— Хулиганство! Я выясню, кто говорит! Я проверю!

Повесив трубку, он на цыпочках подошел к двери соседа Асафа Захаровича Волуйского, директора пуговичной фабрики, и, пугаясь, как бы снова не раздался пронзительный телефонный звонок, припав губами к скважине, убедительно прошептал:

— Извините, Асаф Захарович, за беспокойство.

Вытерев о коврик босые ноги, Алексей Мироныч снова лег в постель.

Но заснуть сразу не мог.

Закутавшись с головой одеялом, хотя это и негигиенично, он смирно ждал сна.

Какие-то странные мысли теснились и путались в голове.

Скрывать нечего, Алексей Мироныч не увидел бы ничего странного в том, если бы его наградили орденом. Он сам отлично знал ценность своей работы. Но в то, что это случится сегодня или в текущем году,— в это он никак не мог поверить.

Началось сердцебиение.

Алексей Мироныч встал, зажег свет и, накапав в рюмку, выпил валерьяновых капель.

В комнате было сыро и пахло холодным табачным дымом.

Чувствуя, что ему больше не удастся заснуть, Алексей Мироныч включил электрический чайник, решив побриться, но бритва прыгала в руке. Заклеивая порезы папиросной бумагой, он видел в зеркале свое лицо, желтое, костлявое, похожее на ощипанную курицу.

С отвращением отворачиваясь от зеркала, он горько подумал: «Ничтожный старикашка! Взволновался. Тщеславная, низкая душонка!..»

Кутаясь в пальто, вздыхая, Алексей Мироныч ходил по комнате, держа правую руку на груди, словно стараясь унять биение расшалившегося сердца.

Светало.

В окнах домов вспыхивали огни. Потом огни погасли.

Розовое теплое утро осветило небо.

Проснулись соседи. Стучали двери. Хлюпала вода в ванной.

В коридоре густым басом кричал Асаф Захарович. Он разговаривал с кем-то по телефону.

— Это не пуговицы, это броши! — кричал он, сидя на корточках в распахнувшемся халате.— За ними будут стоять очереди, как за «Вечеркой». Ушки тесные? Ну, знаете, это они у вас тесные. Вы слушайте, что я вам говорю...

Алексей Мироныч все ходил по комнате с расстроенным, тоскливым лицом. Он подошел к столу, остановился. Незаконченный стеклянный остов нового химического аппарата, похожий на скелет гигантского комара, блестел холодно и враждебно.

Алексей Мироныч захотел подвинтить крохотный стеклянный краник, но, зацепившись рукавом за какую-то трубку и испугавшись, так быстро отдернул руку, что все это хрупкое сооружение чуть было не рухнуло на пол.

Алексей Мироныч с похолодевшим затылком несколько секунд оставался неподвижным. Потом лицо его приняло выражение суровой решимости, и он громко произнес:

— Нужно наконец кончить эту пытку.

Он стал поспешно одеваться.

В коридоре, увидев Асафа Захаровича, он остановился, намереваясь снова извиниться за ночное беспокойство.

Но Асаф Захарович, прижимая плечом к щеке трубку, сердито вытаращив глаза, кричал:

— Я директор оборонного завода! Мы парашютные застежки делаем. Вы мне не угрожайте. Эти пуговицы я в Третьяковской галерее выставлю, пусть массы скажут свое слово.

Алексей Мироныч прошел мимо Асафа Захаровича с тем же выражением решимости на лице.

Открыв парадную дверь, он заглянул в почтовый ящик. Газеты еще не было.

Алексей Мироныч собирался уже захлопнуть дверь, но, вспомнив, что «Известия» присылают несколько позже, чем «Правду», поколебавшись, спустился ниже по лестнице, к квартире Егоровых. Егоровы получали «Правду».

Остановившись перед дверью, он приложил ладонь козырьком к глазам и, присев, посмотрел сквозь круглые отверстия внутрь почтового ящика. Газета лежала.

Алексей Мироныч осторожно коснулся ушка звонка, на котором было написано «повернуть».

Одернул пиджак, сделал вежливое лицо. Потом, сложив пальцы щепотью, снова повернул звонок и, отступив на шаг, нервно поправляя воротничок, приготовился к пространным извинениям.

Никто не появлялся.

Потоки сквозняка двигались по лестничным пролетам. Словно куст перекати-поля, измятая оберточная бумага взбиралась со ступеньки на ступеньку. На лестнице было тихо. Пахло погребом. Краешек газеты торчал из почтового ящика.

Алексей Мироныч, трусливо оглянувшись, сконфуженно потрогал газету. Газета легко поддалась.

Алексей Мироныч отдернул руку, словно его ударило током, и с выражением отвращения на лице резко повернулся и пошел.

Остановившись на площадке, он оглянулся. Уголок газеты торчал из ящика значительно больше, чем это было раньше.

Сконфуженно крякнув, Алексей Мироныч вернулся с намерением засунуть газету обратно.

И вдруг за спиной Алексея Мироныча раздался крик.

Алексей Мироныч вздрогнул, руки у него от неожиданности подпрыгнули вверх, и он с ужасом увидел, что газета очутилась у него в руках.

Домработница Егоровых, Фенечка, стояла перед Алексеем Миронычем и с отчаянием и испугом кричала на весь дом:

— Вот ты, гадкий старик, мине попался! А мы на пацанов думали, що воны газеты тягают. Ратуйте, люди, чего творится, який обман на свете!

На истошные, горестные вопли Фенечки сбегались жильцы.

Алексей Мироныч, прислонившись к стене и прижимая к груди газету, бессмысленно и жалко улыбаясь, лепетал:

— Ну, поверьте мне, я не собирался уносить вашей газеты. Ну, поверьте.

Фенечка наскакивала на него, пытаясь вырвать газету.

Алексей Мироныч, растерянный, в полуобморочном затмении, не выпуская из рук газеты, уклонялся от Фенечки.

Продолжая тоскливо, умоляюще улыбаться, он бормотал:

— Убедительно прошу вас. Поверьте мне, поверьте.

Жильцы пробовали успокоить Фенечку, но та не унималась.

— Сегодня газету, а завтра всю квартиру вынесет,— раскрасневшись, кричала она.

Испытывая подступающую к сердцу тошнотную слабость, Алексей Мироныч протянул подошедшему на крик Асафу Захаровичу газету и произнес как можно развязнее:

— Меня, видите ли, Асаф Захарович, кажется, наградили орденом. В газете должна быть публикация.

И услышав эти свои слова, похолодел. Теперь ему было все равно, что бы дальше ни произошло.

Асаф Захарович, сделав серьезное лицо, взял газету и, вздернув подбородок, перелистав страницы, произнес разочарованным басом:

— Никаких награждений нет.

— Значит, это ошибка,— покорно согласился Алексей Мироныч и хотел идти, но Асаф Захарович, склонившись снова над газетой, торжествующе сообщил:

— А газета-то вчерашняя.— И, насупившись, он закричал на Фенечку: — Ты чего ж тут крик подняла? Не интересуетесь политикой. Газета по неделям в ящике валяется! А на человека хай подняли, словно у вас комоды выносят.

Алексей Мироныч пробормотал:

— Да, да, газета действительно вчерашняя.— И, придерживаясь стены, поднялся по лестнице. Войдя к себе в комнату, он быстро повернул ключ и некоторое время постоял, прислонившись спиной к двери, точно опасаясь, что сюда могут ворваться.

Потом лег на неприбранную постель и, глядя на плывущий потолок, сжимая ладонями виски, задыхаясь, прошептал:

— Тщеславный старик! Жалкий хвастун! О, какой позор!

В двери постучали.

— Что нужно? Я занят! — болезненно-тонким голосом выкрикнул Алексей Мироныч.

— Газета.

— Оставьте меня! Слышите? У меня есть газета.

За дверью осторожно покашляли, потом под дверь вполз сложенный лист газеты.

Наконец, когда разговоры и возня под дверью утихли, Алексей Мироныч надел пальто, шляпу и, брезгливо пере-

шагнув через газету, никем не замеченный, черным ходом спустился на улицу.

Подъезжая на трамвае к институту, он чувствовал во всем теле болезненное изнеможение, в висках кололо, одно веко дрожало и чесалось.

В институте гардеробщица Анна Лукинична, толстая, добрая, сияющая, вышла ему навстречу и, принимая у него пальто, озабоченно заговорила:

— Как же нам теперь отличить вас? Может, шкафик отдельный поставить, а? Плечики я вам из дому принесу — все поприличнее...

Потом Алексея Мироныча стали поздравлять сотрудники, ему заглядывали в лицо, жали руки и радовались, словно не он получил орден, а они все.

На столе у Алексея Мироныча во всех пробирках торчали цветы.

Вернулся домой Алексей Мироныч поздно. Он был счастлив.

И только хотел войти в дверь, как на пороге появилась Фенечка. Покраснев, она шаркнула ногой и, вытерев руку о фартук, произнесла залпом:

— Поздравляю со светлой радостью, и щоб такие дни, как сегодня, были на всю вашу жизнь.

Алексей Мироныч отшатнулся. У него снова забилось сердце. А Фенечка, сделав значительное и скромное лицо, произнесла:

— А шо в вашей комнате грязюки было, ну, прямо лопатой выгребала! — И виновато добавила: — Я там одну штучку об пол тюкнула, так вы не расстраивайтесь, я завтра в кооперативе новую куплю.

— Что же вы там разбили? — горестно воскликнул Алексей Мироныч и вошел в комнату.

Посредине стоял накрытый белой скатертью стол, уставленный бутылками, закусками. И все жильцы поднялись ему навстречу.

Алексей Мироныч остановился в замешательстве, потом, увидев Егорова, решительно направился к нему и, потирая руки, словно они у него мерзли, стал приносить извинения.

Но слов его не было слышно.

Все кричали «ура». Громче всех кричал Асаф Захарович. Он клялся, что непременно выпустит новую серию пуговиц-медальонов с портретом Алексея Мироныча.

Алексей Мироныч чокался, благодарил, и, когда он

нечаянно расплескал себе на пиджак из бокала красное вино, жена Егорова, хорошенькая блондинка со свежим ртом, наклонившись, присыпала облитое место солью, заверив, что теперь пятен не будет.

За столом было очень шумно и весело. Асаф Захарович произносил тосты, стараясь почему-то говорить только в рифму. Потом он стал снова хвалить свои пуговицы. И каждому жильцу обещал сделать пуговицы с его портретом.

1939

СОРОК ТРУБ МАСТЕРА ЧИБИРЕВА

Мы ехали по сумеречному кривому горному коридору, вырубленному в скалах.

Мелкая щебенка, выскакивая из-под шин, щелкала по кузову машины.

Рядом, почти касаясь нас, висело падающее небо. Мы ехали по каменной кромке шоссе, окаймляющей эту пустоту.

Здесь горный хребет, тепло и густо обросший кудлатым лесом, был круто сломан. Сухие, спрессованные плиты породы косо торчали из ветхих стен обрыва.

Мой спутник, инженер Челюстев, сидел рядом с шофером, неудобно откинув руку на спинку сиденья, вежливо повернувшись ко мне своим хорошим, чуть насмешливым лицом.

Мы познакомились с Челюстевым еще в вагоне. Узнав, что я журналист, он выразил удовольствие и вызвался подвезти меня.

Перевесившись через спинку сиденья, Челюстев радушно говорил мне:

— Я познакомлю тут вас с одним старожилом. Не старик — кварц. Оп вам порасскажет. Пьющий, конечно, но златоуст. Из петровских времен такие фигуральные истории знает — заболеете.

Внезапно ухватившись за плечо шофера, оп закричал высоким голосом:

— Стой! — и предложил мне: — Выйдем.

Я вылез из машины.

Внизу, в горной котловине, торчали крохотные корпуса завода. Блестящая, точно иголка, река лежала в зелени. Вокруг реки толпились домики, нарядные, как на макете.

Я знал, что дно этой впадины было сделано самой природой из высокоценной медной руды. Жирную, густую

медь вытапливали из этой руды в печах завода. Я знал, что запасов этой руды хватило б, чтобы покрыть трассу, соединяющую Москву с Дальним Востоком. Я также знал, что пять лет тому назад здесь были только шурфы — неглубокие ямы, наполненные гнилой водой, оставленные старателями. Ведь золото и медь — соседи. Теперь на этом горном пустыре волей сильных и мужественных людей вырос новый завод.

Но я был поражен тем, каким крохотным казалось отсюда это сооружение.

— Посмотрите,— воскликнул я,— труба, вон видите? Она похожа на мундштук.— Поднеся к глазам палец, я добавил: — Она не больше моего мизинца.

Челюстев внимательно посмотрел на меня и пошел к машине. Он снова сел рядом с шофером и теперь всю дорогу молчал, глядел в ветровое стекло.

Спустя несколько дней я познакомился с историей этого завода.

Завод был спроектирован безграмотно.

Ядовитые газы, выделяющиеся при плавке меди, сползали из коротких, коренастых труб на поселок.

От первого гибельного прикосновения пахнущего сальной горечью газа погибла в округе вся зелень.

Завод остановили. В котловине не было воздушных течений. Не было освежающих потоков ветра, которые могли бы вымыть ядовитые газы.

Люди должны были медленно задыхаться в этом каменном мешке.

Инженер Челюстев предложил взорвать скалы у перевала, подняв русло горной реки, размыть ущелье. Бреши в каменной стене дадут движение потокам воздуха.

И он приступил к работам. При свете прожекторов рабочие пневматическими бурами высверливали в камне глубокие отверстия, начиняли динамитом, взрывали. Поселок опустел.

Через три месяца работы были закончены. Сквозь бреши в котловину хлынули долгожданные сильные ветры.

Снова желтый дым пополз из коротких, коренастых труб. И снова он опадал на поселок мертвенной своей желтизной.

Воздушные потоки шли поверху. Тяжкие подножия гор не могли быть разрушены.

Челюстева хотели выгнать с работы. Его привлекли к ответственности «за разбазаривание средств». Но суд оправдал Челюстева.

Когда Челюстев выходил из зала заседания суда, его нагнал маленький человек с рыжей растрепанной бородкой. Одет он был во все новое, и новая одежда тревожила его. Оп все время отряхивался, одергивался и, вынимая из кармана круглое зеркальце, осматривал галстук. Вдобавок он еще припадал на одну ногу. Вид этого человека не внушал ни доверия, ни симпатии.

Дернув Челюстева за рукав, человек сказал, приблизив свое лицо с моргающими веками:

— Товарищ, а газок подсадить наверх не пробовали?

— То есть как? — неприязненно спросил Челюстев.

— Трубы, то есть, повыше подтянуть. Я, значит, в этом смысле...— осклабился человек. И, вдруг став серьезным, одернув на себе пиджак, зачем-то вытянув по швам руки, сказал с достоинством: — Чибирев я. Может, слыхали? Постоянного местожительства — адреса не имею. По газетам известно, где новое помещение для завода строят,— там и я. Знаете, сколько я труб настроил? Сложить одну на другую, прыгнуть сверху — двое суток падать, а может быть, трое. Моей кладке на курсах обучают. Так и называется — чибиревская кладка.

И, взяв Челюстева под руку, увлекая его на улицу, он продолжал говорить окающим торопливым говорком:

— Другому человеку нервы щекотят, и так и этак на поступок вызывают. И через газету просят, и через профсоюз кланяются. А он — все равно как свинья, рыло поднять не может. А мне скажи: «Чибирев, желаешь для народа невозможное сделать?» — я всегда отвечу: «Желаю». Сразу огневой делаюсь. Хоть спички об меня зажигай. На производстве я, конечно, не такой, как в натуре, внушительный, задумчивый, словно сто лет жизни имею.

Когда они проходили мимо освещенной двери какой-то закусочной, Чибирев, подтолкпув плечом Челюстева, сказал:

— Разрешите на кружечку пива вас попросить.— И, видя, что Челюстев колеблется, сердито сказал: — Ну, какой ты, товарищ! Говорю: Чибирев,— значит, Чибирев.— И не без ехидства добавил: — Раньше нужно было шире глаза разувать, когда олухи у тебя под носом работали, а теперь научись человека отличать. Это, брат, наука тоже существенная.

Сидя за кружками пива, Чибирев и Челюстев столковались. Чибирев, пряча свои бумаги в карман, с торжеством говорил:

— Теперь понял, какой я человек? Не думай, что мне твоя личность понравилась. Не из-за этого я согласен к тебе ехать. Как побыл я там, на суде, прямо чувствую — не могу. За душу взяла ярость. Боялся выходку какую себе позволить, сдержался.

Прощаясь, он сказал:

— Извините, к себе ночевать пригласить не могу. Мамаша не позволит. А то бы я с удовольствием.

Через два дня Чибирев, обвешанный кошелками и фанерными чемоданами, ввалился в купе дальневосточного экспресса, где Челюстев уже ждал его.

Мать Чибирева ехала с ним.

Она оказалась очень своенравной старухой. Вывалив из сумки груду денег, тщательно выбирала мятые, грязные рубли, чтобы заплатить ими носильщику. Чибирев покорно ждал, стоя с чемоданами в проходе. Пассажиры толкали его вещами. Чибирев от этих толчков только жмурился и вздыхал.

Мать Чибирева, просторно усевшись, пересчитав узлы, строго следила за тем, как сын ее, тряся бородой, потный и малиновый от напряжения, рассовывал узлы по полкам.

Устроившись, Чибирева еще раз все хозяйственно оглядела, потом стала внимательно и бесцеремонно рассматривать Челюстева. Спросила густым, спокойным голосом:

— Это ты, что ли, Чибирева сманил?

Челюстев невольно поддался властному обаянию старухи, сделал какое-то суетливое движение лицом.

Но старуха остановила его:

— Ладно, не петушись. Твое дело тут маленькое. Может, лишнее что предложил, так нам на деньги наплевать. Чибиревы в любом месте тысячи получают. Деньги нам — тьфу!

Во время долгого пути Челюстев познакомился с чибиревской родословной. Родословной знаменитых мастеров — величайших искусников.

Отец Чибирева — Максим Чибирев — славился по всей России мастерством своей кладки заводских труб. Был он вертляв, слабогруд и невысок ростом. Носил на щеках баки, на пальцах медные кольца с фальшивыми камнями, ходил с тростью.

А хата его в деревне была развалюшкой.

Артели каменщиков брали очень дорого за кладку заводских труб, ссылаясь на тяжелую и опасную работу. Самое трудное и опасное заключалось в конечной кладке ствола. Заканчивали ее обычно два-три человека — верхолазы, а деньги приходилось платить всей артели.

Завести особых мастеров-единоличников было для подрядчиков выгоднее и спокойнее. Выбрав хорошего, смелого мастера, подрядчики портили его, изо всех сил стараясь внушить, что он необыкновенный человек.

Подрядчики не скупились на деньги, на восторженные слова и Максиму Чибиреву. Они снимали ему отдельные комнаты в базарных гостиницах, уверяя, что такому мастеру стыдно жить вместе со всей артелью. Подрядчики потворствовали его капризам и восхищались чудачествами.

Но мало в России строили в те времена заводов. Подолгу Максим сидел безработным.

Пребывая в нищете, Максим брезговал переложить печь или пойти на рядовую работу каменщика.

— Мне звание свое сохранить надо,— говорил он,— я за пять упряжек больше заработаю, чем другой за год. Звание — оно как вывеска.

Подрядчики, поняв слабость этого человека, перестали платить за его работу большие деньги. Платили обыкновенно.

И когда Максим протестовал, ему говорили:

— Вали! Знать, по курице шесток. Говорова позовем. Тот из одной чести согласится. Вот мастер!

Максим никогда не видел Говорова, а Говоров — Максима. Но, стравливаемые подрядчиками, они соперничали заглазно. Они терпеливо выжидали постройки высоких труб и выходили на работу только тогда, когда фундамент и часть ствола были уже готовы. Из боязни друг друга они соглашались на низкую оплату. Но предварительно упрашивали подрядчиков никому не говорить об этом.

При расчете, получив ничтожную получку, Максим кутил, притворяясь богатеем.

Потом Максим возвращался в деревню — ждать нового вызова на работу, чтобы снова продолжать тяжкий и опасный труд, слушать льстивые слова и рисковать своей жизнью за лихую славу отважного мастера.

Стыдясь, что он возвращается к себе в деревню нищим, Максим уже у околицы торопливо выпивал, морщась и кашляя, прямо из горлышка, бутылку водки. Захмелев, он

не шел домой. Он шлялся по соседям, врал, хвастал, хлопал себя по карманам, будто у него там деньги, показывал медные кольца со стекляшками, стучал по лавке тростью, требовал угощения.

Истосковавшись по жене своей Аннушке, молодой и статной женщине с темными гордыми бровями, взлетающими на белые виски, он страдал от ожидания унизительной для себя встречи с ней.

И когда Анна, выпросив у кого-нибудь телегу, везла его, грязного, обессиленного, домой, Максим в пьяном отчаянии лягал ее ногами, вопил:

— Уйди, постная кобыла! Денег хочешь? На, жри! — и выворачивал пустые карманы.— Меня за рупь-целковый барышни-проститутки целовали, ублажали,— нараспев тянул он мерзким голосом.

Подняв тяжелую голову с мутными глазами, с пьяной пристальностью он вглядывался в лицо Анны и стискивал кулак, чтобы ударить.

Но, видно, в глазах Анны было что-то такое, что заставляло его упасть ничком на телегу и глухо рыдать, как иногда может плакать очень сильный человек, опрокинутый большим горем.

Откуда брались у Анны силы, чтобы сохранить любовь к этому человеку?

Да ведь и Максим любил ее, и не было у него ничего на свете более чистого и святого, чем Анна.

Гордая, трудолюбивая Анна тянула на себе все хозяйство. И первое время, воодушевленный прощением Анны, Максим ревностно помогал ей...

Дошло до Максима, что Говоров, закончив под Киевом кладку трубы на сахарном заводе, поднял на вершину трубы кипящий самовар и, напившись там чаю, сбросил самовар вниз, а сам спустился к восхищенному народу по канату.

Задело это Максима за сердце, и помчался он в Новороссийск, где воздвигали гигантскую трубу на цементном заводе. Подрядчик попался совсем незнакомый, он согласился принять Максима только на поденную оплату.

Когда труба была окончательно возведена, Максим остался один на ее вершине. Выпив водки, он уселся на кромке жерла трубы, свесив ноги, и стал играть на гармони.

Редкие прохожие останавливались, видя крошечную фигуру человечка, прилипшую на краю гигантской колонны. Гармони не было слышно с такой высоты.

И, видно, не рассчитал Максим спьяну. Чиркнула в воздухе гармонь, а затем сам Максим полетел вслед за гармонью.

Земляки подробно и обстоятельно описали все Анне и даже прислали выстиранную рухлядь, зная, что для вдовы и гривенник в рубль.

Всю жизнь Анна отдала сыну.

Но когда Степан стал подростком и сунулся было в артель на заработки, его не приняли.

Еще жива была память о его отце, нарушителе старинного закона артельного товарищества.

Степан решил идти по стопам отца. Но из старых мастеров никто не захотел быть его напарником.

И тогда мать сказала сыну, что она будет этим напарником.

Среди каменщиков печники почитаются мастерами первой руки.

В кладке дымохода, в расположении колен, заслонок-клапанов, как и в музыкальной трубе, главное — пропорции.

Печника отличают по шву кладки. Тонкий, чуть выпуклый рубец шва говорит о взыскательном мастере.

Невзгоды обучили Анну ремеслу печника. Максим иногда брался переложить печь, но, оставив в хате кирпичные развалины, мокрую кучу глины, он никогда не доводил начатую работу до конца.

Хозяева приходили к Анне с толпой родственников и кричали.

Окруженная этой разъяренной толпой, Анна была вынуждена идти и заканчивать кладку.

В труде Анны была вдумчивая опрятность, свойственная женщине.

Печи ее не были похожи на кирпичные склепы, украшающие деревенские кладбища.

Осмелев, Анна выводила узорные карнизы. После отбелки расписывала печь петухами и писала изречения, вроде таких: «Муж, не серди жену, а то борщ скиснет».

В этих печах пламя не сжигало попусту дров и не глодало поленья, как беззубый щенок кости.

Это пламя можно было сравнить с чинным, приятным гостем, кушающим медленно, спокойно, сытно, но в меру.

Вот какие печи умела класть Анна.

Степану была противна работа деревенского рукодела.

Был он в ту пору щуплым, вертлявым пареньком с пегим от веснушек лицом, напористым и задорным.

Пользуясь именем отца, первого верхолаза и трубоклада, Степан, сыскав подрядчика, договорился сложить трубу на пивном заводе.

Мать дала свое согласие идти напарником Степана.

Но где это видано, чтоб женщина-мать работала каменщиком, да еще на такой грязной и тяжелой работе, как кладка заводских труб!

Придя на завод, Чибиревы увидели суетящихся по двору рабочих.

А на трубе возле самой вершины, вцепившись в скобы, висел человек, и еле слышно доносился оттуда его стонущий вой.

Подрядчик, не желая себе сраму за то, что на него будет работать верхолазом баба, позвал печника Жужелицу.

У Жужелицы были покатые плечи, свисающие ниже колен руки и слава отчаянного человека.

Для потехи Жужелица, присев на корточки, брал в руки кирпич и разбивал его с размаху о свою косматую голову.

Потом он вставал во весь рост и, глядя на людей своими впалыми, темными, веселыми глазами, с удовольствием выслушивал похвалы и давал щупать неверящим людям голову. Некоторые думали, что он прячет в волосах железку.

Разувшись, поплевав на ладони, Жужелица, рисуясь, ухватился за скобу и, разом подтягивая тело, смешно выставляя зад, показывая этим свою отчаянность, полез вверх.

Подрядчику это очень понравилось, и он сказал:

— Бесстрашный зверь! Ему все нипочем. Одним словом, пьяница.

Но чем дальше лез Жужелица, тем медленнее и неувереннее становились его движения.

Наконец он остановился и осторожно посмотрел вниз. Это его и погубило.

Сосущая, сверкающая пустота вмиг уничтожила всю бодрость.

Слабея от ужаса, он судорожно вцепился в скобу, приник, оцепенел.

Потом он стал подвывать осторожно, тоскливо.

Старик каменщик, сжалившись, карабкался вверх с концом каната.

Добравшись до Жужелицы, старик обвязал его туловище веревкой.

Но Жужелица не мог разжать окостенелые пальцы.

Отодрать его руки старику было не под силу.

Тогда старик вскарабкался по плечам Жужелицы выше и, ухватившись за скобы, стал пинать ногами серые, обескровленные пальцы Жужелицы.

Жужелица закричал, пальцы разжались, и он повис на канате.

Жужелицу спустили вниз.

Он сидел на земле, вытаращив налитые кровью глаза, зажав под мышками ладони.

И... блаженно улыбался.

Подрядчик, ухмыляясь, подошел к Анне, чуть отодвинув тростью со лба котелок, сказал:

— Брюнетов у нас тут нет тебя подсаживать...

Анна повернула смуглое скуластое лицо к подрядчику. Высокая, сухая, она посмотрела на него сверху вниз испуганными светящимися глазами и молча пошла к трубе.

Подрядчик, семеня вслед, поспешно закричал:

— За увечье и смертоубийство не плачу, при всем народе говорю! — Обратившись к рабочим, проникновенно, с мольбой в голосе, попросил: — Ребята, скажите ей, я хладнокровный, я ей даже на рогожку копейки не дам.

Анна подошла к трубе, взялась за скобы, полезла. Она подымалась, закрыв глаза.

Рабочие молча столпились внизу. Жужелица недоумевающе, тревожно глядел вверх, упираясь ладонями с толстыми растопыренными пальцами в землю.

И вдруг он вскочил.

Растолкав рабочих, схватив конец каната, полез вверх, торопясь, срываясь ногами. Он кричал:

— Не бойся, бабонька. Я тута!

Анна, протянув руку, не нащупала скобы. Пошарив в воздухе, она поняла, что добралась до вершины.

Вползши на площадку, она села, стараясь не глядеть вниз.

Вслед ей поднялись Степан и за ним Жужелица, шумно дышавший и потный.

— Господи,— сказала Анна,— высота-то какая!

— А ты думала,— воскликнул Жужелица,— я сам давеча чуть не...— и, произнеся грубое слово, смутился.

Одиночество на такой вышине вызывает чувство ласковой нежности к другому человеку.

Анна медленно, тяжело переводя дыхание, боясь поднять руку, озиралась.

Далеко, словно черное кишащее облачко, летела птичья стая.

Стая приближалась.

Воздух наполнялся свистящим шорохом и скрипением крыльев.

Плотная, тяжелая и теплая воронья стая неслась на трубу, заслоняя свет, обдавая нагретым птичьим запахом.

Анна, закричав, закрыла лицо руками.

Жужелица вскочил и стал махать шапкой. Несколько тяжелых птиц ударились об него. Стая, треща крыльями, шарахнулась в сторону.

Жужелица произнес, отдуваясь:

— Не я — спихнули б.— И потом добавил хвастливо: — Если б им ума прибавить, они нас здесь склевать свободно могли. Как волки в лесу, растерзали б.

Жужелица стал напарником Чибиревых и поселился с ними в бараке.

Напившись, Жужелица не показывался людям, а отсыпался где-нибудь на улице.

Придя на следующий день, он говорил Анне искательно и кротко:

— Брательник у меня старший — дворник, сектант, непьющий, у него гостил.

Анна хмуро и безразлично отвечала:

— А мне что? Жена я тебе, что ли!

Жужелица становился грустным и заискивал перед Степаном, называя его уже не сынком, а почтительно — Степаном Максимычем.

Однажды, когда в бараке никого не было, Анна, держа в платке на коленях деньги, отсчитывала Жужелице его долю за шестую совместно выложенную трубу.

Жужелица, сияющий, праздничный, глядел счастливыми глазами на озабоченное лицо Анны и лукаво усмехался.

— Вот,— сказала Анна, аккуратно перевязывая стопку денег веревочкой,— бери на пропой.

Жужелица отстранил деньги и сказал:

— Не надо.

— То есть как это? — спросила Анна.

— Очень просто, нет надобности. Одним словом, бери и с тем будь хозяйкой,— объявил Жужелица и, решительно подтянув голенища новых сапог, поднимая голову, искоса тревожно посмотрел на Анну.

Анна не шелохнулась. Она только подняла руку к горлу и погладила шею, словно что-то мешало ей.

Она произнесла медленно, почти нараспев:

— Пока Степан не женится, не будет этого.

Но потом вдруг поспешно, со скорбью сказала:

— Какая тебе от меня радость, Захар! Тронешь ты меня, а я буду глаза закрывать. Максима видеть буду. Постыло все мне это.

Жужелица сипло спросил:

— Не любишь, значит?

— Нет.

— Значит, уйти мне лучше?

— Уйти.

На следующий день Жужелица исчез, и его больше никто не видел.

Со временем переменился характер Анны.

В повадках ее появилась нарочитая грубость.

Одевалась теперь она в мужские ватники, стала курить махорку. Некрасиво остригла волосы.

Сама договаривалась с подрядчиком, яростно торгуясь за каждую копейку.

Иногда в минуты тоски Анна говорила сыну:

— Куликов — сопля, мразь, ведь он кирпича с воза в штабеля сложить не может. А со мной — с осанкой, с ухмылкой. «Все равно, говорит, ты баба, а что на трубы лазаешь, так это от бешенства. Дать тебе мужика, враз бы присмирела». Хотела я ему киянкой по башке...

Уткнувшись себе в колени, Анна плакала. Белая худая ее шея с глубокой впадиной казалась слабой, девической.

И снова Анна принималась за работу.

Закончив кладку, она презрительно говорила каменщикам:

— Ну, вы, портачи, что ж за бабью работу не брались? Может, кто красненькую желает сорвать? Пускай до макушки по скобам слазает. Мне на него посмотреть интересно.

Вынув десятку, Анна трясла ею перед смущенными лицами каменщиков. Но охотников не находилось.

Последнее время Чибиревы работали на Донбассе.

На курсах каменщиков, организованных при строительстве, Чибиревы показывали свой метод. Неграмотная Анна, багровея старческим румянцем, вместе с сыном показывала на кубиках образцы своей кладки. Эта кладка потом получила название чибиревской.

Чибиревы ездили по всей стране, и, казалось, не было уголка, где они не побывали. Потому что заводы строились повсюду.

Чибиревы привыкли к своей кочевой жизни.

Анна Чибирева, просторно расположившись в купе, помыкала сыном. Ее тучное багровое лицо оставалось величественным и неподвижным, и только глаза в морщинистых веках блестели лукавыми, задорными искорками.

Властным, сильным голосом Чибирева рассказывала Челюстеву, как она однажды вышивала на канве узор; он ей так понравился, что она после вместе с сыном переложила этот узор в кладку трубы.

Члены комиссии, приехавшие принимать завод, долго бродили вокруг этой трубы, задрав головы. Они сомневались, достойно ли металлургическому заводу иметь такую легкомысленную трубу. Затребовав эскизы, они получили от Чибиревых кусок канвы с вышивкой Анны.

— Вот мы и у вас художества свои выкинем — чистый минарет сделаем,— шутила Анна и хохотала басом.

Выходя в коридор вагона покурить, Чибирев и Челюстев вели тихие, озабоченные разговоры о будущем плане работы.

На следующий день по приезде на завод Чибирев приказал привезти во двор общежития каменщиков два воза кирпича. Людям он велел собраться к шести часам утра и ждать его.

Чибирев явился в семь часов. Каменщики, утомленные ожиданием, поднялись ему навстречу и дружно приветствовали его. Многие даже снимали шапки.

Слава Чибирева дошла сюда в самом красивом свете.

Чибирев небрежно кивнул людям: не глядя ни на кого, попросил принести себе стол, стул, поставить в холодке.

Голая, утоптанная земля двора, нагретая солнцем, источала сухой, пыльный запах. Пустырь был горячий, как печь.

Чибирев высыпал на стол из брезентового мешочка деревянные кубики, поманил каменщиков пальцем и быстрым движением фокусника сложил на столе несколько колец кладки. Кивнув головой на гору сваленного кирпича, он сказал небрежно, вполголоса:

— Повторить.

Каменщики, удивленные повадками этого человека, послушно стали повторять, складывая из кирпичей кольца кладки.

Чибирев послал за чаем и, вынув из кармана газету, стал читать ее, не обращая внимания на каменщиков.

Через некоторое время Чибирев, не выпуская из рук газеты, подошел к каменщикам, мельком взглянул на кирпичные колодцы. И толчком ноги разрушил, произнеся равнодушным, скучающим голосом:

— Чистый детский сад. Я им кольцевую кладку велю делать, а они домики строят.— И снова отошел к столу и увлекся газетой...

Но то, что в газете была продавлена пальцем дыра, через которую Чибирев следил за работой каменщиков, этого никто не заметил.

Чибирев капризничал, придирался и оскорбительно небрежно разговаривал с людьми. Он мучил их с утра до сумерек, заставляя сотни раз повторять одну и ту же кладку.

На одиннадцатый день Чибирев собрал свою бригаду во дворе. Люди хмуро стояли перед ним, ожидая какой-нибудь новой обидной выходки.

Чибирев снял шапку, поклонился всем и, как-то очень светло, по-хорошему улыбаясь, сказал:

— Ну, кого обидел,— извиняюсь. Видать, вы ребята подходящие. Я же нарочно лютовал, характер ваш, сознательность испытать. А вообще я человек артельный, веселый, и даже чтобы выкать — это не обязательно.

На следующий день чибиревская бригада приступила к кладке гигантской трубы.

Чибирев показал мастерство чибиревской кладки. Кирпичи порхали в его руках. И, глядя на эту работу, казалось каждому, что и он может так же просто и легко класть кирпич, чудесно слетающий с ладони в нужное место. Но преодолеть неуклюжее упорство кирпича, придать его движению свойства полета — это чудодействие доступно только мастерам-искусникам.

Круглая клавиатура кирпичной кладки была послушна рукам Чибирева, и движению, ритму этих клавишей следовала вся бригада.

Чибирев говорил, не отрывая глаз от своих рук:

— Я, ребята, древних мастеров почитаю. Они в известь для прочности яичного белка прибавляли. Да и сам кирпич был больше, сановитей, обжигистей. Рукодельный кирпич, бессмертный. Нынче кирпичи подчас как из каши лепят. Такие по легкости различить можно. Я белый кирпич не люблю. Я красный кирпич люблю, румяный, чтоб с музы-

кой, со звоном. А если кирпич не поет, так вы его в сторонку. Такому кирпичу веры нет. А вы, ребята, об Египте чего-нибудь слыхали? — вопрошал Чибирев, откидывая со лба прядь.— Тамошние каменщики всухую кладку производили. Без цемента. Во мастера!

После каждой смены Чибирев, стоя у огромной каменной толщи подножия трубы, проверял показатели отвесов. Задирая голову, он говорил любовно:

— Хороша штучка. Облака пропорет. Ее после электричеством осветят. Не для красоты, конечно. Чтоб самолет какой-нибудь сдуру не налетел. Вот какая труба! — И, вытягиваясь на цыпочках, он дружелюбно хлопал ладонью по каменному стволу.

Труба росла и росла, и чем выше, тем меньше становилась площадка. И число каменщиков с каждым днем уменьшалось по одному.

Работая, каменщики уже превозмогали себя, чтоб не глядеть вниз, на томящую пустоту.

Стоя на коленях на этом круглом, высоко поднятом кружочке тверди, люди наблюдали необычайные зрелища.

С трубы можно было видеть облака в профиль. А когда шел дождь, из тяжелых туч вытягивались, словно длинные и слабые сосцы, дождевые токи. Запах сырости туч доносился сюда. Тучи пахли погребом.

Чувство ничтожности и одновременно восторга охватывало человека, возвысившегося над старыми зазубренными горами, похожими на окаменевшие волны внезапно застывшего в бурю каменного моря.

Но проникнуться всеми этими чувствами мешал визгливый голос Чибирева:

— Давай, давай шибче!

Он спокойно разгуливал по круглой площадке жерла и своим уверенным видом вновь возвращал людям потерянную земную бодрость.

Труба достигла своего предела. В смену Чибирев решил выложить каменную оконечность ее — корону.

И на эту смену пришла Анна Чибирева.

В ватных штанах, тучная, закутанная во многие шали, огромные, как одеяла. Зычным голосом она кричала на людей, готовящихся к подъему.

Челюстев отозвал Чибирева в сторону и спросил:

— Нельзя ли отговорить мамашу?

Чибирев внимательно оглядел Челюстева с ног до головы и сказал злым, тонким голосом:

— Вы бы, товарищ, топали отсюда. А то простудитесь. А до нашей фамилии не касайтесь. Нос не дорос.

Во внутреннем своде трубы, выложенном лесами, холодным потоком бушевал воздух. Они подымались в сумерках каменного колодца — Чибиревы, два каменщика и сварщик, который должен был приварить стержень громоотвода. Подъем продолжался больше часа.

Чибирева подымалась первая. Она, казалось, закупоривала своим тучным торсом шахту трубы. Тяжелое ее дыхание было слышно всем. Чибирева часто останавливалась и, зажав скобу ногами, развязывала узлы душивших ее шалей.

Выбравшись на круглую каменную площадку, люди пошатнулись от несущейся тяжести ветра.

Чибиревы были особенно придирчиво-требовательны к двум каменщикам.

— Конфорка — это же самое нарядное место,— орала Анна,— а вы куда ляпаете?

Чибирева отталкивала каменщиков и сама перекладывала их кладку. Свирепая ярость этой женщины, ее стремительность пугали каменщиков, и они сторонились Анны.

Чибирева бесстрашно наклонялась над бездной, обстукивала и охорашивала кладку, голова ее и плечи висели над грозной пустотой.

А ветер все лютел. Гигантской шумной стаей ветры носились над котловиной. С размаху ураган ударился о каменную колонну, потом снова затих, накапливая свою девятую волну.

Пухлые, пахнущие сыростью облака, толкаясь и дымясь, неслись внизу, застилая землю.

Трос у лебедки болтался, звеня, широко и сильно, как маятник.

Оставалось четыре последних круга кладки.

Анна Чибирева, наклоняясь к уху сына, прокричала:

— Чибирев, гони ты их всех, а то я сама пугану. Может, это последняя моя труба. Я ее сама желаю докончить своими руками.

Чибирев послушно подполз к каменщикам.

Каменщики сидели скорчившись в стволе трубы, отдыхая.

— С наступающим праздничком! — прокричал Чибирев и натянул до рта кепку.

Упираясь руками, Чибирев встал на колени, оглянулся на сварщика, привязавшего себя веревкой к лесам и прива-

ривавшего пронзительно ярким шипучим пламенем шпиль громоотвода к стальному бандажу. Насмешливо спросил:

— Как ворона на шестке, боишься — сдунет?

Сварщик повернулся к нему, расстегнув пиджак и пряча под полой голову, как птица под крыло; он долго и тщательно старался прикурить.

Тогда Чибирев просительно воскликнул:

— А вы бы, ребята, меня почествовали: сороковая это труба, ровным счетом!

— Да как же тебя почествовать? — уныло спросил продрогший каменщик.

— Да хоть бы руку пожали, что ли.

Каменщики, неохотно вынимая свои руки, согретые в карманах, пожали протянутую чибиревскую ладонь.

— Вот так: вежливенько,— произнес Чибирев и протянул свою руку сварщику, но тот, покосившись, сказал сипло:

— После пол-литром почествую. Тоже нашел время.

Чибирев, обиженно поджав губы, сказал — для того чтоб что-нибудь сказать:

— Ну, давай, давай веселее, ребята!

Анна Чибирева внимательно следила за этой сценой. Огромная, толстая, она подползла к людям, внимательно и медленно оглядела их лица, потом, словно прислушиваясь к чему-то, произнесла зловещим, глухим голосом:

— Степан, труба шатается — слышишь?

Лица у каменщиков внезапно стали светящимися от бледности. Они замерли в тех позах, в каких настигли их эти слова.

Труба действительно шаталась.

Колебания ее были настолько сильны, что тело сразу наполнилось тоскующей, тошнотной слабостью.

Чибирев мельком взглянул в лицо матери и стал суетливо подталкивать каменщиков к спуску. Те молча, с судорожной поспешностью, полезли вниз.

— Чего ж ты,— грозно закричал Чибирев на сварщика,— шкуры своей не жаль!

Сварщик, оглянувшись через плечо, снова медленно склонился над шипящим голубым брызжущим пламенем.

Анна Чибирева, припадая к плечу сварщика, закричала ему в ухо:

— Шатается труба, слышишь?

Сварщик только повел плечами и продолжал работу.

— Настырный какой! — сказала Анна Чибирева и

вдруг, ухмыльнувшись, произнесла: — Ушли — значит, свободно, не тесно. Ну, давай, Степушка, нашими руками докончим самое ее темечко.

Чибиревы, склонившись над кромкой, принялись доводить кладку. И когда последнее кольцо подошло к сварщику, Чибирева сказала ему:

— Убери ноги, молодец!

— Сейчас, мамаша,— сказал сварщик и, отступая, соединил электрические провода, идущие к красному фонарику в виде звезды, приделанному на конце громоотвода.

Теплый оранжевый свет залил круглое каменное кольцо площадки. Земли не было видно. Она была окутана пухлой мглой.

— Пошабашили,— сказал Чибирев, подходя к сварщику.

— Есть-таки,— ответил тот, усмехаясь.

— А ты чего же не ушел? — спросила мать.— Ведь шатается труба. Или не боишься? Бессмертный, что ли?

— А чего ж тут бояться,— глухо из-за пазухи, снова стараясь прикурить, ответил сварщик.— Если б труба не шаталась, значит, в вашей кладке стройности нет, а если шатается, по ходу Земли следует, значит, все в порядке.— И, обращаясь к Чибиревой, ласково улыбнувшись, заявил: — А вы, мамаша, задорная. Пугнули, значит. Своими руками охота была приложиться. Понимаю.

— А как же,— сказала Анна,— такую статую кирпичную! Сто лет стоять будет, всем народам на память и удивление, а я, выходит, здесь ни при чем?

Прибрав инструмент, они уже хотели спускаться. Но из жерла трубы появились сконфуженные лица каменщиков.

Сердитыми, неуверенными голосами они стали оправдываться и упрекать Анну.

— Давай, давай, ребята! — весело закричал Чибирев.— Не задерживай, не затрудняй дымоход!

И вот спустя несколько дней желтый дым пополз из огромной сухой статной трубы. Но дым не опадал вниз. Поднесенный к сильной воздушной реке, он уносился в воздушных потоках далеко в горы.

Чибиревы получили телеграмму: их срочно вызывали на строительство нового завода в Узбекистан.

Челюстев провожал их. На вокзале старуха снова кричала сердитым, властным голосом, беспокоилась за вещи и в суете даже забыла пожать Челюстеву руку.

Потом Челюстев видел, как Чибиревы стояли у окна

вагона, о чем-то оживленно говорили и глядели не на него, а на трубу.

Все это рассказал мне Челюстев во время ночной смены, в стеклянной кабине обер-мастера.

Плавильные печи, полные белого огня, бросали на металлические потертые плахи пола белые полосы пронзительного света.

Сухощавые конструкции кранов двигались наверху по жирному железу монорельса. Зеленовато-оранжевые бруски вытекшей меди медленно стыли в изложницах, источая едкий запах, горячий и горький.

— А где сейчас они? — спросил я у Челюстева после долгой паузы.

Челюстев, разглядывая на свет жирный и неровный маслянистый срез медного бруска, медленно сказал:

— Чибирева умерла совсем недавно. От чего — не знаю. Чибирев мне иногда пишет. Если хотите, вот его последнее письмо.

Я прочел это письмо.

После смерти матери Чибирев остался один. Поехал в Туркмению, на серный завод, по горячей, сухой и блестящей, как наждачная бумага, пустыне.

Днем зной палил, иссушал, мучил. Ночь наполняла пустыню черным холодом.

Прибыв на серный завод, черный, похудевший, Чибирев неизвестно где добыл водки и напился.

Пьяный, он один ушел в пустыню.

Его нашли, привезли в больницу в очень тяжелом состоянии.

Через месяц Чибирев вышел из больницы. И только через два месяца он смог снова приступить к работе.

Семидесятипятиметровая труба была уже сложена. Чибиреву нужно было только проверить ее кладку.

Он подымался не изнутри трубы, так как леса были уже убраны, а снаружи, в люльке, подвешенной на тросе, закрепленном за лебедку.

Поднявшись на жерло, Чибирев оглядел кладку, и ему зачем-то понадобилось проверить также кладку под лебедкой. Он стал передвигать ее.

Но, обессиленный болезнью, он не смог удержать лебедку, и она сорвалась и упала вниз вместе с тросом.

Чибирев остался один на раскаленной зноем вершине.

Он остался наедине с расплавленным, близко поднесенным к земле солнцем.

Спять Чибирева с трубы было невозможно. Восстановление лесов требовало времени. А человек не может находиться под этим убийственным солнцем без прикрытия.

Чибирев сразу понял безнадежность своего положения.

Он сел, охватив колени руками, и долго сидел так.

На нем была шерстяная фуфайка, связанная из грубой шерсти руками его матери.

Чибирев снял ее, чтоб защитить голову от жгучего солнца.

И, может быть, от прикосновения к ткани родилось воспоминание о волевой, буйной жизненной силе его матери или что-то другое подсказало Чибиреву это решение, но только он поспешно сорвал с головы фуфайку и стал распускать ее, сматывая нить в клубок. Потом он привязал к концу нити карманные часы и стал медленно спускать их вниз, разматывая клубок.

Блестящие часы привлекли внимание людей внизу, и, поняв замысел Чибирева, они, сняв часы, привязали к шерстяной нити конец тонкой бечевы. Чибирев осторожно подтягивал эту бечеву. И тут можно смело сказать, что жизнь Чибирева висела на этом тугом дрожащем волоске.

Если шерстяная нить оборвется, тогда конец.

Но внимательные и любовные руки сучили эту нить.

Чибирев вытянул наверх конец бечевы. Смяв нити в охапку, засунул за пазуху, чтобы не унес ветер. Бечевой выудил конец веревки, веревкой — канат. Чибирев не спускался до тех пор, пока снова не смотал шерстяную нить в тугой клубок.

На земле, сторонясь от рук обрадованных людей, Чибирев, прижимая к груди этот клубок, сказал кротко, сконфуженно и нежно:

— Мамаша вязала, ее работа.

И, потупившись, пошел мимо расступающихся людей.

Из Туркмении Чибирев поехал в Москву, куда пригласили его в строительный институт в качестве инструктора.

Челюстев провожал меня. Снова мы ехали горной трассой, повисшей балконом.

С одной стороны машины мелькали тесно спрессованные плиты каменной стены, с другой — висело свободно падающее небо.

В памятном месте я попросил остановить машину.

Внизу, словно под стеклянным колпаком, лежал завод. Отсюда он казался таким же крошечным, как и прошлый раз. Сухая, вытянутая труба по-прежнему походила на мундштук. Но я не стал теперь для сравнения подносить к глазам мизинец. Я оглянулся на эти горы, старые, высохшие. Очевидно, есть тоже точка, с которой их можно видеть как каменные сухие морщины. Точка, доступная стратонавтам.

Я смотрел на эти горы, стираемые временем, ветром и солнцем в порошок, и думал о том, что есть все-таки на земле нечто более прочное и возвышенное, чем эти старые, обветшалые, каменные хребты.

— Послушайте, юноша,— кричал мне Челюстев, высунувшись из машины,— домечтаете после! На станции отгружают шамотный кирпич, и мне кажется, я уже слышу, как его колотят. У меня тоже есть воображение.

Мы долго ехали этой дорогой, прорубленной в камне.

Челюстев зажигал спички, поглядывая на часы; он действительно очень торопился.

— Да, кстати,— громко спросил вдруг Челюстев,— отчего вы не побывали у того старика сказителя?..

— Из кварца,— перебил я его,— с золотой поэтической жилой? В следующий раз.

Мы подъехали к железнодорожному полотну. Полосатый шлагбаум опустился перед самым носом.

Мы долго стояли, пока, громыхая колесами, щелкая на стыках рельсов, проезжал мимо огромный, бесконечный состав.

Челюстев нервничал, зажигал спички, глядел на часы. Он действительно очень беспокоился за отгрузку шамотного кирпича.

1939

ГУДОК

Печь была больная и старая.

Закованная в ржавые доспехи, она вздымалась в небо железной башней.

Рыжее пыльное облако висело над ней.

Дыхание печи было затрудненным — неровным.

Доменщики, когда-то знавшие эту печь молодой, преданно и отважно боролись с недугом, изнурявшим ее.

Но печь хворала упорно и безнадежно.

У моряков и доменщиков есть много общего в суровом мужестве их профессии. Недаром площадка домны напоминает палубу броненосца.

И каждый выпуск чугуна — это аврал, где каждый сосредоточен, где каждый знает свое место и в любую секунду готов помочь товарищу в беде.

Для красоты мысли посторонний человек может представить себе домну как неприступную башню, осажденную людьми, таранящими ее пневматическими бурами и атакующими в проложенные бреши залпами огненного воздуха.

Но это будет неверно.

Частые тревожные сигналы доносились от домны к силовой станции.

Горновой Полещук, забравшись на колошник домны, сидя на корточках, прикрыв рот смятой кепкой, терпеливо следил за вращением нижнего конуса.

Шихта, ссыпаясь с огромной воронки, должна равномерно заполнять шахту.

От пыльного газа из глаз текли слезы, тошнотная слабость кружила голову.

Полещук махал головой, стряхивал слезы и снова глядел — подсчитывал медленные обороты конуса.

Засыпной аппарат работал правильно.

Но первую плавку в эту смену добыли с трудом.

У печи угрожающе поднималась температура.

Сбавили дутье. Пробили летку. Но чугун не шел.

Огненный нарыв находился где-то выше свода горна.

Кипящий чугун, проедая кладку, мог прорвать ее, и это было бы бедствием.

Пронзительным пламенем кислорода прожгли ходы в запекшейся массе, чтобы выпустить кипящий чугун.

Потом началось падение температуры домны.

Ее бессильное замирание.

Пустили горячее дутье. Сжатый жгучий воздух с песчаным дерущим скрежетом врывался в домну.

Частые, огромной мощности, тугие удары газомоторов. Это они нагнетали в каупера воздух. Леточное отверстие, пробитое, развороченное, зияет.

Но чугуна нет.

С шипеньем и фырканьем вылетает из летки горячий мусор, но не чугун.

Расплавленная шихта спекается, твердеет. Закупоривает тяжелой глыбой шахту домны.

Пробили кладку. Изменили температурный фокус. И почти по капле снова начал оттаивать чугун. Сочиться.

Печь работала на малом ходу, с неполной нагрузкой.

Густой шлак залепил стволы фурменных рукавов. Полещук с красным и злым лицом кричал на рабочих. Расставив ноги, натянув до рта кепку, отворачивая лицо от парящих холодильников, он закручивал болты новой фурмы.

И внезапно «козел» — гигантская спекшаяся глыба — дал осадку.

Она ударила в горн, словно гигантский поршень, и выбила фурму.

Кипящий чугун хлестал из отверстия. Полещук нагнулся к железному лому, чтобы ударить им по подвешенному буферу — дать сигнал о прекращении дутья. И этой секунды промедления было достаточно.

Лужи кипящего чугуна окружили его. Он полез вверх по железному плетению колонны, чтобы спасти ноги.

Лицо его было обожжено, одежда тлела.

Глоба, помощник горнового, подняв лист рифленого железа, защищаясь им от чугунных брызг как щитом,

бросился на помощь к Полещуку. Он вынес Полещука на руках.

А сам, широко ступая горящими деревянными колодками, выбежал на литейный двор и стал кататься в песке, чтобы погасить горящую одежду.

Полещук месяц пролежал в больнице.

Он вышел оттуда с новым лицом.

Его лицо, омоложенное ожогом, блестело розовой, туго натянутой кожей. Только шея была по-прежнему темной, морщинистой, как старое голенище.

Вместе с сожженной кожей пропали усы.

Замечательные, пышные усы горнового, взлелеянные годами ухода.

И теперь, привычно подняв к голой губе сложенные щепотью пальцы, Полещук ловил только воздух.

Но самое скверное было то, что вместе с усами у Полещука пропала охота работать на доменной печи.

Видно, ужас прикосновения огня не так легко забыть человеку.

Полещук ушел с завода.

Он не хотел встречаться с прежними товарищами, потому что никого так не презирают доменщики, как труса, изменившего их смелой профессии.

Полещук поступил на курсы железнодорожных машинистов.

На курсах училась молодежь.

Полещук стыдился своего возраста и старался ничем не выделяться среди своих сокурсников.

Преподаватель теоретической механики вынужден был часто призывать Полещука к порядку.

— Что это вы разбаловались, Полещук? А ну пересядьте за первый стол!

Полещук, оставив своего соседа, с которым он мерился силой, шел, тяжело и косолапо передвигая ноги, ничего не видя перед собой от стыда.

Конечно, Полещуку не хотелось баловаться. Знания и так давались ему с трудом. Но боязнь, как бы его не уличили в старости, заставляла его подлаживаться под молодых.

Полещук прослыл среди курсантов чудаком. К нему относились с игривой веселостью. От него ждали всегда какой-нибудь штучки.

И он знал, что от него ждут этих штучек, и у него не было воли не выкидывать их, и, содрогаясь от стыда, он их выкидывал.

Здоровался он так: наклонит голову и подвигает ушами. А волосы уже седые.

Если бы кто-нибудь из доменщиков увидел Полещука во время этих унизительных шутовских проделок, не поверил бы, что перед ним Полещук.

Полещук пришел на завод двадцать лет тому назад кротким деревенским парнем. Он прошел многие профессии доменщика, пока стал горновым. Он изучил характер печи, командовал ею снисходительно и властно, по-хозяйски. И печь слушалась его. Полещук упорно не принимал заводских терминов. Пользовался своими.

Колошник называл кормушкой. Ход печи разделял на рысь и галоп. Иногда печь шла махом: ковш — горшок. Сталеваров обзывал супниками. Когда давали плохой кокс, он кричал, что не желает работать на полове.

У него существовали свои приметы, и если сменный инженер спрашивал, сколько он сегодня думает дать чугуна, Полещук оглядывался на печь и безмятежно отвечал:

— А кто ее знает. Это как она захочет.

Но печь перестала слушаться Полещука. Яростная и непокорная, она вышла из повиновения. И Полещук растерялся, он уже не верил, что печь снова можно подчинить себе. Авария явилась грозным свидетельством его беспомощности.

И Полещук решил стать железнодорожным машинистом, чтобы мчаться мимо этих неподвижных мест, напоминающих ему о его трусости-измене.

В мастерской депо Полещук изготовил для будущего своего паровоза гудок.

Блестящая медная трубка лежала на дне его сундучка, завернутая в полотенце.

О достоинстве паровозного гудка судят не по блеску сияющей шлифовки, а по звуку.

Звук этого гудка был великолепен.

Из медного горла его, клубясь, исходил грозный, многоголосый напев, полный могущественной силы.

Для того чтобы создать такое дивное звучание, Полещук потратил много времени и сил.

Дома у Полещука был чайник с наглухо запаянной крышкой и с нарезным посиком. На этот носик Полещук навинчивал трубку гудка. Поставив чайник на примус, завесив окна одеялом, он ждал, пока пар, набрав силы, не начинал своего пения.

Полещук регулировал, подтачивал стальную пластину, чей трепет и создавал это многоголосое пение.

Машинисты любят музыку паровозных гудков.

Но ни у одного водителя, даже самого мощного паровоза, не было такого гудка, какой сделал для своей будущей машины Полещук.

На экзаменах Полещук, ослабев от волнения, шепотом давал ответы. И ответы его были неважные. Если бы не письменная работа и практические поездки, Полещук провалился бы.

Седой машинист, стриженный ежиком, с угловатым, сердитым лицом, испытав Полещука в поездке, сказал:

— Характер у тебя ко всему хлипкий, а машина строгость любит, повелительность. Не быть тебе машинистом.

Полещук, виновато улыбаясь, расслабленными, дрожащими руками одергивая на себе пиджак, жалобно попросил:

— Мне хоть какой-нибудь паровозик, старенький...

— Пассажиром — это можно,— коротко бросил машинист и, не желая больше разговаривать, вынув из кармана паклю, стал ею протирать и охорашивать и без того сияющие ручки кранов и управления.

Полещук получил все-таки аттестат и три путевки на выбор.

Первая путевка — паровой кран на карьере каменоломни. Вторая — водить «кукушку» на строящейся ветке. И третья — в транспортный отдел доменного цеха, развозить ковши с чугуном и шлаком.

Полещук выбрал третью путевку.

Не сразу он пришел к этому решению. Вернуться в свой родной цех, но не доменщиком, а машинистом,— какими глазами он будет глядеть на своих товарищей? Где найдутся слова для оправдания?

Но не было у него сил окончательно отрешиться от завода. И главная тайная мысль была у него — увидеть Илью, своего бывшего подручного, который должен вернуться со дня на день на завод инженером. С ним, с Ильей, у Полещука была душевная дружба, и он хотел рассказать обо всем Илье и попросить у него совета.

Грязный паровозик стоял на запасных путях с пустыми ковшами. Афанасий Терещенко дремал на круглом сиденье, ссутулясь, положив сложенные ладони меж колен.

Плохо пригнанная арматура парила. В котле урчало и всхлюпывало. К подножке пристыли ноздреватые лепешки шлака.

Терещенко презирал эту работу. С машиной обращался грубо. Придя домой, старался не думать о ней.

Раньше он водил пассажирские составы. Однажды он пролетел красный сигнал автоблокировки. Медицинская экспертиза установила, что он дальтоник. Он не понимал, что это значит. Ему показали красный, потом зеленый круг — он не мог различить их. Раздражаясь, он кричал, что на него просто имеет зуб начальство. Потом расплакался и стал умолять излечить его.

От дальтонизма не лечат.

Ему разрешили работать днем на внутризаводском транспорте.

Он мечтал изобрести очки, которые помогли бы ему правильно определять цвета.

Дома у него стоял ящик с разноцветными стеклами.

Разложив перед собой обрезки картона равной величины, прикладывая к глазам разноцветные стекла, он старался определить цвета картона.

Иногда ему казалось, что он начинает правильно угадывать.

Он стучал кулаком в стену, звал соседей.

Суетился, извинялся, просил проверить и снова, подносся дрожащими руками стекляшки к глазу, называл цвета и... ошибался.

Поднявшись, машинист сказал Полещуку угрюмым, сонным голосом:

— Значит, красный от зеленого отличаешь? Ну, чего еще надо! Вполне механик!

И ушел, сутулый, не сказав больше ни слова.

Доменщики делали вид, будто не узнают Полещука. И говорили только те слова, какие полагались по делу.

Первое время, правда, они чрезмерно наполняли ковши. И, стоя на площадке, долго испытывающе глядели вслед паровозу.

Полещук, положив одну руку на кран машиниста, другую на ручку реверса, чувствовал эти взгляды, и всем существом своим хотел передать машине плавную осторожность, чтобы не расплескать из ковшей тяжко колыхающийся металл.

Полещук полюбил машину. Он очистил ее от жирной грязи, покрыв заново бандажи кожуха котла бронзовой

краской, подогнал арматуру и изгнал из кабины извечный банный пар. Надел брезентовый чехол на сиденье и даже под слоем копоти, позади места машиниста, обнаружил зеркало в деревянной раме.

Наконец он решился и привинтил свой гудок на место старой свистульки.

Терещенко, сменяя Полещука, услышал звуки нового гудка и, побледнев, спросил:

— Ты что это, нарочно, для издевки?

Полещук, отворачиваясь, ответил:

— Мечта была — паровоз настоящий водить, да вот не вышло.

— Не повезло, значит? — обрадовался машинист.

— Не повезло,— вздохнул Полещук.

Из-за этого гудка вначале Полещуку приходилось терпеть большие неприятности.

Директор кричал, что гудок мешает ему работать. Сменный инженер — что ему страшно ходить теперь по путям: звук как у курьерского.

Рабочие подсмеивались:

— Чайник, а голос как у настоящего!

Но потом все привыкли к звуку гудка и даже полюбили его.

Однажды Полещук, задержавшись с выброской шлака на терриконе, с запозданием подал ковши под чугун.

Доменщики не ругали его за это, как обычно всех машинистов.

Горновой Глоба, рыжий, весь в блестящих веснушках, бывший моряк, одессит и грубиян, с руками, исколотыми татуировкой, взял ком леточной глины и, подкравшись, бросил ее с размаха в трубу паровоза.

Ничего не подозревая, Полещук дал ход, но вдруг весь его паровоз окутался черным удушливым дымом. Ничего не видя в сумраке, задыхаясь, Полещук выскочил из будки.

Глоба, связав проволокой два кирпича, изловчился и накинул их на рычаг гудка.

Окутанный дымом, паровоз заревел отчаянно, несмолкаемо.

Полещук, поняв, в чем дело, полез на паровоз, снял кирпичи с гудка, потом долго выгребал глину из паровозной трубы.

Окончив это, он полез в кабину. Глоба прокричал ему:

— Это я, чтоб ты не спал, джаз устроил!

Полещук повернулся к нему черным, закопченным лицом, из изъеденных дымом глаз текли слезы.

Глоба, встретившись с ним взглядом, вдруг опустил свои огромные плечи и сказал виновато и жалобно:

— Я же больше не буду. Извиняюсь.

От самого Краматорска Илья не отходил от окна вагона. Теплая пыль и копоть покрыли его лицо шершавым налетом. Пассажиры, страдая от зноя и пыли, просили его закрыть окно. Тогда он перебрался в тамбур.

И, глядя на мелькающую рыжую, сухую степь, на черные хребты терриконов, ему хотелось спрыгнуть на эту бегущую мимо землю и идти пешком напрямик.

Все эти пять лет Илья учился жадно, нетерпеливо. Часто забыв, что он на лекции, перебивая профессора, восхищаясь и не доверяя, Илья требовал немедленно объяснить суть формулы, назначение ее жизненного содержания.

Профессор прощал ему это.

Он уважал юношу, видя в нем незаурядного математика. Илья ночами просиживал над интегральными уравнениями. И когда студенты удивлялись непонятному рвению, он отвечал, растерянно улыбаясь:

— Так ведь это интересно, все равно как в карты играть.

В тетради Ильи рядом с формулами, полными возвышенного полета свободной мысли, имелись свои озабоченные записи о том, что́ из всего этого можно практически осуществить на производстве.

В конце тетради были подклеены письма доменщиков. Кроме общих приветствий и деловой информации о работе цеха, в каждом из этих писем заключалась просьба — спросить у профессоров совета по целому ряду технических вопросов.

Здесь также имелись письма Полещука. Обычно эти послания кончались одним и тем же вопросом. Полещук спрашивал:

«Пускай я глупый, а кто вас учит, те умные, но почему эти ваши ученые, если они все знают, не скажут, что творится с моей печью? Пускай они приедут сюда и поглядят. И чего-нибудь скажут. Наркомы ездиют, а они не могут. Поговори с каким-нибудь ученым, объясни, что человек

лично просит — страдает. Вчера снова сожгли фурму. Вот, значит, какие мои успехи... По поселку хожу зажмурившись: стыдно в глаза людям смотреть».

И, стоя сейчас в тамбуре, Илья думал об этих письмах Полещука. Илья решил применить новый, смелый и дерзкий способ исцеления домны. И ему очень хотелось скорей увидеть Полещука, рассказать обо всем, поспорить и вместе с ним, со старым горновым, приступить к скорейшему выполнению своего замысла.

Директор завода был человеком не то что толстым, а скорее обрюзгшим. У него была приседающая походка. Улыбался он редко, думая, что улыбка не пристала хозяйственнику. Да притом улыбка на его жирном лице получалась какой-то действительно глупой. Он любил хмуриться, морщить чело, говорить медленно, с отдышкой и ничего не решать сразу.

Он был из породы людей непостоянных в своих взглядах, неуверенных в себе, но хитроумных и дотошных.

Придя домой, он говорил со вздохом жене:

— Ну, кажется, сегодня все благополучно сошло. И вроде как план выполняем.

Вообще же он был человеком честным и искренне признавался жене в своей неспособности руководить заводом.

Директор принял Илью. Косясь на телефонную трубку, он долго и нудно рассказывал Илье о положении на заводе. Директору втайне очень хотелось спихнуть больную печь молодому специалисту, но сразу сказать об этом он как-то не мог.

Илья сам пришел к нему на помощь.

Илья заявил, что он уже успел ознакомиться с состоянием печи. Причина ее скверной работы — в настыли. Злокачественная чугунная опухоль, многотонная глыба, впаялась в стены шахты и мешает нормальному ходу печи. Настыль нужно взорвать.

Директор при слове «взорвать» уронил телефонную трубку, прищемив живот между столом и креслом, воскликнул:

— Останавливать печь! Не позволю!..

Илья обстоятельно изложил свой план.

Печь останавливать не нужно. В местах образования настыли просверлить отверстия в кладке домны, забив

в шурфы, заложенные в настыли, аммонал,— взорвать. Настыль будет уничтожена.

Сорвав с пресс-папье чистую бумагу и вытирая ею лоб, директор взмолился:

— Но ты мне домну развалишь, она старая...

— Я все рассчитал,— заявил Илья и положил на стол чертеж.

Через два часа Илья вышел из директорского кабинета. Разрешение на взрыв настыли было получено.

Директор, оставшись один, позвонил секретарше и попросил принести нарзану.

Илья пробирался по цеху знакомыми железными тропами.

Толстые кишки газопроводов висели у него над головой. Газомоторы стучали выхлопными трубами, словно кто-то бил гигантской подушкой о гулкую, сухую землю.

Илья шел к Полещуку, к своему доменному учителю. Он знал о его падении, но не мог понять причины.

Илья знал Полещука как отважного, опытного доменщика и думал, что несчастье с ним произошло от каприза, от обиды. И Полещук не откажет ему, Илье, пойти снова горновым, чтобы помочь в трудном и ответственном деле.

На паровозе в эту смену работал машинист Терещенко.

Он сказал Илье, что Полещук дома.

Потом, наклонясь к Илье, он спросил шепотом:

— Слыхал я, в Москве профессор объявился — с мертвых живым глаза пересаживает. Правда? Нет? Поеду в отпуск в Москву. Мне все равно — хоть карие, хоть голубые, лишь бы правильно глядели. Я же наизусть маршрут Москва — Баку знаю. Закрою глаза и весь профиль пути вижу. Изнурился я на этом котелке чумазом.

Полещук сидел дома и пил чай, заедая рисовой кашей. Он был холост.

В пещере русской печи был устроен горн. Полещук как любитель по вечерам занимался слесарным делом.

Когда Полещук увидел Илью, у него жалобно задрожал подбородок, бессильно опустились руки; растерянно улыбаясь, он глядел на Илью и молчал.

Илья обнял Полещука, глядя в лицо, спросил:

— Что же ты, брат, извозчиком заделался? Обиделся, что ли?

Полещук сразу съежился и стал вызывающе вежливым.

— Садитесь, Илья Иваныч,— сказал он дрогнувшим голосом,— очень рад.

Илья участливо спросил:

— Ты что, не хочешь со мной разговаривать?

Полещук опустил голову, вздохнул.

Усевшись верхом на табуретке, Илья стал рассказывать Полещуку свой план.

Полещук слушал, и чем больше он слушал, тем сильнее блестели его глаза, и он уже не мог сидеть, он ходил по комнате и громким голосом подавал реплики:

— Так. Правильно. Вчистую. Здорово!

Но когда Илья кончил говорить и, хлопнув Полещука по плечу ладонью, спросил, уверенный в ответе:

— Так, значит, договорились? Поможешь? — Полещук вдруг отступил, мелко усмехнулся и спросил тоненьким, гаденьким голосом:

— Орденок отколупнуть на этом деле хочешь, что ли?

Илья замер. Вначале ему показалось, что он ослышался, но, видя мутные и злые глаза Полещука, он нахлобучил на голову кепку, повернулся и вышел.

Полещук остался один. В окно он увидел, как прошел Илья, широко и сильно шагая.

Тоскующую боль одиночества почувствовал Полещук. Ему хотелось выбежать, нагнать Илью, остановить, поведать всю правду. Рассказать о мучающей его боязни огня, попросить прощения за незаслуженную обиду. Ему ведь давно снова хочется на домну, но он не верит себе, боится.

Томительная слабость заставила его опуститься на скамью, положить голову на стол, и он сидел так, в тяжелом бездумье, уставившись в темный угол.

И невольные, какие-то глупые мысли лезли ему в голову.

Он видел выпавшую из щели половицы замазку, и ему очень хотелось подняться и вложить эту засохшую замазку снова в щель, но не было сил это сделать.

Печь стала на холодное дутье.

Илья спустился в шахту домны.

Сквозь холодную, только что засыпанную шихту проникал горячий, удушливый зной.

Где-то недалеко под ногами лежал расплавленный, мягкий металл.

Глоба отплевывался от едкого, горько пахнущего газа, слюна, попав на комья шихты, шипела, как на сковородке.

Глоба храбрился и старался говорить громко, но голос его звучал слабо, придавленный тяжестью спертого воздуха.

Кровь стучала в пальцах и в висках, в горле першило.

Электрическая лампочка горела в этом химическом сумраке слабым, серым светом.

В нескольких местах кладка блестела стеклянно спекшимися кирпичами.

Илья, наклонившись, прокричал Глобе:

— Как в кратере вулкана мы здесь! Похоже?

Глоба, не расслышав, пробормотал:

— Это верно, как в бане угарной.

Погружая стальные щупы, они определяли место расположения настыли.

И когда от жары, от удушья в голове начинало шуметь и в глазах всплывали ярко-оранжевые едкие круги, они подходили к воздушному шлангу и, поднося к губам дующий конец его, жадно глотали пахнущий пылью воздух.

Выбравшись на колошник домны, они отдыхали. Илья смотрел с этой вершины на степь, столько раз виденную; сейчас она была необычайно яркой, чистой и новой. А небо, прохладно светящееся голубизной, казалось вкусным.

Глоба снял брезентовую шляпу и, наклонившись, хотел отряхнуть ею с одежды пыль и копоть. Но вдруг, взвизгнув, он ухватился за подбородок и закружился на месте. Застежка «молния», накалившись в шахте домны, обожгла его.

Илья начертил мелом контуры настыли на кожухе домны, наметил точки, где нужно сверлить.

Установили леса. Целую ночь стучали перфораторы, просверливая глубокие отверстия. Отверстия набили аммоналом, соединили электрическими проводами, бригада покинула площадку домны.

Глоба тревожно заглядывал в лицо Илье, потом переводил взгляд на домну.

Пенистые облака неслись в небе, луна выскальзывала из них бледным обмылком.

Знойный, пыльный ветер дул из степи.

Над шлаковой горой висела огромная туча с розовым брюхом. Малинового цвета лава медленно сползала с отвала, мерцая. Видно было ковш, круглый, головастый, склоненный. Серые столбы гуськом подымались на эту гору. На

откосе горела лампочка, сливаясь со звездным краем неба.

— Илюша,— сказал Глоба,— а вдруг печь развалится?

Илья оглянулся, глаза у него были серые, прищуренные. Нижняя губа набухла и дрожала. Доменщики глядели на домну.

Директора не было здесь. Он разумно решил не впутываться в этот опасный эксперимент. Но бездеятельным оставаться тоже не мог. Стоя на подоконнике у себя в кабинете, он самолично наклеивал бумажные полосы на окна, чтобы стекла не вылетели от воздушного толчка взрыва.

Домна не дышала.

На заводе было тихо. Стояла тишина, полная приглушенных звуков.

Тяжкий, глухой, мягкий удар раздался в домне. Лязгнули корпуса колошников. Столб дыма и пыли поднялся над домной.

Но люди не отпрянули назад,— подчиняясь какой-то силе, они бросились вперед, к домне, словно на помощь к ней.

Домна была цела. Илья, не спавший четвертые сутки, обследовал с фонарем каждое ее кольцо. Трещин не было. Прозвучал сигнал силовой станции, застучали газомоторы. Со свистящим воплем воздух ворвался в домну. Двое суток домна давала малую плавку. На третьи сутки Илья приказал повысить давление и температуру воздуха до предела.

Отработавшие свою смену доменщики не хотели отходить от печи.

Некоторые спали тут же, на песке литейного двора.

В эту плавку Илья решил дать норму.

Он наклонялся к фурменному глазку. В глазок было видно, как белые, словно из ваты, комочки шихты, подпрыгивая в горне, таяли.

Плавка шла полным ходом.

Сгустившиеся тучи заволокли небо. Ночь была черной.

Толстые, редкие капли дождя ударялись о землю. Потом дождь разошелся сильнее. Но дождя не было видно из-за темноты. Тяжелые всплески воды, сырое колыхание воздуха доносились сюда, под своды доменного навеса.

В три часа ночи выпустили шлак.

Полещук пригнал ковши для чугуна. Ковши, заросшие чугунной накипью, давно не выбивались. Вместо тридцати пяти тонн котел вмещал десять, стены его заросли ноздреватым серым чугуном.

Полещук, забравшись в пустые ковши, вычерпал из них

дождевую воду, закрыл крышками. Стали пробивать летку. Но летка не давала чугуна. Илья приказал прожечь кислородом. Кислорода не было. Его можно было получить со склада только по специальному разрешению директора.

А печь шла полным ходом.

Привезли кислород. Осторожно, исподволь, направили шуршащее пламя горелки. Но вдруг летка зафыркала. Глоба успел отскочить с горелкой.

Клокочущая жижа выбилась из летки.

Чугун тек с журчанием, бело-оранжевого цвета.

Высокий, светловолосый помощник горнового с грязным, захватанным руками носом и золотистыми распушенными усами брезгливо докурил цигарку и, прикрыв лицо рукой, разгребал железным шестом чугунную гущу. Одновременно он сбивал ногами листы железа, прикрывавшие от дождя канаву.

Нестерпимая жара сушила его лицо. Казалось, еще немного — и его белокурые пышные усы сморщатся, запахнет паленым. Но он отскакивал и, скаля зубы, прикладывая руки ко рту, кричал:

— Пошел!

Полещук принял чугун во второй ковш. Ковш быстро наполнялся.

Илья подошел к нему, поздоровался и спросил, почему мало посуды.

Полещук сказал:

— По теории на семьдесят тонн.

— А на самом деле?

— Двадцать.

Илья посмотрел на Полещука и сказал тихо, серьезно:

— Отцепляй паровоз, давай вези еще посуды.

Полещук шепотом ответил:

— Больше нет посуды.

Илья как-то чрезмерно спокойно, медленно подошел к горновому и коротко бросил:

— Забить летку. Посуды нет.

Забить летку с ходу — это почти безнадежно.

Глоба, наклонившись над пушкой, поспешно забивал комья глины.

Над леткой опустили железный фартук, вмиг ставший красным, прозрачным.

С размаху загнали пушку в леточное отверстие.

Но пушку выбило оттуда.

Чугун растопил конец ствола, превратив его в изогну-

тую белую сияющую сосульку, и неудержимо выпирал из домны.

Выпустить металл на литейный песчаный двор было нельзя. Песок набух водой; соприкоснувшись с ним, металл будет взрываться, словно гранаты, связанные пачками, калеча и разрушая.

Чугун грозил вылиться из наполняющегося ковша на пути. Сваренные чугуном рельсы — катастрофа, остановка всего доменного цеха.

Илья позвонил директору. Сонный голос ответил ему. Потом директор стал кричать:

— Безобразие! Анархисты! Почему не доложили? Откуда я знал, что будет столько металла!

Илья сказал в трубку, что он по плану должен давать двести шестьдесят тонн и он их дал.

Илья бросил трубку и побежал к ковшам. Трубка висела, вздрагивая, крутясь на шнуре, и что-то долго трещало в ней и шелестело.

Илья подбежал к ковшам — чугун хлюпал, приближаясь к краю. Но паровоза не было.

— Где паровоз? — бросился он к Глобе.

Глоба взглянул вниз, снял войлочную шапку, вытер лицо, сказал глухо:

— Полещук угнал. Понял, чем здесь пахнет,— ну и угнал.

Дутье прекратили. В домне слышалось грозное ворчание. Показывая обожженные руки, Глоба сказал:

— Вручную забивать пробовал — не вышло.

Илья подошел к доменщикам, спросил:

— Так что же, товарищи, будем выпускать на литейный двор, в скраб, другого выхода нет.

Доменщики знали, как будет рвать чугун на мокром литейном дворе, какой огненной картечью будут разлетаться во все стороны брызги. Они знали, как высоко могут взлетать в воздух взъерошенные чугунные глыбы от соприкосновения с водой.

Но выхода действительно не было.

И люди встали по своим местам.

Но вдруг все услышали клубящееся, воркующее пение гудка паровоза...

И все невольно остановились и повернули головы.

Черный паровоз мчался по путям, толкая впереди себя огромный грушевидный ковш-термос типа клинга с большим объемом, но маленьким входным отверстием.

Поймать чугунную струю с ходу в этот ковш было почти невозможно.

Струя чугуна, не попав в отверстие, ударившись о плечи ковша, будет бить сжигающим фонтаном. Машинист должен сразу суметь точно установить ковш — или чугун хлынет на будку, прожжет ее, и тогда конец машинисту.

Обычно эти ковши долго и тщательно устанавливают для наполнения перед пустым желобом.

Кроме того, нужно было сдвинуть два переполненных ковша так, чтобы не расплескать чугуна. Чугун, попав на рельсы, застынет на них, заварит скаты, и паровоз окажется прикованным под падающей струей металла.

Дождь громко шуршал.

Паровозный фонарь выхватывал из тьмы две косые полосы из толстых дождевых струй.

Все остальное было погружено в черноту.

Даже над шлаковой горой не было привычного багряного отблеска.

Паровоз не замедлял хода. Дождевые струи ударялись о него, разбиваясь в пыль. Паровоз, зажатыми в колодки тормозов колесами скользя по рельсам, толкнул ковши. Выплеснувшийся чугун, упав на землю, громко взорвавшись, ударил в упор чугунными брызгами.

В треске, в грохоте, в клубах рвущегося горячего пара скрылось все.

Оранжевая толстая кривая струя чугуна, казалось, висела в этом мраке. Потом вдруг она взметнулась вверх и косым высоким светящимся крылом упала на плечо котла-термоса.

Куски подброшенного вверх металла, падая, с грохотом ударялись о паровоз.

На секунду мелькнуло в окне паровоза искаженное лицо Полещука.

И вдруг все померкло. Послышалось тяжелое, чавкающее падение чугунной струи в ковш.

Прибитый дождем пар медленно рассеивался.

Снова появились белые столбы паровозных огней и в них дрожащие косые струи воды.

Чугун потрескивал, стрелял от попадавших в канаву дождевых капель, но тяжело и верно лился в узкое горло ковша.

На подножке паровоза стоял Полещук. Лицо его было бледно, плечи подняты, шея замотана масленой тряпкой.

Илья спустился к Полещуку и, протягивая руку, сказал:

— Спасибо!

Полещук поежился и сказал:

— Не за что.

Глоба тоже хотел подойти к Полещуку, но, махнув рукой, поднялся на паровоз и стал очищать его кожух от налипших, впившихся в металл чугунных лепешек. Потом, усевшись верхом на котле паровоза, повернувшись, он спросил Полещука:

— На радостях, Федор Феоктистыч, позволь подудеть?

И, протянув руку к рычагу, надавил его.

Мужественный голос гудка наполнил ночь своим пением.

Розовый рассвет размывал грязное небо.

Над разливочной машиной стояло яркое зарево.

С глухим грохотом падали свежеиспеченные чугунные батоны в железнодорожные платформы, приседавшие под их тяжестью. Воздух колебался от тающего тепла прозрачными струями.

Полещук, высунувшись из окна паровозной будки, глядел на домну.

Закованная в железные доспехи, она возвышалась в небо высокой башней.

Оранжевые облака теплились над ней.

Внизу, возле паровоза, стоял машинист Терещенко. Подняв голову, он говорил Полещуку смирным голосом:

— Выходит, мне очки не на глаза, на голову надеть нужно.

И, оглянувшись на ковш, склонившийся над конвейером разливочной, он увидел, как из оттянутой губы его стекал чугун великолепного синего цвета.

— Чугун,— сказал машинист,— папаша всех металлов. Это понимать нужно.

Полещук тоже смотрел, но видел алые струи металла. Он слышал дыхание домны. И по звуку знал, что печь идет полным ходом.

1939

ДВА ДРУГА

В ночь на 20 июня 1920 года Первая Конная получила приказ: занять Новоград-Волынский.

Взять город лобовым ударом не удалось. Пришлось прибегнуть к обходному маневру. Нужно было перебросить части через реку Случь и с тыла ударить по врагу.

Начдиву 14-й Александру Яковлевичу Пархоменко было приказано срочно произвести эту операцию. Неожиданность удара обеспечивала успех.

Овладеть мостом через Случь, чтобы избежать форсирования реки под огнем неприятеля и обеспечить переправу,— такова была задача. Ночью Пархоменко вызвал к себе красноармейцев Махова и Кириченко.

Начдив Пархоменко хранил в своей памяти характеры и качества многих сотен своих бойцов. Во время подавления григорьевского мятежа под Екатеринославом Пархоменко заметил удирающий на автомобиле штаб белобандитов. Отделившись от красноармейцев, на разгоряченном коне Пархоменко настиг машину и на скаку расстрелял помощника атамана Миксюту и весь его штаб. Возвращаясь обратно, он увидел двух деревенских парней. Они вырывали друг у друга винтовку. Пархоменко с любопытством остановился. Потом, протянув руку, властно сказал:

— А ну сдай оружие.

Растерявшиеся парни отдали винтовку и рассказали причину своей ссоры: один нашел винтовку, а у другого винтовки нет...

Пархоменко, улыбаясь, спросил, зачем им винтовка. Тогда один из парней, черноволосый, худенький, с торчащими ключицами, потупившись, прошептал:

— Сестру убили,— и, кивнув головой на товарища, добавил: — Невеста его была...

Пархоменко погладил свои густые усы и сказал глухо:

— Так... Идите за мной оба.

Парни пошли за Пархоменко. Зачисленные в часть, Махов и Кириченко соперничали в смелости и отваге. Махов был худой, необычайно подвижной, деятельный и веселый. Он лихо плясал, хорошо пел песни. Кириченко — флегматичный, с толстым лицом. Огромные мускулистые плечи его были лениво опущены. Разговаривать он не любил, отвечал односложно.

Вызвав к себе Кириченко и Махова, Пархоменко объяснил бойцам задачу. Внимательно слушая комдива, Махов задавал ему быстрые деловитые вопросы. Пархоменко одобрил план Махова и, подав ему руку, пожелал удачи. Потом, подойдя к Кириченко, спросил веселым голосом:

— Ну, а ты, Федя, согласен?

— Это с чем? — встрепенулся Кириченко.— С Мишкой я завсегда согласен.

— А со мной?

Кириченко побагровел от неловкости, оглянулся за помощью к приятелю, потом вдруг сказал:

— Вы нам, Александр Яковлевич,— отец родной. О чем может быть разговор!

И торжествующе ухмыльнулся.

Ночь была темная. Моросил мелкий невидимый дождь. Махов и Кириченко подползли к илистому, заросшему тальником берегу реки Случь. Где-то кричала одинокая птица. Махов предупредил Кириченко, чтобы разговоров не было.

Разыскав прибитую к берегу корягу, Махов знаком приказал Кириченко толкнуть ее в воду. На корягу положили винтовки, связки гранат. Раздевшись, Махов стал обвязывать голову осокой. То же проделывал и его товарищ. Потом они вошли в воду и, держась за корягу, медленно и неслышно поплыли.

Взобравшись на противоположный берег, они осмотрели оружие. Прячась в прибрежных кустах, поползли к мосту.

Светало.

Караул сидел в дощатой будке. Солдаты бесшумно играли в карты. Офицер спал, накрывшись одеялом. Часовые в мокрых шинелях стояли по двое у каждого конца моста, отвернувшись от косого дождя. Внезапно один часовой взмахнул в воздухе руками, пырнул вниз, под откос. Подмяв его под себя, Кириченко неторопливо вязал ему

руки и ноги мокрыми веревками. Часовой молчал. Такая же участь постигла и второго часового.

Часовой, стоявший на противоположной стороне, услышал под настилом моста, возле открытого пролета, слабый писк. Прислушался. Писк повторился. Часовой с равнодушным любопытством подошел к этому месту и наклонил голову. Переброшенный через перила, ударившись о камень, он упал в воду. Когда второй часовой услышал всплеск воды, он повернулся и не увидел товарища. Схватив свисток, он хотел поднести его к губам, чтобы дать тревожный сигнал. Но не успел. Сквозь паз настила высунулась рука и рванула его за ногу...

В дверь караульной будки кто-то робко постучал. Солдат, сидевший ближе к двери, небрежно толкнул дверь ногой.

И вдруг вышибленная резким ударом рама рухнула на пол. В окне появилось бледное мокрое лицо огромного человека. Взмахнув гранатой, он сказал тихо и густо:

— Руки вверх!

В двери стоял с наганом и гранатой Махов. Солдаты подняли руки. Офицер, вскочив, сонно озирался.

Час спустя 79-й кавполк первым промчался по мосту.

Двадцать седьмого июня Новоград-Волынский был взят. Польская армия с большими потерями в панике отступала.

Первая Конная двигалась на Львов.

1939

ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ

В мужественном и суровом армейском быту не принято обращаться к воину по имени и отчеству. Сдержанная лаконичпость свойственна языку бойца и командира.

А вот его, нашего санитара, все называли по имени и отчеству — Павел Филиппович. И командир так называл, и комиссар, и бойцы.

И это было высшим знаком почтения к человеку, не имеющему в своих петлицах никаких знаков различия.

Желтый блин лысины, выпуклое брюшко, валкая походка, постоянная добродушная улыбка в маленьких, чуть заплывших глазах свидетельствовали, что строевая выправка не совсем далась ему.

А между тем даже самые матерые фронтовики отзывались о нем как о человеке невозмутимой и дерзкой отваги.

На досуге Павел Филиппович любил рассказывать с воодушевлением о своей амбулатории в селе Малые Кочки, где он собственноручно выкрасил хирургический кабинет цинковыми белилами. И стал от этого кабинет белый, чистый, как фарфоровая мисочка.

Любил Павел Филиппович плотно покушать и выпивал целый котелок чаю с крохотным кусочком сахару.

Недавно произошел с ним такой случай.

В ночь наша часть должна была перейти в наступление.

Бойцы заняли исходное положение. Тяжелая артиллерия разрывала мрак ночи кровавыми полосами огня. Воздух колебался от тяжких взрывов. Черная земля, подымаясь в небо, осыпалась обугленными комьями.

Бойцы сидели в окопах, прижавшись к влажным стенам.

И вдруг в окоп неловко свалился человек. И когда он поднялся, браня свою неловкость, все увидели, что это Павел Филиппович.

Оглядевшись, Павел Филиппович строго спросил:

— Где тут у вас поспать пожилому человеку можно?

Подложив себе под голову свою зеленую медицинскую сумку, Павел Филиппович улегся в земляной нише. И скоро между интервалами канонады все услышали его храп.

На рассвете орудия смолкли. Цепи бойцов поднялись и пошли в штыковую атаку.

Вместе с бойцами был и Павел Филиппович. Полы его шинели были подоткнуты за пояс. Он бежал с озабоченным и серьезным лицом человека, очень занятого, целиком поглощенного своим делом.

И когда мина разрывалась почти рядом, Павел Филиппович, присев на корточки, оглядывался на воронку с таким раздражением, с каким глядел у себя там, в Малых Кочках, на сиделку, когда она, входя в операционную, неосторожно хлопала дверью.

И Павел Филиппович работал. Перевязав раненого, он взваливал его на спину и тащил на перевязочный пункт. При этом лицо его багровело, на лбу появлялись капли пота, он моргал, тяжело дышал. Все-таки возраст давал себя знать.

Но когда он разговаривал с раненым, добродушная, милая улыбка не покидала его лица.

— Голубчик,— сипло и удивленно произносил Павел Филиппович,— да разве это боль? Вот когда зубы болят — это действительно боль.

И, склонившись, Павел Филиппович бережно и ловко бинтовал ослабевшего бойца.

И странно, такая же добродушная, хорошая улыбка появлялась и на помертвевшем лице раненого.

Все дальше и дальше уходили бойцы, расчищая себе путь во вражеских укреплениях.

Все длиннее и длиннее становился маршрут Павла Фплипповича от места боя до перевязочного пункта.

Начало смеркаться.

В темном чадном воздухе летали какие-то черные клочья пе то пепла, не то жженой бумаги.

Павел Филиппович устал, он был уже без шинели, ворот гимнастерки расстегнут, лицо темное, пыльное.

Он потерял где-то пилотку, сбитую с головы толчком горячего воздуха от близкого разрыва снаряда.

Но по-прежнему на его лице оставалось озабоченное выражение очень занятого человека, немного сердитого на то, что ему мешают спокойно работать.

Павел Филиппович лазил по окопам, заваленным трупами вражеских солдат, заглядывал в каждую воронку и бодро выкрикивал:

— Ребята! Кто по мне скучает? Это я, Павел Филиппович.

Уже совсем стемнело. Красноватая луна плыла в дымном и черном небе. Следы воронок стали похожими на черные круглые колодцы, а толстые деревья с расщепленными наверху стволами походили на пальмы.

Политрук Гостев лежал в ржавой луже воды, вытекшей из разбитого кожуха пулемета.

Павел Филиппович поднял раненого, перевязал и понес его, спотыкаясь в темноте.

Канонада смолкла. С разных сторон слышалась сухая трескотня перестрелки.

И Павел Филиппович заблудился.

Он не знал, в какую сторону идти. Отовсюду слышалась стрельба.

Гитлеровские автоматчики заметили санитара, блуждающего со своей ношей, и дали несколько коротких очередей.

Павел Филиппович упал.

Когда он очнулся, плечо его болело так, словно кто-то засунул в рану подпилок и шаркал им.

Павел Филиппович с трудом сел, раскрыл свою сумку и вынул оттуда последний индивидуальный пакет.

Застонал политрук. Санитар наклонился над ним и ощупал его окровавленную голову.

Он стал перевязывать голову политрука.

Гостев пытался оттолкнуть его руки — он видел, что Павел Филиппович сам истекает кровью. Но Павел Филиппович, навалившись всем телом на раненого, закончил перевязку.

Стиснув зубы, шатаясь, Павел Филиппович поднялся и, подхватив политрука под мышки, понес его.

Голова горела, в глазах плавали алые пятна. Павел Филиппович не слышал, как фашистские автоматчики стали снова бить по нему частыми очередями трассирующих пуль.

Он шел, зажмурившись от дикой боли, не выпуская политрука, шел, пока не упал.

Очнувшись, Павел Филиппович увидел над головой чистое звездное небо. Мимо его лица скользили кусты, а под ним находилось что-то живое, теплое.

Это раненый политрук тащил на себе Павла Филипповича.

Но разве настоящий санитар позволит, чтобы его, раненого, нес другой раненый?

Павел Филиппович, побеждая слабость, сполз со спины политрука и взвалил его себе на спину.

Когда, проваливаясь в тьму обморока, он терял силы, перед ним вдруг снова появлялся кусочек неба. И тогда он снова пробуждался, замечая, как высокая трава скользит мимо его лица.

И так продвигались они, изнемогая, истекая кровью, поочередно впадая в забытье, поочередно неся друг друга.

В госпитале койки Павла Филипповича и политрука Гостева поставили рядом.

Но, видно, медики не умеют себя вести в этом учреждении, как приличествует раненым. Павел Филиппович частенько ссорился с персоналом, так как хотел ухаживать за ранеными сам.

1941

ДАНИЛА

В позапрошлом году колхозники вырыли пруд. Плотину обсадили березами. На две тысячи рублей купили мальков. И в пруду развелись зеркальные карпы.

Данилу назначили сторожем пруда. Он полол водоросли, чистил русла студеных ключей, впадающих в водоем, подкармливал рыбу отрубями.

Колхоз получил с пруда одиннадцать тысяч рублей дохода. Данилу премировали патефоном. Он зазнался и запретил женщинам полоскать в пруду белье. Целые дни Данила ковырялся в воде, полуголый, облепленный тиной и водорослями. Лунными вечерами он разгонял парней, гулявших с гармошкой возле пруда.

— Рыбе покой нужен! — кричал Данила.— Карп, он, как свинья, нервный.

И вот узнали все: близко враг.

Колхозники погрузили свое добро на подводы, и длинные вереницы телег потянулись по расквашенной осенней слякотью земле. Председатель не смог уговорить Данилу уехать. Когда все ушли, Данила поднялся с печи, проковылял по осиротевшему колхозу, поднялся на дамбу, сел там у кривой березы и долго курил, глядя на сверкающую небом воду.

Отряд гитлеровцев расположился в колхозе. Данилу допросили и после не трогали. Посылали рыть картошку, таскать солому в хаты для ночевки солдатам. И побили всего только два раза. Один раз потому, что не снял вовремя шапку перед офицером, другой раз за то, что надел полушубок, хотя на вопрос, есть ли у него теплые вещи, сказал «нет».

Как-то в колхоз пришла танковая колонна. Машины поставили за прудом в балке и замаскировали. Данила сверху, с дамбы, наблюдал, как расстанавливали тяжелые

машины, и его морщинистое, старое лицо оставалось равнодушным.

Вечером он пришел в хату, где поселился офицер, и, сняв шапку, сказал:

— Если ваше благородие желает рыбки, то я могу предоставить.

Офицер сказал:

— Карашо.

Ночь была темная. Данила пришел на дамбу со снастью, завернутой в холстину. Отдохнув, он спустился по другую сторону дамбы с лопатой в руках и, поплевав на ладони, принялся подрывать насыпь.

На рассвете из балки послышались крики немецких танкистов, выстрелы. И когда на помощь им сбежались караульные, балка была полна темной водой, а на поверхности плавали немецкие танкисты, взывая о помощи.

Данилу нашли у пустого, теперь безводного, пруда. Он сидел, обессиленный, возле кривой березы и курил. Лопата лежала рядом.

Офицер приказал расстрелять Данилу. Его поставили спиной к березе. Глядя пристально в глаза офицеру, Данила серьезно спросил:

— А как же насчет рыбки, ваше благородие? Я же ее на ваш аппетит наготовил,— и кивнул в сторону пруда, где в жидкой тине билась, засыпая, тяжелая рыба.

Офицер выстрелил и промахнулся. Данила вытер о плечо кровь с рассеченной пулей щеки, ясно улыбнувшись, посоветовал:

— Чего торопитесь? Может, меня лучше повесить? Я бы тебя обязательно повесил, чтоб ты ногами землю шкреб, чтоб ты...

Данилу сбросили вниз с дамбы. Он лежал в тине лицом вниз, и возле его широко раскинутых рук, как золотые скользкие слитки, трепетали засыпающие зеркальные карпы.

1941

ПЯТЫЙ НОМЕР

— Все люди как люди: воюют, в атаки ходят, фашиста от всей души самостоятельно бьют, только я один какой-то неопределенный товарищ.

Первый номер, недавно назначенный первым номером и поэтому еще очень гордый, принимая патроны от ротного подносчика боеприпасов Степана Сидоренко, так ответил на его жалобу:

— В армии все должности почетны. Но, во-первых, у каждого человека есть к чему-нибудь способность, и он должен ей соответствовать. Во-вторых, всего можно достигнуть. У меня, например, высшее стрелковое образование. Любой расчет в уме без линейки произвожу. И мой номер первый. А ты вроде как пятый.

Сидоренко, собирая стреляные гильзы в мешок, печально огрызнулся:

— Хоть и пятый, но без меня вам не обойтись.

Заложив ленту, первый номер дал по противнику франтоватую очередь. Два патрона — интервал, два патрона — интервал. Потом, оглянувшись через плечо, степенно заметил:

— Человек ты необходимый, точно.

Сидоренко вздохнул, взвалил себе на плечи мешок и поползъ обратно.

Земля покрыта снегом, сухим, чистым, почти голубым.

Сидоренко легко скользит по пушистому покрову, а когда впереди него снег взметается серебристой пылью от пулеметной очереди, он сползает в выбоину или прячется за бугорок и ждет, высматривая, в какое место ляжет новая трасса.

Он давно уже привык к тому, что немецкие снайперы охотятся за ним. Научился обманывать их, научился точно предугадывать огневой маневр врага. Точно знал, где ну-

жно проползти, как говорится, почти копая носом землю, или быстро перебежать, согнувшись в три погибели. Весь маршрут свой он изучил так, как иной человек не знает своей улицы. В особенно гибельных и опасных местах он готовил себе ночью ямки, чтобы можно было передохнуть.

Сидоренко считали хорошим подносчиком боеприпасов, и пулеметчики, которых он обслуживал, были всегда уверены, что Сидоренко никогда не подведет и, как бы сильно ни простреливалась местность, доставит боеприпасы вовремя.

Но Сидоренко было двадцать лет. У него было толстое доброе лицо и горячее сердце. Каждый раз, жалуясь на свою судьбу, он невольно навлекал на себя веселые насмешки приятелей. И те трунили над ним, называли его «пятым номером», хотя каждый отлично знал, что Сидоренко бесстрашный человек и замечательный подносчик.

В пункте боепитания, выдавая ящик патронов, сержант сказал однажды Сидоренко:

— Ты бы, Степа, попросил командира, чтобы он тебе пару черепах из Москвы выписал,— в гужевой упряжке боеприпасы возить, вроде танкеток на малом ходу. Только вот погонять их нечем. А так подходящее животное вполне.

Сидоренко сердито ответил:

— А ты бы, Владимиров, хоть бы фартук на себя надел. А то товар отпускаешь, а виду настоящего нет. И вывеску закажи.

Сержант побагровел и не нашелся, что ответить.

Ползти обратно Сидоренко пришлось труднее: фашисты открыли сильный минометный огонь.

Сидоренко метался от воронки к воронке. Прижавшись к еще теплой после разрыва земле, он намечал себе ближайший пункт для перебежки. Поправив на спине ремни, поддерживающие ящик с патронами, он снова на четвереньках бросался вперед.

В интервалы между минометными разрывами по нему сухо били из автоматов снайперы. Пуля разрезала ремень, и Сидоренко полз теперь, толкая ящик впереди себя.

Случилось так, что пулеметчики были вынуждены перенести огневую позицию, а фашисты выбросили вперед автоматчиков для уничтожения огневых точек. Сидоренко, не зная этого, пробирался к пустому месту, куда навстречу ему ползли и вражеские автоматчики.

Когда первый номер заметил черную точку на снегу, он догадался, что это Сидоренко, а увидев приближающуюся

навстречу подносчику цепочку автоматчиков, понял, что подносчик обречен.

Открыв фланговый огонь, первый номер приказал второму номеру сообщить отделенному о бедственном положении Сидоренко.

Отделенный командир сказал командиру взвода, что потерять такого драгоценного человека, как Сидоренко, невозможно, и получил разрешение атаковать отряд автоматчиков.

Автоматчики, увидев красноармейцев, бегущих на них, запросили огневой поддержки. Застучали немецкие станковые пулеметы.

Командир взвода запросил командира роты. Рассказав обстановку, он заявил, что оставлять на погибель лучшего подносчика невозможно. Ротные минометчики выдвинулись вперед, открыли огонь по немецким пулеметам. Заговорили немецкие минометы. Командир роты запросил командира батальона, и артиллеристы открыли огонь по немецким батареям.

Воздух гудел. Черная земля и желтые перья щепок от разбитых вражеских блиндажей вздымались в небо.

Наши поднялись и перешли в атаку.

К вечеру бой стих.

Часть, заняв новый рубеж, наскоро чинила разбитые немецкие укрепления, устанавливала орудия.

На рассвете в блиндаж майора позвонил командир полка. Поздравив с хорошо проведенным боем, он спросил, удалось ли выручить подносчика боеприпасов Сидоренко. Майор запросил об этом командира роты. Командир роты вызвал командира взвода. Взводный послал связного к отделенному. Отделенный сказал, что сейчас выяснит, и пошел к бойцам.

И он нашел Сидоренко. Сидоренко сидел в окопе рядом с первым номером, недавно назначенным первым номером и еще гордым поэтому, и сердито говорил ему:

— Как ты мог сомневаться и Плюшкина из себя строить, когда тебе по фашисту нужно было хлестать и хлестать? Если бы тебе кто другой боеприпасы носил, тогда сомневайся, экономь. Адрес переменили — ну так что ж! На снегу написано колесами, куда отошли. Что я, безглазый, что ли! Нашел же сразу.

— А автоматчики?!

— Ну так что ж! — сказал Сидоренко раздраженно.— Я на этой местности как у себя дома или в тире. Им пря-

таться некуда. Мне же пострелять — удовольствие. В кой раз пришлось повоевать по-человечески! А то все на брюхе и на брюхе.

— Ну как, все в порядке, товарищ Сидоренко? — спросил отделенный командир.

— Так точно,— вытягиваясь, отрапортовал Сидоренко. Потом извиняющимся тоном добавил: — А что касается моей задержки в связи с фашистами, так я пострелял самую малость, чтобы освежиться. Но перебоев в снабжении не было. Товарищ первый номер может подтвердить.

Через пять минут командиру полка было доложено, что подносчик боеприпасов Степан Сидоренко цел и невредим.

— Очень хорошо,— сказал командир полка.— Бойцов нужно беречь.

1941

НА ТЯЖЕЛОМ БОМБАРДИРОВЩИКЕ

Комиссар сказал:

— Наши ночники летают в любую погоду. По существу, нелетной погоды для нас нет. Вот сейчас луна. Штурманы ее любят. А летчики ненавидят больше, чем прожекторы неприятеля. Так что судите сами, хорошее ли время вы выбрали для полета. Но если вы настаиваете — не возражаю, потому что хотя мы и летаем вслепую, писать о нас вслепую нельзя...

Итак, мы получили разрешение на полет.

Гигантская машина с чудесной и непонятной легкостью оторвалась от земли.

Внизу земля. Она ни на что не похожа. Не то это озеро, покрытое рябью, не то сплошное поле, изборожденное колеями. И все это дымится облаками и туманами, измазано тенями. Все это для штурмана считается «хорошей видимостью». Он работает у себя в кабине с таким спокойствием, словно он в кабинете.

Внезапно ослепительный свет прожектора ударил в кабину. Прожектор — глаз зенитки. Но штурман посылает ракету, и прожектор гаснет. Мы — свои, над своим городом.

Наш корабль продолжает путь. Он должен, достигнув линии фронта, бомбить скопления войск противника в районе Западной Двины. Но как распознать реку, когда мы минуем их одну за другой, покрытые туманом, смешанным с облаками.

Штурман дотрагивается до плеча и показывает на карту, а потом вниз. И мы начинаем различать там, на земле, белую узкую тропинку, которая называется Днепром. Самолет идет точно по курсу.

Мы в облаках. Леденящая сырость покрывает окна, одежду. Вот так и начинается обледенение. Летчик сбрасывает высоту и выныривает из облаков.

Впереди внизу мерцают условленные сигналы. Это три костра, выложенные на нашем берегу реки. А на том берегу, где враг, пылают четыре других костра, четыре очага пожара, — это фашистская сволочь зажгла наши деревни.

Внизу расстилается зрелище ночного боя. Земля выстлана огненными тропами летящих снарядов, вспыхивают разрывы, мигают и гаснут пулеметные очереди.

Разворот на цель. Мы у бомбовых люков. Самолет медленно парит в воздухе над целью. Тяжелые бомбы летят вниз. И там вздымаются груды дыма. Видно, как огромные лужи огня, ширясь, растекаются по темной земле.

Внезапно красные огоньки стали карабкаться нам навстречу. Это бьет зенитная пушка. Корабль наплывает на нее все ближе. Две бомбы, и пушечные огни погасли.

Задание выполнено. Все бомбы сброшены. Даже тара из-под мелких авиабомб — пустые ящики — сброшена вниз. Авось кого-нибудь еще пристукнет!

Мы возвращаемся домой, на свой аэродром. Летчики сказали бы кратко, как они обычно говорят:

— Вылетели, отбомбились, вернулись.

Три слова. Но за этими тремя словами — подлинный героизм, совершенное искусство пилотов, непоколебимая прямая штурманской выкладки, безупречное мастерство борттехников, зоркость стрелков и необыкновенная слаженность всего экипажа. Мы видели в этом полете работу командиров кораблей — капитана Филипа, старшего лейтенанта Степанова, штурманов — капитанов Климова и Чистякова и их славных экипажей. Вчера их наградили орденами боевого Красного Знамени, сегодня они в воздухе. Они живут в воздухе, они любят его.

На земле они только отдыхают и готовятся к следующему полету. В любую ночь. В любую погоду. По любому заданию.

1941

БЕССОННИЦА

Днем он обычно спит. К вечеру оживляется. Разложив на земле газету, он чистит оружие.

В деревянном самодельном пенале аккуратно уложены запалы.

Брезентовый пояс, похожий на спасательный пробковый, начинен несколькими килограммами взрывчатых веществ.

Действительно, лучше не курить, находясь рядом с таким собеседником.

Ему приходится таскать на себе здоровенную тяжесть.

А гранаты? Он обвешивает ими себя, как плодовое дерево в урожайный год.

— Удобная штука.— Он показывает сумку, набитую синими рубчатыми «лимонками».

А я думал — в ней консервы.

Приладив на себе свое имущество, он подпрыгивает и прислушивается, не бренчит ли снаряжение.

Почему-то сердито объясняет:

— Мне шуметь нельзя. Я тихо себя вести должен.

Одет он строго по форме. Только на локтях и коленях подшиты брезентовые заплаты.

— Чтобы, когда ползешь в грязи, в сырости, не так промокало. У меня ревматизм.

— Но почему вы не наденете штатское? Меньше же риска.

Он резко повернул ко мне свое лицо, худое, темное, с гневными глазами.

— Я боец Красной Армии. И если поймают, я хочу умереть с честью.— И тихо добавил: — Нашего брата они очень некрасиво мучают. А в этой одежде я себя, в случае чего, лучше буду чувствовать.

У него совсем молодое лицо, а голова седая.

— Спокойной ночи,— говорит он мне и уходит своей бесшумной поступью.

В темном лесу глухо стучит артиллерия, как огромная кузница. В небе вспыхнула не то падающая звезда, не то ракета.

На следующую ночь в расположении противника внезапно открылась беспорядочная ружейная и пулеметная стрельба.

— Паникуют фашисты,— объяснил мне батальонный комиссар.

А утром комиссар, разбудив меня, весело сказал:

— Представьте, я был прав вчера. Это наш разведчик, возвращаясь с задания, напоролся на немецкую заставу. Те его стали преследовать, а он побежал от них не в сторону нашего расположения, а обратно к ним. И открыл огонь из автомата по находившемуся впереди немецкому охранению. Солдаты охранения стали бить из всех средств. Солдаты заставы на огонь ответили огнем. Так и молотили друг друга до утра.

— А разведчик?

— Разведчик только что доложил мне о выполнении задания и сейчас спит как миленький.

Тогда я рассказал о своем знакомом и спросил, не он ли это.

— Он,— сказал комиссар.— Я этого человека хорошо знал еще до войны. Двадцать второго июня, в воскресенье, утром он настраивал у нас в клубе рояль. Вечером у него должен был быть концерт. Он всегда сам перед концертом настраивал инструмент. И когда в тот день он возвращался домой, фашисты открыли по нашему пограничному городку внезапный подлый огонь из тяжелых орудий. Снаряд попал в его дом. У него были дети, жена. Она выступала с ним в концертах. Очень красивая женщина.

Ну, что потом? Мы с боем отходили. Он был с нами. Опустился, часто плакал, не спал ночами, не давал никому покоя, как помешанный. Я разозлился и как-то сказал: «Вы бы со своей бессонницей лучше в ночную разведку сходили. Это лучше, чем других мучить». И он пошел. Потом стал ходить всегда. Теперь из него получился замечательный разведчик — смелый, спокойный, вдумчивый. Но и музыкант он тоже хороший.

Комиссар замолчал и, полузакрыв глаза, попытался вспомнить какой-то мотив. Потом сказал:

— Дочка у меня. Она часто пела эту штуковину.—

И глухо добавил: — Собственно, теперь дочери нет. Полгорода снесло тогда начисто...

Мы вышли из блиндажа. Высокие сосны стояли в чистом осеннем воздухе, как зеленые башни.

На земле, под деревом, спал разведчик, подложив под голову свой, уже порожний, брезентовый пояс.

Комиссар задумчиво посмотрел на него, потом тихо сказал:

— Все-таки, я думаю, мы его еще когда-нибудь услышим. — И снова повторил: — Замечательный музыкант!

В воздухе с ревом, почти задевая макушки деревьев, пронеслась стая наших штурмовиков. Мы услышали, как артиллерия начала мерно бить по огневым точкам врага.

Точки эти были выявлены вчера нашим разведчиком.

1941

МОСТ

На нашем участке фронта переправы стали местом самых жестоких боев.

Тишайшие заводи с белыми пятнами кувшинок, берега, опушенные ивами, отмели, стеклянно мерцающие водой,— все прорезано глубокими земляными укреплениями.

Их нет больше, кротких рек, они стали теперь водными рубежами.

Для танковой бригады нужно было соорудить переправу: одну — настоящую, по которой тяжелые машины могли бы неожиданно ворваться в расположение врага, другую — ложную, чтобы отвлечь внимание противника от первой переправы.

Ложную переправу вызвались строить бойцы второго взвода саперного батальона. Они должны были сколотить мишень для врага и оставаться на этой мишени до конца операции.

Столяр Григорий Березко даже среди лучших мастеров слыл у себя на родине великим искусником. Узор резных наличников, который он надевал на хаты, могли повторить потом только кружевницы.

Но и тогда, когда из толстых бревен вязались перекрытия для блиндажей, Березко был не последним.

Березко любил свой труд, свое ремесло и был очень нетерпелив к людям, не умеющим находить радость в работе. И потому не пользовались у него уважением Василий Нещеретный и Петр Неговора, молодые саперы, которые с охотой променяли бы весь свой шанцевый инструмент на любую винтовку,— они безмерно завидовали всем тем, кто в тесных схватках бьет фашиста и штыком и гранатой.

Однако ребята горячо принялись за дело. Боясь, чтоб противник не проворонил возводимую ими ложную пере-

праву, саперы начали свою работу с излишним шумом и треском.

Стоя по пояс в воде, они били бабой по сваям так, чтоб удары звучали как можно громче.

И враг не заставил себя ждать. Батарея открыла огонь по переправе. Пенистые столбы грязной воды поднялись вверх, вздыбленные фугасными взрывами.

Труд воодушевляет человека. Но работать для видимости — строить мост, которым никто никогда не воспользуется, сколачивать хилую тень моста — и впрямь тошно.

И стал подмечать Березко, что сам он дольше, чем нужно, задерживается на берегу, а его бойцы все неохотнее ступают на шаткий настил. Он увидел, как Неговора, пугливо присев при взрыве снаряда, обронил в воду свой топор, а Нещеретный не глядя тюкал топором и портил хороший горбыль. А тут еще немцы, пристрелявшись, стали так бить по хлипкой переправе, что мокрые щепы разлетались, как перья. И вознегодовал Григорий Березко на себя, на ребят и на все на свете. Размахнувшись, он всадил изо всей силы топор в дерево и, вытянув руки по швам, приказал:

— Бойцы, смирно! — Потом медленно и раздельно произнес: — Здесь я командующий. Понятно? Фальшивый мост отменяю. Будем строить настоящий. А если по нему ездить не будут, это не важно. Пускай для гордости стоит.

Будто нашли бойцы что-то очень дорогое, что считалось утерянным. Словно переменились они после этих слов. Давно ли еще сутулились, вжимали головы в плечи, и глаза их были скучные-скучные! Забыв об опасности, о страхе смерти, они начали сноровисто и уверенно укладывать толстые бревна тесными рядами, вязали железными скрепами накрепко, и уж никто из них не кланялся снарядам.

Обхватив многопудовую бабу могучими ручищами, налившись с натуги до синевы, Березко сипло выкрикивал:

— А ну еще раз, чтоб знали про нас!

Свая с каждым ударом все глубже и глубже уходила в грунт.

Когда снаряды, падая на переправу, дробили бревно, разрывали стяжки, люди еще злее, еще азартнее воздвигали новые пролеты. Они вступили в единоборство с батареей врага. И ярость огня не могла пересилить трудовой удали мастерового человека.

Немцы сосредоточили на переправе весь свой огонь. Но они не могли преодолеть упорства русских людей. И тогда

к переправе была брошена группа фашистских автоматчиков.

Соорудив баррикаду из бревен, Григорий Березко вместе со своими бойцами защищал свой труд, свою переправу. И когда вышли все патроны, саперы бросились на врага с топорами в руках...

В назначенное время наши танки пошли в атаку. Внезапно навстречу им поднялся ползущий по земле человек и, подняв окровавленные руки, закричал:

— Товарищи! Пожалуйте и на нашу переправу! Она настоящая, на рамах, вам двумя эшелонами переправляться проворнее будет.

Это был молодой сапер Петр Неговора.

И тогда часть танковой колонны, развернувшись, покатилась в сторону фальшивой переправы.

Когда тяжелые машины мчались по новому мосту, ни одна свая его не дрогнула, ни один настил не прогнулся.

Из щелей, из окопов к освобожденным селам стекались колхозники. И, еще не выкопав своего скарба из земли, прихватив косы, они уходили в поле убирать тяжелую пшеницу.

Над черной рекой, усыпанной звездами, стоял высокий прочный, новый мост. Люди, у которых фашисты сожгли жилища, приходили любоваться этим мостом. Многие пытались узнать имя мастера, чтоб потом пригласить его к себе срубить новую пятистенную избу с кружевными наличниками, узор которых могли повторить только самые искусные рукодельницы.

1941

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПЕРЕПРАВОЙ

Он держался с необыкновенным достоинством, этот рыжеватый худенький паренек с темными от пыли босыми ногами. Даже веснушки на его лице приобрели какой-то воинственный медный оттенок, когда он отдавал пионерский салют командиру.

Отрекомендовался он внушительно и лаконично:

— Алексей Андреич.— Потом, значительно кашлянув, добавил тише: — Занимаемся переправой.

В командирском шалаше, за чаем и жареной картошкой, он стал более снисходительным и разговорился.

Вот уже одиннадцать дней, как он, Алексей, житель поселка Н., стал командиром ребячьей команды и заведующим переправой.

Их восемь человек. Самому старшему четырнадцать лет, самому младшему — девять. У них имеется самодельный плот. На нем уже переправили трех раненых бойцов.

Палочкой он пробовал начертить вражеские расположения в лесу. А когда командир спросил, какие у врага огневые силы, Алексей вынул из кармана горсть черных и белых камешков и разложил их. Белые камешки означали пулеметы, черные — пушки. Количество броневиков было обозначено узелками на веревочке.

— А мать и отец у тебя есть? — спросил командир.

Алексей обидчиво надулся, потом гордо сказал:

— Я вас про ваши семейные дела не спрашиваю. Я к вам для дела пришел. Винтовки вам хорошие надо?

— Пригодятся,— согласился командир.

Алексей встал и строго сказал:

— Пришлите вечером к переправе бойцов.

Вечером на указанном месте бойцы нашли восемь мокрых винтовок.

На следующий день, утром, Алексей явился к команди-

ру еще более надменный и важный. Нетерпеливо выслушав слова благодарности, он сказал пренебрежительно:

— Винтовки у гадов таскать, когда они пьяные, всякий может. Вот пушку притащить — это интересно.

— А разве можно? — полюбопытствовал командир.

— Если с умом взяться.

И тут паренек не выдержал своей роли невозмутимого заведующего переправой. Жестикулируя, размахивая руками, он изобразил, как фашисты пытались вытащить увязшую в тине пушку, как офицер хлестал солдат плетью.

Ночью ребята на своем плоту переправили семь бойцов на тот берег. И на рассвете покрытая илом 45-миллиметровая пушка и 82-миллиметровый миномет находились уже в нашем расположении.

Ребята, уморившись за ночь, спали в шалаше командира.

Части нужно было уходить на новые позиции. Командир бродил возле шалаша, не решаясь будить ребят. Наконец он решился. Дотронувшись до плеча Алексея, тихо сказал:

— Алеша, я с тобой проститься хочу. Уходим мы. Что тебе на память оставить?

Алексей улыбнулся и, осмотрев командира с ног до головы, остановил жадный взгляд на нагане.

Командир молча отстегнул револьвер и подал мальчику. Алеша взял наган в руки; лицо его сияло. Он умело вынул из барабана патроны, пощелкал курком, но потом, вздохнув печально и протяжно, протянул револьвер командиру:

— Возьмите. Мне нельзя его при себе иметь. Фашисты обыщут и догадаются, что я разведчик. Тогда и других ребят найдут и расстреляют.

И он вернул наган командиру.

Они молча попрощались, крепко пожав друг другу руки.

Командир долго еще оглядывался на зеленый шалаш, где сладко спали его разведчики и их глава — заведующий переправой.

1941

ДЕКАБРЬ ПОД МОСКВОЙ

В декабре 1941 года я был направлен на южный участок Западного фронта, в 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

Оккупанты отступали по дорогам.

Кавалеристы волокли по целине орудия, поставленные на сани.

Они шли без обозов, к седлам были приторочены только тюки с прессованным сеном и ящики со снарядами.

На марше мне как корреспонденту фронтовой газеты было предоставлено почетное место в санях, на которых стояло орудие.

В те дни стояла жестокая стужа. Мы двигались в полной тишине, и только раздирающий кашель простуженных коней нарушал ее.

Рядом со мной на санях лежал раненый боец Алексей Кедров. Ему переломило ногу колесом орудия.

Он почему-то невзлюбил меня с самого начала нашего знакомства.

— Ты корреспондент? — спросил он меня. И когда услышал ответ, едко заметил: — Значит, про геройство факты собираешь? А сам все время руки в карманах держишь. Поморозить боишься, что ли?

— Мне сейчас писать нечего.

— То есть как это нечего? — возмутился Кедров. И вдруг пронзительно крикнул ездовому: — А ну, Микельшин, расстегнись!

— Это зачем? — спросил Микельшин, медленно, с трудом выговаривая каждое слово; видно было, что он смертельно продрог.

— Расстегнись, тебе говорят!

— А ну тебя, не вяжись,— равнодушно сказал Микельшин и еще больше съежился.

Кедров ухмыльнулся и довольным голосом пояснил:

— Видали, какой неприязненный, а гимнастерка и белье его на мне, шинель у него прямо на голом теле. Раненый сильнее здорового мерзнет, вот он и оголился.— И тут же прежним неприятным, едким тоном бросил Микельшину: — Только ты имей в виду: старшина с тебя за казенную вещь все равно спросит, а я, пока меня в теплый санбат не отправят, ни за что не сниму.— Оживившись, добавил: — Да и не раненый я вовсе, так что никто тебе тут ничего не зачтет.

— Ладно, мели, Емеля,— сказал Микельшин и стал чмокать на лошадей застывшими губами.

— Есть хочешь? — вдруг с внезапной заботливостью спросил меня Кедров.

— Хочу,— сказал я нерешительно.

— Все равно, хочешь или не хочешь, тут тебе сейчас никто хлеба не даст, свои люди уже двое суток куска не видели,— заявил он с таким торжествующим видом, словно был рад, что действительно ни у кого нет куска хлеба.

Я уже хотел с обидчивой горячностью заявить ему, что я не первый день на фронте и меня такими вещами не смутишь, но лицо Кедрова вдруг перекосилось в плаксивую гримасу, и он, повернув перекошенное лицо к проезжавшему мимо политруку, заныл голосом страдальца:

— Что же такое, товарищ политрук, бросили раненого бойца, вторые сутки не евши, на что же это похоже!

Чувство боли и смущения исказило почерневшее от стужи лицо младшего политрука Павлова. Он суетливо стал шарить у себя по карманам. И когда я увидел, как он вывернул из платка на руки Кедрова остатки черного сухаря, не нужно было слов, чтоб понять, что эти крохи были хранимы для самого крайнего случая. Павлов, отдав сухарь, отъехал, пробормотав, что он спросит у ребят, может быть, у них еще что-нибудь сохранилось. А Кедров, ухмыляясь мне в лицо, держа на ладони куски сухаря, ликующе произнес:

— Видали, последнее отдал. А мне ребята сала собрали, сказали: «В бою не до тебя будет, так ты питайся». Мне одного сала на неделю хватит.— И похвастал: — Сам командир вторые сутки не курит, а у меня табаку оба кармана, пощупай.

— Знаете, Кедров,— я уже больше не мог сдерживаться,— хоть вы и раненый, но ведете себя как самый последний...

— А я вовсе не раненый,— каким-то противно-радостным тоном сказал Кедров. Потом глухо выговорил: — Меня за то, что по суетливой своей дурости сам себе ногу отдавил, бросить на месте надо бы. Я действительно тут человек самый что ни на есть последний. А ты не горячись обо мне, ты горячись, что кругом такие люди хорошие, а то руки в карманы засунул и сидишь себе барином — ему столько-то фрицев подавай, а до остального дела нет. Да из-за этого одного тебя нечего было в сани класть, коней от тебя мучить!

Последние слова он произнес с такой болью и гневом, что я невольно растерялся. И в таком неожиданном свете представилось мне вдруг все, что я начал довольно-таки нелепо просить извинения у Кедрова.

Но он прервал меня и с отчаянием, с предельным человеческим отчаянием сказал только:

— Я же мучаюсь из-за глупости: в такое время, как кукла, здесь лежу. Ведь оккупанту переворот души делаем, а я — кукла. Что ж, выходит, я только топать от него мог, а как он от нас, так мне за ним бежать не на чем?

Кедров заскрипел зубами, приподнялся, но Микельшин, до этого молчаливо слушавший весь разговор, сердито и громко сказал:

— Не бунтуй! Ты покури, от головы и отойдет.

— Возьми гимнастерку, Микельшин, надоели вы мне,— с жалобным отчаянием попросил Кедров.— Мне она в подмышках режет.

Микельшин выпрямился, гикнул на лошадей, потом, обернувшись ко мне, со слабой улыбкой сказал:

— Вы не оскорбляйтесь на него, он парень хороший, он только боится, чтоб вы про него в газету не дали как про небрежный случай, вот и задирается. Сам, конечно, виноват: нечего было, когда орудие завалилось, одному удерживать. Разве один человек может! Горячий больно. Но вы его в газете не трогайте. Он и так переживает.

Ночью мы остановились в белом, застывшем лесу. Снег здесь был плотный, фарфоровый и проламывался только под копытами коней.

С шоссе, которое находилось в двух километрах от нас, доносился гул боя.

Разведка доложила, что передовой отряд врезался в танковую колонну и несет большие потери.

Командир приказал поскорей выбросить вперед артиллерию. Потом и вся часть подтянулась ближе. Спешившие-

ся кавалеристы уходили в цепи. Коноводы, поставив коней в овраг, растирали им спины и бока, покрытые инеем, и потом накрывали всем, что было, боясь, как бы кони не простудились.

Звук выстрела танкового орудия, резонируя на броне, достигает какой-то особенно звонкой силы. Холодный и чистый воздух усиливает звук.

Кажется, что ты стоишь в гигантском стеклянном колоколе и почти слепнешь от его звона.

Вырыть щели в твердой, как камень, земле было невозможно.

Снаряды, задевая вершины деревьев, разрывались вверху, осыпали осколками. И уже кричала раненая лошадь.

Я стал за стволом дерева и, чтоб не думать, что могут убить, вздрагивающими пальцами пытался записать, как выглядят снег, и лес, и люди, освещенные пламенем разрывов. Это была какая-то чепуха из наспех набросанных слов, но мне это было нужно, чтобы не поддаваться тому, чему поддаваться нельзя.

Несколько раз я слышал, как звали санитара, а потом услышал, как крикнули:

— Корреспондент, сюда!

Я вышел из-за прикрытия.

Возле командира полка, подполковника Тугаринова, стояли навытяжку пять спешившихся бойцов, держа под уздцы своих коней.

Обратившись ко мне, подполковник сказал:

— Вынимайте блокнот и пишите. Сначала всех по фамилиям. Записали? Теперь так... Вы покруппее, чтоб разобрать легче... Пишите! Вышеназванные бойцы совершили героический подвиг, подорвав лично гранатами четыре вражеских танка, которые оказывали бешеное сопротивление нашим кавалеристам. Они отдали свою жизнь за Родину. Слава героям!.. Еще что-нибудь сильное припишите. Люди ведь на смерть идут.

И, отвернувшись от меня, подполковник скомандовал:

— По коням, товарищи!

Четверо бойцов взлетели в седла, но пятый замешкался и тревожно шагнул ко мне.

— Ты что, Баранов? — удивленно спросил подполковник.

Боец смутился и почти шепотом произнес:

— У нас в эскадроне два Барановых, я бы хотел попросить товарища корреспондента проставить, что я Виктор.

— Хорошо,— сказал подполковник.— Запишите.

Мы долго следили, как между белыми деревьями, озаренными розовым, нестерпимым блеском разрывов, удалялись пятеро всадников.

Раскрыв портсигар, подполковник протянул его мне, но тут же досадливо захлопнул и сказал:

— Хоть бы покурить им перед этим делом было что, а то вот, видите, пусто.— И задумчиво добавил: — Вызвались атаковать в обход на конях и забросать противотанковыми гранатами. Вы уж, пожалуйста, про них напишите. Ребята очень обрадовались, когда я им сказал, что у нас корреспондент имеется. Если хотите, я могу вам фонариком посветить. Время есть, зачем же откладывать.

И так трогательно проста была эта просьба, и такое человеческое величие было в том, что я сейчас видел... Какими же словами нужно писать об этом! Да и есть ли они на свете, такие слова?

Можно ли встретить более благоговейную веру в высокое предназначение напечатанного слова?

Я писал стынущими пальцами, а командир, склонившись, перечитывал написанное мной и осторожно вносил поправки.

— Вы и обстановку опишите,— просил он.— Ведь если мы шоссе сейчас не перехватим, остальные силы подойдут, а нам их же танками шоссе заклинить надо. В обход они идти не смогут: лес танкам не пройти. Нам шоссе только оседлать. Ведь результат всей нашей операции от этих бойцов зависит, вот как высоко их подвиг поднять надо.

Наша работа была прервана промчавшимся мимо всадником. Одна нога его стояла в стремени, а другая — толстая, завернутая в обрывки плащ-палатки,— свободно болталась.

Рядом со всадником бежал Микельшин, пытаясь поймать коня за уздцы. Но это ему не удалось.

Нетрудно было догадаться, кто был этот всадник.

Немного погодя со стороны шоссе послышалась частая автоматная стрельба, орудийные выстрелы и глухие, тяжелые взрывы противотанковых гранат.

Меж деревьев поднялось медленное маслянистое красное пламя, и поющий звук русского «ура» проник в самое сердце.

Когда я добрался до шоссе, здесь все было кончено.

Темные, развороченные взрывами укладок со снарядами танки стояли в талых лужах. Здесь же лежали мертвые кони.

Артиллеристы поспешно долбили каменную землю, устанавливая вдоль шоссе орудия. Бойцы также готовили себе окопы. Минеры впереди укладывали мины.

Шоссе, таким образом, было перехвачено, враги оказались в мешке.

Я обратил внимание на то, что немецкие танки были выкрашены в ярко-желтый цвет. Подполковник объяснил мне, что это те самые танки, которые были переброшены Гудериану из Африки для нанесения последнего, решающего удара по Москве. Их даже не успели перекрасить.

Потом мне сказали, что меня хочет видеть один раненый боец.

И я снова увидел Кедрова. Он лежал на снегу, полушубок его был расстегнут. Микельшин стоял на коленях, осторожно продевал ему под спину бинт и озабоченно спрашивал:

— Не туго? Ты тогда скажи.

Увидев меня, Кедров усмехнулся какой-то удивительно доброй и ласковой улыбкой и с трудом, тихо проговорил:

— Вот видите, теперь уже не совестно, теперь и я свою руку как следует приложил.— Помедлив, он по-особенному проникновенно сказал: — Началось, а? — Потом попросил: — Покурить не найдется?

— У тебя же только у одного табачок есть,— укоризненно сказал Микельшин.— Если хочешь, я сверну?

— Нету у меня табаку,— сказал Кедров,— я его тем ребятам отдал, попроси, может, они одолжат на закрутку.

— Хорошо,— глухо согласился Микельшин,— я сейчас сбегаю.

Но не тронулся с места, потому что знал: тех ребят уже нет.

В сумерках наступающего дня мы видели зарево горящих впереди нас деревень, которые, отступая, сжигали фашисты.

Скоро голова разорванной немецкой колонны показалась на шоссе. Наши орудия открыли огонь. Бросая машины, гитлеровцы пытались обойти засаду по целине, по

здесь их встречали пулеметным огнем цепи спешившихся кавалеристов.

Никогда еще я не видел, чтоб наши люди сражались с таким восторгом и упоением, как это было в декабрьские дни разгрома немцев под Москвой.

Говорят, что на войне нельзя испытать ощущение полного счастья. Неправда! Мы тогда чувствовали себя самыми счастливыми людьми, потому что победа — это счастье. А это была первая большая победа и, значит, первое ощущение огромного, всепокоряющего счастья.

1942

ГРИГОРИЙ КИСЛЯКОВ

Ночью они спустились сюда на черных квадратных парашютах. Поверх меховых комбинезонов на них были надеты белые, матерчатые. На головы накинуты белые капюшоны, стянутые на лбу шнурками, как у бедуинов.

Белые валенки, белые перчатки. Только загорелые лица выделялись ореховыми пятнами на белом снежном поле.

Закопав в снег парашюты, Кисляков, огромный, широкоплечий, угрюмый человек, указал на пищевые мешки и сказал:

— Может, подзаправимся, Сурин, чего с собой тяжесть таскать?

Сурин, маленький, подвижной, с темными веселыми глазами, ласково ответил:

— Ты, Гриша, еще и мой мешочек понесешь. Ты здоровый.

Кисляков печально вздохнул и, легко взвалив мешки на спину, пошел вслед за Суриным, глубоко проваливаясь в снег.

У Сурина было задание — минировать дорогу отступающим немецким частям, у Кислякова — уничтожить транспорт с горючим.

На рассвете они выбрались на шоссе в том месте, где дорога разветвлялась. На шоссе были вбиты колья, и на них прибиты дощечки с немецкими надписями: «Осторожно, мины!»

Сурин прочел надпись, задумался, потом приказал Кислякову:

— Гриша, вытягивай столбы, живо!

Кисляков стал послушно вырывать колья из окаменевшей почвы и складывать их в кучу.

Потом Сурин велел ему вбить эти колья с надписями у развилки дорог. Кисляков проделал и это. Уже в лесу он равнодушно спросил:

— Ты для чего это, Сурин, сделал? Для смеху?

— Гриша,— печально ответил Сурин,— почему ты такой ограниченный человек?

— Всякие люди бывают,— честно сознался Кисляков.

Сурин сказал:

— Вот, детка, слушай. Согласно надписи шоссе минировано?

— Минировано,— согласился Кисляков.

— А объезды?

— Объезды не минированы,— покорно повторил Кисляков.

— От перемены места надписи обстановка изменится?

Кисляков задумался и сердито сказал:

— Понятно. С тобой в шашки не сыграешь: обжулишь.

— А ты как думал! — гордо подтвердил Сурин.

Простившись с Суриным, Кисляков ушел дальше на запад. Сурин остался в лесу — проследить за успехом своего замысла с минной ловушкой.

Ночью со стороны шоссе раздался ряд громких взрывов и красные столбы пламени поднялись в небо.

Сурин выполз из ямы, выкопанной им в овраге. Попрыгал, чтобы согреться, прислушался и снова залез в свою берлогу.

...На следующий день к вечеру явился Кисляков. Сурин, вглядываясь в окровавленное лицо Кислякова, тревожно спросил:

— Не сильно ранили?

— Не-ет,— сказал Кисляков.— Есть хочу.

Закусывая, Кисляков рассказал:

— Ну, шел и шел. Смотрю — мотоциклист едет. Вышел на дорогу, поднял руку. Он остановился. Сел я вместо него на мотоцикл и поехал. Увидел цистерны — восемь штук идут. Ну, я пулемет направо, гранаты за пояс. Газ. И по колонне на ходу из пулемета. А гранатой — под машины. Так и прочесал.

— А ранили где?

— Нигде. Это я сам. Увидел — трое по шоссе шагают. Ну, я на них с ходу.

Потом они снова шли лесом.

Сурин, размахивая руками, говорил:

— Почему ты, Григорий, такой несообразительный, тупой человек? Прешь на рожон — и только.

Кисляков угрюмо слушал его, потом сказал:

— Эти места, где оккупанты сейчас,— мои родные.

— Ну и что?

— А то, что я сейчас смекалкой заниматься не могу. Об этом и командир знает.

Белые деревья роняли на белый снег легкие голубоватые тени. И воздух звенел от шагов, как огромный стеклянный колокол.

Остановившись закурить, Кисляков неожиданно грубым голосом сказал:

— Неделю тому назад я сюда в разведку прыгал. Собрал важнейшие сведения. Пробирался назад все на животе. И вот в овраг, где я отдыхал, эсэсовцы человека вывели. Они его не стреляли. Они ему руки и ноги сначала прикладами ломали. А я сидел в рощице и смотрел. Не имел я права себя проявлять. Сведения дороже наших обеих, с моим батькой, жизней были.

— Так это отец твой был, значит? — с ужасом спросил Сурин.

Кисляков затоптал окурок, оглядел свои ноги и глухо произнес:

— Лихой старик был. Пока они, значит, его мучали, он их все матом, как Тарас Бульба, крыл.

Сурин, моргая, жалобно хватая Кислякова за руки, взволнованно просил:

— Гриша, ты прости, что я так перед тобой... Ты же пойми...

— Я понимаю,— серьезно ответил Кисляков: — разведчик соображать должен. А я сейчас как бы не на высоте.

И, передернув плечами, поправив автомат на ремне, с трудом улыбнувшись, он сказал:

— Ну, пошли, что ли? Дел еще впереди у нас много.

Теперь Сурин шел вслед за широко шагавшим Кисляковым. Он ступал в его глубокие следы в снегу и все думал: какое доброе слово утешения можно сказать этому человеку, такому гордому в своей скорби?

1942

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Во время штурмовки вражеского аэродрома прямым попаданием зенитного снаряда лейтенанту Коровкину перебило обе руки, жестоко разрезало лицо осколками козырька кабины. Истекая кровью, пользуясь только ножным управлением, Коровкин дотянул свою поврежденную машину до аэродрома и совершил посадку на три точки.

В госпитале он спросил врача:

— Скажите, доктор, скоро я смогу снова летать?

Доктор посмотрел в мужественные и спокойные глаза молодого пилота и сказал просто:

— По-моему, летать вам больше не придется.

— Ну, это мы увидим еще! — сказал Коровкин.

Ночью, когда в палате все заснули, Коровкин сунул забинтованную голову под подушку и стал плакать. К утру у него поднялась температура, и доктор, встряхнув термометр, пригрозил ему:

— Если вы будете нервничать, то окажусь прав я.

Шел снег, сухой, чистый. В воздухе было бело и сумрачно. Погода была нелетная. Мы сидели в тепло натопленном блиндаже и говорили о Коровкине.

— Он почитать чего-нибудь просил. Книгу надо такую, чтобы настроение подняла, а то парень совсем заскучал,— сказал механик Бодров.

Мы стали рыться в своей крохотной библиотечке, умещавшейся в ящике из-под ракет. Но ничего, кроме воинских уставов, найти не могли.

Вошел политрук Голаджий. Он сел на нары, устланные соломой, и спросил, что мы тут копаемся.

Выслушав, он сказал:

— Когда Владимир Ильич Ленин был болен, он невыносимо страдал и просил достать ему книжку Джека Лондона. Он там один рассказ похвалил — «Любовь к жизни». Хорошо было бы эту книгу достать.

— А где ее достать тут, в степи?

— Достать можно, если надо.

Голаджий выкурил папиросу, потом надел шлем, меховые перчатки и вышел из блиндажа. Когда он отбрасывал палатку, повешенную над входом, пахнуло яростным ветром и колючим, сухим снегом пурги.

Механик Бодров печально сказал мне:

— Коровкин Миша сильной души человек, а вот ранило — и сдал. А разве от нервов помирают?

Бодров подошел к печурке, открыл дверцу и положил несколько оттаявших, мокрых поленьев. Повернув ко мне грустное лицо, покрытое блуждающими красными бликами от пламени в печи, негромко произнес:

— Голаджий говорит: кто смерти боится, тот должен уничтожить ее, убивая врага. Крепко сказано! Вот когда я в командировку насчет горючего ездил, там на крекинг-заводе тоже с одним парнем интересный случай произошел.

И вот что мне рассказал механик Бодров.

— В огромной камере нефтехранилища вырвало кусок бетонной кладки. В образовавшуюся брешь нефть хлынула черным жирным потоком. Заводу грозила остановка. Рабочие сооружали земляные барьеры, пробуя удержать нефть, но она прорывала насыпь и разливалась все шире. Вызвали водолаза из порта. Назаров был веселый широкоплечий парень, этакий чубатый комсомолец, вроде нашего Коровкина.

Назаров надел скафандр и, тяжело поднявшись по железной лестнице, спустился через верхний люк в нефтехранилище.

Несколько раз брезентовый пластырь, черный, скомканный, вышибало наружу пенистым столбом нефти. Назарова самого чуть было не втянул в брешь вращающийся нефтяной поток. Но он наконец изловчился и наложил пластырь. Черная толстая струя перестала бить наружу и, ослабев, только едва сочилась.

Но вдруг над вершиной нефтехранилища показалось голубое пламя и, став потом красным, сразу обросло черным ядовитым дымом. Нефть вспыхнула. Ударом троса о стальную крышку нефтехранилища высекло искру, и этого было достаточно, чтобы нефтяные пары, а потом и нефть загорелись. Пожар нефтехранилища угрожал не только заводу, но и окраинам города.

Рабочие, понимая, какая страшная катастрофа может случиться, не жалея себя, полезли в огонь и закидали вершину нефтехранилища тяжелым, мокрым брезентом. Без воздуха пламя должно было задохнуться.

А Назаров был там, внутри, ничего не знал, спокойно дожидаясь распоряжения своего бригадира, чтобы выбраться наружу.

Бригадир с побелевшим лицом поднял телефонную трубку и хрипло сказал:

«Миша, ты как там себя чувствуешь? Подыматься погодить надо. А я с тобой, чтобы не скучно было, разговаривать буду».

Но бригадир не мог разговаривать, у него немела челюсть, и он, обведя вокруг беспомощными глазами, спросил:

«Что же теперь делать, товарищи? У него ведь скафандр от долгого пребывания в нефти раскиснет. Она же разъедает, нефть, резину-то... — И, оглянувшись, неуверенно произнес: — Пусть пластырь сдерет и в пробоину выбросится. Нефти пропадет, конечно, много, но не пропадать же человеку.— Робко, с надеждой, спросил: — А нефть на земле не загорится?»

«Теперь не загорится,— объяснил пожарник,— она сейчас поверху горит. Пока верхний слой до дыры дойдет, мы успеем ее наружным пластырем перехватить. Снасть вон уже приготовлена».

Бригадир снова взялся за телефон.

«Миша! — бодро закричал он в трубку.— У тебя наверху вроде пожар, так что выбраться нормально невозможно. Сдирай пластырь и выбрасывайся живо наружу через пробоину».

Смотрим на лицо бригадира, а оно у него смущенное, жалкое. Прикрыв трубку ладонью, он жалобно сказал:

«Не хочет. Говорит: «Нефть жалко. Война, говорит, а я такую ценность в помойку лить буду...»

Рабочие, пожарные посмотрели на меня: «Ну как, товарищ летчик? Что же делать?»

А что я мог сказать? Поступок, конечно, правильный. Но ведь и парня жалко...

Бодров наклонился к печке, вытащил головешку и прикурил от нее.

Зазвонил телефон. Бодров взял трубку.

— Гранит у аппарата. Голаджий? Да разве он улетел? Нет, не вернулся. Доложу, товарищ командир.

Бодров положил трубку и тихо проговорил:

— Вот еще чертушка, этот Голаджий! В такую пургу вылетел. Тут дров наломать в два счета можно. Видимости никакой.

— Ну, что же с Назаровым?

Бодров посмотрел на меня озабоченными, невидящими глазами и сказал равнодушно:

— Назаров? Ах да, водолаз!.. Сидел он там, в нефти, часа два. В городе люди прослышали про эту историю. Стали на завод приходить. Просили телефонную трубку. Кто, конечно, уговаривал вылезти, а кто говорил: «Молодец!»

Пожарные со всего города съехались. Стали они осторожно пластырь брезентовый с крыши нефтехранилища сдирать. Но огня уже не было. Сдох пожар без воздуха.

А когда Назарова вытянули на тросах наружу, у него весь костюм водолазный — как кисель: разъела нефть. Внутрь залилась. Но в колпак медный ее воздух не пускал. Парень, конечно, без памяти был.

Бодров вздохнул и сказал:

— Вот бы про этого паренька сочинить что-нибудь да в книгу, а книгу Коровкину прочесть — настроение у него сразу бы улучшилось.

Послышался стонущий гул мотора. Он то нарастал, то почти исчезал, то возникал с новой силой.

Бодров схватил полушубок и, набросив его на плечи, крикнул мне:

— Голаджий прилетел! Аэродром ищет. Плутает, видно. Ах ты, оглашенный какой человек! — И выскочил наружу.

Минут через двадцать Бодров и Голаджий вошли в блиндаж. Стряхивая с себя снег, Бодров, глядя на Голаджия, с тревогой спросил:

— Где это ты так извозился?

— Маслопровод лопнул, всего захлестало,— равнодушно объяснил Голаджий и полез в карман.

Он вынул пропитанную маслом, слипшуюся в смятый ком какую-то тоненькую книжку. И лицо его стало плачевно-грустным, и он дрогнувшим голосом растерянно произнес:

— А я еще библиотекаршу будил, ругался с ней, насилу вытащил, обещал книгу вернуть...

Он попробовал выжать масло из обесцвеченных страниц Джека Лондона, но от этого бумага только расползалась.

— Так ты в город летал! — восхищенно воскликнул Бодров.

— А то куда же еще? — зло сказал Голаджий.

Потом он взял телефонную трубку, позвонил синоптику и осведомился, какая погода будет завтра к утру.

Укладываясь спать, он сказал Бодрову:

— На рассвете меня разбудишь.

— Снова полетишь?

— А что же ты думал! У них один экземпляр, что ли? — сердито сказал Голаджий и, натянув на голову одеяло, сразу заснул.

И вот с того дня прошло два месяца.

Однажды, приехав в 5-й гвардейский полк, я увидел на аэродроме знакомую мне фигуру летчика, коренастого, со светлым чубом на лбу. Только на пухлом улыбающемся лице был синий шрам.

— Коровкин! — крикнул я изумленно.— Ну как? Выздоровел? Все в порядке?

— Все в порядке,— сказал Коровкин,— летаю на полный ход.— И, хитро прищурившись, добавил: — Лихо я своего доктора переспорил!

Я дождался вечера, когда летный день был закончен; разыскав Коровкина, отвел его в пустую комнату красного уголка и спросил:

— Слушай, Миша, а книжку-то тебе Голаджий достал?

— Это Джека Лондона? Достал.— И вдруг лицо его стало грустным, задумчивым, и он объяснил тихо: — Только я ее прочесть не мог тогда: голова очень горела. Но вот о Ленине я думал. Как он тогда лежал, мучился и, когда легче становилось, работал и только о жизни думал. Не о своей — о нашей, о жизни всех нас. И стала она мне, моя жизнь, после этого необыкновенно дорогой. И так захотелось жить, выздороветь... Ну вот и выздоровел. Доктор после так и объяснил, что волевой импульс — это самое сильное, говорит, лекарство.

1942

ГАНСИ КИЛЯ

На стремнине облас ударил о корягу, черную, с корнями, похожими на клубок окаменевших змей. Несколько мгновений облас, как конь, вставший на дыбы, почти вертикально висел в воздухе. Потом твердая от холода вода Амура схватила Ганси и, тесно сжимая в двигающихся своих упругих струях, увлекла куда-то в глубину.

Ганси зажмурился и стал спокойно тонуть. Собственно, Ганси тонуть не собирался, но только расчетливо ждал, когда отец его, великий охотник Дмитрий Киля, нырнет в сумрачную глубину и вытащит его туда, где солнце и тепло. Но отца не было. Сильная, бегущая со скал вода душила Ганси, но отца не было. Тогда Ганси рассердился и, размахивая руками, всплыл вверх.

Отец сидел верхом на перевернутом обласе. Увидев Ганси, он отвернулся и стал петь про то, что с ними случилось. Ганси пытался забраться на облас, чтобы сесть верхом, как его отец. Но руки скользили по заплесневевшему днищу, и он снова тонул, и скользкая сильная вода снова душила его в гудящей темноте.

Вынырнув, Ганси закричал:

— Ты, кусанный всеми собаками, облезлый черт, возьми меня к себе, а то я укушу тебя за ногу!

Отец рассмеялся, поднял ноги, сел на днище обласа, обхватив колени руками, и запел о том, как у одной росомахи родился длинноухий заяц и как ей после этого было стыдно.

Никто никогда не пел в глаза Ганси этой позорной песни. И ему стало жарко от гнева в ледяной воде Амура. Царапая ногтями осклизлое дно обласа, он забрался наконец наверх и, усевшись верхом, долго не мог вымолвить ни слова. Потом, ткнув отца в спину кулаком, он сказал:

— Я это тебе запомню, змея с ушами!

Мимо мчались берега, высокие кедры полоскали свои вершины в облаках.

И только в своей избе отец сказал Ганси:

— Ты поступил, как лягушка, которая квакает неизвестно почему. Охотник просит помочь только тогда, когда он сделал все, чтобы помочь себе сам. Ты не мужчина. Иди и готовь тесто.

Семь дней Дмитрий Киля не брал после этого своего девятилетнего сына на охоту.

Сивый горбатый медведь, пахнущий пометом и кровью, лежал на боку, прижимая передние короткие лапы к распоротому брюху. Отец Ганси сидел перед медведем на корточках и чистил узкий тонкий нож, втыкая его в землю. Из разорванного плеча отца текла кровь. Ганси поднял с земли шапку отца, надергал из нее пакли, срезал кусок медвежьего сала, засунул его в паклю, приложил к плечу отца и плотно привязал веревкой.

Ганси нес красное медвежье мясо, завернутое в бересту, а отец, спотыкаясь от слабости, шагал впереди, пел веселую песню.

— Зачем ты поешь, когда тебе больно? — спросил Ганси.

— Когда мне говорят — больно, тогда мне больно. Когда я пою, что мне не больно, тогда я верю больше себе, и мне не больно.

— Но почему же ты все время смеешься?

— Я смеюсь потому, что медведь не откусил мне голову. Я подставил ему плечо и обманул его. И теперь его съедят мухи, а не меня.

И отец продолжал петь сильным голосом, хотя от слабости у него заплетались ноги.

Пять суток преследовал Ганси горностая. Он шел по его следу на снегу, легкому, словно птичьему следу, а горностай уходил дальше, как только раздавался мерный шелест лыж охотника, подбитых мехом. Наконец Ганси настиг белоснежного зверька. Он притаился в развилке еловых ветвей, крохотный, как комочек снега.

Ганси выстрелил.

Отец поднял зверька, осмотрел, и на лице его появилось отвращение. Размахнувшись, он выбросил горностая и, вытирая руки, сказал:

— Мне стыдно приносить в поселок такую добычу: дробина моего сына попала в живот, а не в глаз. Испортил зверя. Когда нанаец настигает добычу и целится, он стано-

вится спокойным, как кусок льда, и у него не прыгает сердце, как хвост у собаки. Когда нанаец целится, у него можно вырезать кусок мяса со спины, и он не заметит этого, пока не выстрелит. Ты нервничаешь, как старый шаман, которому в колхозе первый раз показали кино.

И Ганси было стыдно.

Так отец учил своего сына мудрости охотника. В двенадцать лет Ганси прослыл хорошим добытчиком и приобрел важность и хладнокровие настоящего нанайца.

Троицкое было большим раскидистым селом. У пологого берега Амура ютилась огромная флотилия судов промыслового нанайского колхоза. На самом видном месте в селе стояли два здания: школа и рыболовецкий техникум. Сначала Ганси учился в школе. Бывая с отцом на промысле, Ганси готовил уроки в шалаше, занесенном снегом, при свете жирового фитиля. А когда Ганси, застрелив первого своего медведя, пришел в школу с каменным лицом настоящего мужчины и плохо отвечал уроки, секретарь комсомольской ячейки на перемене позвал его в пустой класс и сказал:

— Ты хороший охотник, Киля, но ты будешь плохим человеком, если так учишься. А мы верим, что ты большой человек. И поэтому, если ты будешь учиться так, как бьешь зверя, нам бы очень хотелось назвать тебя комсомольцем.

Ганси кивнул головой и за второе полугодие получил «отлично» по всем предметам.

Окончив школу, Ганси хотел уйти в звероловы на дальний промысел. Его вызвали на бюро и сказали:

— Ганси, ты способный человек. Ты должен учиться дальше.

— Мне нечему больше учиться,— гордо сказал Ганси.— Теперь я могу учить других сам.

Ему сказали:

— У нас много рыбы, но ловим мы ее мало, потому что каждый считает себя большим охотником и бьет ее острогой, вместо того чтобы использовать большие снасти. Ты должен научить людей правилам большого лова.

Ганси не хотел ловить рыбу — он был зверолов. Он не хотел учиться в техникуме — он хотел учить других тому, чему научил его отец. Но он был комсомолец, и он обещал чтить все законы комсомола.

Ганси поступил в техникум и окончил его через три года. Он стал мотористом колхозной рыболовецкой флоти-

лии. И колхоз учетверил добычу. Не веслами сгребали теперь нанайцы студеную воду Амура — стальные лопасти винтов мотора гнали вперед их легкие суда. А великим знатоком моторов стал их знатный охотник Ганси Киля.

Ганси изучил все тайные повадки машины и был ее строгим и властным хозяином.

В армии Ганси попросил дать ему не винтовку, а пулемет. Он стрелял из винтовки, как никто. Но Ганси знал, чего можно добиться от машины, сила которой помножена на ловкость ее хозяина.

Ганси стал пулеметчиком-разведчиком. Как никто другой, Ганси умел ходить ночью и днем по лесу свободно, как у себя в чуме. Никто не мог повторить его охотничьей сноровки бесшумно и умело выслеживать врага.

Перед выходом на задание Ганси договаривался с бойцами, кто, как и что будет делать в разведке. Он задавал вопросы, и люди, которые были старше его, послушно отвечали, потому что у этого юноши с суровым лицом и темными вдумчивыми глазами был опыт, которого они не имели.

Но когда кто-нибудь говорил Ганси: «Тебе хорошо, ты охотник»,— он гневно щурил свои глаза и отвечал:

— Я не охотник, я воин!

В бою пулемет Кили работал скупо и точно. Он бил только прицельным огнем. С одного выстрела он поражал врага. Длинных, расточительных очередей никто от него не слышал.

Политрук предложил Ганси провести беседу с бойцами об уходе за оружием.

Киля принес свой пулемет, разобрал и показал всем его части, сверкающие чистотой.

Киля сказал:

— Я не видел такого человека, который забивал бы собственный глаз песком и грязью. Но я видел таких бойцов, у которых оружие грязное. А мы все дали клятву беречь свое оружие, как свой глаз. Я иду в бой и не оглядываюсь назад, потому что я знаю: если враг пересилит меня, вы придете на помощь. Но если у вас плохое оружие, оно обманет вас, а враг зарежет меня, и вы будете его пособниками. Так скажите мне теперь: смеет ли боец, у которого оружие не в порядке, честно смотреть в глаза своему товарищу?

Киля мечтал соорудить глушитель для пулемета. Короткие часы отдыха он просиживал в оружейной мастер-

ской и конструировал глушитель. И он добился своего: его глушитель гасил звук выстрела почти наполовину.

Ганси воевал всеми силами своего ума, сердца, рук. Он говорил:

— Фашист не зверь. Он хуже зверя. Я не придумал для него самого поганого слова, но еще придумаю.

Вместе с командиром отделения Давидом Нипаридзе Ганси ходил в разведку глубоко в тыл врага.

Затаившись в овраге возле шоссе, Ганси бил по немецким транспортам точными, короткими очередями.

И никогда не дрогнула рука Кили во время прицела. Это про него теперь могут сказать нанайцы, что, когда нанаец целится, можно вырезать у него из спины кусок мяса — и нанаец не дрогнет.

Так воевал с врагами Родины сын нанайского народа гвардеец Ганси Дмитриевич Киля, комсомолец из села Троицкое, что стоит на берегах студеной реки Амур.

1942

СЕРЕЖА ИЗМАЙЛОВ

— Измайлов! Говорят, тебя сегодня чуть было вороны не сшибли.

Измайлов, бережно накрывая мотор самолета стеганым чехлом, благодушно соглашался:

— А вы что думали? Еле выскочил.

— Как это ты без кислородного прибора летаешь? — удивился капитан Лютов. Обернувшись к летчикам, Лютов значительно произносит: — Иной раз метрах на двухстах идет. Подумать! Голова кружится.

— А правда, Измайлов, когда ты в Туле сел, тебя милиционер оштрафовать за нарушение правил уличного движения собирался?

— Что милиционер! Пусть лучше расскажет, как он к немецкому штабу подрулил. И знаете, ребята,— с деланным возмущением говорит румяный пилот с девическим лицом и висящими на спине, как косы, проводами от ларингофона,— часовой ему — на караул, а он, грубиян,— гранатой.

— Так ведь туман же был,— оправдывается Измайлов и застенчиво улыбается.

Измайлову приятно, что с ним, рядовым пилотом, летающим на гражданской машине, прозванной «гроб с музыкой», так запросто разговаривают боевые летчики, имеющие почти каждый на своем личном счету по нескольку сбитых вражеских самолетов.

Окружив Измайлова, летчики ведут его к себе завтракать.

Он выглядит немного смешно, этот пилот, среди нарядных подтянутых рыцарей воздуха.

Измайлов одет в толстую куртку, как-то по-извозчичьи низко подпоясанную. На голове не шлем, а меховая ушан-

ка. На ногах валенки. А из кармана стеганных штанов торчит зеленая ручка гранаты.

Он идет переваливаясь, толстый, неповоротливый. Над ним подшучивают, а он спокоен и рассудителен.

Конечно, правда,— когда по нему стеганули из зенитного пулемета, он кое-как дотянул до деревни и там с каким-то плотником чинил пробитые плоскости. И ничего тут обидного нет, если помогал плотник. Не было бы плотника, так он еще кого-нибудь попросил бы помочь. Какая разница!

Когда Измайлов разделся, он оказался худеньким пареньком лет двадцати.

У летчиков за столом всегда шумно.

Во время завтрака досталось капитану Лютову. Утром он таранил М-110. Таран был произведен на большой высоте и не совсем удачно. Лютов вынужден был покинуть свою разбитую машину. Падая затяжным, он увидел внизу также спускающегося на парашюте вражеского летчика. Лютов подобрал стропы, затем, приблизившись к нему, вытащил пистолет и стал стрелять. Гитлеровец, в свою очередь, также начал его обстреливать. Дуэль парашютистов закончилась на земле.

Лютов пришел на аэродром с синим пухлым шрамом на щеке и с планшетом вражеского летчика в руках, сердитый и раздраженный.

Измайлов внимательно прислушивался к шумному розыгрышу Лютова и среди едких насмешек тщательно запоминал то деловитое и неповторимое, что составляет хороший стиль летного мастерства.

Дискуссия, несмотря на свою необычную форму, раскрывала самые изысканные тонкости пилотажного мастерства, непостижимые для постороннего. И когда адъютант командира части принес пакет, Измайлову очень не хотелось уходить, не дослушав спора до конца.

Никто перед полетом не давал Измайлову ни метеосводок, ни прогноза погоды. Он — связной и должен летать всегда: ночью и днем, в туман, в буран, в снегопад. А если на него нападет «мессершмитт», у него нет оружия, чтобы отбиться. Уйти он тоже не может: у него мизерная скорость. Единственное, что может сделать Измайлов,— нырнуть вниз, куда придется, и постараться при этом не очень сильно поломать машину, самому остаться целым, спасти документы и успеть доставить их во что бы то ни стало вовремя.

Измайлову приходилось летать с офицером связи и на разведку, и на поиски окруженных подразделений, и к партизанам в тыл немцев.

На обратном пути мотор, работавший на скверном автомобильном немецком бензине, сдавал. И Измайлов вынужден был делать в воздухе перевороты через крыло, петли, чтобы взболтать в баках горючее, оседающее смолистой грязью.

Но и это горючее добывалось с трудом. По целым суткам партизаны караулили в засаде проходящие машины, чтобы было чем заправить советский самолет. Был случай, когда самолет Измайлова со снятыми плоскостями пришлось вывозить в конной упряжке из немецкого тыла: очередью с «хейнкеля» перебило два цилиндра. Часто на обратном пути Измайлову приходилось брать с собой раненых. Блуждая в тумане, он садился прямо у околицы какой-нибудь деревни и, выспросив дорогу, летел дальше. А однажды, когда у него было на исходе горючее, он оказался не в силах перетянуть через лесной массив и повис на вершинах деревьев с расщепленным пропеллером.

Измайлов очень любил свою машину, и ему казалось, что он летает на ней с самого начала войны.

Но это было неверно. Самолет его так часто чинили и так много переменили в нем частей, что без смены остался, быть может, только один номер.

На войне у каждого человека имеется мера его доблестным деяниям. У пехотинца — число уничтоженных им лично врагов. У артиллеристов — число пораженных целей. У истребителей — сбитые самолеты врага.

А вот у Измайлова не было никакого личного счета. Он делал все, что ему приказывали. Задания были настолько разнообразны, настолько не походили одно на другое, что подсчитать, что он сделал за время войны, было просто невозможно.

Если бы Измайлова спросили: «Ну как, старик, здорово ты теперь научился летать?» — он не нашелся бы что ответить.

Но если погода была очень скверной, а задание сложным, командование всегда назначало в рейс Измайлова, зная, что он никогда не подведет.

К боевым летчикам Измайлов относился с почтением и, слушая их с восторгом, даже не завидовал им: настолько их искусство и дерзость казались ему возвышенными и недостижимыми. Он был горд тем, что многие боевые пилоты

знали его в лицо, хотя каждый из них считал долгом подшутить над своим «мелколетным» собратом.

Над аэродромом стояла неподвижная стужа. Сухо блестел снег. И небо было прозрачным, чистым, ни одно облачко не утепляло его ледяного свода.

Измайлов снял чехол с мотора и пропеллера, положил их в кабину и, разогрев мотор, вырулил на старт.

Дежурный по аэродрому нетерпеливо махнул рукой, чтобы он скорее улетал. По мнению дежурного, каждая лишняя минута пребывания этой машины на боевом аэродроме портила строгий вид аэродрома.

После короткого разбега Измайлов взлетел и, сделав крутой вираж, лег на курс.

Доставив пакет, Измайлов полетел обратно на базу. Погода успела испортиться. Сухой снег, косо падая, закрыл землю. Измайлов поднялся чуть повыше, чтобы случайно не напороться на телеграфный столб.

Очень сильно мерзло лицо. Измайлов снимал рукавицы, растирал щеки, нос, не обращая внимания на то, что во время этих манипуляций его машину сильно бросало в воздухе.

Измайлов должен был еще залететь в совхоз и захватить там свежих сливок для лейтенанта Суровцева, лежавшего в госпитале. Об этом его попросил Лютов.

Делая виражи, Измайлов тщательно вглядывался вниз, силился рассмотреть сквозь несущуюся снежную мглу очертания квадратных коровников совхоза.

И вдруг мимо него с ревом пронеслась черная тяжелая машина и, сделав впереди него «горку», закончив фигуру, простерла прямо над его головой синие и алые троны трассирующих пуль.

Измайлов почти машинально отдал ручку вперед. Машина резко пошла на снижение. Но потом он подумал, что сейчас снегопад и противник легко может потерять его из виду, а садиться вслепую опасно, да и ночевать в степи, возле поврежденной машины, не очень-то хотелось. И он, осторожно подняв самолет, повел его над самой землей. Прошла минута, две, а врага нигде не было видно. Измайлов шел над лесом. Осмелев, он набрал еще метров сто — сто пятьдесят.

Сзади снова раздался грозный рев вражеской машины.

Садиться на деревья невозможно. Измайлов только успел сбросить газ. И правильно сделал.

Не разобрав в снегопаде, с какой машиной он имеет дело, фашистский летчик проскочил мимо самолета Измайлова на бешеной скорости, не успев даже открыть огня.

Измайлов видел, как, обернувшись, немецкий летчик погрозил ему кулаком.

Раздумывать нечего. «Мессершмитт», развернувшись, снова зайдет в атаку.

Нужно садиться.

Но Измайлов опять заколебался. Он вспомнил, как фашист погрозил ему из кабины кулаком, и с горечью подумал: «Хорошо ему, сволочи, на боевой машине издеваться. Будь я на МИГе, я бы показал тебе такую дулю, что...»

И Измайлов стал поспешно протирать рукавицей круглое зеркало, укрепленное перед ним на кронштейне, как в кабине шофера. Он с решительным видом положил одну руку на сектор газа, другой крепко сжал ручку управления.

Не спуская глаз с зеркала, не меняя курса, чуть подняв свой самолет, он вел машину.

Сзади послышался рев «мессершмитта». Фашист шел правее, намереваясь с одной очереди разрезать беспомощную, слабую машину. И вдруг, когда казалось — все кончено, Измайлов резко дал газ и круто завалил машину вправо, наперерез курсу вражеского самолета.

Несмотря на то что немецкий летчик, учтя свой промах, сбавил газ, все-таки скорость его машины была чрезвычайно высока.

Маневр советского летчика был более чем неожиданным. Круто задрав свою машину, фашист хотел вырвать ее вверх, чтобы избежать столкновения. Но его самолет, продолжая скользить вперед юзом, ударился центропланом о мотор самолета Измайлова.

Сила удара была настолько велика, что «мессершмитт», резко перевернувшись, рухнул на землю.

И все было кончено.

В сухом снегу пылали черные обломки фашистской машины, а вокруг нее валялись легкие зеленые обломки связного самолета.

И вот Сережи Измайлова больше нет. Сережа теперь никогда не узнает, как любили его наши боевые летчики и как тяжело им было провожать его, мерно шагая под грозные, глухие вздохи траурного марша.

Капитан Лютов, самоуверенный, дерзкий, насмешливый человек с твердым сердцем, вытирая снятой перчаткой глаза, глухо сказал:

— А ведь я этого парня к себе в звено высматривал и рапорт в ВВС подал. Красиво погиб, ничего не скажешь. А вот нет его больше, и тяжело мне, ребята, очень тяжело...

Прошел день, и капитан Лютов совершил дерзкий налет на вражеский аэродром. И посвящен был тот налет светлой памяти Сережи Измайлова.

1942

ГВАРДЕЙСКАЯ ГОРДОСТЬ

Они познакомились здесь, в воронке от снаряда.

Один боец был из первой роты, и фамилия его была Тимчук. Другой — из третьей роты, Степанов.

— Как же ты сюда попал,— спросил Тимчук,— когда твое место на правом фланге?

— А ты чего сюда вылез, когда ваши ребята позади цепью лежат?

Тимчук перевернулся на другой бок, ответил:

— В порядке бойцовской инициативы! Понятно?

— Домишком интересуешься? — подмигнул Степанов.

— До крайности. Четыре станковых: сыплет и сыплет, терпения нет.

— Смекнул что-нибудь,— деловито осведомился Степанов,— или просто на авось пошел?

— Пока так, а там видно будет.

— С одной гордостью, значит, на рожон прешь?

Тимчук не обиделся, а просто сказал:

— Если мысль есть, так ты не зарывайся, а скажи.

Степанов поправил на поясе сумку с торчащими из нее толстыми ручками противотанковых гранат и значительным шепотом сообщил:

— Вот спланировал до той канавы доползти, потом возле забора как-нибудь, а там — и дом под рукой. Засуну в подвал две гранаты — и шуму конец.

— И они тебя приметят да как шарахнут очередью!

— Зачем! Я аккуратно. Сапоги новыми портянками обмотал, чтоб не демаскировали.

— Лихо! Но только они в стереотрубу за местностью наблюдают,— упорствовал Тимчук.

— А ты чего все каркаешь? — разозлился Степанов.— «Заметят, заметят», а сам напропалую прешь.

— Я не каркаю, рассуждаю,— спокойно заметил Тим-

чук.— Ты вот что, теперь меня слушай. Мы сейчас с тобой разминемся: ты к своей канаве ступай, а я тут трошки дальше выбоинку приметил. Залягу в ней, и как ты вдоль забора ползти начнешь, буду из своего автомата на себя внимание немцев обращать.

— Да они же тебя с такой близи с первой очереди зарежут! — запротестовал Степанов.

Тимчук холодно и презрительно посмотрел в глаза Степанову и раздельно произнес:

— У них еще пули такой не сделано, чтобы меня трогать. Давай действуй. А то ты мастер разговоры разговаривать.

Степанов обиделся и ушел.

Когда Степанов добрался до забора, он услышал сухие, короткие очереди автомата Тимчука и ответный заливистый рев станковых пулеметов.

Пробравшись к кирпичному дому сельсовета, где засели фашистские пулеметчики, Степанов поднялся во весь рост и с разбегу швырнул в окно две гранаты.

Силой взрыва Степанова бросило на землю, осколками битого кирпича повредило лицо.

Когда Степанов очнулся, на улицах села шел уже штыковой бой. Немецкие машины горели, выбрасывая грязное горячее пламя.

Степанов поднялся и, вытерев окровавленное лицо снегом, прихрамывая, пошел разыскивать Тимчука, чтобы сказать ему спасибо.

Он нашел Тимчука в той же выбоине, лежащим на животе, с равнодушным лицом усталого человека.

— Ты чего тут разлегся? — спросил Степанов.

— А так, отдыхаю,— сказал Тимчук.

Степанов заметил мокрые красные комья снега, валяющиеся вокруг Тимчука, и тревожно спросил:

— Ты что, ранен?

— Отдыхает человек, понятно? — слабым, но раздраженным голосом сказал Тимчук.— Нечего зря здесь околачиваться. Твоя рота где?

Степанов нагнулся, поднял с земли автомат и, надев его себе на шею, сказал:

— Ох и самолюбие у тебя, парень!

Подхватив под мышки Тимчука, он взвалил его к себе на спину и понес в санбат.

Сдав раненого, Степанов нашел политрука первой роты и сказал ему:

— Товарищ политрук, ваш боец Тимчук геройским подвигом собственноручно подавил огневые точки противника, скрытые на подступах села. Это дало возможность нашей третьей роте зайти во фланг фашистам.

— Спасибо, товарищ боец,— сказал политрук.

Степанов напомнил:

— Так не забудьте.

Повернувшись на каблуках, прихрамывая, он пошел к западной окраине села.

1942

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ШЛА ВПЕРЕДИ

Командир разведывательной роты привел ее в хату, где спали бойцы, и сказал вежливо:

— Вы садитесь и обождите. У нас специальность такая — днем спать, а вечером на прогулку.

Откозыряв, он щелкнул каблуками и вышел.

Пожалуй, лейтенанту козырять и щелкать каблуками перед девушкой не следовало: на шинели у нее были петлицы без всяких знаков различия. Но в данном случае лейтенант чувствовал себя больше мужчиной, чем командиром.

Девушка села на лавку и стала смотреть в окно.

Стекла были покрыты диковинными белыми листьями. Их вылепила стужа.

Бойцы спали на полу, укрывшись шинелями.

Прошел час, два, три, а девушка все сидела на лавке. Мучительные припадки резкого кашля сотрясали ее тело; наклоняясь, прижимая ко рту варежку, она пыталась побороть приступы. И когда потом откидывалась, тяжело дыша, опираясь затылком о стену, набухшие губы ее дрожали, а в широко открытых глазах стояли слезы боли, и она вытирала их варежкой.

Уже совсем стемнело.

Вошел лейтенант. Не видя впотьмах, он спросил:

— Вы тут, гражданочка?

— Здесь, товарищ лейтенант,— глуховато ответила она.

Лейтенант наклонился и стал будить спавших бойцов.

Потом он отозвал в сторону командира отделения Чевакова, долго шепотом давал ему какие-то указания и в заключение громко произнес:

— Батальонный так и приказал: общее руководство твое, а конкретное — ихнее,— и кивнул головой в сторону девушки.

— Понятно,— сказал отделенный и стал одеваться.

Ужинали торопливо, не зажигая света. Девушка, набирая пол-ложки каши, ела так медленно и осторожно, словно каждый глоток причинял ей боль.

Видя, что она не доела своей порции, отделенный сказал:

— Вы не волнуйтесь. Подзакусить перед прогулкой — первое дело.

— Я не волнуюсь,— тихо сказала девушка.

Сборы были короткими, молчаливыми. Заметив, как девушка тщательно укутывала шею теплым толстым шарфом, Чеваков сказал:

— Горлышко простудить боитесь?

Девушка ничего не ответила, и все вышли на улицу.

Круглая яркая луна висела в небе. Снег блестел.

Чеваков выругал луну и пошел впереди, но, обернувшись, сказал девушке:

— Через линию фронта, конечно, я проведу. А дальше уже вы, будьте любезны.

Девушка шла между бойцами Игнатовым и Рамишвили. И когда бойцы, переходя поляну, озаренную голубым светом луны, посмотрели на свою спутницу, они ее не узнали.

Маленькая, в больших валенках, она была не то чтобы одета в шинель, а скорее завернута в нее, как подросток в отцовскую шубу, глаза же были такие хорошие, что оба бойца смутились и отвернулись.

Когда девушка поскользнулась, Игнатов подскочил к ней и сказал:

— Разрешите, я вас под ручку возьму.

Девушка остановилась и испуганно спросила:

— Это зачем еще?

Игнатов покраснел, несмотря на мороз. Но на помощь ему пришел Рамишвили:

— У нас на Кавказе, барышня, полагается, чтоб мужчина был всегда рыцарем женщины.

— А на фронте полагается,— хрипло сказала девушка,— думать больше.

Рамишвили хотел ей что-то ответить, но Чеваков сердито прикрикнул:

— Разговорчики! Забыли, где находитесь.

Перешли линию фронта часам к двенадцати. Вошли в лес, темный, сумрачный, с лежащими на снегу ветвистыми тенями. Теперь впереди шла девушка. Засунув руки

в рукава шинели, она шла быстро, хотя и семенящей походкой. Тропинка кончилась. Через балку переправлялись по пояс в снегу. Лощину пришлось переползать. Ползли долго, часа полтора. Потом вышли на просеку. Миновали какую-то деревушку, черную, некрасивую на искристом, чистейшем снегу. Потом снова брели по целине, с трудом выдирая ноги из сухого, сыпучего, как песок, снега.

И что было особенно плохо — девушка кашляла. В этой напряженной, хрупкой тишине кашель ее, звенящий, сухой, надрывный, мог провалить все дело. И когда вышли к намеченному пункту, Чеваков сказал:

— Вы зарывайтесь пока в копну и ждите нас. Тут уж мы сами разберемся.

— Хорошо,— прошептала обессиленная девушка, прижимая ко рту шерстяную варежку.

И бойцы разошлись, назначив время сбора.

Прошло много времени. Тусклый рассвет освещал землю матовым, туманным светом.

Первым пришел Игнатов, потом Рамишвили. Рамишвили был возбужден и взволнован. Он сказал:

— Нам ее на руках носить надо. Такие сведения!

— Как же! Согласится она...— огорченно пробормотал Игнатов. И, покосившись на копну, спросил тревожно: — Замужняя, как ты думаешь?

Чеваков появился бесшумно и внезапно. Он приказал:

— В путь, ребята! — Потом схватился за голову и восхищенно проговорил: — Какой материал! Корпусной разведке даже не снилось...

Обратно шли другим путем. И опять впереди шла девушка, засунув руки в рукава шинели. И опять она кашляла и, силясь побороть кашель, прижимала ко рту шерстяную варежку.

Бойцы с гордостью смотрели на своего проводника, и у каждого в сердце возникали нежные слова, которые произносятся единожды в жизни для очень любимой.

На большаке возле деревни Жимолости согнанные гитлеровцами жители очищали дорогу от снега. Солдаты, закутанные в одеяла и платки, стерегли их. Какая-то женщина лежала на обочине с поджатыми к животу ногами; кровь замерзла у нее на лице.

Рамишвили скрипнул зубами и стал отстегивать гранату. Игнатов снял с шеи автомат. Чеваков приказал вполголоса:

— Без сигнала огня не открывать.

И вдруг девушка властно прошептала:

— Никакого сигнала не будет!

— Это как не будет?

— Очень просто. Хотите, чтобы переколотили нас?

— Это они-то? — удивился Чеваков.— Двенадцать облезлых фрицев! Да мы их так внезапно стукнем...

— А я говорю: не будет.

— Разговорчики отставить! — Отвернувшись от девушки, Чеваков приказал: — Слушай команду!

Но девушка не унялась. В промежутках между приступами кашля она твердила:

— Я рисковать сведениями не позволю! Слышите вы?

— Риска тут на копейку,— гордо сказал Чеваков.— Пошли, ребята.

Девушка загородила им дорогу.

— Брось,— сказал грубо Чеваков и шагнул к ней.— Ты что хочешь? Не видишь — люди страдают!

— Не сметь! — шепотом сказала девушка.— Я кричать буду...— И отбежала в сторону.

Чеваков подбросил наган, взвесил его на руке и, не глядя на бойцов, скучно сказал:

— Ну что ж, видно, придется уйти так.

Трудно и горько было идти обратно. Бойцы старались не смотреть на свою спутницу. Каждая, прежде милая, складка ее шинели вызывала отвращение, и, когда девушка падала, никто не протягивал ей руку, чтобы помочь подняться.

Солнце уже высоко стояло в небе, когда бойцы пришли в штаб. Чеваков сказал девушке нехотя:

— Ты и так еле ноги волочишь, иди спать, мы и без тебя доложим. А насчет спасибо — пускай начальство скажет.

Девушка кивнула головой и, согнувшись, побрела в избу.

Чеваков доложил командиру разведывательного батальона о результате разведки. Сведения, добытые бойцами, имели чрезвычайную важность; шифровальщик тут же передавал их по телеграфу командиру корпуса. Потом комбат спросил:

— А где же Нина Богорадова? Как она себя чувствует?

— Это та, что нас водила? — откликнулся Чеваков.— Дрыхнет небось без задних ног... Натерпелись мы с ней...— Презрительно усмехаясь, он рассказал все обстоятельства встречи на дороге с немецким охранным отрядом.

Но странно: чем ядовитее говорил Чеваков о девушке,

тем сильнее лицо комбата покрывалось красными пятнами, и дышал комбат так глубоко и учащенно, словно его кололи булавками и он должен был молча переносить боль.

Когда Чеваков кончил, батальонный, не говоря ни единого слова, долго ходил по хате, не обращая внимания на удивленно глядевших на него бойцов. И вдруг, резко повернувшись, сказал глухо:

— Эта Нина Богорадова была повешена гитлеровцами в деревне Жимолости два дня тому назад. Партизаны ворвались вовремя и спасли ее. Вы видели, как веревка изодрала ее шею? Как она кашляет и плюет кровью? И эта больная, раненая девушка вела себя так, как надо. Может, и своих родителей на дороге видела, но знала, что сведения разведки имеют огромное значение для исхода боя. А вы что тут о ней плетете?.. Герои! — И, махнув рукой, бросил: — Можете идти.

Бойцы вышли и остановились. Лицо Чевакова было бледно. У Игнатова тряслись губы. А Рамишвили, терзая на груди гимнастерку, яростно требовал:

— Пошли сейчас же у нее прощения просить! Такой скандал, такой скандал!..

Игнатов горько прошептал:

— Тут, брат, одними извинениями дела не поправить.

— А извиниться, ребята, все-таки нужно,— медленно произнес Чеваков.— Только я думаю таким манером это сделать. Сейчас отряд отправляется в Жимолости. Поспать придется отставить. А нам будет очень интересно взглянуть на тех гитлеровцев, которые ее истязали и мучили...

— Мы теперь всё можем,— возбужденно шептал Рамишвили.— Теперь что хочу, то и делаю. Сведения сдал — свободный человек.

— Разговорчики отставить,— деловито прервал Чеваков.— Как-нибудь разберемся. После боя побреемся, воротнички чистые и, значит, по всей форме — извиняюсь. Точно?

— Точно,— единодушно согласились бойцы.

И, вскинув автоматы за спины, они пошли на опушку леса, откуда отряд должен был наступать на Жимолости.

Светило солнце, и снег блестел и слепил глаза.

1942

ГВАРДЕЙСКИЙ ГАРНИЗОН ДОМА № 24

Из окна комендатуры застучали станковые пулеметы.

Очередь прошла сначала над головами бешено скачущих лошадей, потом расщепила оглоблю, и пули, глухо шлепая, пробили брюхо коня и его по-птичьи вытянутую шею.

Вторая упряжка свернула на тротуар и помчалась дальше.

Став в санях на колени, Горшков метнул в окно комендатуры гранату. Савкин, лежа в санях, бил вдоль улицы из ручного пулемета. Кустов, намотав на левую руку вожжи, сбросив с правой рукавицу, свистел. Это был зловещий свист, полный удали и отваги.

Чугунная тумба попала под сани. Бойцов вышибло из разбитых саней. Волоча обломки, лошади ускакали.

Улегшись в канаве, Савкин отстреливался от голубомундирных жандармов, уцелевших в комендатуре. Горшков вскочил в двери ближайшего дома. Через секунду он выбежал наружу и, прислонясь к косяку, метнул внутрь гранату. Взрывом вырвало стекла вместе с рамами.

Поднявшись с земли, Горшков крикнул:

— Сюда, ребята!

Кустов вошел в наполненное дымом здание. За спиной у него был миномет; два железных ящика с минами висели по бокам. В руках он держал за веревочные петли ящик с патронами. Продолжая отстреливаться, вполз Савкин. Не оглядываясь, он поспешно приладил на подоконнике пулемет и продолжал бить короткими очередями.

С пола, шатаясь, поднялся немецкий офицер. Кустов, руки которого были заняты, растерялся. Потом высоко поднял ящик с патронами и с силой обрушил на голову врага.

Ящик треснул от удара, и пачки патронов посыпались на пол.

Пули с визгом ударялись в стены и крошили известку. Протирая слезящиеся от известковой пыли глаза, Савкин, меняя огневую позицию, перебегал от одного окна к другому.

Поставив стол, на стол табуретку, взобравшись на это сооружение, Горшков стрелял из автомата в круглое отверстие в стене, пробитое для вентилятора.

Вражеские солдаты вытащили на крышу соседнего здания тяжелый станковый пулемет. Пули, ударяясь о каменную стену, высекали длинные синие искры. Но прибежал взволнованный офицер и приказал солдатам прекратить стрельбу.

Дело в том, что немецкий гарнизон, оставшийся в хорошо укрепленном городе, должен был прикрывать отступление основных своих сил.

Первым, обеспокоившись наступившей тишиной, угрюмо заговорил Горшков:

— Что же такое, ребята, получается: приехали три советских гвардейца, а фашисты, выходит, на них внимания не обращают?

Савкин, зажав в коленях диск, закладывая патроны, огорченно добавил:

— А командиру что обещали! Не получилось паники.

— Получится,— сказал глухо Кустов и, взвалив на спину миномет, полез по разбитой лестнице на чердак.

Скоро здание начало мерно вздрагивать. Это Кустов уже работал у своего миномета. Прорезав кровлю, выставив ствол наружу, он вел огонь по немецким окопам, опоясавшим город.

И фашисты не выдержали. Они открыли яростный огонь по дому, в котором засели гвардейцы.

Горшков, прижавшись к стене, радостно кричал:

— Вот это запаниковали! Вот это да!

Серый дым полз из чердачного люка, обдавая угарным теплом.

Командир батальона сказал:

— Бойцы, вы слышите эти выстрелы? Это дерутся наши люди. Тысячи пуль, которые обрушились на них, могли обрушиться против нас. Пусть имя каждого из них будет жечь ваши сердца. Вперед, товарищи!

Батальонный любил говорить красиво. Но в бою он не знал страха. И если бы в атаку можно было ходить с развевающимся знаменем в руках, он держал бы это знамя.

Бойцы пошли в атаку.

А с крыши дома № 24 уже валил черный дым, и яркое пламя шевелилось на кровле, порываясь взлететь в небо.

Спустившись с чердака, жмурясь от дыма, Кустов в тлеющей одежде прилаживал к амбразуре окна миномет.

Враги пытались взять дом штурмом. Взрывом гранаты вышибло дверь. Ударом доски Кустова бросило на пол. Нашарив в дымном мраке автомат, прижав приклад к животу, он дал длинную очередь в пустую дверную нишу, и четыре вражеских солдата растянулись на пороге.

Тогда гитлеровцы выкатили пушку.

Савкин гордо сказал:

— До последней точки дошли. Сейчас из пушки палить будут.

Горшков добавил:

— Выходит, ребята, мы задание перевыполнили.

Кустов, глядя на свои раненые ноги, тихо произнес:

— Уходить даже неохота, до чего здорово получилось!

В грохоте взрывов тяжелые осколки битого кирпича вырывало из шатающейся стены...

Батальон ворвался в город и после короткой схватки занял его.

Командир батальона, выстроив бойцов перед развалинами разбитого дома, произносил речь в память трех павших гвардейцев.

В это время из подвального окна разбитого дома вылез человек в черной, дымящейся одежде, за ним другой; третьего они подняли и повели под руки. Став в строй, один из них сипло осведомился:

— Что тут происходит?

И когда боец объяснил, Савкин сердито сказал:

— Фашисты похоронить не могли, а вы хороните...— и хотел доложить командиру о выполнении задания.

Но Кустов остановил его:

— После доложим. Интересно послушать все-таки, что тут о нас скажут такого.

Командир говорил пламенную речь, полную гордых и великолепных слов.

А три гвардейца стояли в последней шеренге, крайними слева, с вытянутыми по швам руками и не замечали, как по их утомленным, закопченным лицам катились слезы умиления и восторженной скорби.

Когда командир увидел их и стал упрекать за то, что не доложили о себе, три гвардейца никак не могли произнести ни слова — так они были взволнованы.

Махнув рукой, командир сказал:

— Ладно, ступайте в санбат.— И спросил:— Теперь небось загордитесь?

— Что вы, товарищ командир! — горячо заявил Горшков.— Ведь это же все по недоразумению сказано.

1942

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ

Зимой реки окаменели. Но и теперь, белые и запорошенные, они остаются ареной самых жестоких боев.

Ледяную крышу рек фашисты усеяли минными полями.

Пробив длинные, как траншеи, проруби, обнаженную дымящуюся воду коварно присыпали снегом. Отвесные скаты берегов залили водой, и стали берега ледяными и неприступными. В чугунной от стужи земле выкопали блиндажи и щели.

Форсировать застывшие реки было так же трудно, как и тогда, когда они свободно текли в мягких берегах.

Теперь мы катились вперед, на запад на тысячах колес. Наши батареи, как тяжкие колесницы, продавливали стальными ободьями снежный покров до черной земли. Танки раздирали снег, как вату, и полозья обозных саней пели густыми смычковыми голосами.

Но впереди лежал этот застывший водный рубеж, и прогрызть его должен был авангардный отряд с приданной ему саперной ротой под командой сержанта Григория Березко.

Собрав своих бойцов в древнем и застывшем лесу, Григорий Березко сказал просто:

— Имея задание наладить переправу, я думаю, что канителиться под огнем не стоит. Мост мы сделаем здесь и в готовом виде доставим на место.

И вот пришла ночь. Сухой снег мела поземка. Жгучие потоки стужи крутились смерчами над остывшей землей. А по целине, в одних гимнастерках, с натужными, бурлацкими лицами, волокли наши саперы на полозьях, вырубленных из цельных стволов деревьев, расчлененный готовый мост.

Когда достигли берега, гигантские сани с высящимися

на них рамами моста со скрипящим визгом сползли вниз со ската. За ними другие, третьи, четвертые. На льду саперы затормаживали их, подбрасывая под полозья доски.

И все это было так внезапно, так неожиданно, что враг открыл огонь лишь тогда, когда, оседлав рамы, саперы соединяли их между собой железными скобами.

Работать под огнем, когда пули рвут щепы из бревна у тебя под руками, неудобно. Но Березко, суровый в строю, становился во время работы прежним самозабвенным, взыскательным мастером. Позабыв обо всем, молил:

— Аккуратнее, ребята! Чтоб тесинка в тесинку. Впритирочку.

И когда увидел на пальцах Нещеретного кровь, грубо и удивленно спросил:

— Опять порезался? Что у тебя, топорище салом намазано?

Нещеретный, подняв голову, виновато сказал:

— Пулей, товарищ сержант.

Пока саперы доделывали мост, наши пулеметчики вели огневой поединок, защищая людей, работающих на мосту.

И вот мост готов. Саперы, собравшись в тихой от ветра и пуль балке, курили и отдыхали, прислушиваясь к перестрелке. Последним пришел Григорий Березко. Оглядев саперов, он сказал гордо:

— Теперь, ребята, можно и до кухни с песней,— и подмигнул.

Саперы вышли на дорогу. По дороге, в освещенном луной снежном облаке, мчались танки. Выскакивая с переправы, они врывались, бешеные и нетерпеливые, в расположение фашистов и били узкими длинными лентами огня.

Саперы как зачарованные смотрели на могущественные машины, забыв о своей гордости. Ведь эти машины так послушно ждали результатов их труда!

И вдруг один танк остановили, крышка башни открылась, и из люка высунулась голова веселого танкиста в черном шлеме. Танкист помахал рукой и крикнул:

— Эй, орлы, цепляйтесь! Поехали гадов бить! Чего зря на дороге мерзнуть!

Березко растерянно оглянулся на своих бойцов, но, увидев на их лицах такие же озорные улыбки, как у танкиста, лихо сдвинул на затылок ушанку и закричал:

— Кто прокатиться до них хочет? За мной! — И стал неловко карабкаться на покатую спину танка.

Саперы поспешно снимали винтовки, рассаживаясь на

танке, и машина, дрогнув, снова помчалась вперед в серебристом облаке снежной пыли.

Пришел рассвет, медленный, зеленый. По заснеженной дороге тянулась молчаливая колонна бойцов, и впереди шагал Григорий Березко, без шапки, с утомленным лицом и коричневым бинтом на голове, и волок за собой на ремне сухощавый немецкий станковый пулемет на узких колесах.

Приведя бойцов в балку, Березко велел разобрать оставленный инструмент и, снова построив их, отдал команду «смирно».

Потом Березко поправил на лбу заскорузлую повязку и сказал тихо:

— Если кого из вас медалью за храбрость наградить, я не возражаю. Но медаль за трудовую доблесть я лично считаю высшим знаком отличия, потому что русский сапер свою собственную славу имеет. Может, и негромкую, не такую красивую, как в тесном бою добытую, но зато собственную, прочную. Кто штыком и гранатой, а кто топором и лопатой. У всякого свое рукоделие. Путать, конечно, зря специальности не следует. А что касается немецких дзотов, должен сказать — сооружение капитальное. Но когда наш сапер к ним с гранатой в руке прикладывался, выяснилось, что они вроде как на слюнях сделаны. Что же касается амбразур,— срублены они интересно. По этому поводу я специальное занятие проведу.— И озабоченно приказал: — Вольно, разойдись!

Пришла походная кухня. Саперы сидели в свежерубленых шалашах и держали на коленях котелки с горячими щами. Веселым шепотом они рассказывали друг другу о ночной схватке. А Березко сидел на снегу один и рубил новое топорище из дубового кругляка. Хотя топорище ему не было нужно, Березко рубил его, потому что в работе ему всегда лучше думалось, а командование дало ему новое задание: соорудить волокуши для танкового десанта, конструкцию которых он должен сейчас придумать.

Котелок со щами, стоявший рядом с Березко, покрылся ледяной коркой. Щи эти, надо думать, ему придется выбивать из котелка и в замороженном виде забирать с собой в мешке, так как за лесом для волокуш нужно отправляться далеко, а материал для всяких сооружений Березко всегда выбирает сам.

1942

НЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Петя Савкин, шофер нашего артдивизиона, был из породы людей, которым состояние покоя недоступно даже во сне.

Невысокого роста, чернявый, с глазами вечно бегающими и нетерпеливыми, он не говорил, а кричал, не ходил, а бегал. Он не вел свою машину, он гонял ее как дьявол.

В буран и вьюгу, в ночи, темные и густые, как деготь, он уверенно мчался вперед, просвечивая темень одними своими кошачьими глазами. Большаки, искалеченные, изуродованные, где погрязали надолго другие машины, он вдумчивым и отважным мастерством первоклассного водителя преодолевал, как нанаец — пороги кипящей реки.

Наткнувшись на транспортную пробку, Петя Савкин бегал вдоль остывающих машин, орал на шоферов, покорно дремлющих на баранках. Срывая с себя ватник, бросал под колеса буксующей машины, влезал сам на сиденье, и машина, покоренная его нетерпеливой яростью, послушно выползала на дорогу.

Однажды генерал-майор, затертый со своей машиной образовавшейся пробкой, увидев распорядительность Савкина, подозвал его, поблагодарил и пожал руку.

Савкин, стоя, как при команде «смирно», кротко попросил у генерала разрешения обратиться к нему.

— Товарищ генерал-майор,— сказал Петя Савкин,— если б вы мне при всех пожали руку, тогда это — да. А то я буду рассказывать, а мне все равно не поверят.

Выдумывать Петя Савкин действительно очень любил. Даже про то, что он так сказал генералу, Петя, наверное, тоже выдумал.

Но самая главная правда, о которой Петя почему-то не любил говорить, заключалась в том, что, когда Савкин обслуживал нашу батарею, мы никогда не знали перебоев

в госпитании. И когда мы били с открытых позиций, и немецкие снаряды и мины рвали вокруг землю в клочья, и вражеские танки мчались на нас, Петя лихо подкатывал к самым орудиям и, помогая выгружать снаряды, уже орал:

— Ребята, я парочку лишних к себе в кабину положил. Разрешите за это дернуть шнурок!

И батарейцы подпускали его к орудию, и Савкин производил выстрел. Потом он уверял нас всех — всех, кто был на батарее,— что своими глазами видел в воздухе полфашиста.

Прорвав немецкие укрепления, мы выкатились далеко вперед, продолжая крушить вражьи гнезда; орудия пожирали целые эшелоны боеприпасов, и наши шоферы работали вторые сутки без отдыха. И снег на поле боя стал черным от копоти.

Вражеские автоматчики пробрались в лес. Устроив себе на деревьях снайперские гнезда, они простреливали большак. Шоферы вынуждены были объезжать в этом месте дорогу. Трассирующие пули цветными тропами чертили ночную тьму.

Савкин мчался в тяжело нагруженной снарядами машине; рядом с ним сидел артиллерийский наблюдатель Госяков, он держал у себя на коленях жестяной ящик с ракетами, а за поясом у него висела ракетница, похожая на древний дуэльный пистолет.

Стараясь перекричать шум мотора, Савкин рассказывал Госякову о том, как он с одного выстрела из орудия № 4 подбил вражеский танк и вывез его под огнем на буксире и как в пути немецкий офицер вскочил к нему в кабину и хотел задушить, а он, Савкин, задушил его сам левой рукой, не выпуская баранки из правой.

И опять, конечно, Савкин врал, потому что танка он никакого не подбивал и офицера не душил, но то, что он вывез из-под обстрела на тракторе наш подбитый танк,— это была правда.

Госяков вежливо слушал Савкина. Он не возражал ему, потому что кто станет перечить человеку, сидящему у руля в темноте, непроглядной как бездна, и видящему своими кошачьими глазами все, что нужно!

Когда подъехали к тому месту, где шоферы сворачивали на объезд, избегая огня «кукушек», Савкин внезапно заявил, что объезжать он не желает, потому что ему некогда.

Приказав Госякову вылезти из кабины, он спросил:

— Когда встречная машина тебе полными фарами лицо засвечивает, ты видишь что-нибудь?

— Глаза до слез щиплет, где тут! — промямлил Госяков, не понимая, к чему клонит Савкин.

— Ну, так вот, я эту шпану из леса выкину.— И Савкин щелкнул затвором, загоняя патрон в патронник.— Ты за мной иди. Как увидишь — по мне сажают, дуй в то место ракетой и освещай. Понятно?

— Есть! — оживился Госяков, но потом тревожно спросил: — А если тебя с первого патрона ухлопают, куда я с машиной деваться буду?

— Меня офицер ихний хотел на обе лопатки положить,— сердито сказал Савкин,— а он в гамбургском цирке борцом был, медали имел. А как я его французским ключом по котелку съездил, так он все свои нельсоны забыл.

Госяков скорбно вздохнул и, набив карманы ракетами, пошел вслед за Савкиным, проваливаясь по пояс в снег.

Лес, слипшийся во тьме в черный тяжкий массив, скоро стал прозрачным и светящимся. Пронзительный свет, возникая в нем, горел странным колдовским синим, красным и белым цветом.

Это было бы необыкновенно красиво в очарованной тишине ночи, если бы не сухой, зловещий стук автомата и не ответный хлесткий винтовочный выстрел.

И опять тишина, опять мрак. И снова цветущее, дивное сияние, и стук автомата, и хлесткий винтовочный выстрел.

Потом наступило полное безмолвие.

Выползшая на небо луна тлела холодно, как гнилушка, и снег вспыхивал кроткими огоньками.

На дорогу вышел Госяков, обвешанный тремя автоматами. Он был возбужден и кричал взволнованно, все время оборачиваясь к Савкину:

— Я последнему залепил. Аж жареным завоняло! Вот подсветил, так подсветил!

А Савкин, как ни странно, уныло плелся за ним вслед и морщился так, будто слова Госякова раздражали его.

Всю дорогу Савкин молчал и вел машину так осторожно, как никогда в жизни. А Госяков все говорил и говорил. Хорошо, что за шумом мотора разобрать всех слов его было нельзя.

Прибыв на батарею, Савкин не вылез из кабины, а продолжал сидеть в ней, склонив голову на баранку.

Командир орудия № 4 Бурлаков открыл дверцу и весело сказал.

— Петя, давай. Твой положенный ждет.

Но Савкин не поднял головы.

Бурлаков спросил:

— Ты спишь, что ли?..

Когда Савкина вынесли из кабины, бойцы увидели, что стеганка его набухла от крови. Кровь была на сиденье и на полу кабины.

В госпитале Петя Савкин заморочил всем головы своими рассказами о фронтовых похождениях. Но когда его спрашивали, при каких обстоятельствах его ранили, Савкин сдержанно замечал:

— Не люблю лишний километраж гонять, бензин зря жечь и все такое... На дороге порядок должен быть, а то что получается?

И начинал рассказывать, как снял немецкого парашютиста, висевшего на сосне. И как после этого все шофера его автобата ходили в шелковых портянках, сделанных из немецкого парашюта.

1942

МАРТ—АПРЕЛЬ

Изодранный комбинезон, прогоревший во время ночевок у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стаял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром лесу, голодными глазами косился на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус...

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство,— думал капитан,— вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше неважное положение. И, как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать с самим собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал,

очень неплохой парень, добрый, душевный, все понимает. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал:

— Побриться бы надо, а то щеки как у ежа,— и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он тоже не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек,— говорили о нем,— скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена фашистами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись. Многие разочарованно, потому что хотелось верить: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья, оказывается, никакого и не было...

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось,— пить только для того, чтобы заполнить пустоту в желудке.

Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли; когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал. Бесчисленные сосульки и ледяные лужи, отражая лунный свет, горели холодным огнем.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам? Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо.— Хальт!

Но капитан повел себя странно. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему на немецком языке приказали поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку,— тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся.

Пароль произнес одними губами. Когда получил отзыв, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауэр».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что ж, думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твое помещение!

— Вы за мной,— сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе,— а я поползу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена,— тихо объяснил радист,— болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял.— И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли немцы рацию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно.— Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся.— Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим, резко очерченным ртом, от которого трудно отвести взгляд.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно — напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень

хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал капитану замечание за то, что он уделяет Михайловой так мало внимания.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хорошая для семейной жизни.— И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ начальник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую...— И капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун обычного выходного дня.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнущимися щупальцами, но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым, спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые,— все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала

и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда немного усталым и грустным, был жестким и требовательным и к себе самому...

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: их раздавили в пограничном поселке 22 июня железными лапами немецкие танки.

Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило побудительной причиной его бесстрашия. Поэтому он и обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, гордых, скорбящих и сильных, немало на этой войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточили враги твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое поведение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, Михайлова рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что и он никуда не годится.

Сказать все? Ну нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка,— заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно и удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы годитесь с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете,— сказал капитан,— договоримся с самого начала: меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не нищите,— сказал капитан, ощупывая ее стунню, вспухшую, обтянутую глянцевитой синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Грязный носок лучше?

— Он чистый.

— Знаете,— снова повторил капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то долго мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно,— согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать что-нибудь найдется?

— Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно,— протянул капитан.— Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь.— И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что никуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и предложил:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернул его в платок и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье»,— сказал капитан и протянул ей банку с коричневой жижей.

— Я потерплю, не надо,— сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь,— сказал капитан.— А пока не морочьте мне голову всякими штучками, пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач,— сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо.— И съел всю птицу.

Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного,— ответила девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше,— сказал капитан.— А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся мешком.

— Ну, знаете...— возмутился капитан.

— Подвиньтесь,— сказала девушка.— Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы мои вам не мешают.

— Мешают,— вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая его лицо. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь,— сказала девушка.— Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали.

— Не помню,— сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей, черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался изо рва и полз двадцать километров до места явки.

Чтобы прекратить разговор, он спросил:

— Нога все болит?

— Я же сказала, что могу идти сама,— раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан снова впрягся в сани и заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, вероятно поверх льда уже покрытую водой.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете,— сказала девушка, приподымаясь,— вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите,— спокойно ответил капитан.

Он поджарил топкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно? — удивилась девушка.

— Еще бы! — улыбнулся капитан.— Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо,— согласилась девушка.— Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей,— пробормотал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь,— попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, вставшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Немцы недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего,— ответил капитан.— Ловко очень устроили.— Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— И даже очень,— сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан сел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую цигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что,— сказал он глухо.— Рацию я забираю и иду туда,— он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо,— сказала Михайлова.— Только рацию вы не получите.

— Ну-ну,— сказал капитан,— это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения,— буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.

— Да поймите же вы!..— вспылил капитан.

— Я понимаю,— спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной.— И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то очень обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте действуйте.— И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите? Время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свидания, капитан!

— Идите, идите,— буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой это было бы приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как буду себя держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам с матерью теперь будет очень тяжело, очень.

— Папа,— звонко сказала она,— папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась: таким оно стало измученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец.— Ну что ж, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она,— папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери они утром сказали, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно, во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные дни, она первое время плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с отморожепной ногой. А ведь когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом расстроенно сообщала: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот теперь, если немцы успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужасалась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее

послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:

— Ты чего так расфрантилась?

— Подумаешь,— сказала она.— Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, распухшую ногу.

«Ну, убьют. Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я лучше их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов рации не было.

Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали первые позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводырем огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич рации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде, и, наклонившись к рации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Она подносила руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась,— тоскливо подумала она.— Впрочем, теперь это не важно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее помимо воли

нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно... Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно... Скорее бы только! Ну, что они, в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели. Мне так плохо здесь.— И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать раздельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик: «Бейте, бейте!» — высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено,— с тоской подумала она.— Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги...

Она их совсем не чувствовала. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто... И она не узнала бы самого страшного.

«Нет,— решительно сказала себе она,— с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как синели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, а из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак,— прошептала она.

— Все равно,— сквозь зубы сказал капитан,— я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю.

Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Сколько это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он сполз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым, добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно,— сказал он,— это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел,— сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом, я думал, что вы ранены.

— Все равно,— сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно,— согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Глупости,— сказал капитан,— ничего вы не могли

знать. Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли пристукнуть. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не сунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих,— серьезно сказал капитан,— вы хорошая девушка.— И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтоб кто-нибудь поступал иначе?

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побледнели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так, я вас просто так люблю,— гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, застенчиво сказал:

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездили?

— Нет,— сказала Михайлова.

— Поедете,— сказал капитан.

— Гаврюша, партизан,— отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, оп объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним немцев из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у пас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо.— И, посмотрев в глаза

капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну еще бы,— сказал капитан,— вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А теперь сколько я этих гитлеровцев порезал! — Он всплеснул руками.— Я человек злой, обиженный!

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь.— И, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

1942

ПОЕДИНОК

Капитан Сиверцев сидит на складном стуле боком. Правая рука его, толстая от бинта, с желтыми от йода кончиками пальцев, бессильная и тяжелая, висит на груди в косынке защитного цвета.

Не отрывая глаз от стереотрубы, капитан Сиверцев диктует телефонисту цифры. Телефонист передает цифры на батарею. Батарея находится в шести километрах позади НП — в лесу. Орудия отвечают глухим, отрывистым, как слово «да», выстрелом. Через несколько секунд с раздирающим душу шелестом пролетает снаряд.

В расположении немцев подымается на воздух черный сугроб земли. Звук разрыва доносится только тогда, когда дымящаяся куча медленно опадающих обломков исчезает из поля зрения.

В блиндаже сыро, как в погребе, и тесно. В амбразуры невооруженным глазом видны немецкие окопы, зыбкая пыль от пулеметных очередей.

Капитану Сиверцеву на вид лет сорок. У него сухое лицо, одет он со строгой щеголеватостью кадрового командира.

На наблюдательном пункте, который находится от противника в семистах метрах, Сиверцев расположился с удобствами. Нары накрыты теплым одеялом, в изголовье толстая белая подушка. На фанерной доске бритвенный прибор, зеркало, большой синий чайник с квасом.

Это не важно, что за двое суток капитан только один раз прилег. Важно то, что здесь, в семистах метрах от врага, более уютно, чем на КП — далеко, там, позади, на опушке леса.

За двое суток беспрерывного наблюдения капитан засек огневые точки на переднем крае противника. И теперь, называя сухие цифры, он давит врагов, зарывшихся в складках нашей земли.

Самое трудное впереди. Предстоит дуэль с немецкой тяжелой батареей, которая сейчас молчит.

Эта батарея пристреляна по собственному переднему краю. Когда наша пехота прорвет укрепления, немецкая тяжелая батарея постарается накрыть ее. Этот маневр оборонительного огня является одной из разгаданных особенностей тактики немецкой обороны.

В момент штурма, когда неминуемо заговорит немецкая батарея, ее нужно разбить.

От этого поединка во многом зависит исход операции.

Когда капитан отворачивается от стереотрубы, чтобы дать передохнуть воспаленным от напряжения глазам, сидящие у стены бойцы взвода управления вскакивают и вытягиваются. Капитан снова обращает усталое лицо к стеклам. Бойцы медленно садятся, не сводя настороженного взгляда со спины капитана.

Бойцы знают — командир придирчив. Но зато он никогда не пытался внушить симпатию к себе мнимо добродушной веселостью или той ложной проницательностью, когда, спрашивая бойца, делают вид, будто наперед знают, что́ боец ответит. Жестокие, прямые слова свойственны капитану.

Вчера утром, когда, лежа на нарах, он отдыхал, разведчики привели в блиндаж пожилую женщину. Женщина плакала, хватала бойцов за плечи и все спрашивала: действительно ли они русские? Она казалась помешанной.

Капитан спросил, что она делала в лесу. Женщина сказала:

— У меня в доме немецкие офицеры живут. Они очень землянику любят. Я каждый день хожу для них ягоды собирать. А если приношу мало, они меня по голове кинжалами в чехлах бьют. И всю мне память отшибли, от этого я стала глупая и заблудилась.

Капитан подвел женщину к стереотрубе. Навел стереотрубу на деревню и просил указать, где ее дом. Женщина, глядя в трубу, испуганно воскликнула:

— Вон тот, меж двух тополей, которые в грачиных гнездах!

Капитан на секунду припал к трубе, потом подал команду:

— Правее ноль шестнадцать, два снаряда фугасными, второе орудие — огонь!

Когда взрывы смолкли, капитан попросил снова посмотреть в трубу.

Женщина наклонилась... и вдруг бросилась на капитана и стала кричать на него, размахивая кулаками, и рвать на себе волосы.

Капитан стоял, вытянувшись, с бледным лицом и заслонял левой рукой простреленную руку, чтобы женщина не ушибла ее. Потом капитан повернулся к бойцу; указывая на женщину, сказал:

— Отведите ее в Бугаево, что ли. Скажите, в сельсовет пусть устроят. Ей теперь жить негде.

И боец увел кричащую женщину.

Вечером она снова пришла к капитану, подошла к нему и сказала тихо:

— Вы простите меня, товарищ, я просто была какая-то ненормальная.

Капитан сказал, тоже тихо:

— Я понимаю вас.

Потом женщина поставила на пол кринку с земляникой и сказала:

— Вот, может, покушаете? — И объяснила: — Я почему на вас так кричала... вы думаете: хату жалко? — И совсем тихо сказала: — У меня дочка там оставалась. Ниной ее звали.

Все молчали. Женщина поправила платок; потом молча попрощалась со всеми за руку и ушла.

А земляника в кринке еще долго стояла в блиндаже, и на эту кринку бойцы смотрели так, как смотрят верующие на икону.

...Всю ночь шел дождь. А дождь ведь нагоняет тоску. Капитан сидел на нарах, баюкал раненую руку и все курил. Бойцы тоже не спали и тоже курили. Они знали, что у капитана не так болит рука, как сердце. И бойцы ждали рассвета, потому что с рассветом должно было начаться наступление.

На рассвете немцы стали бить из минометов по высотке, где был расположен наблюдательный пункт. Они решили выбить во что бы то ни стало сначала глаза у русской батареи.

Враг очень спешил. Он открыл огонь сразу из трех минометных батарей.

Но капитан не обращал внимания на огонь минометов. Он сидел на складном стуле, отвернувшись от стереотрубы, и, склонив голову, перебирал левой рукой холодные, обескровленные пальцы правой. Капитан ждал.

В 7.10 начался штурм.

Поблескивая потертыми, как лемеха на плугах, траками, качаясь на рытвинах, поползли танки. За ними катились серые кричащие волны пехоты. Как черные лезвия, пронеслись над передним краем наши штурмовики.

Капитан сидел склонив голову и, казалось, только прислушивался к биению своего сердца. Капитан сосредоточенно ждал того острого мгновения, когда от него — только от него одного! — будет зависеть все это огромное живое движение боя.

За кровь падающих бойцов, этих танкистов, полуоглохших от бешеного колокольного звона брони, по которой колотили немецкие снаряды, за всю кровь и скорбь разгневанной Родины и даже за этот кувшин с земляникой — за все должен расплатиться с врагами капитан. Он выиграет поединок! Иначе те, кто атакует сейчас врага, добывая свою родную землю, в то мгновение, когда радостное слово «победа» еще не отлетит с их губ, будут накрыты огнем грозно притаившейся сейчас батареи.

Раздался глухой удар. Капитан выпрямился, мельком бросил взгляд на часы — 7.30. Капитан встал, вынул папиросу, помял пальцами табак, дунул в мундштук. Движения его были замедленны — он отсчитывал секунды полета снаряда.

Лопающийся взрыв потряс почву. Ветер разрыва донесся сюда тугой, душной волной. Ветер, ушибающий насмерть, крутящий стальные осколки, словно черные, осенние листья.

Это был пристрелочный выстрел. За ним последует второй и даже, может быть, третий.

В интервалах между выстрелами, пощелкивая линейками, наклоняясь над таблицами, гитлеровские офицеры будут сверять свои данные с данными звукометрической станции.

Раздался первый, черновой залп.

Капитан, наклонившись к телефонисту, слушал донесения передовых разведывательных постов и кивал головой. Зажав коленями коробок, он чиркнул спичкой и прикурил.

Прозвучал второй залп.

С батареи донесли, что снаряд разорвался в расположении тракторов. Одна машина выведена из строя.

Трое бойцов взвода управления стояли навытяжку у стен блиндажа и с укором смотрели на командира, недоумевая, почему он до сих пор еще не открывает огня.

Капитан встал, прошелся по блиндажу, продолжая

слушать донесения разведчиков. Почти все было ясно. Не хватало только одного показания. Капитан ждал. Он был спокоен. Наклонился над кринкой с земляникой, взял горсть ягод и стал машинально есть.

Раздался третий залп.

С батареи сообщили, что у одного орудия перебито колесо. Орудие осело набок, но огонь может вести. И почти тотчас с переднего поста сообщили о всех недостающих данных.

Капитан на мгновение задумался. Всё. Ясно. Шагнув к телефону, он поднял руку.

Но телефонист, безуспешно стуча рычагом, повернул к капитану искаженное лицо.

— Связь! — приказал капитан, обернувшись.

Боец, наклоняя голову, выскочил наружу. Но едва он поднялся из хода сообщения, ударила пулеметная очередь, и боец свалился обратно в траншею. Прижимая обе руки к животу, виновато улыбаясь, он попытался подняться и снова упал.

— Связь! — повторил снова капитан.

Другому бойцу почти удалось пробежать открытое место. Но и он упал. А через несколько секунд он начал ползти, волоча перебитые ноги.

Воля командира, упорно хранимая, несгибаемая,— только она простой и ясной своей силой заставляла сейчас делать то, что дано человеку совершить лишь один раз в жизни.

Капитан обернулся к единственному оставшемуся связному и встретился с ним глазами.

Это был Алексеев, двадцатилетний юноша. Как-то он сказал капитану, краснея:

— Знаете, товарищ капитан, я вместе с вашим сыном учился в одной школе.

— Да? — произнес капитан, и лицо его на мгновение потемнело, словно от боли.— В таком случае вам следует работать вычислителем,— прибавил он.— Там нужны грамотные люди.

При встречах Алексеев не сводил с капитана обожающих, преданных глаз. Для него капитан был образцом, которому он хотел во всем подражать. Он даже стал улыбаться так, как капитан, одними губами.

Два раза бойцы выкапывали его вместе с капитаном из-под обломков дома, в котором находился наблюдательный пункт. Однажды капитан вытащил его из сарая, подож-

женного зажигательным снарядом, где он лежал, задохнувшись, без сознания, возле телефонного аппарата.

А когда Алексеев вернулся из госпиталя и стал благодарить его, капитан сделал ему резкое замечание за то, что он явился к нему, не зашив как следует прожженной одежды.

Шагнув к капитану, Алексеев хотел сказать, что он хочет умереть за Родину, что капитан, вспоминая его, будет гордиться им, что он...

Но капитан нетерпеливо пошевелил плечом, и Алексеев, резко повернувшись на каблуках, вышел.

Капитан поглядел вслед ему.

Пехота рванулась за танками. Бойцы дрались в траншеях врукопашную. Накинув ремень на ствол немецкого пулемета, бившего из блиндажа, какой-то боец оттягивал пулемет в сторону. Другой, широко расставив ноги, раскачивал связку гранат, прежде чем швырнуть ее внутрь блиндажа.

Немецкие солдаты дрались отчаянно. Они знали, что, покинув укрепления, попадут под огонь пулеметов. Танк КВ, забравшись на кровлю дзота, затормозив одну гусеницу, вращался на месте, стараясь продавить перекрытие. Выкатив орудие, немцы вели огонь по танку. Но к расчету бежали наши бойцы с винтовками наперевес.

Немецкие солдаты еще не отступали, и их было больше, чем наших, когда немецкая тяжелая батарея бросила залп изо всех орудий.

В то же мгновение на нашей стороне тоже вздохнула батарея, и, рассекая воздух, снаряды понеслись туда, в глубь немецкого расположения, где находилась эта тяжелая батарея.

Залпы русских орудий слились в единый мрачный, грохочущий гул. Казалось, это ненавидящим голосом кричала сама наша земля.

Там, где находилась немецкая батарея, поднялась черная туча.

Тонко продуманный, вымеренный, заранее расписанный замысел противника наткнулся на то, что невозможно вычислить и предвидеть.

Мгновенно возникшая атака тяжелых эшелонов почти догоняющих друг друга в воздухе снарядов — такова тактика артиллерийского наступления.

Но вот капитан, отложив телефонную трубку, вытер ладонью лоб. И странно — такого легкого человеческого

движения было вполне достаточно, чтобы вся эта громкая и могущественная сила подчинилась ему.

И стало тихо. И стало слышно, как еще осыпается земля со стен блиндажа, как гудит в блиндаже толстая бабочка с густо напудренными белыми крыльями.

Капитан взглянул на часы — без пяти восемь. Он наклонился и записал время в записной книжке с изношенным переплетом. И эта цифра стала рядом с другими цифрами и ничем уже не отличалась от них.

...Светило солнце. На нетоптаном лугу росли цветы. Река синего цвета текла мимо высокого леса. Сухо стучал кузнечик во ржи, высокой, блестевшей золотом; мягкие облака плыли в небе.

А там, впереди, лежала еще одна пядь нашей родной земли, обугленная, исковерканная, политая кровью, но родная и любимая более, чем жизнь, более любимая, чем эта красивая и нетронутая полоса земли, дышащая сейчас покоем и счастьем.

1942

СЕМЬ ДНЕЙ

Бронебойный снаряд ударил в корму танка.

Звеня, танк подпрыгнул, прополз несколько метров и остановился. Правая гусеница осталась лежать позади, плоская и вытянувшаяся.

От тяжелого сотрясения у Владимира Головина, командира машины, парализовало ноги; в ушах стоял шум падающего сухого песка. Ему хотелось кричать, когда отдавал команду, потому что голоса своего не слышал, но кричать, он знал, не нужно. В танке с заглохшим мотором тихо, как в погребе. И поэтому он, не слыша себя, старался только тщательно выговаривать слова заплетающимся языком.

По приказанию командира стрелок-радист Леонид Шкурко вылез через аварийный люк, прополз с тросом под брюхом машины туда, где лежала оторванная гусеница, и прикрепил ее к танку.

Это все, что можно было сделать.

Менять разбитый трак под огнем противника невозможно.

К поврежденной машине подошел танк и взял ее на буксир.

Почва была болотистая и неровная. Буксируемая гусеница, подпрыгивая, перевернулась зубьями вниз, превратилась в борону и оборвала трос. Потом оборвался трос буксира танка. Но подошел еще один танк. Вдвоем они стали вытягивать раненую машину.

Но машина все глубже и глубже, как огромный лемех, уходила в почву.

Противник сосредоточил весь огонь с высоты по группе танков.

Танки не могли больше медлить. Они оставили безнадежно погрязшую машину и помчались на высоту в бой, потому что главное сейчас — это бить фашистов.

Изувеченная машина стала дотом. Она поддерживала огнем атакующие подразделения.

К вечеру бой стих. Противник ожесточенно защищал высоту и подтянул сюда все резервы. Наши подразделения обтекали высоту с флангов. Высота выдавалась по фронту в виде зеленого толстого носа. И на самом кончике этого носа сидел наш танк и бил беспощадно из пушки и пулемета туда, где обнаруживал передвижение врага. Немцы отвечали орудийным огнем.

Стрелок-радист Леонид Шкурко передавал по радио на батарею координаты засеченных огневых точек врага. И наша батарея молотила по ним весомо и уверенно.

Воспользовавшись ночной темнотой, Головин выбрался из танка и прополз к нашей пехоте. Он попросил выделить пять бойцов для охраны танка, чтобы его не забросали гранатами.

Действительно, немецкие автоматчики попытались это сделать. Но не успели. В броню танка уже стучала рука пехотинца.

— Ребята, бей! — кричал связной-пехотинец и, улегшись возле танка, посылал трассирующую пулю, указывая направление.

Вслед светящейся пуле летели шрапнельные снаряды и пулеметные очереди.

В течение двух дальнейших суток враг вел по танку беспрерывный огонь. Танк на огонь отвечал огнем. Танкисты угорали от пороховых газов до обмороков: экономя электроэнергию для рации, они не включали вентилятор.

В танке было душно, ядовито и жарко, как в топке. Хотелось пить, но двое суток никто не видел ни капли воды.

Механик-водитель Федор Немчинов лежал на сиденье, откинув на спинку голову, с бледным, потным лицом. Он был болен. У него начинался приступ малярии.

На третий день пошел дождь. Вода налилась в воронки от снарядов и мин, исковырявших всю землю вокруг машины. Танкисты черпали из воронок воду, как из колодца. Открыв люк, они поспешно выбрасывали ведро на веревке и, когда над головой пролетала очередь, снова прятались в башню.

Ночами, когда особенно сильно сказывалась усталость, потому что всем троим приходилось вести беспрерывное наблюдение, Немчинов рассказывал об отдельных деталях последнего боя.

Он рассказывал, как младший механик Дидик бежал впереди танка «Родина» по минному полю и указывал дорогу. Вражеский снаряд упал рядом с механиком, и Дидик, приподнявшись, рукой, облитой кровью, показал на последний проход, в который должен был ринуться танк.

Он рассказывал, как Токмачев, сидя на башне горящего танка, прищурившись, стрелял из пистолета в окружавших его автоматчиков, а потом, встав во весь рост, бросил пистолет на землю, прыгнул вниз, на фашистского офицера, и, повалив, душил его.

Он рассказывал, как политрук Ами Зямалов, пробравшись к брошенному, полуобгоревшему танку, управляя один орудием, разбил три немецких дзота.

И как-то тихо, спокойно, счастливо становилось на сердце после этих рассказов. И было ясно, что ничего такого особенно героического они сейчас, находясь в заточении, не делают, а делают всего-навсего то, что им положено делать как советским, честным воинам.

На четвертый день снарядов осталось несколько штук, патронов несколько десятков.

Головин снова отправился к пехотинцам. Там ему сказали:

— Держитесь!

— Пока не загоримся,— гордо сказал Головин.

Десять бойцов поползли к танку, толкая впереди себя по два снаряда. Прощаясь с танкистами, каждый из них оставил по обойме патронов для пулемета.

— Не надо, нам хватит,— говорили танкисты.

— А мы себе достанем, пользуйтесь.— И пехотинцы уползли.

В это время немцы бросили на танк звено пикировщиков. Головин швырнул из башни дымовую гранату, чтобы прикрыть танк завесой.

Один из пехотинцев, приняв гранату за зажигательный снаряд, героически кинулся к гранате и отбросил ее ударом приклада в сторону.

Несмотря на разрывы бомб, над пехотинцем так смеялись, и он был так смущен и обижен, что не пожелал лечь на землю, когда с отвратительным визгом в воздухе начали летать осколки.

На шестые сутки ночью связисты артиллерийского полка сумели провести к танку телефонную связь. Продев провод в отверстие для мушки пулемета шаровой установки, они соединили танк с командным пунктом батареи.

Теперь Головин давал батарее по телефону ориентиры и целеуказания.

Снарядов было достаточно, и танкисты не прекращали огневого единоборства с пушками.

Ночью, воспользовавшись перерывом в бое, Головин написал письмо комиссару своей части.

«Товарищу Байлимову.

Здравствуйте, товарищ комиссар. Живы все. Немчинов болен. Прошу прислать машину или подводу за ним вечером и вместо него прислать другого водителя. У машины подбита гусеница, которая осталась у врагов. Присутствия духа не теряем. Будем биться до конца. Товарищ комиссар, пришлите башенного стрелка. У меня его совсем нет.

Пехота нашей помощью очень довольна.

С комприветом *Головин*
19.8.42».

На исходе седьмых суток высота была взята. Танк сопровождал нашу пехоту огнем до последнего своего снаряда и патрона.

На рассвете пришли тягачи. Трактористы привезли гусеницу, помогли танкистам обуть машину, и утром танк уже снаряжался к новому бою.

...Партийное собрание, посвященное итогам боя, состоялось прямо на месте расположения разбитых и растоптанных вражеских укреплений. Сидя на перевернутых толстых гаубичных немецких гильзах, три товарища, похудевшие, с потемневшими от копоти лицами, слушали выступление комиссара Байлимова...

1942

ДВА ТОВАРИЩА

Ночь сырая, тяжелая. Когда проезжают машины, в узком лезвии прищемленного света на мгновение возникают дождевые нити. Потом снова мрак.

Дорогу размозжили танки, размыло дождем. Она превратилась в корыто, наполненное черным тестом.

Колонны барахтаются в этой грязи. Тяжелые камни высоко прыгают из-под скребущих гусениц тракторов; иногда из камня, как при ударе кресала о кремень, вылетают искры.

Под плоские, бешено бегущие траки гусениц артиллеристы бросают стволы деревьев. Мокрые щепки, как осколки, летят во все стороны. Орудия шатаются, и тогда артиллеристы подпирают мокрыми плечами их смертельную тяжесть.

Усталые пехотинцы идут по обочине дороги мимо брошенных немецких окопов, наполненных желтой водой. Но, проходя мимо артиллеристов, пехотинцы с уважением оглядываются на них.

В расположении врага подымаются на воздух и долго висят пучки встревоженных осветительных ракет.

Встревожиться есть от чего.

Все эти фронтовые дороги, как басовые, гигантские, туго натянутые струны, гудели низкими голосами от идущих по ним бесконечных колонн.

А с рассветом дороги оказались пустыми.

Тяжелые орудия притаились в роще.

Пока командир батареи Смирнов выбирал место для артиллерийской позиции, бойцы, безмерно уставшие после ночного марша, отдыхали, лежа на мокрой траве.

Наводчик Василий Грачев — жилистый, занозистый, горячий. Ящичный Горбуль — могучего сложения, склонный к полноте. Застенчивая улыбка постоянно блуждает на его юношески пухлых губах.

В бою прямым попаданием вывело из строя большую часть расчета. Грачев и Горбуль остались у орудия вдвоем. Тяжелые танки шли на батарею. Восемь танков они уничтожили прямой наводкой. Но тягач был разбит, снаряды израсходованы. Грачев послал Горбуля на высотку, где находился минометный расчет. Горбуль вернулся один. Он принес два ящика мин и сказал, что бойцы погибли, миномет разбит. Мины он принес для того, чтобы подорвать ими орудие.

Грачев возразил:

— Еще чего! — и стал рассматривать мины.

Ночью цепи автоматчиков пошли на одинокое орудие. Горбуль терпеливо стрелял из винтовки, а Грачев ругался и хотел что-нибудь придумать. Когда воющие фашисты были совсем близко, Грачев схватил Горбуля за руку и, подавая ему увесистую мину, сказал строго:

— А ну брось подальше!

Горбуль покорно, как он делал все, что ему приказывал Грачев, взял в руку мину и, резко откинувшись, швырнул ее. Пригнулся он только потому, что Грачев с силой прижал его голову к земле. Мина разорвалась. Тогда Грачев стал подавать мины Горбулю, а Горбуль бросал их размашисто и сильно. Когда мина не разрывалась, он виновато бормотал:

— Видно, на мягкое попала. А ну дай еще, я на другое место кину.

Они отбили атаку. Горбуль сказал, что он отмахал руку, но драться может. Грачев пошел отыскивать трактор и скоро явился, но не с трактором, а с грузовиком, где были снаряды. Теперь втроем они снова продолжали вести огонь. Втроем потому, что Грачев не отпустил шофера обратно.

...И на этом привале Грачев был таким же деятельным и предприимчивым, как и всегда. Он разыскал сено и принес его целую охапку.

— Мягкая будет постель, — сказал обрадованно Горбуль и тоже пошел за сеном.

Но Грачев не стал ложиться на свое сено. Он свалил его возле запачканного грязью орудия. Грачев был начальником правой станины. Сначала он вытер ее сеном. Потом набрал в котелок воды и вымыл станину. Тряпкой он протер банник, приданный его станине досыльник, кувалду и лом-лапу.

Когда Горбуль вернулся с сеном, Грачев сидел на пне, поросшем древесным грибом, похожим на лошадиное копы-

то, и, озабоченно поджав губы, зашивал разодранную на плече гимнастерку.

— Красоту наводишь? — спросил Горбуль.

Грачев сказал:

— Я еще бельишко постирать нацеливаюсь, запотело очень.

— Не говори,— пожаловался Горбуль,— все кости болят.— И, охнув, повалился на сено.

Но вдруг взгляд его остановился на орудии. Горбуль приподнялся, сел, долго пытливо смотрел на склоненное притворно-кроткое лицо Грачева, потом стал поспешно обуваться. Забрав сено в охапку, Горбуль еще раз сердито оглядел Грачева. А Грачев, делая вид, что ничего не замечает, отложил гимнастерку, взял лопату и пошел отыскивать место, где можно отрыть криничку, чтобы постирать в ней белье.

Через полчаса Горбуль разыскал Грачева у этой кринички. Тяжело отдуваясь, Горбуль сказал:

— Ловко ты меня прижучил.

— Я тебя не жучил,— тихо возразил Грачев.— У каждого своя совесть.

Горбуль сел на землю и, глядя на руки Грачева, произнес с сердцем:

— Вот воюем мы с тобой год вместе. Хотя я тебя ничем не хуже, а всегда выходит — вроде как хуже. И почему это?

Худое лицо Грачева с большими, темными от загара ушами покраснело, глаза сузились. Он положил на траву свернутую в жгут мокрую рубаху, вытер руки и сказал звенящим голосом:

— Я победы скорой над врагом желаю, понятно?

— Этого все хотят,— сказал Горбуль, повернувшись к Грачеву своим большим и сильным телом.— Не об этом речь.

— Нет, об этом,— сказал Грачев гневно.— Я тебе ветошь перед маршем дал, которую у хозяйки выпросил. А ты ее куда девал?

— Так она ж вся в дырах,— сказал Горбуль.— Ну, забыл на привале, ну и что же?

— А то,— зловеще сказал Грачев,— что эта ветошь на вате, а вата хорошо воду держит, и если опять придется беглый огонь вести, ею хорошо орудие остужать.

Горбуль смутился и сказал примирительно:

— Ну ладно, твой верх, мой недолет.

Грачев, смягчившись от просительного тона товарища, но еще не желая мириться, сказал:

— Я себя умником не считаю. Но за войну я себе одну мысль придумал.— Он помедлил, посмотрел на небо, где кружил немецкий корректировщик, прозванный за свою форму «костылем», и сказал, не меняя позы, не опуская глаз: — Люди теперь машинами воюют.— И поспешно добавил, боясь, чтобы Горбуль не перебил: — Винтовка тоже машина. А наше орудие — совсем машина.

— Ну и что? — перебил его все-таки Горбуль.

— А то,— уверенно сказал Грачев,— машина в руки даром не дается, если об нее все руки не изотрешь.— И неожиданно закончил: — А ты человек мягкий. Ты себя мучить не любишь. Ты воевать на одном азарте хочешь. По тебе война — только драка. На огневой ты королем ходишь, а на марше лопату в руки взять брезгаешь.

Горбуль приподнялся и сипло спросил:

— Так кто же я после всего этого, по-твоему?

Грачев тряхнул рубаху и спокойно ответил:

— Необдуманный человек, вот ты кто!

...Командир указал, где нужно оборудовать огневую позицию.

Выкопав нишу и две щели по бокам ее, бойцы, вкатив орудие, замаскировали его. На свежесрубленные стеллажи уложили снаряды, с левой стороны на припасенную Грачевым доску поставили стаканы с зарядами, другой доской прикрыли стаканы, чтобы не проникала внутрь сырость.

Грачев натаскал в нишу лапок ели и устлал ими землю, как ковром. Затем сходил к своей криничке и принес воды на случай, если придется при большом огне остужать нагретый ствол орудия.

Было жарко, знойно. Желтый горячий солнечный свет, проникая сквозь листву деревьев, красился в зеленый цвет, как от абажура, но от этого не становился прохладнее. Облака в небе казались тоже теплыми от жары. В расположении немцев стояла какая-то притаившаяся тишина.

Горбуль, верный своей натуре, когда вкатывали орудие, показал всю свою силу и в заключение с нескольких взмахов лихо заколотил кувалдой в землю сошники разведенных станин. Успокоившись, он улегся в куцем шалаше так, что его ноги торчали наружу, и курил, глядя на небо, на облака, желтые и теплые в вершинах, а внизу уже покрытые холодной копотью надвигающихся сумерек. И поза его была настолько безмятежной, что видно было сразу:

этот человек решил по крайней мере сто лет прожить и поэтому никуда не торопится.

Ночью враг открыл орудийный огонь.

Сначала раздавался глухой звук, будто кто-то далеко ударял пинком в днище пустой бочки. Потом слышался сухой шорох — это летел снаряд. Шорох нарастал, приближался, как ветер, несущийся по вершинам деревьев высохшего, мертвого леса. Затем раздавался хрустящий звук разрыва, и тугая воздушная волна толкала, как подушка.

Артиллеристы, сидя в шалашах, прислушивались к полету снарядов и шутили, когда снаряды не разрывались и плюхались на землю, резко прерывая скрежещущий стон полета. А когда после одного из выстрелов раздался непонятный режущий вопль, словно в воздухе летело какое-то большое страдающее животное, и послышался очепь глухой звук разрыва, бойцы захохотали.

— Этак они своих перелупят!

— Поясок со снаряда соскочил, вот он кувырком и чешет на свой край...

— Портит кто-то фрицам товар!

— С нашей продукцией такого сраму не бывает!

И артиллеристы курили, лежа в шалашах, и обсуждали вражескую стрельбу насмешливо и деловито.

В светлом, большом, чистом небе горели большие зеленые звезды, похожие на бортовые огни самолетов. В шалашах от увядающих листьев пахло банными вениками.

Грачев, положив па лист бумаги ладонь с растопыренными пальцами, учился писать в темноте, так как хотел стать разведчиком-вычислителем. Работа огневика казалась ему слишком спокойной. Горбуль, лежа на спине, говорил медленно, со вкусом, только для того, чтобы поговорить, не особенно задумываясь над смыслом того, что он скажет.

— Это правильно насчет презрения к смерти,— приятным, грудным голосом гудел Горбуль.— Чего ее бояться! Но и зря думать о ней не стоит. Вот оп сейчас пристрелку кончит и накроет. А зачем я себя по этому поводу тревожить буду! Лучше я о чем-нибудь интересном буду думать.

В темноте лица Грачева не было видно. Но, судя по тому, как он ерзал на своей лиственной подстилке, понятно было, что каждое слово Горбуля раздражающе жгло его.

— Сдоба из тебя прет,— громко сказал Грачев.— Сдоба прет, а злости настоящей нету. И про смерть ты тут рассуж-

даешь глупо, как тетерев. Гордишься, что помереть готов. Нет, друг, ты сначала отработай за жизнь.— И, стуча кулаком по ладони, Грачев произнес раздельно и самоуверенно: — Ты заставь немцев тебя не баш на баш брать. Ты до последней капли крови своей с ними торгуйся. Они двух положат — ты третьего требуй. Третьего положат — четвертого греби. Холмом тебе накидают. И ты па этот холм ногами заберись да крикни: «Мало!» Да еще одного своими руками придуши. А когда уж в самое сердце войдет, вались, но норови на голову кому-нибудь свалиться, чтобы и этому, последнему, шею сломать. Вот тогда я тебе скажу: «Мое почтение».

С вражеской стороны глухо и отдаленно стукнуло орудие. Грачев прислушался к тому, как со скрежетом и шелестом пролетел снаряд.

Снаряд разорвало рядом. Шалаш пошатнулся от удара воздуха.

Грачев стряхнул с колен листья и сказал:

— Если бы можно было глаза вынуть и снаряду в запал вставить, чтобы он врага, как зрячий, бил, я первый свой глаз вынул бы.

Горбуль нащупал спички, прикурил и тихо добавил:

— А мне так оба для такого дела не жалко. Я на бандуре лихо играю. Мой кусок хлеба всегда бы при мне был.

...В семь часов утра командир батареи приказал приготовить орудие к бою. Расчеты стали по своим местам. И в это мгновение люди изменились, они стали совсем другими.

Припавший к панораме Грачев был спокоен, как бактериолог, выслеживающий с помощью микроскопа чумную бациллу.

Горбуль, держа легко и нежно, как младенца, на согнутой в локте руке сорокатрехкилограммовый снаряд, с улыбкой глядел на командира.

Щелкнул открывшийся замок. Легко вошел снаряд. Казенную часть заполнил стакан с зарядом. Снова щелкнул замок. Командир орудия взялся за боевой шнур. Рывок. И с гулом удаляющегося курьерского поезда снаряд помчался на запад.

Немецкая батарея два раза накрывала огнем нашу батарею. Рощицу сильно порубили осколки. На стволе орудия шипели мокрые тряпки. Звено бомбардировщиков пикировало на батарею, и земля, ушибленная бомбовыми

разрывами, покрылась вокруг круглыми ямами воронок.

Горбуль во время налета не полез в щель. Он сидел на станине, широко расставив ноги, и отдыхал, пока вокруг него с отвратительным визгом летали осколки.

Но потом, когда расчет снова стал по местам, Горбуль оглянулся на правую станину, где он сидел, и, наклонившись, стал поспешно затирать ладонью кровь на ней. Поймав взгляд Грачева, он виновато объяснил:

— Мне шматком железа спину задело. Закапал маленько. Но я же вытер! — И в доказательство показал мокрую ладонь.

И с прежней бережной легкостью Горбуль продолжал подавать снаряды.

Обстрел вражеской позиции длился час двадцать минут. За это время Горбуль подал сто десять снарядов. Несмотря на тяготившую его рану, на лице Горбуля блуждала веселая и счастливая улыбка.

В сумерки батарея снялась с огневых позиций и начала преследовать отступающего врага.

Когда батарея проезжала мимо того рубежа, который она накрывала своим огнем, бойцы с уважением и гордостью подмигивали друг другу, кивая на черные, вывороченные из земли развалины обугленных немецких блиндажей.

Горбуль, сидя па тракторе, дремал, склонив толстое доброе лицо на плечо Грачеву, а Грачев, придерживая прыгающее на ухабах многопудовое тело своего приятеля, говорил язвительно и сурово:

— Ты бы храбрость выказывал, если бы она людей на что-нибудь звала. А то уселся, ноги растопырил: вот, мол, какой я заговоренный, меня никакое железо не берет. И хорошо, что шваркнуло. Еще мало: надо было бы сильнее, чтобы жиру у тебя поубавилось.

А Горбуль сонным, печальным голосом спросил:

— Ну чего ты меня все шпыняешь? Чего?

1942

ДОМ БЕЗ НОМЕРА

Дымящиеся дома сражались, как корабли в морской битве.

Здание, накрытое залпом тяжелых минометов, гибло в такой же агонии, как корабль, кренясь и падая в хаосе обломков.

В этой многодневной битве многие дома были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли.

Убитые фашисты валялись на чердаке пятые сутки, убрать их было некогда.

Ивашин лежал у станкового пулемета и бил вдоль улицы. Фролов, Селезнев и Савкин стреляли по немецким автоматчикам на крышах соседних домов. Тимкин сидел у печной трубы и заряжал пустые диски.

Нога Тимкина была разбита, поэтому он сидел и заряжал, хотя по-настоящему ему нужно было лежать и кричать от боли.

Другой раненый был не то в забытьи, не то умер.

Сквозь рваную крышу ветер задувал на чердак снег. И тогда Тимкин ползал, собирал снег в котелок, растапливал на крохотном костре и отдавал Ивашину воду для пулемета.

От многочисленных пробоин в крыше на чердаке становилось все светлее и светлее.

Штурмовая группа Ивашина захватила этот дом пять суток тому назад удачным и дерзким налетом. Пока шел рукопашный бой в нижнем этаже с расчетом противотанковой пушки, четверо бойцов — двое по пожарной лестнице, двое по водосточным трубам — забрались на чердак и убили там вражеских автоматчиков.

Дом был взят.

Кто воевал, тот знает несравненное чувство победы. Кто

испытывал наслаждение этим чувством, тот знает, как оно непомерно.

Ивашин изнемогал от гордости, и он обратился к бойцам:

— Товарищи, этот дом, который мы освободили от захватчиков, не просто дом.— Ивашин хотел сказать, что это здание очень важно в тактическом отношении, так как оно господствует над местностью, но такие слова ему показались слишком ничтожными. Он искал других слов — торжественных и возвышенных. И он сказал эти слова.— Это дом исторический,— сказал Ивашин и обвел восторженным взглядом стены, искромсанные пулями.

Савкин сказал:

— Заявляю — будем достойными того, кто здесь жил.

Фролов сказал:

— Значит, будем держаться зубами за каждый камень.

Селезнев сказал:

— Это очень приятно, что дом такой особенный.

А Тимкин,— у него нога была еще тогда целая,— наклонился, поднял с пола какую-то раздавленную кухонную посудину и бережно поставил ее на подоконник.

Фашисты не хотели отдавать дом. К рассвету они оттеснили наших бойцов на второй этаж; на вторые сутки бой шел на третьем этаже, и, когда бойцы уже были на чердаке, Ивашин отдал приказ окружить немцев.

Четверо бойцов спустились с крыши дома, с четырех его сторон, на землю и ворвались в первый этаж. Ивашин и три бойца взяли лежавшее на чердаке сено, зажгли его и с пылающими охапками в руках бросились вниз по чердачной лестнице.

Горящие люди вызвали у фашистов замешательство. Этого оказалось достаточно для того, чтобы взорвалась граната, дающая две тысячи осколков.

Ивашин оставил у немецкой противотанковой пушки Селезнева и Фролова, а сам с двумя бойцами снова вернулся на чердак к станковому пулемету и раненым.

Немецкий танк, укрывшийся за углом соседнего дома, стал бить термитными снарядами. На чердаке начался пожар.

Ивашин приказал снести раненых сначала на четвертый этаж, потом на третий. Но с третьего этажа им тоже пришлось уйти, потому что под ногами стали проваливаться прогоревшие половицы.

В нижнем этаже Селезнев и Фролов, выкатив орудие к дверям, били по танку. Танк после каждого выстрела укрывался за угол дома, и попасть в него было трудно. Тогда Тимкин, который стоял у окна на одной ноге и стрелял из автомата, прекратил стрельбу, сел на пол и сказал, что он больше терпеть не может и сейчас поползет и взорвет танк.

Ивашин сказал ему:

— Если ты ошалел от боли, так нам от тебя этого не нужно.

— Нет, я вовсе не ошалел,— сказал Тимкин,— просто мне обидно, как он, сволочь, из-за угла бьет.

— Ну, тогда другое дело,— сказал Ивашин.— Тогда я не возражаю, иди.

— Мне ходить не на чем,— поправил его Тимкин.

— Я знаю,— сказал Ивашин,— ты не сердись, я обмолвился.

И он пошел в угол, где лежали тяжелые противотанковые гранаты. Выбрал одну, вернулся, но не отдал ее Тимкину, а стал усердно протирать платком.

— Ты не тяни,— сказал Тимкин, держа руку протянутой.— Может, ты к ней еще бантик привязать хочешь?

Ивашин переложил гранату из левой руки в правую и сказал:

— Нет, уж лучше я сам.

— Как хочешь,— сказал Тимкин,— только мне стоять на одной ноге гораздо больнее.

— А ты лежи.

— Я бы лег, но, когда под ухом стреляют, мне это на нервы действует.— И Тимкин осторожно вынул из руки Ивашина тяжелую гранату.

— Я тебя хоть до дверей донесу.

— Опускай,— сказал Тимкин,— теперь я сам.— И удивленно спросил: — Ты зачем меня целуешь? Что я, баба или покойник? — И уже со двора крикнул: — Вы тут без меня консервы не ешьте. Если угощения не будет, я не вернусь.

Магниевая вспышка орудия танка осветила снег, розовый от отблесков пламени горящего дома, и фигуру человека, распластанную на снегу.

Потолок сотрясался от ударов падающих где-то наверху прогоревших бревен. Невидимый в темноте дым ел глаза, ядовитой горечью проникал в ноздри, в рот, в легкие.

На перилах лестницы показался огонь. Он сползал вниз, как кошка.

Ивашин подошел к Селезневу и сказал:

— Чуть выше бери, в башню примерно, чтобы его не задеть.

— Ясно,— сказал Селезнев. Потом, не отрываясь от панорамы, добавил: — Мне плакать хочется: какой парень! Какие он тут высокие слова говорил!

— Плакать сейчас те будут,— сказал Ивашин,— он им даст сейчас духу.

Трудно сказать, с каким звуком разрывается снаряд, если он разрывается в двух шагах от тебя. Падая, Ивашин ощутил, что голова его лопается от звука, а потом от удара, и все залилось красным, отчаянным светом боли.

Снаряд из танка ударил под ствол пушки, отбросил ее опрокинутый ствол, пробил перегородку. Из разбитого амортизационного устройства вытекло масло и тотчас загорелось.

Селезнев, хватаясь за стену, встал, попробовал поднять раненую руку правой рукой, потом подошел к стоящему на полу фикусу, выдрал его из горшка и комлем, облепленным землей, начал сбивать пламя с горящего масла.

Ивашин сидел на полу, держась руками за голову, и раскачивался. И вдруг встал и, шатаясь, направился к выходу.

— Куда? — спросил Селезнев.

— Пить,— сказал Ивашин.

Селезнев поднял половицу; высунув ее в окно, зачерпнул снега.

— Ешь,— сказал он Ивашину.

Но Ивашин не стал есть, он нашел шапку, положил в нее снег и после этого надел себе на голову.

— Сними,— сказал Селезнев.— Голову простудишь. Инвалидом на всю жизнь от этого стать можно.

— Взрыв был?

Селезнев, держа в зубах конец бинта, обматывал им свою руку и не отвечал. Потом, кончив перевязку, он сказал:

— Вы мне в гранату капсюль заложите, а то я не управлюсь с одной рукой.

— Подорвал он танк? — снова спросил Ивашин.

— Я ничего не слышу,— сказал Селезнев.— У меня из уха кровь течет.

— А я как пьяный,— сказал Ивашин.— Меня сейчас

тошнить будет.— И сел на пол. А когда поднял голову, увидел рядом Тимкина, но не удивился, только спросил: — Жив?

— Жив,— сказал Тимкин.— Если я немного полежу, ничего будет?

— Ничего,— сказал Ивашин и попытался встать.

Селезнев положил автомат на подоконник и, сидя на корточках, стрелял. Короткий ствол автомата дробно стучал по подоконнику при каждой очереди, потому что Селезнев держал автомат одной рукой, но потом он оперся диском о край подоконника, автомат перестал прыгать.

Ивашин взял Селезнева за плечо и крикнул в ухо:

— Ты меня слышишь?

Селезнев кивнул.

— Иди к раненым,— сказал Ивашин.

— Я же не умею за ними ухаживать,— сказал Селезнев.

— Иди,— сказал Ивашин.

— Да они все равно без памяти.

Ивашин приказал Фролову сложить мебель, дерево, какое есть, к окнам и к двери дома.

— Разве такой баррикадой от них прикроешься? — сказал Фролов.

— Действуйте,— сказал Ивашин,— выполняйте приказание.

Когда баррикада была готова, Ивашин взял бутылку с зажигательной смесью и хотел разбить ее об угол лежащего шкафа. Но Фролов удержал его:

— Бутылку жалко. Разрешите, я ватничком. Я его в масле намочу.

Когда баррикада загорелась, к Ивашину подошел Савкин.

— Товарищ командир, извините за малодушие, но я так не могу. Разрешите, я лучше на них кинусь.

— Что вы не можете? — спросил Ивашин.

— А вот,— Савкин кивнул на пламя.

— Да что мы, староверы, что ли? Я людям передышку хочу дать. Немцы увидят огонь — утихнут,— рассердившись, громко сказал Ивашин.

— Так вы для обмана? — сказал Савкин и рассмеялся.

— Для обмана,— сказал Ивашин глухо.

А дышать было нечем. Шинели стали горячими, и от них воняло паленой шерстью.

Пламя загибалось и лизало стены дома, высунувшись с первого этажа. Когда налетали порывы ветра, куски огня уносило в темноту, как красные тряпки.

Немцы, уверенные, что с защитниками дома покончено, расположились за каменным фундаментом железной решетки, окружавшей здание.

Вдруг из окон дома, разрывая колеблющийся занавес огня, выскочили четыре человека и бросились на фашистов. Фролов догнал одного у самой калитки и стукнул его по голове бутылкой. Пылая, гитлеровец бежал еще некоторое время, но скоро упал. А Фролов лег на снег и стал кататься по нему, чтобы погасить попавшие на его одежду брызги горючей жидкости.

Лежа у немецкого пулемета, Савкин сказал Ивашину:

— Мне, видать, в мозги копоть набилась, такая голова дурная!

— В мозг копоть попасть не может, это ты глупости говоришь,— сказал Ивашин.

На улицу выполз Селезнев, поддерживая здоровой рукой Тимкина.

— Ты зачем его привел? — крикнул через плечо Ивашин.

— Он уже поправился,— сказал Селезнев.— Он у меня за второго номера сойдет. Нам все равно лежать, а на вольном воздухе лучше.

И снова под натиском фашистов защитники дома вынуждены были уйти в выгоревшее здание.

На месте пола зияла яма, полная золы и теплых обломков. Бойцы стали у оконных амбразур на горячие железные двутавровые балки и продолжали вести огонь.

Шли шестые сутки боя. И когда Савкин сказал жалобно, ни к кому не обращаясь: «Я не раненый, но я помру сейчас, если не засну»,— никто не удивился таким словам. Слишком истощены были силы людей.

И когда Тимкин тоже сказал: «Я раненый, у меня нога болит, и спать я вовсе не могу»,— никто не удивился.

Селезнев, которому было очень холодно, потому что он потерял много крови, сказал, стуча зубами:

— В этом доме отопление хорошее. Голландское. В нем, видно, тепло было.

— Мало ли что здесь было,— сказал Фролов.

— Раз дом исторический, его все равно восстановят,—

сердито сказал Савкин.— Пожар никакого значения не имеет, были бы стены целы.

— А ты спи,— посоветовал Тимкин,— а то еще помрешь. А исторический или какой — держись согласно приказу, и точка.

— Правильно,— сказал Ивашин.

— А я приказ не обсуждаю,— сказал Савкин.— Я говорю просто, что приятно, раз дом особенный.

Четыре раза немцы пытались вышибить защитников дома и четыре раза откатывались назад.

Последний раз им удалось ворваться внутрь. Их били в темноте кирпичами. Не видя вспышек выстрелов, гитлеровцы не знали, куда стрелять. Когда они выскочили наружу, в окне встал черный человек. Держа в одной руке автомат, он стрелял из него, как из пистолета, одиночными выстрелами. И когда он упал, на место его поднялся другой черный человек. Этот человек стоял на одной ноге, опираясь рукой о карниз, и тоже стрелял из автомата, как из пистолета, держа его в одной руке.

Только с рассветом наши части заняли заречную часть города. Шел густой, мягкий, почти теплый снег. С ласковой нежностью снег ложился на черные, покалеченные здания.

По улице прошли танки. На броне их сидели десантники, в своих маскировочных халатах похожие на белых медведей.

Потом пробежали пулеметчики. Бойцы тащили за собой саночки, маленькие, нарядные. И пулеметы на них были прикрыты белыми простынями.

Потом шли тягачи, и орудия, которые они тащили за собой, качали длинными стволами, словно кланяясь этим домам.

А на каменном фундаменте железной решетки, окружавшей обгоревшее здание, сидели три бойца. Они были в черной, изорванной одежде, лица их были измождены, глаза закрыты, головы запрокинуты. Они спали. Двое других лежали прямо на снегу, глаза их были открыты, и в глазах стояла боль.

Когда показалась санитарная машина, боец, лежавший на снегу, потянул за ногу одного из тех, кто сидел и спал. Спящий проснулся и колеблющейся походкой пошел на дорогу, поднял руку, остановил машину. Машина подъехала к забору. Санитары положили на носилки сначала тех, кто лежал на снегу, потом хотели укладывать тех, кто сидел

у забора с запрокинутой головой и с крепко закрытыми глазами. Но Ивашин — это он останавливал машину — сказал санитару:

— Этих двух не трогайте.

— Почему? — спросил санитар.

— Они целые. Они притомились, им спать хочется.

Ивашин взял у санитара три папиросы. Одну он закурил сам, а две оставшиеся вложил в вялые губы спящих Потом, повернувшись к шоферу санитарной машины, сказал:

— Ты аккуратнее вези: это знаешь какие люди!

— Понятно,— сказал шофер. Потом кивнул на дом, подмигнул и спросил: — С этого дома?

— Точно.

— Так мы о вашем геройстве уже наслышаны. Приятно познакомиться.

— Ладно,— сказал Ивашин.— Ты давай не задерживай.

Ивашин долго расталкивал спящих. Савкину он даже тер уши снегом. Но Савкин все норовил вырваться из его рук и улечься здесь, прямо у забора.

Потом они шли, и падал белый снег, и они проходили мимо зданий, таких же опаленных, как и тот дом, который они защищали. И многие из этих домов были достойны того, чтобы их окрестили гордыми именами, какие носят боевые корабли, например: «Слава», «Дерзость», «Отвага» или — чем плохо? — «Гавриил Тимкин», «Игнатий Ивашин», «Георгий Савкин». Это ведь тоже гордые имена.

Что же касается Савкина, то он, увидев женщину в мужской шапке, с тяжелым узлом в руках, подошел к ней и, стараясь быть вежливым, спросил:

— Будьте любезны, гражданочка. Вы местная?

— Местная,— сказала женщина, глядя па Савкина восторженными глазами.

— Разрешите узнать, кто в этом доме жил? — И Савкин показал рукой на дом, который они защищали.

— Жильцы жили,— сказала женщина.

— Именно,— спросил Савкин.

— Обыкновенные люди,— сказала женщина.

— А дом старинный,— жалобно сказал Савкин.

— Если бы старинный, тогда не жалко,— сокрушенно сказала женщина.— Совсем недавно, перед войной, построили. Такой прекрасный дом был! — И вдруг, бросив на землю узел, она выпрямилась и смятенно запричитала: —

Да, товарищ дорогой, да что же я с тобой про какое-то помещение разговариваю, да дай я тебя обниму, родной ты мой!

Когда Савкин догнал товарищей, Ивашин спросил его:

— Ты что, знакомую встретил?

— Нет, так, справку наводил...

Падал снег, густой, почти теплый, и всем троим очень хотелось лечь в этот пушистый снег — спать, спать. Но они шли, шли туда, на окраину города, где еще сухо стучали пулеметы и мерно и глухо вздыхали орудия.

1942

ЛИНИЯ

Сначала раздался выстрел. Звук был коротким, глухим, придушенным — из миномета. Потом сухой, шелестящий скрежет воздуха — и человек бросился в снег, как бросаются в воду.

Немецкие минометчики терпеливо охотились за ним. Во время обстрела он ложился, в интервалы делал перебежки.

Он лежал, уткнувшись в снег лицом, и прикрывал руками затылок. Потом его тяжело ударило, швырнуло и долго волокло по снегу.

На месте разрыва мины образовалась круглая и мелкая выбоина, покрытая по краям копотью.

Небо было очень зеленым, снег — очень белым; внизу, под деревьями, снег запачкан иглами и шелухой коры.

Связист приподнялся и сел. Он посмотрел на след, который оставил при падении, и понял, что швырнуло его взрывом очень сильно.

Он ждал боли, но боль не приходила, только ломило спину и жгло руки в тех местах, где он ободрал кожу о жесткий наст.

Он освободил плечевые ремни и снял катушку. Провод на ней во многих местах был разрублен, как топором. В месте разруба проволока топорщилась, как металлическая щетка.

Вместо длинного провода — лапша.

— Здорово! — сказал он и выругался. Потом осмотрелся беспомощно и тоскливо. Он устал и измучился, и то, что случилось, было хуже всего. И он ударил изо всех сил кулаком по катушке. Злые слезы катились по его ободранным скулам.

Потом трясущимися руками он стал снимать с барабана куски проволоки и откладывал их в сторону. Потом вынул нож, стал зачищать концы проводов, связывать их, обматы-

вать изоляционной лентой. Когда лента кончилась, он обматывал места соединений бинтом из индивидуального пакета. Когда вышел весь бинт, он использовал свои обмотки, сначала с одной ноги, потом с другой.

Смотав провод на барабан, он снова надел катушку на спину.

Чтобы наверстать потерянное время, он не полз в открытых местах, а бежал, согнувшись, направляя левой рукой ложащийся на снег провод.

Били из винтовок — он не обращал внимания. Короткие очереди из пулемета заставляли петлять, но потом он ложился и натягивал провод, чтобы выровнять его.

Он стал бояться, что провода не хватит, и провода действительно не хватило. Он упал, когда конец вылетел из барабана.

До опушки оставалось метров триста — четыреста. Там батарея. Она ждала связи с наблюдательным пунктом; и пока связь не установлена, батарея оставалась слепой. Идти на батарею не было смысла: он знал — там нет ни метра провода.

Он бросил пустую катушку на снег и снова оглядел белое поле беспомощно и тоскливо.

Впереди тянулись проволочные заграждения. Они напоминали своими ячейками серые осиные соты.

Он пополз к проволочным заграждениям, остановившимися, расширенными глазами разглядывая снежный покров, и испуганно огибал бугристые места.

Перед проволочными заграждениями — минное поле. Он полз по этому минному полю и чувствовал всю тяжесть своего тела и ужасался. Ему хотелось быть легким, чтобы снег не проваливался и так угрожающе не скрипел под ним. Для противопехотной мины достаточно и легкого нажима.

Он пробовал резать проволоку перочинным ножом, но нож быстро сломался. Тогда он стал гнуть проволоку, гнуть до тех пор, пока она на месте сгиба не нагревалась и не лопалась.

Но скоро пальцы его онемели от усталости и боли и из-под ногтей пошла кровь.

Он лежал на спине, сжимая горячими пальцами снег, но снег таял и не утолял боли.

Тупое и тягостное безразличие овладело им. Он смотрел в глубокое небо и чувствовал, как ноющая боль сковывала его руки, ноги, плечи, и снег уже не таял в руках, а, сухой и жесткий, как песок, лежал на них.

Сделав усилие, он поднялся и сел. Он вспомнил с отчаянием, что есть мины натяжного действия. Эти мины соединяются проволокой с каким-либо предметом. И он стал ползать по снегу и искать такие мины, чтобы добыть проволоку.

Он царапал в снегу палкой длинные осторожные борозды и, наконец, наткнулся на тонкую черную проволоку. Он сматывал ее себе на левую руку, согнутую в локте, переползая от мины к мине.

И когда стреляли, он боялся, что пуля стукнет в мину. Тогда ведь от него ничего не останется и никто не узнает, почему он так долго возился со связью. Но того, что пуля может попасть в него, он не боялся: ему казалось, что боль от раны будет не такой сильной. И нет на свете ничего сильнее той боли, которую он сейчас испытывал, и теперь он все может стерпеть.

Потом он связывал куски проволоки, подвешивал их на ветке кустарника, так чтобы голая проволока не соприкасалась с землей. Пальцы слушались плохо. Он засовывал руки под рубаху и согревал их на животе. И, расточая последнее тепло, он думал, что теперь уже никогда не согреется. Тепло уходило, как кровь.

До батареи провода не хватило. Но батарея уже близко. Шагая по тропинке, он вдруг захромал и, когда посмотрел на подошву, увидел, что каблук разбит пулей и розово обледенел, но как это случилось, вспомнить не мог.

Докладывая командиру батареи, он почему-то нелепо и радостно улыбался и, отдавая честь, держал растопыренные пальцы возле уха. Он не чувствовал своих пальцев.

Гневно глядя на связиста, командир спросил:

— Почему так долго канителились? И почему у вас такой вид? — командир показал глазами на ноги.

Связист посмотрел на свои ноги без обмоток, с висящими у штанов штрипками, на портянки, выглядывающие из ботинок, и смутился.

Он хотел объяснить все, все по порядку, но он хорошо знал, что всем некогда, все заждались его на батарее и командир не успеет его выслушать, и он попытался только поднять руку с распухшими пальцами повыше и коротко сказал:

— Виноват, товарищ командир!

Потом, жалобно и неловко улыбаясь, он глядел вслед командиру, идущему к орудию. Потом оглядывался, ища, кому бы все-таки объяснить, но никому не было до него

дела, все расчеты стояли по своим местам, и лица людей были напряженны и суровы.

Алфимов потоптался, похлопал ладонью о ладонь, поправил ушанку. Ему еще очень хотелось попросить у кого-нибудь закурить, но просить было как-то неловко, и он побрел обратно на КП.

Он нашел брошенную им в поле катушку, снова надел ее на спину. Теперь уже не было нужды ползти. Синие тени лежали на снегу, и можно было обходить открытые места, потому что во впадинах лежали эти синие тени.

И вдруг живой и мощный голос орудия донесся сюда, и с веток елей стали медленно падать ватные комки снега.

И при звуке голоса орудий он внезапно почувствовал, как сладко тает в сердце горечь обидного недоразумения и как становится ему хорошо.

Ведь это по его линии течет ручей тока, это он, его ток, в стволах орудий превращается в карающий смерч зрячего огня.

И он шел. И было очень холодно. Он знал, что на НП, в снежной яме, будет тоже холодно, что впереди предстоит еще длинная ночь и эта ночь будет тяжелой. Но живительная теплота радости все сильнее и сильнее заполняла все его существо, он шел и улыбался усталым лицом.

Потом он сидел в яме, где был расположен НП, докладывал командиру. Командир лежал на животе, опираясь локтями в мятый снег, и держал у глаз бинокль. Не оборачиваясь, командир диктовал телефонисту цифры. Алфимов рассказывал медленно, обстоятельно. Командир, сразу поняв, в чем дело, сказал:

— Молодец!

Но Алфимову нравилось вспоминать подробности, он говорил, говорил, не обращая внимания, слушает его командир или нет. Когда командир кричал телефонисту «огонь» и потом били орудия, Алфимов замолкал, прислушивался, и его снова охватывало ощущение счастья.

1942

МЕРА ТВЕРДОСТИ

Еще не смолкло тяжкое дыхание удаляющегося боя.

Красное солнце, опутанное пыльными облаками, медленно падало на запад. Одиночные танки продолжали неторопливо сползаться к пункту сбора.

Березовая роща, иссеченная осколками, стояла совсем прозрачная. Стеариновые стволы деревьев резко выделялись в фиолетовых сумерках.

В израненной березовой роще собрались коммунисты танкового десанта. Они обсуждали итоги боя. И когда закончилось обсуждение, комиссар Шатров сказал:

— Товарищи, тут поступило одно заявление. Необходимо его разобрать.

Это заявление было от бойца Гладышева. Он обвинял другого бойца, Похвистнева, в трусости.

Сам Гладышев отсутствовал: он находился в госпитале.

Когда Похвистнева попросили дать объяснение, он долго не мог говорить. Он выглядел больным, подавленным тяжестью обвинения и всем случившимся.

Оба они работали у ручного пулемета. Гладышев — первым номером, Похвистнев — вторым. Оба они сибиряки и в равной степени гордились этим. Пожилые, степенные, они пользовались уважением бойцов.

За время войны подразделение, в котором находились Гладышев и Похвистнев, потеряло одиннадцать человек; шесть из них, хотя и погибли, продолжают существовать в памяти бойцов. О них говорят до боя, после боя, на них ссылаются, когда нужно найти решение, когда, казалось бы, ничего уже решать нельзя.

Имена остальных пятерых забыты. Они были тихими людьми и погибли, не вызвав в сердце ничего, кроме жалости.

Так уж водится на войне. Одни, умирая, остаются жить в нас, другие уходят навсегда бесследно. Смелые предпочитают смерти буйную драку до последнего вздоха. Ленивые души расстаются с телом легко, не то что яростные и непокорные.

Гладышев предпочитал всем видам оружия гранаты Ф-1. Он доставал их где только можно и запасался впрок.

Запалы он носил в карманах гимнастерки, как газыри или как вечные перья, зажимая ткань плоскими рычагами взрывателей.

Высокий, худой, сутулый, с темными, глубоко впавшими глазами, с руками длинными и от природы и потому, что ходил немного сгорбившись, Гладышев напоминал цыгана-лошадника.

В жизни своей он переменил много профессий, объездил страну, участвуя в великих стройках, много повидал, вытерпел. Невзгоды фронтовой жизни переносил с легкостью бывалого человека.

Он умудрялся за ночь выстирать портянки и просушить на своем теле, обмотав вокруг бедер. Когда, казалось, на земле нет сухого места для ночлега, он находил его.

Брился он одним-единственным лезвием безопасной бритвы, правя его о внутренние стенки граненого стакана.

На привале вокруг его котелка всегда собирались бойцы. Гладышев умел говорить едко, насмешливо, умно.

...Однажды бойцы шли по дымящейся пылью дороге. На черной груде камней сидела старая женщина, скорбная и неподвижная. Похвистнев отделился от бойцов, подошел к женщине, и все видели, как он снял с плеч вещевой мешок и стал его развязывать.

Через несколько дней проверяли НЗ. У Похвистнева НЗ не оказалось. Он сказал, что НЗ съел, и получил за это взыскание.

Вечером Гладышев выговаривал ему:

— Ты подло сделал. Знала б старуха, что́ ты ей даешь, она бы тебе этой консервной банкой башку расшибла. Видел, чего народ терпит? И он знает, за что терпит, за что тебе свой последний кусок хлеба отдает. Ты доброго из себя не строй. Он от тебя не доброты, а злости требует. Мне банки консервов не жалко, мне обидно, что у тебя башка не в ту сторону работает.

Похвистнев недоуменно пожал плечами. Он был из тех спокойных, рассудительных людей, которые могут мирить-

ся с любыми неудобствами, но никогда не пожелают добровольно усугубить их, если не будут вынуждены к этому людьми более жестокой, прямой и сильной воли.

И доброта его была такая же ленивая. Он предпочитал душевный покой жестокому упорству, направленному к одной цели.

В десантники Похвистнев пошел потому, что пошел Гладышев. Он привязался к Гладышеву и не хотел с ним расставаться.

Неутомимый и деятельный, Гладышев сам не замечал, как в пылу своей неукротимой энергии он частенько делал то, что полагалось делать Похвистневу.

Гладышев был слишком нетерпелив. И когда он видел, как медленно возится с топором или лопатой Похвистнев, он вырывал у него инструмент и заканчивал работу сам.

Жили они дружно, и Гладышеву было удобно, что Похвистнев ему ни в чем не перечил.

Как-то отбирали добровольцев для опасной операции. Похвистнева в числе желающих не оказалось. Гладышев ушел с другим вторым номером. Потом Гладышев спросил Похвистнева, почему он не пошел.

Похвистнев сказал:

— Я человек семейный, зачем еще зря на рожон лезть!

Хотя Похвистнев ни разу не спрашивал Гладышева, есть ли у него семья,— по замашкам Гладышева он был твердо убежден, что тот холост.

Гладышев сощурился и, глядя на Похвистнева с тем выражением на лице, какое бывало у него обычно, когда он, лежа у своего пулемета, целился, резко сказал:

— Не отец ты своим детям, а родитель только. Если б ты отец был, так ты бы в бой, как на спасение своих детей, кидался. Понял?!

Впрочем, они быстро помирились: Гладышев не был злопамятным, а Похвистнев вообще не любил ссориться.

Теперь — о той операции, итоги которой обсуждали коммунисты-десантники и события которой послужили поводом для заявления Гладышева, обвинявшего своего друга в таком тяжелом преступлении, как трусость.

В 6.20 29 августа танки с десантниками прямо с марша удачно миновали проходы, проделанные саперами в минных полях. Прорвав проволочные заграждения, они сокру-

шили передний край вражеской обороны огнем и ворвались в населенный пункт, где располагались вторые немецкие эшелоны.

Десантники, покинув танки, в центре населенного пункта вступили в бой с пехотой врага.

Гладышев, еще сидя на танке, сорвал предохранительную чеку с гранаты Ф-1. Спрыгнув на землю, он остановился, ища глазами, куда бы ее метнуть.

Но тут из дверей каменного дома, по-видимому бывшей нефтелавки, выскочил дюжий немецкий солдат. Увидев Гладышева, солдат кинулся на него.

Гладышев не мог выпустить из рук гранату, потому что она тогда взорвалась бы. Бросить ее тоже было нельзя: осколками поразило бы его самого. Подпустив солдата, Гладышев кулаком, утяжеленным зажатой в нем гранатой, ударил его по голове. Немец упал.

От сильного удара Гладышев разбил себе пальцы. Боясь, как бы ослабевшие от боли пальцы не разжались сами собой, он быстро перехватил гранату левой рукой и, когда уже щелкнул взрыватель, метнул ее внутрь каменного здания.

Все это произошло так быстро, что Похвистнев, держа в обеих руках коробки с дисками, не успел даже выпустить их, чтобы броситься на помощь.

Крикнув Похвистневу, Гладышев ворвался внутрь здания, держа новую гранату в левой руке. Но там уже все было кончено.

Примостившись возле пробитого над самым полом квадратного отверстия в стене,— сюда, наверное, раньше вкатывали с улицы бочки с керосином,— Гладышев открыл огонь.

Похвистнев, сидя на корточках, подавал ему диски.

Немцы, пропустив наши танки, попытались встретить идущую за ними пехоту огнем. Но десантники не давали им сосредоточиться для круговой обороны в траншеях, пересекающих поселок.

Тогда противник стал стрелять из противотанковой пушки по зданиям, где закрепились наши автоматчики.

От прямых попаданий бронебойных снарядов обрушивалась кровля нефтелавки.

Огромная двутавровая железная балка, поддерживавшая свод, рухнула вместе с обломками стропил.

Когда оглушенный Похвистнев открыл глаза и душная

пыль рассеялась, он увидел, что двутавровая железная балка придавила вытянутые ноги Гладышева. Кровь, пропитывая обломки извести, делала их красными, как куски мяса.

Похвистнев сначала подумал, что Гладышев убит.

Но почти в то же мгновение пыльный ствол пулемета затрясся и длинное трепетное пламя протяжной очереди забилось на конце ствола.

Похвистнев вскочил и попытался поднять балку. Но он не смог даже пошевелить ее, заваленную обломками каменной стены и бревнами стропил. Вид неестественно, косо, вверх торчащей из-под обломков голени Гладышева с обнаженной розовой и чистой костью вызвал у него тошнотную тоску отчаяния.

И вдруг Гладышев, не поворачивая головы, сипло и повелительно произнес:

— Подавай!

Похвистнев бросился к коробке с дисками, но не мог открыть ее, так у него тряслись мокрые пальцы.

— Подавай! — со стоном повторил Гладышев и выругался.

Этот подавленный стон словно образумил Похвистнева. Он бросился к дверям и живо проговорил:

— Степа, друг, ты потерпи, я сейчас.— И выбежал на улицу.

— Подавай, сволочь! — хрипел Гладышев, силясь дотянуться до коробки с дисками.

Похвистнев бежал, не обращая внимания на визжащие вокруг него пули. Мина разорвалась у самых ног. Осколки каким-то чудом перелетели через голову.

Он бежал без пилотки, с белым от известковой пыли лицом и слезящимися, невидящими глазами.

Сослепу он провалился в траншею и упал на немецкого пулеметчика. Борясь с ним, он задушил его голыми руками. Выбравшись, он продолжал бежать дальше, не замечая, что лицо его порезано ножом.

Когда Похвистнев вернулся с бойцами в разрушенное здание нефтелавки, он увидел Гладышева, лежащего ничком на теплых расстрелянных гильзах. Коробки с дисками Гладышеву удалось подтянуть к себе, набросив на них поясной ремень.

Заметив Похвистнева, Гладышев повернул к нему почерневшее лицо и хотел плюнуть. Но снова в изнеможении упал на расстрелянные гильзы.

Бойцы не смогли приподнять балку. Только с помощью тягача им удалось освободить ноги Гладышева.

Вот как все было.

Теперь на партийном собрании мы разбираем заявление Гладышева.

Лунный свет проникает сквозь редкие белые стволы деревьев, как белое зарево осветительной ракеты.

А Похвистнев — вот он стоит перед нами, подавленный, и в глазах у него слезы.

1942

РАЗВЕДЧИК ЗАХАР СИПЯГИН

С опухшим лицом и затекшим, ушибленным глазом Сипягин ходит по блиндажам и жалобно спрашивает:

— Ребята, лишней веревочки ни у кого нет?

— Да тебе только вчера старшина новую выдал.

Сипягин вздыхает, трогает осторожно пальцем рассеченную бровь, залепленную бумажкой, и грустно объясняет:

— Увели веревочку утром в штаб. Просил: «Верните»,— да разве вернут!

Сипягин садится на пень и терпеливо ждет, чтобы его угостили закурить. Свой табак он скаредно бережет, потому что там, где он чаще всего бывает, достать его негде.

— Не напасешься на тебя веревок, Сипягин,— говорят ему бойцы,— больно уж ты лих.

Сипягин, скромно потупив глаза, тихо замечает:

— В нашем деле без веревочки обойтись невозможно.

Все давно сменили зимнее обмундирование па летнее, только Сипягин в ватнике и в стеганых штанах; пилотка его натянута чуть ли не до ушей. Несмотря на теплую одежду, он все время кашляет и чихает, как простуженный.

— Кто это тебе, Сипягин, такую блямбу поднес?

— Связист ихний.— Сипягин осторожно выдыхает махорочный дым под полу стеганки и, подняв глаза, поясняет: — Я его в болоте возле кабеля двое суток ждал. Утечку сделал, а он, черт, все не шел. Стосковался я за ним, в воде лежа, прямо не знаю как. Ну, когда сшиб, стал мешок на башку натягивать. Он мне затылком и стукнул. Дело такое,— добавил он грустно,— обижаться не приходится.

Бойцы хохочут, потом один из них спрашивает:

— Ты, говорят, фашиста водкой угощал?

— Было,— соглашается Сипягин.— В спешке повреждение сделал. Боялся, как бы он не замлел, ну и угостил.—

Затоптав окурок, Сипягин обвел глазами бойцов и спросил: — Так как же с веревочкой, ребята?

Веревочка, конечно, для Сипягина всегда найдется. Но бойцам не хочется так скоро отпускать от себя этого бывалого и храброго человека.

— А если их двое или трое, тогда как?

— Мне много не надо,— говорит серьезно Сипягин.— Выберу, какой поразвитее, ну и сберегу.

— А остальных куда же?

— Это как придется.— И Сипягин невольным движением потрогал заткнутый за пояс нож. Им он и орудует, бесшумно и точно.— Стрелять не всегда хорошо,— объясняет Сипягин.— Главное — надо уметь подходящего фашиста выбрать, а то вот недавно прельстился на одного, думал: очки золотые, так он что-нибудь такое... Приволок, а он, оказывается, при похоронной команде служит, поп ихний. Теперь я себе при штабе писаря выбрал. Ходит в рощу, щавель собирает на похлебку. Так я его и побеспокою.

Сипягину приносят веревку. Он долго пробует ее прочность, потом свертывает, кладет в карман, кивает бойцам и уходит восвояси медленной и осторожной походкой.

Провожая глазами удаляющегося Сипягина, один из бойцов сказал:

— Дерзкий человек, ничего не скажешь.

— Немецкую огневую наличность, как свою собственную, знает,— заметил другой.

— «Языка» он, как профессор, выбирает. Всяким не интересуется. Серьезный разведчик,— добавил третий.

И потом задумчиво произнес:

— А видать по всему, завтра Сипягин опять придет новую веревку просить. Не сорвется у него сегодня ночью этот писарь, никак не сорвется!

1942

ВЕСЕННИЕ РУЧЬИ

Повадился Григорий Кисляков в снайперскую засаду ходить. Проснется на рассвете, когда в воздухе мгла и луна еще в небе и на земле лужи белые, ледяные, разбудит молодого бойца из пополнения, Васю Мамушкина, которого он обучал своему терпеливому искусству, и уходит с ним в лес.

А лес странный. Деревья черные, как железные. Земля бурая, ржавая. А сугробы, еще не стаявшие, похожие на белых быков. Было угрюмо и тихо в застывшем за ночь лесу.

Выбирались на прогалину, на вершину холма, ползли по обледеневшим лужам, хрустящим, как битое стекло.

Потом ждали солнца.

Солнце подымалось большое, круглое, и лощина, где окопались враги, освещалась теплым желтым светом...

— Теперь поработаем! — И Кисляков снимал с оптического прицела винтовки брезентовый чехольчик.

Приезжала к вражеским блиндажам кухня — Кисляков не трогал повара. Из офицерского блиндажа выходил денщик и выплескивал из ночной посудины — Кисляков не трогал денщика. Часовой, смененный, уходил в укрытие — Кисляков не трогал и часового.

В проходах между блиндажами начинали ходить солдаты, а Кисляков терпеливо продолжал глядеть на все это. Только Вася Мамушкин ерзал на своей подстилке и вопрошающе и жадно оглядывался на Кислякова, но Кисляков не обращал на него внимания.

Наконец из блиндажа вышел офицер в расстегнутой шинели. Подышать свежим воздухом захотел, что ли? Кисляков приложился и...

— Готов,— сказал Мамушкин.

Кисляков выбросил стреляную гильзу, сунул ее в карман и сердито сказал:

— А ты под руку не кричи.

Мамушкин разыскал среди жухлой травы тоненький, нежный зеленый стебелек и, показав его Кислякову, сказал:

— Ишь ты, какой усатенький.

— Не мни руками,— сказал Кисляков,— пускай торчит.

— А я не мну,— обиженно сказал Мамушкин.

Во вражеских расположениях после выстрела движение прекратилось. Кисляков перевернулся на бок и сказал:

— Я в тыл к ним любителем был ходить. Некоторые удивлялись: как это так? А чего тут такого — по своей земле ведь хожу. Это фашисту должно быть страшно по моей земле ходить.

— Хорошо как! — вздохнул Мамушкин, глядя на синее, теплое небо.

— Я в Сочи был,— сказал Кисляков строго,— там и пальмы, и все такое. А чище этой нашей природы ничего нет.

— Мы с ребятами в такое время щурят ловили корзинами. А то...— Мамушкин приподнялся на локте и восторженным шепотом объяснил: — запруды делали. Здоровенные! Как спустишь воду, так прямо как Терек у Лермонтова. В корытах с ребятами плавали.— И Мамушкин засмеялся.

Кисляков, всматриваясь в лощину, угрюмо произнес:

— Напугались, черти, закопались, как суслики. Теперь до вечера не вылезут.

— А знаете,— сказал Мамушкин, мечтательно жмурясь,— весной мы сусликов ловили. Сделаем запруду, канавку продолбим, и ручей к ним в нору, аж бурчит вода, льется. Глядишь, он и выскочит, мокрый, как крыса, и пищит.

Кисляков усмехнулся и сказал:

— Ты думай, как этих паразитов наружу вызвать. Про сусликов мне даже неинтересно слушать.

— Что ж,— обиделся Мамушкин,— поговорить нельзя? — Вдруг лицо его просияло. Он сел и громко сказал: — Григорий Степанович, разрешите!

— Чего еще? — сердито спросил Кисляков.

— Да ведь фашисты-то в лощине,— сказал Мамушкин.— Собрать ручьи запрудами и спустить в балочку — их и затопит.

— Может, ты еще к ним в корыте сплавать захочешь? — насмешливо спросил Кисляков.

В небе щебетал жаворонок. Кисляков улыбался своим мыслям, и не знаю, слышал ли он жаворонка или нет.

Солнце пылало все жарче, яростнее, и земля все сильнее пахла здоровым, сильным и живым своим телом, и ручьи пели басовыми голосами и мчались со склонов, как желтое тяжелое стадо на водопой.

И вдруг из блиндажа выскочил вражеский солдат с лопатой и стал кидать глину на бруствер. Не успели стянуть убитого солдата за ноги обратно, как появились трое новых, тоже с лопатами. Кисляков и их убрал. Но движение в расположении врага не прекратилось. Выставив станковый пулемет, фашисты стали бить по кустарнику, где лежал Кисляков, и продолжали копать землю и кидать ее на бруствер.

Кисляков менял огневые позиции. Винтовка его раскалилась. Скоро к Кислякову приполз Мамушкин. Мокрый, весь в глине, не обращая внимания на визжащие пули, он улегся рядом с Кисляковым и, прилаживая винтовку без снайперского прицела, рассмеялся и сказал:

— Не нравится фашисту наша весенняя капель.

— Лежи, лежи знай,— мягко сказал Кисляков,— и башку береги. Она тебе еще пригодится.

Светило солнце. И не нужно было Мамушкину снайперского прицела, чтоб выбирать себе мишень. Фашисты выползали на бруствер, в окоп бурно и яростно лилась весенняя вода. Она текла вниз по балке, а берега балки были покрыты бурой, старой травой, сквозь которую пробивали себе путь тонкие и нежные зеленя.

1942

НА СТАРОМ ЗАВОДЕ

Токарь научился работать в потемках синего, холодного света. Жестяным колпаком накрывает себя сварщик. Он трудится, как водолаз под глубинным колоколом. Прикрытые асбестовыми абажурами, наполненные белой огненной сталью, ковши уходят по монорельсам в литейный цех.

Я ходил по цехам, как по темному штреку, и только возле станков, как в забоях, теплились синие лампы. И, конечно, я не узнавал людей. Петр Захарович Игнатюк хлопнул по плечу. Я долго вглядывался в его лицо, такое знакомое, близкое и такое странное в этом металлическом, синем свете.

Я шел со старым мастером нашего старого металлургического завода, спотыкаясь, вытягивая руки,— ведь и цех я уже успел забыть за полгода войны.

В токарном цехе среди шелестящего шума обдираемой резцами стали слышался мерный звон падающих в ящик деталей.

Я спросил:

— Водопроводные втулки?

Мастер сердито взглянул на меня и, нагнувшись, положил мне на руки увесистый стальной цилиндр.

— Стаканы для снарядов,— сказал он гордо.— Чуешь?

Я удивился, так как знал, что старые станки не приспособлены для расточки цилиндров большого калибра:

— Оборудование новое получили, что ли?

Петр Захарович открыл шкафчик и вынул оттуда странную фрезу, похожую на многолучную звезду. Об этой фрезе мне писал мой приятель Вася с Северного фронта и просил узнать о судьбе его изобретения. Я сказал Петру Захаровичу, что Вася уже награжден орденом.

— За фрезу? — спросил мастер.

— Нет,— сказал я,— он танкист.

— Понятно,— сказал мастер.— Вот погоди, война кончится, мы к вывеске нашего завода все ордена с ребят наших перепишем. Здорово дерутся! Шестнадцать наградили, и еще будут,— с уверенностью произнес мастер.

Потом он сказал мне задушевно и радостно:

— А теперь я тебя в веселый наш цех поведу.

Я покорно шел вслед за мастером, счастливый тем, что мой старый завод живет такой хорошей и сильной жизнью.

Мы вошли в пятый цех.

На железном полу стояли немецкие танки и броневики. На многих из них башни висели набекрень, в бортах зияли пробоины, и через корпуса были переброшены вялые рваные гусеницы.

На фронтовых подмосковных дорогах я немало нагляделся на искалеченные стальные груды немецких машин, уже занесенные после недавних победоносных боев снегом. И, заметив выжидающее выражение на лице мастера, я не нашелся, что сказать ему. Это кровно обидело мастера. Он даже растерялся от обиды и, отвернувшись от меня, стал сурово кричать на чеканщика, прилаживающего к стоящей на полу танковой башне толстую стальную заплату.

Потом Петр Захарович успокоился и сказал с горечью:

— Эх, ты! Видел бы ты наш народ, когда на цепях волокли к заводу эти самые немецкие танки! За ними целые толпы от заставы к заводу шли. Люди «ура» кричали. А потом, когда за последним танком хотели заводские ворота закрыть, люди в возбуждение пришли. Всю улицу запрудили, шумят, требуют для обозрения хотя бы еще часок танк подержать на улице. Мы в райком звонили: так, мол, и так, происшествие. Что делать? А секретарь говорит: «Сделайте людям удовольствие, ведь не все сразу будете ремонтировать». Мы, конечно, согласились. Так два дня подряд танк за воротами и простоял. На него желающие взбирались и такие речи произносили, что прямо как в Зеленом театре на митинге. А народу — тысячи! Пришлось забор проломать, а то прохода транспорту на завод не было. И, что ты думаешь, стали проситься к нам на завод рабочие с чужих заводов хотя бы бесплатно поработать в ночную смену. Всякому лестно фронту такой сюрприз в подарок сдать на полном ходу. Но, ты знаешь, наши ребята сами гордые. Заявили дирекции протест против всяких добровольцев, сбегали домой за подушками, одеялами, разместились прямо в цехе, как в общежитии, и объявили круглосуточный ремонт. И главное — чем больше машина разбита,

тем больше на нее желающих. Прямо у меня неприятности были. Вот эта машина — крупповского завода, за номером двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть, из нее все внутренности были выбиты, а черенок на башне вчистую снесен. Я уже думал: могила ему в вагранке. А гляди, шесть суток прошло, и сегодня на рассвете самоходом пойдет машина на фронт. Вон и экипаж на наших койках спит. Пускай отдыхает. Они на ней себя покажут. Я им велел передать ребятам на фронт, чтобы они били фашистов, как говорится, от всей души. Пускай не стесняются, хоть в лепешку их технику расшибают, все равно конвейер мы с нашими бойцами крепко наладили. Они нам битую посуду, а мы им хоть с заплатами, но вполне годную для дальнейшего употребления. Великое у нас хозяйство. Но чем хозяин умнее, тем он аккуратнее, бережливее. Вот и получается приятная для всех нас картина. Фашистов их же оружием бить — чем плохо! А ты, брат, вошел и ничего не понял. Новые машины собственного изделия я тебе тоже покажу. Но это заказ обыкновенный, а тут товар сюрпризом, товар хоть и не первого сорта, но со значением. Поняли все наши люди смысл этого товара, когда он к нам на завод прибыл. Потому «ура» кричали, что, выходит, наша продукция над этой верх берет. Вот где собака зарыта!

Старый мастер повел меня во двор завода, где стояли прикрытые брезентом огромные квадратные машины, очертания которых я хорошо знал.

Со скромной гордостью Петр Захарович произнес:

— Это, конечно, вещь!

И вот я снова еду по новым дорогам войны. Когда прихожу в новый освобожденный город, смотрю на черные стальные развалины немецких машин, я вспоминаю о веселом цехе нашего завода, вспоминаю слова мастера о качестве советской продукции. Мне очень хочется встретить моего товарища Васю, чтобы рассказать ему о нашем мастере и сообщить о том, что фреза его работает в нашем цехе на полный ход.

1942

КОНЦЕРТ

На передовую приехала бригада артистов.

В лесу было тихо, воздух сладко па́хнул свежестью, трава зеленела чистая, яркая, а высокие березы с узкими стволами осторожно шелестели новенькими листьями.

Артисты удивленно сказали командиру:

— Как у вас здесь красиво и тихо!

Командир вежливо улыбнулся и ответил:

— Действительно красиво.

На поляну выехал и остановился грузовик. Два бойца отстегнули борта, и грузовик стал эстрадой. Рядом с грузовиком поставили ширму, где артисты переодевались.

Первым выступил конферансье. Он сказал: хотя в его бригаде имеются заслуженные артисты республики, но они испытывают сейчас зависть, потому что звание гвардейца — это гораздо более высокое звание. Но они не отчаиваются и рассчитывают со временем заслужить новое звание — звание гвардии артистов республики.

Бойцы засмеялись и стали аплодировать.

Потом на эстраду поднялась очень красивая женщина в сверкающем платье и спросила, здесь ли находится боец Мамушкин. Мамушкин смутился и хотел спрятаться. Но его заставили подняться. Актриса обратилась к Мамушкину и сказала, что хочет спеть для него песню. И спросила, какая песня ему нравится. Мамушкин долго мучился, оттого что все на него смотрели, потом набрался духу и выпалил:

— «Синий платочек».

Актриса исполнила «Синий платочек»; потом, называя имена других героев, спрашивала, какие песни они любят, и пела их, обращаясь только к ним.

И так хорошо пела, просто и задушевно, что невольно каждому думалось о своей любимой, и она казалась такой же красивой и хорошей, как эта поющая женщина.

И вдруг на опушке леса, взметая черную землю, стукнул немецкий снаряд, немного спустя другой. Лицо у артистки стало белым, словно она сильно испугалась, но петь она продолжала. А конферансье, стоявший у кабины шофера, завертел головой так, точно за воротник ему попал муравей. Командир подозвал к себе артиллерийского начальника, пошептался с ним, потом встал и сказал, что объявляется антракт на пятнадцать минут.

Бойцы остались на своих местах, а командир пошел к артистам за ширму. Прошло минуть десять. Затем раздался такой орудийный залп, что вершины деревьев покачнулись. За ним другой, третий... Командир спокойно стоял за ширмой и разговаривал с артистами об искусстве. Но те его плохо понимали и только послушно соглашались со всем, что им говорил командир. Потом командир вынул часы, посмотрел и сказал, что антракт кончился, концерт может продолжаться.

Конферансье, который по-прежнему вертел шеей, дребезжащим голосом спросил:

— А скажите, пожалуйста, больше этих самых, посторонних шумов не будет?

Командир усмехнулся:

— У меня есть такие артисты, такие знаменитости, что они больше не позволят фашистам срывать концерт. Возьмите хотя бы наводчика Горбушина...

Тогда конферансье закивал головой и, не слушая дальше, бодро взобрался по лесенке на эстраду; развернув листок, он уже открыл рот, чтобы объявить следующий номер. Но к нему подошла красивая актриса и что-то сказала на ухо. Конферансье кивнул головой и стал ждать. Все актеры поднялись на эстраду и выстроились там. Бойцы думали, что они начнут петь хором. Но конферансье шагнул вперед и сказал серьезно и взволнованно:

— Товарищи, от имени всего нашего коллектива мы хотим поблагодарить наводчика товарища Горбушина, продемонстрировавшего сейчас всем нам свое искусство и вставившего в нашу программу подлинно артистический номер.

И артисты начали аплодировать.

1942

ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

Пустое небо жгло стужей.

Снег был сухой, чистый, фарфоровый.

И деревья в лесу были такими беззвучными, что казалось — они сделаны из камня или железа.

Старый ворон с пепельной головой и обтрепанными крыльями, внимательный и осторожный, сидя на разбитом пне, караулил добычу.

Она упала сюда ночью с неба, большая и тяжелая, воняющая гарью, и лежала неподвижно.

Старый ворон с облезлым пухом, прикрытый одними жесткими перьями, озяб... Наконец он слетел с пня и боком подскакал к лежащей на снегу рядом с черным предметом круглой ярко-красной бусинке крови. Он клюнул ее и жадно проглотил, задрав по-куриному шею.

Лежащий на снегу человек в лохмотьях полусожженного комбинезона открыл глаза и поглядел на голодного ворона удивленными, усталыми глазами. И ворон, присев, зашипел, отпрыгнул в сторону и снова взлетел на пень и стал ждать, терпеливый, голодный.

Григоренко сидел в отсеке бортмеханика, когда снаряд зенитки разорвался внутри кабины самолета. Раскаленными осколками пробило пояс с зажигательными веществами, надетый на Григоренко. Яростное пламя охватило его Бортмеханик пытался погасить огонь огнетушителем. Но Григоренко, закрыв лицо согнутой рукой, подскочил к лебедке и, открыв бомбовый люк, прыгнул вниз, пылая как факел.

Он падал, до тех пор не раскрывая парашюта, пока не сбил пламя. Приземляясь, он зацепился за вершины деревьев и с разорванным парашютом тяжело свалился на землю.

И вот теперь, придя в себя, зачерпнув горсть снега, он жадно ел его, удивляясь, почему снег имеет привкус крови и почему ворон зашипел, как гусь. Разве вороны умеют шипеть, как гуси? Ведь они каркают.

Но постепенно сознание вместе с мукой боли возвращалось к Григоренко.

Он сел, разрезал сапог и осмотрел вывихнутую ступню. Обрывками парашюта он туго перебинтовал ногу. Остальные ушибы и ссадины не так беспокоили его, как нога. Ему нужно идти, он должен выполнить приказ.

Тяжело опираясь на палку, Григоренко пошел, глубоко проваливаясь в снегу. И черный ворон провожал его.

Потом, когда человек скрылся из виду, ворон спрыгнул на снег и стал клевать на снегу алые, как брусника, замерзшие капли крови.

На вторую ночь Григоренко уже не мог идти. Вывихнутая ступня распухла, как подушка. Он полз и не знал, отчего болело его лицо: оттого ли, что оно обожжено или обморожено? Отдыхая в оврагах или балках, он варил себе в банке из-под консервов гороховую похлебку из концентрата и жадно пил горячую мутную жидкость, когда она закипала па крохотном костре.

Спать он не мог. Обожженное бедро стало мокнуть. Вместо бинта он обмотал рану шерстяным шарфом. И эти бесчисленные шерстинки, казалось, копошились в ране, причиняя боль, от которой хотелось кричать, кататься в снегу.

Ободранная о ледяной наст, закопченная одежда превратилась в лохмотья.

В сознании тяжело раненного парашютиста была только одна мысль: добраться до того пункта, который указал ему командир, добраться во что бы то ни стало; может быть, придется умереть на пути от истощения и терзающей его нечеловеческой боли ожогов. Но все, что оставалось в нем живого, стремилось туда, вперед, с жадным упорством.

Дул холодный ветер. Немецкий часовой стоял на деревянной вышке спиной к ветру, подняв воротник шинели. За бесконечным забором в кирпичных корпусах завода фашисты устроили склад боеприпасов.

Вокруг было поле, пустынное, белое, дымящееся снегом.

И по этому полю ползло какое-то существо. Когда часовой оглянулся, он увидел его и подумал, что это, наверно, собака, издыхающая от голода,— так медленно она ползла. Таких отощавших собак он видел немало в брошенных русских деревнях. Часовой снова повернулся спиной к ветру и, зажав коленями винтовку, сунул озябшие руки в карманы.

Уткнувшись лицом в высокий забор, Григоренко присел на корточки и поднял руку. Перебраться через забор он не мог. Тогда, вынув нож, Григоренко стал отрывать от доски узкие щепки.

Ефрейтор Курт Ганске должен был проверить караулы на крыше. Но он не сделал этого. Там было слишком холодно, и он знал, что солдаты спят на крыше, зарывшись в солому. Приносить на крышу солому, а тем более спать на посту — за это солдатам грозило жестокое наказание. Но Ганске давно перестал придираться к солдатам, помня, что его предшественника нашли задушенным. Хорошо, что дело удалось свалить на партизан. И это вполне походило на правду, тем более что партизаны совсем недавно уничтожили восемь солдат, ушедших за женщинами в село, чтобы пригласить их к себе на вечеринку. Все это и заставило ефрейтора Курта Ганске забраться на чердак, чтоб отсидеть там время, которое полагалось для обхода.

В чердачное окно на земляной пол падал голубой столб лунного света.

Ефрейтор, очень мнительный пожилой человек, с детства боявшийся привидений, чувствовал себя, прямо сказать, не особенно бодро. Но все-таки муки страха он предпочел мукам стужи и, забравшись в угол, смотрел на голубой лунный свет и пытался не думать ни о чем плохом.

И когда это случилось, он даже не завыл, не завизжал, а, закрыв лицо руками, повалился головой на пол, моля только об одном — чтоб от ужаса у него не лопнуло сердце: у ефрейтора был миокардит.

Волосатое чудовище с черным лицом вползло в чердачное окно. Ефрейтор не удивился. Он знал, что однажды это ужасное должно с ним случиться. И когда ледяная рука прикоснулась к его горлу, ефрейтор почувствовал только, как холодная боль раздирает его сердце. Он захрипел. Ефрейтор умер от паралича сердца, а вовсе не оттого, что его так беспомощно пытался душить Григоренко.

Григоренко нашел в кармане ефрейтора фляжку с остатками коньяка. Хлебнув жгучей жидкости, оп почувствовал такой приступ дурноты, что чуть было не потерял сознания.

Отдохнув, Григоренко спустился вниз по железной заржавленной лестнице в помещение цеха. На деревянных стеллажах в дощатых клетках лежали авиационные бомбы. Ящики с запалами Григоренко нашел в другом помещении. С трудом притащив ящик, он уложил внутрь запалов банку тола и, прикрепив бикфордов шнур, зажег его.

Шнур горел потрескивая. И Григоренко, сидя на ящике с запалами, бессмысленно смотрел на медленно движущуюся огненную точку на конце шпура, и ему очень не хотелось уходить обратно. Это было мучительно! Ведь всякое лишнее движение причиняло такую боль! Единственное, что ему сейчас хотелось,— это в довершение блаженства еще прикурить от тлеющего конца шнура.

И все-таки, когда часовой посмотрел на поле, попрежнему дымящееся снегом, он увидел опять ту же самую издыхающую собаку, но теперь опа ползла еще медленнее И солдат подумал: «Собака хотела найти что-нибудь на нашей помойке. Какая глупая собака! Разве на нашей помойке можно найти что-нибудь съедобное?» И солдат поднял винтовку, чтобы пристрелить собаку. Но, вспомнив, что он на часах, солдат повернулся спиной к ветру и, зажав в коленях винтовку, сунул озябшие руки в карманы.

В семь часов утра склад боеприпасов взлетел на воздух. Сорок грузовиков, приехавших за боеприпасами и выстроившихся в длинную колонну возле ворот завода, были разбиты взрывной волной.

А через полтора месяца Григоренко прибыл в свою часть. Он мог бы рассказать, как его подобрали в лесу партизаны, как они лечили его, и как он долго боялся огня, и как к костру его приходилось усаживать почти силой.

Докладывая командиру, Григоренко заявил:

— Конечно, товарищ командир, чистое нахальство с моей стороны было так необдуманно проникать в расположение объекта, пренебрегая всеми средствами маскировки и предварительно не изучив все пути подхода. Конечно, немного нервничал в связи с вывихнутой ногой. Но, принимая во внимание мой пожар в кабине самолета, задание все-таки выполнил на «удовлетворительно».

— Как вы себя сейчас чувствуете? — спросил командир.

Григоренко пожал плечами и серьезно ответил:

— Чувствую себя обыкновенно.

Григоренко вышел на улицу. Это был широкоплечий человек с юными глазами и с лицом, еще покрытым свежими синими пятнами от ожогов. Подойдя к высокому летчику, Григоренко спросил:

— Ну как, Вася, слетаем?

Летчик внимательно поглядел на небо, потом сказал:

— Погода подходящая.

1942

ВЫСШАЯ ОГНЕВАЯ ТОЧКА

Силантьев, глядя вверх, так задрал голову, что ушанка чуть было не свалилась на землю. Он сказал:

— Разрешите доложить, товарищ отделенный! Позиция самая что ни на есть подходящая.

Отделенный неопределенно ответил:

— Высоко больно.

— Не выше полутора колоколен,— настаивал Силантьев.— А обзор-то какой!

— Обзор подходящий,— согласился отделенный.

Разведчики, запрокидывая головы, еще раз внимательно оглядели позицию.

Единственная уцелевшая труба кирпичного завода, превращенного в груды развалин, одиноко торчала в небе.

Ночью Силантьев снова приполз с двумя бойцами к кирпичному заводу.

Забравшись по скобам на вершину трубы, Силантьев сбросил вниз веревку, поднял к себе ручной пулемет и три коробки с дисками.

Помахав рукой, Силантьев простился с бойцами, сел на каменной кромке трубы, свесил ноги в черный колодец и стал ждать рассвета.

Невидимый ветер мчался ледяным потоком. Земля скрылась в белой сухой пене пурги.

До рассвета было еще далеко, а ядовитая стужа все сильнее проникала в тело, подбиралась к сердцу, все труднее было дышать этим сухим шелестящим воздухом.

Силантьев поднялся и стал ползать по кромке трубы, чтобы согреться. Но потом он подумал, что немцы могут его увидеть, и, немного поколебавшись, спустился в дымоход трубы. Перехватив между ног скобу, он оперся спиной о закопченную шершавую стену. В трубе было теплее, так как ветра здесь не было.

Над головой Силантьева в жерло трубы вправлен удиви-

тельно красивый, сияющий круглый слиток звездного неба. Но смотреть Силантьеву на небо не хотелось. Он думал об одном: выдержит он до утра или не выдержит?

Враг организовал круговую оборону населенного пункта.

Когда первая рота пошла в атаку, немецкие солдаты успели выскочить из теплых домов и, заняв свои места в блиндажах и на чердаках зданий, открыли пулеметный огонь.

Но вскоре одна за другой огневые немецкие точки стали неожиданно смолкать.

Обер-ефрейтор, на четвереньках пробираясь от одной огневой точки к другой, выяснил, что солдаты, находящиеся в укрытии, были убиты и ранены в голову и плечи так, словно их били сверху из самолета.

Обер-ефрейтор доложил офицеру. Офицер сказал, что это снайпер, и приказал обнаружить его и уничтожить во что бы то ни стало.

Огонь пулеметов обрушился на каменную узкую трубу, и от черной ее конфорки посыпались мелкие обломки камня. Успокоившись, фашисты сосредоточили все огневые средства по нашей наступающей пехоте. Но вскоре снайпер, засевший на заводской трубе, вновь стал выводить из строя немецкие расчеты. И снова от пулеметного огня с вершины трубы посыпался на землю битый кирпич. Но проходило две-три минуты, и офицеру докладывали, что пулеметный огонь с трубы возобновился; немцы открывали огонь, и опять на землю с трубы сыпался раскрошенный пулями камень. Потом падали вражеские солдаты.

Офицер приказал посадить в танк подрывников и взорвать трубу.

Высадив солдат у подножия трубы, командир танка отвел машину в сторону и открыл беглый огонь по ее вершине, чтобы не дать русскому перебить подрывников. Но в стволе трубы имелись еще старые пробоины от снарядов. И вот в одну из них, как в бойницу, просунулась рука снайпера, и вниз полетели гранаты.

Командир танка, взбешенный гибелью солдат, открыл методичный огонь из пушки по трубе, намереваясь перебить ее или, вернее, перерубить ее каменный ствол, как перерубают стволы деревьев.

И когда было выщерблено порядочное дупло, командир танка развернул машину, чтобы с нового места несколькими залпами повалить каменную колонну.

Но наши бойцы, ворвавшиеся в расположение фашистов, уже выбивали врага из его нор. А два советских танка, заприметившие у трубы вражескую машину, мчались к ней на полном газу...

Отделенный командир, разгоряченный боем, запыхавшись, подбежал к заводской трубе. Во многих местах она была пробита снарядами и от этого приобрела сходство с флейтой. Приложив ко рту руки, задрав голову, отделенный закричал:

— Силантьев! Жив или нет?

И тревожно прислушался. Немного погодя из развороченного огромного дупла в трубе показался Силантьев. Спустившись на землю, он, самодовольно, гордо усмехаясь, подошел к отделенному и протянул руку.

Но отделенный отшатнулся от него. Прислонясь к трубе, махая руками, захлебываясь от смеха, он кричал:

— Да ты погляди, на кого ты похож! Да ты не боец Красной Армии, а негритос или трубочист какой-то!

Силантьев стал сердито стряхивать с себя черную пыль, потом сказал:

— Хотел бы я поглядеть на такого человека, который в этой трубе полазил бы полдня взад и вперед и не выпачкался.

Отделенный успокоился и серьезно спросил:

— Ну, а как же это ты, Силантьев, все-таки ловко в трубе так? Этак не каждый может.

— Конечно,— согласился Силантьев.— Но только ты запомни: у нас в Туле, когда я по улице иду, все металлисты мне первые «здравствуйте» говорят. Вот тебе и трубочист!

Набросив себе на плечи белый халат отделенного, Силантьев пошел в поселок, чтобы дострелять по фашистам оставшиеся у него диски.

Он шел, белый, а на белом снегу оставались черные отпечатки сажи, оттиснутые подошвами его сапог.

1942

ШТУРМАНСКОЕ САМОЛЮБИЕ

Полковник вызвал к себе командира корабля, капитана Ильина, и штурмана, старшего лейтенанта Фирина.

По тому, как принял их полковник, оба летчика сразу поняли, что предстоит нахлобучка.

Полковник, не предлагая сесть, спросил:

— Вы доложили, что мост через реку взорван?

— Точно,— подтвердил Ильин.

— А что вы скажете на это? — Полковник бросил на стол аэрофотоснимок.

Оба летчика встревоженно наклонились над снимком. Выпрямившись, с покрасневшим лицом, штурман растерянно произнес:

— Курс был точный. Ничего не понимаю.

— А я понимаю,— сухо сказал полковник.— Вы не выполнили боевого задания! Можете идти.

Летчики вытянулись и, резко повернувшись на каблуках, вышли.

На улице они остановились.

— История! — печально вздохнул Ильин.— Я же собственными глазами видел! А тут поди ты! Фотография же врать не может.

— Костя! — возбужденно хватая друга за плечо, сказал Фирин.— Ведь ты пойми! Тебе что! Тебя я веду. И вдруг у меня, у первого штурмана нашей эскадрильи, такая история... Нет, не могу! Пойду попрошу полковника.

— Да о чем просить? Ты подожди, не волнуйся...

Но Фирин уже открыл дверь в хату, где находился командный пункт.

Ильин сел на завалинку и, закурив, стал ждать.

Появился Фирин. Лицо его сияло.

— Разрешил! — заявил он с воодушевлением.— Разрешил лично проверить. Я за свой курс жизнью отвечаю. Не

может этого быть, чтобы мост целым остался. Никак не может.

Вечером Фирин пришел на аэродром. Поверх комбинезона висела брезентовая сумка, в какой обычно подрывники носят взрывчатые вещества.

Тяжелый бомбардировщик готовился к полету в глубокий рейд над расположениями противника.

Фирин показал разрешение полковника и, надев парашют, поместился в качестве пассажира в отсеке бортмеханика.

Грузная машина легко оторвалась от земли и ушла в темное ночное небо.

Фирин часто вставал и выходил в штурманскую рубку сверить курс. После двух часов полета он обратился к бортмеханику и знаками попросил его открыть бомбовой люк. Когда люк был открыт, Фирин наклонился над ним, пристально разглядывая покрытую дымкой землю. И вдруг он сделал такое движение, какое делает пловец, бросаясь с вышки в воду, и исчез в голубом провале бомбового люка.

Бортмеханик замер у пульта приборов с поднятой рукой.

Самолет, даже не дрогнув, продолжал лететь в сумрачной чаще облаков.

...Прошло немало дней. Ильин летал теперь с другим штурманом. Ревнуя к памяти своего друга, он относился к новому штурману неприязненно и говорил с ним только по деловым вопросам.

И вдруг Ильину говорят:

— Вернулся Фирин.

— Да где же он?

— А в бане.

В меховом комбинезоне, в унтах Ильин ворвался в помещение, наполненное паром и голыми людьми. Он сразу узнал тощую фигуру своего друга, усердно мылившего голову на третьей полке. Он обнял его и прижал к груди.

Вырвавшись из объятий Ильина, Фирин сказал с грустью:

— Придется опять мыться,— и снова полез на полку.

Ильин был вынужден ждать его в предбаннике.

Вечером они сидели друг против друга и пили чай.

Фирин рассказал:

— Ну что ж. Ну выпрыгнул. Потом пешком пошел. В сумке у меня, конечно, взрывчатка. Раз с воздуха не подорвали, значит, с земли придется. Иду. Ну, конечно,

встреча была. Отстрелялся все-таки. Приполз к мосту. А его нет. То есть, пожалуй, он есть, но только вроде как ненастоящий, фальшивый. Поверх взорванных пролетов они деревянный настил положили и черной краской под металл выкрасили. А обломки ферм, которые рядом валялись, известкой покрыли. Вот на фотографии оскорбительная для нас картина и получилась. Сами немцы, конечно, в другом месте переправу возвели. Я ее потом нашел. Думал — неудобно домой обратно взрывчатку тащить. Ну и использовал. Потом, конечно, все пешком да пешком. Летишь — не понимаешь толком, что такое расстояние, а тут, брат, до того ноги сбил, что теперь только летать могу.

— А полковнику докладывал? — с нежностью и восторгом глядя на Фирина, спросил Ильин.

— Докладывал. Он сказал: «Хорошо! Самолюбие, говорит, у летчиков — это дополнительная мощность». А я ему говорю: «У летчиков, конечно, тоже огромное самолюбие, но вы извините, товарищ полковник, вы еще нашего штурманского самолюбия не знаете». А он говорит: «Знаю, теперь очень хорошо знаю. И раз вы себя в наземной ориентировке тоже отличным штурманом показали, я теперь вас с Ильиным по одному интересному заданию пошлю». А я сделал вид, что не очень обрадовался. «Спасибо»,— говорю, трясу ему руку, а у самого дыхание и все такое. А он говорит: «Вы не радуйтесь. Вы у меня сначала отдохните как следует».— И Фирин грустно закончил: — И должен я теперь отдыхать. А у меня ноги болят. И по земле мне ходить невозможно. Мне летать надо.

— Ничего, Вася,— сказал Ильин мечтательно.— Мы еще с тобой когда-нибудь полетаем.— Потом Ильин взял гитару и добавил: — Я тут про тебя песню сочинил...

Несмотря на то что песня была грустная до слез и не совсем складная, Фирин вежливо уверял, что она ему очень понравилась.

1942

Я ВИЖУ

Первый раз я увидел Туркина в бинокль из окопа.

Зигзаги проволочных заграждений, трепаный кустарник, ямы, заполненные водой, восемьсот метров некрасивой земли отделяли наши траншеи от немецких. Эта земля была заряжена двумя минными полями. Каждая свободная пядь утыкана косыми кольями, и, как валы перекати-поля, лежали на ней ржавые пряди всклокоченных рулонов тончайшей проволоки, попасть в которую легко, а выпутаться очень трудно.

— Вы не очень-то высовывайтесь,— лейтенант Воронин пригнул мою голову.— Вы думаете, только у нас снайперы? У них тоже есть.

И словно в подтверждение его слов раздались два выстрела. Я присел. Воронин сказал:

— Это же сейчас не по нас. Это по Туркину.

Я снова поднес к глазам бинокль, но разглядеть Туркина на увитом железом пространстве не смог.

— Позвольте,— сказал Воронин. Потом, передавая мне бинокль обратно, посоветовал: — Правее березы берите.

— Ничего нет.

— А кустик?

— Ну, кустик вижу.

— Это и есть наш Туркин. Сначала он в воронке лежал, потом дополз до впадины. Здесь у него ветки заготовлены, он их натыкал в петли маскхалата и стал вроде кустом. Сейчас он отдыхает. Отдохнет, доберется до окраины кустарника, сбросит ветки и по канаве — там высохшее русло ручья — заползет в ровик. Сидеть ему теперь там дотемна. Раз фашисты его приметили, долго не отпустят. Они его знают.

Наступили сумерки. Ноябрьский студеный ветер выдул из луж воду и оставил вместо нее пластины черного льда, хрустевшего под ногами.

Потом мы с Ворониным сидели в ротном блиндаже, глубоком, чистом, с белой березовой мебелью и стенами, обитыми клеенкой из немецких противоипритных пакетов. Горела крохотная автомобильная лампочка у потолка, а в печурке гудело пламя. Мы пили чай из жестяных кружек.

— Знаете,— сказал мне Воронин,— вот вы не поверите, а я так здорово сейчас в свою жену влюблен, что просто сказать невозможно.— И, словно смутившись от этого неожиданного заявления, Воронин стал старательно рыться в папке с боевыми донесениями, как будто ему там что-то понадобилось.

— Вы что, ее недавно видели?

— Какое там! — Воронин сунул папку под подушку и раздраженно сказал: — Вот в газетах у нас писали: какие замечательные люди в стране живут! А я только сейчас, на войне, понял, какие они все замечательные. И вообще я жил неправильно. Вот подождите, выгоним к чертовой матери гадов, я покажу, как надо жить. Чаю хотите?

Наливая мне в кружку кипяток, Воронин продолжал говорить тем же взволнованным тоном:

— Мне сорок лет, а меня недавно вместе с этим Туркиным в партию принимали. Вот история!

— Разве Туркин плохой человек?

— А разве я говорю — плохой? Оп сейчас самую тяжелую боевую работу ведет. Надо участок в шесть тысяч мин к зиме подготовить. Из каждой лунки мину извлечь, поставить на колышки, обновить и проверить взрыватели. И все это под носом у врага, а главное — ночью.

— А зачем он сегодня днем по полю ползал?

— Да ведь ночью место, где мины зарыты, разве найдешь? Он днем вешки ставит, а ночью работает.

— Говорят, он первоклассный мастер?

— Ну, первоклассный... Выдающийся! Без миноискателя работает. Прямо зрячие пальцы имеет.— Воронин поднял растопыренные пальцы, пытаясь объяснить жестом, какие особенные руки у Туркина.— Ведь он раньше на скрипке играл, когда слепым был.

— Что значит — слепым был?

— Очень просто, с рождения. А потом ему операцию сделали.

— Почему же он раньше к врачам не обратился?

— Кто его знает. Может, не верил, не хотел зря мучиться...— И, задумчиво трогая крышку на чайнике, Воронин тихо проговорил: — Смешной он человек. До сих пор удив-

ляется, когда незнакомые предметы увидит. Он ведь, кроме госпиталя и войны, ничего не видел. Сначала в ополчение пошел, телефонистом работал, другое ему делать было трудно. Он ходить по-настоящему не умел, все на что-нибудь натыкался.

— Как это страшно! Прозреть только для того, чтобы увидеть войну!

— Конечно, неприятно. Если бы пораньше операцию сделал, ему лучше было бы. Но знаете, что я вам скажу? Как он начнет с нашими бойцами говорить, чудно как-то получается, словно сказку какую красивую рассказывает. А в сущности, про обыкновенные вещи говорит. И на парадах мы бывали, и на курорты ездили. А у него и правда и вместе с тем черт знает как здорово получается. Интересный человек, восторженный. Недавно с ним снова несчастье произошло. Мина подорвалась. Подорвалась оттого, что по мине осколком стукнуло, когда Туркина немцы обстреливали. Ранило его, но не сильно. А вот от контузии снова слепота произошла. Он так и шел с поля напрямик. Голову поднял и шел, а в него стреляли. Что мы пережили — сказать невозможно. Прибежал я к нему в санбат, взял его за руку, а рука дрожит. Я говорю: «Как же теперь, Яша?» — «Никак,— сказал он.— Снова телефонистом буду».

А из-под повязки у него слезы текут.

Но ничего, выздоровел он. Только теперь очки велели носить. Но они ему не мешают.

Помолчав, Воронин сказал медленно и вовсе не для меня:

— А жена у меня очень хорошая, такая хорошая...

На следующий день я шагал по лесу к узлу связи. За ночь выпал снег. Снег лежал покровом необыкновенной белизны. В чистоте, в свежести рождались редкие снежинки и падали с мягким шорохом.

На бревнах, приготовленных для настила блиндажа, сидели бойцы и курили. Один боец стоял со склоненной головой и глядел на свою варежку. Он восторженно говорил:

— Глядите, ребята, маленькая, а до чего здорово сделана! Такая звездочка...

Голос этого человека, тон, каким он произносил слова, заставили меня остановиться. Повернувшись ко мне улыбающимся лицом, боец сбросил что-то невидимое с рукавицы и опустил руки по швам.

— Товарищ Туркин?

— Точно.

Я не знал, что сказать ему: растерялся от волнения и нежности к этому человеку. Не зная, как начать, я спросил:

— Ну как, нравится наша зима?

— Очень красивая,— сказал Туркин.— Вот уже второй раз вижу и все надивиться не могу.

— Обожди, Туркин,— пообещал кто-то из бойцов,— мы тебе еще такие штуки покажем — закачаешься. Ты, брат, ничего путного на нашей земле толком еще не видел.

А старшина Власенко, внушительно перебивая бойца, заявил:

— У нас Туркина на десять лет расписали. Его каждый погостить, похвастаться к себе зазвал.— И Власенко решительно объявил: — Но я его к себе заберу. После моих мест он ничего смотреть не захочет.

— А вы у нас в Сибири были?

— Я все знаю,— сказал Власенко и, увидев, что бойцы смеются, добавил уже мягче: — Я, конечно, тогда начальником над ним уже не буду. Пусть сам чего хочет выбирает.— И обиженно замолчал.

А Туркин, улыбаясь, ответил:

— Самое хорошее я уже сегодня видел.

— Это чего еще? — строго спросил Власенко.

— А вас,— живо сказал Туркин,— когда вы меня от немецких разведчиков отбивали. Как увидел вас с ручным пулеметом рядышком, сразу понял, что нет ничего лучшего на свете, да еще вовремя.

Все стали снова смеяться.

Я глядел на Туркина, на его живое лицо, на его глаза с еще не смытой печалью. И мне тоже очень захотелось после войны позвать Туркина с собой и показать ему свою любимую, холодную и очень сильную реку, такую необыкновенную и самую красивую на свете. А какой город стоит на этой реке! Хотя, в сущности, городишко, в котором я родился, мелкий, и, конечно, не из мрамора там здания. Но я увидел свою родину сейчас такой ослепительной, такой красивой. Да разве в мраморе тут дело! Разве не человек наш украшает землю, наш сказочный, необыкновенный человек!

1943

КЛЯТВА

Ее раздавили, узенькую, простую деревенскую дорогу.

Она раздалась вширь грязной полосой, иссеченной тысячами колес.

На обочинах торчат колья, на них поспешные надписи: «Объезд запрещен. Мины».

И все-таки многие сворачивают на обочину и идут мимо надписей, мимо обломков обезглавленного, с оторванным мотором, тягача на кривых колесах.

Что заставляет пренебрегать опасностью? Усталость, легкомыслие или нетерпение? Пожалуй, все вместе.

Саперы с миноискателями, похожие на рыбаков с сачками, бродят по полю и шарят в траве. Они кричат на бойцов. Бойцы молчат — боятся, как бы саперы снова не погнали на дорогу, где грязь липнет к истомленным ногам пудовыми комьями.

Слева от дороги груда кирпича, ямы, наполненные углем и пеплом.

На древесный бурьян похожи высохшие сады. Сухие, пыльные трупы деревьев с черными ветвями выглядят печально и сурово. Кажется, тысячи этих деревьев покончили с собой, чтобы ни аромата своего, ни красоты цветения, ни нежного тела своих плодов не отдать врагу.

Полоса немецких укреплений разбита снарядами.

Всюду валяются какие-то коробки, чехлы, футляры. Поперек канавы лежат мостки для пешеходов, а канава узенькая.

Впереди окопов — рогатки, обмотанные спиралями колючей проволоки, бесконечными рядами уходят они к горизонту.

Белый, меловой свет луны освещает развалины.

Бойцы готовятся к ночлегу, короткому ночлегу после боя. С брезгливым отвращением обходят они тряпичный

хлам, лежащий возле немецких землянок: женские шубы с оторванными меховыми воротниками, юбки вместо наволочек, набитые сеном.

Сержант Гуськов сидит у костра и зашивает прореху на шинели. Морщинистое, сухое лицо его с густыми бровями скорбно-озабоченно.

— Миной? — спрашивает Толкушин.

— Нет, так зацепился.

— А мне прямо в ноги плюхнулась,— возбужденно сказал Толкушин.— Все железо через голову переплюнуло и не задело. Вот счастье! — И засмеялся.

Воткнув иголку в подкладку пилотки, Гуськов поднял лицо и тихо спросил:

— Сказывали, на тебя двое навалились?

— Один,— обрадованно пояснил Толкушин.— Второго мы вместе с Кузиным приняли. Если считать, так вроде полфашиста.— И радостно добавил: — У меня перед ребятами совесть чистая.

Гуськов протянул руку, поправил котелок с водой, висящий над костром, потом задумчиво сказал:

— А меня, Вася, совесть все мучает. Вот и дрался я сегодня аккуратно...

— Куда больше, штук пять накидали,— почтительно поддакнул Толкушин.— Прямо как лев!

— Мне, Вася, их кидать по большому счету надо. Ты того не знаешь, что я знаю.

Гуськов замолчал, глядя в живое пламя костра, потом снова сказал:

— Сегодня Тихонова хоронили. Ребята плакали, а я с сухими глазами стоял. Ты слушай, что на моей душе.

— Я слушаю,— сказал Толкушин и перестал размешивать в котелке щепкой.

— У меня два друга были,— сказал Гуськов,— Фомин и Алексеев. С ними я три года в первую мировую в окопах просидел, и стали мы от этого как братья. В семнадцатом нас делегатами в Питер к Ленину послали. Не к нему лично, на конференцию. А вышло — пришлось для Советской власти первое здание добыть — Зимний штурмовали, дворец такой. Экскурсантам его всегда показывают. Убили там Фомина кадеты на лестнице. Остались мы с Алексеевым вдвоем. Немного погодя немцы Псков взяли, к самому Питеру двинулись. Пошли мы с Алексеевым на немцев. Ранили меня. Алексеев на себе тащил. Убили Алексеева. Осиротел я. Ну, там еще фронты были. В общем, вернулся

с гражданской и начал семьи погибших своих товарищей разыскивать. У нас клятва была: если кто погибнет, так заботу о семье товарища берет тот, кто живой останется. Нашел я их семьи. Плохо жили. Прямо сказать — в голоде.

Чего я только не делал, чтобы жизнь им поправить! Нанимался на всякую тяжелую работу. Стыдно сказать, на толкучке барахлом торговал. Это коммунист с семнадцатого года! Вот, брат, дело какое. Вызвали в райком партии. Рассказал все без утайки. Пускай, думаю, что хотят, то и делают. Партбилет на стол положил. А секретарь Вавилов — он у нас эскадроном моряков раньше командовал (в гражданской такие подразделения водились) — ходит по кабинету, на билет мой не смотрит, в стол не прячет и молчит. Потом сказал: «Ты, Гуськов, что думаешь? У тебя у одного только совесть? А у партии совести нету?» — «Нет,— сказал я,— я так не думаю». «Не думаешь, так выполняй свою партийную клятву тоже. Ты не подачки людям давай, ты им обещанное счастье добудь. Ты слово свое, слово коммуниста, выполни».

И послал меня Вавилов на Волховское строительство — землекопом. Землекопы — трудный народ, не все сознательные. Потом на экскаваторе машинистом работал. Сколько я земли вынул — сосчитать трудно. Много по нашей стране поездил. И хоть помогать сильно семьям своих товарищей не мог, но письма получал от них часто. Что ж ты думаешь? Ведь по-настоящему люди зажили. Ребята школы окончили, в вузы подались. Фомины — так те в новый дом переехали, на пятый этаж. Погостить зовут. Приезжаю. Колька, старший сын Фоминых, на такси за мной на вокзал приехал. Обнимают меня все, целуют. Словно счастье все это я им из своих рук выдал. А я всего техник-строитель, даже до инженера не дотянул. Вот, Толкушин, какое дело. Хорошо мне было у них. Радостно. Когда уезжал — выпил на прощанье маленько. Подал я руку Марии Федосеевне и говорю развязно,— если бы не выпил, никогда не сказал бы так: «Ну, как, Мария Федосеевна, выполнил я свою клятву, какую Андрюше давал?» Вот так и сказал.

Гуськов протянул руку к костру, вынул из него горящую ветку, прикурил от нее и, пристально глядя, как меркнут угольки, покрываются нежным, как пыльца на крыльях бабочки, пеплом, медленно произнес:

— Теперь тебе, Толкушин, понятно, какая мера моей совести, сколько с меня причитается за все. И хоть дрался

я сегодня достойно, а все кажется — мало, и все меня мучает: может, какого я упустил, а он, этот упущенный, ребят Фоминых или Алексеевых убьет. Ведь они на фронте. Я с ними по-прежнему переписку имею. Или кого из вас. Разве я за всех вас перед семьями вашими не в ответе буду? В ответе. Я обязан снова им жизнь обещанную хорошую вернуть. Вот по какому счету я с ними драться должен,— сказал Гуськов и, выхватив дрожащими пальцами уголь из костра, снова стал раскуривать погасшую папиросу.

Белая луна катилась сквозь пенистые тучи. Голые черные ветки деревьев роняли на землю свои железные тени.

В небо на узких белых стеблях подымались осветительные ракеты.

Снова мерно и часто начали вздыхать орудия, участилась перестрелка. Значит, враги снова пошли в контратаку.

Гуськов затянулся, выпустил из ноздрей густой дым и участливо сказал притихшему Толкушину:

— Ты бы прилег, Вася, пока. Поспать нам, видно, сегодня опять не придется.

Костер угасал, угли седели и меркли.

1943

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ

Дул ветер. Было темно и холодно.

Они стояли на трамвайной остановке возле Дворца культуры. И огни Дворца, казалось, погасли навсегда.

Послышался стук трамвая. Отец подал матери руку, потом притянул ее всю к себе и обнял. Таня крикнула:

— Папа, пожалуйста, папа!

Отец оглянулся как-то растерянно и виновато. Он обнял дочь сильными руками, поднял, прижал ее лицо к своему, влажному от снега.

— Ну что, моя маленькая, что?

— Папа, я буду хорошая. Ты слышишь, папа? — прошептала она, задыхаясь от нежности и печали, от которой сжималось и болело горло.

Отец опустил Таню на землю и сказал просто:

— Я знаю.

Трамвай остановился. Отец пропускал людей вперед, чтобы сесть последним, и, когда трамвай тронулся, он стоял на подножке с мешком за плечами и, откинув голову, улыбался и махал рукой. Таня крикнула:

— Не надо, папа! Ты упадешь так.

Трамвай ушел. Они остались с матерью на пустой остановке. Дул холодный, жесткий ветер. Было холодно, тоскливо, одиноко; хотелось плакать.

Через час началась воздушная тревога. Били зенитки, и от залпов их дребезжали окна.

Мать сказала:

— Хорошо, что началась только сейчас, а то папе пришлось бы идти пешком. Ведь он так устал за день.

И Таня сказала:

— Да, это очень хорошо.

Это было 12 октября 1941 года, когда отец Тани ушел с ополчением защищать Москву.

Мать поступила на завод, теперь там делали автоматы. Она работала с утра до ночи. Таня вставала на рассвете и готовила завтрак. И вечером она не ложилась спать до тех пор, пока не приходила мать.

— Ты моя хозяюшка,— говорила мама.

— Почему ты работаешь две смены? Ты так похудела, мама!

— Я тоскую, Таня! А когда я на папином заводе, мне не так тоскливо. А потом ведь это нужно, Танечка.

В декабре Тане исполнилось семнадцать лет.

Первое письмо, которое получили они от отца, было адресовано Тане. Отец поздравлял ее и писал, что очень гордится тем, что у него такая взрослая дочь. О себе написал только, что служит в артиллерии.

Однажды, когда Таня сидела одна дома, к ней пришел Вовка Зайцев.

— Здоро́во! — сказал Вовка.

Он прошелся по комнате и деловито спросил:

— Что, холодно?

— А тебе какое дело? — сказала Таня. Она не любила Зайцева и считала его хулиганом.

Потом Вовка подошел к двери и сказал:

— Извините за беспокойство,— и ушел, так и не сказав, зачем приходил.

А через несколько дней он пришел снова и принес с собой железную печь и трубы под мышкой. Вовка распоряжался так, словно это он у себя дома устанавливал печь. И после, когда затопил печь и тяга оказалась хорошей, он сказал:

— Теперь порядочек. А то сидишь, как цыганка, в шалях, губы распустила, смотреть противно.

— Сколько стоит эта печка? — спросила Таня.

— Сам сделал,— сказал Вовка.— Привет!

И он ушел.

Потом Вовка опять пришел и спросил:

— Не дымит?

Таня опустила глаза и сказала:

— Нет.— Потом спросила незнакомым для себя голосом: — А вы что сейчас делаете, Вова, учитесь?

— Нет,— ответил он,— работаю.— И добавил значительным шепотом: — Мы теперь в ремесленном мины делаем. Только ты никому! Военная тайна. Я уже два раза премию получал по двести рублей, понятно?

Таня прочла в газете о подвиге комсомолки Зои. И она

хотела жить и умереть так, как Зоя, и поделилась этим с Зайцевым. А он сказал:

— Где тебе!

— Увидим! — сказала Таня.

Она пошла в райком комсомола и заявила, что хочет поехать на фронт. Ее спросили:

— А что ты сейчас делаешь?

— Ничего,— сказала Таня.

— Комсомолка?

— Нет.

— Почему?

— Не знаю.

— Ладно,— сказали ей,— приходи завтра, что-нибудь придумаем.

— А это ничего, что я не комсомолка?

— Ничего,— ответили ей.

Она пришла на следующий день.

— Вот,— сказал ей секретарь.

Таня прочла бумажку и заявила обиженно:

— Я на фронт просилась, а вы меня в уборщицы.

— Не хотите?

— Я не не хочу, но смешно: война, а я уборщица!

— Это не смешно,— возразил секретарь.

Она пришла в контору. Сказали, что уборщицы не нужны, нужны рабочие для погрузки вагонеток.

— Ладно, мне все равно,— согласилась Таня.

Ей дали резиновые сапоги и брезентовую спецовку. Клеть была мокрая, а внизу глина, и оттуда выходили мокрые и грязные люди. Когда клеть опускалась, у Тани сжалось сердце и она не могла дышать. Она думала, что клеть обязательно разобьется, так быстро она падала.

В туннеле было темно и сыро, а под ногами хлюпала вода. Ей дали лопату, велели нагружать вагонетку глиной. Потом к вагонетке подходил электровоз и увозил ее. Очень скоро у Тани заболели спина и руки. И она никак не могла дождаться конца смены. А когда смена кончилась и Таня направилась к выходу, к ней подошла толстая девушка в косынке и спросила:

— Тебя как зовут? — Потом она сказала: — Слушай, Таня, у нас девушки не хватает, иди к нам. Нам паренька предлагают, но мы не хотим марку терять.

— Я очень устала,— ответила Таня.

— Мы тоже очень устали,— возразила девушка.

— Тогда хорошо, я согласна,— сказала Таня.

Рельсы были длиной двенадцать с половиной метров. Толстая девушка — ее звали Ниной — пела «Дубинушку», стараясь петь басом, и все в такт песне толкали рельс. Но ничего веселого тут не было, а было только очень тяжело и трудно. И трудно было забивать костыли, потому что клюваком — такой молоток, длинный, как кирка,— очень трудно попадать по головке костыля. И когда казалось, что даже пошевелить пальцем больше невозможно, Нина кричала:

— Веселей, девчата! Еще шесть прогонов — и знамя наше!

Бархатное знамя стояло посредине лотка, по которому прокладывали путь две бригады, идущие навстречу друг другу.

В эту ночь бригада Нины первая проложила путь к знамени.

И восемь часов, которые они будут отдыхать, знамя будет находиться у них, а завтра снова две бригады начнут идти навстречу друг другу и снова драться за знамя.

Таня не пошла ночевать домой, потому что все девушки решили ночевать в шахте, спали на лесах, укрывшись ватниками, а в головах у них стояло отвоеванное бархатное знамя.

Но Таня не могла заснуть. Она лежала с открытыми глазами и думала, что, наверное, так же вповалку спят на фронте бойцы и спит ее отец, и от этого меньше болели руки, спина, на сердце становилось хорошо и радостно.

Так она работала и чувствовала, как становится другой, взрослой, и большие, хорошие мысли волновали ее сердце.

Парторг сказал, что из Ленинграда только что привезли сделанные там мозаичные панно из самоцветных камней; ими будут украшены стены вестибюля.

Люди сделали эти картины, когда враг продолжал стучать железным кулаком блокады в стены одного из самых благородных городов мира. Какие необыкновенно чистые и гордые люди эти ленинградцы!

— Как я хотела бы быть ленинградкой! — сказала Таня.

— Ладно,— ответила ей Нина,— мы с девчатами решили рекомендовать тебя.

— Куда? — спросила Таня.

— Ты можешь быть настоящей комсомолкой,— сказала Нина,— и если бы ты жила в Ленинграде, ты была бы настоящей ленинградкой. Верно, девчата?

И Таня впервые расплакалась, впервые после того, как отец ушел на фронт; она расплакалась от сладкой и нежной любви к своим товарищам, от щемящей гордости, которую она сейчас испытала.

Таня никому не говорила, где она работает. Не нужно, решила она, никому говорить об этом. Пускай это для всех будет неожиданностью, праздником. Ведь это такая радость! Война — и вдруг нате вам, пожалуйста, кто бы мог подумать?

Матери она говорила:

— Так, на одной военной стройке работаю.— И все.

Шли дни. И уже совсем немного оставалось до этого необыкновенного дня.

Как-то Таня забежала домой. Она жила теперь у подруги, потому что это было ближе к работе. Возле дверей Таниной квартиры стоял военный в полушубке, в валенках, со спиной, перекрещенной ремнями. Таня, почти теряя сознание от волнения, крикнула:

— Папа!

Но это был не отец. Военный обернулся и спросил улыбаясь:

— Таня?

— Ну да.

— Моя фамилия Азаров. Я вам письмо привез от отца. Мы с ним вместе под Сталинградом, знаете?

— Нет,— сказала Таня.

— Что нет? — спросил Азаров.

— Я просто не верю, что вы видели папу.

— Почему же не верите? Мы с ним у одного орудия работаем,— обиделся Азаров.

У Тани не было ключа от квартиры, и она растерянно сказала:

— У меня нет ключа, как же быть? У вас есть где ночевать?

— Мне ночевать не надо, я вечером уезжаю. Так что́ передать отцу?

Таня прислонилась к стене, закрыла глаза.

— Послушайте,— вдруг сказала она с мольбой,— вы могли бы пойти со мной в одно место? Там я вам все объясню.

— Пожалуйста,— сказал Азаров.

И вот они идут вместе по улице. Вместе с человеком, который каждый день видит ее отца, который сражается вместе с ним и, может быть, спит рядом с ним. А Таня

молчит, потому что боится сказать не так,— она знает, что это лучше увидеть, тогда легче будет понять.

Подошли к конторе. Она сказала:

— Подождите. Я сейчас.

Она боялась, что в бюро пропусков откажут. Она волновалась и умоляла:

— Послушайте, ведь он вместе с моим папой, ему обязательно надо посмотреть.— И даже сказала: — У него орден,— хотя Таня не знала, есть у него орден или нет.

— Куда вы меня ведете? — спросил Азаров.

— Молчите,— сказала, торжествуя, Таня,— молчите, сейчас все узнаете.

Они спустились в клети вниз, в сухой и чистый туннель, высокий, стремительный. Таня вела Азарова по этому туннелю и, видя, как его сильное лицо с живыми глазами становилось все задумчивей, радовалась, потом лукаво спросила:

— Если мы погуляем здесь, вас не очень утомит?

— Что? — спросил Азаров.

— Расстояние порядочное,— сказала Таня.

— Слушайте, ведь это же чудо,— сказал Азаров.

— Да,— сказала Таня.

И они шли и шли. Теплый воздух, пахнущий смолой, лаком и горящим металлом, дул им в лицо.

— По шпалам не ходите,— предупредила Таня,— их только что выкрасили.

Казалось, не будет конца этому пути. И вдруг пространство стало голубым, широким.

— Что это? — спросил Азаров.

— Станция.— И, снова торжествуя, Таня сказала: — Мы можем выйти здесь.

Они поднялись по лестнице.

Огромный пустой зал перрона сиял белым светом. Граненые колонны из теплого, как тело, мрамора уходили ввысь.

— Как в замке,— сказал Азаров.

— Как во дворце,— отозвалась Таня.

Таня показала на панно:

— Это сделали ленинградцы.

— Когда? — спросил Азаров.

— Недавно,— ответила Таня.

— А это всё?

— А это всё — мы, тоже недавно.

Вдруг Азаров увидел растущее в мраморной стене

черное дерево. Ветки этого чугунного дерева чудесно переплетались, образуя решетку.

— Здорово! — сказал Азаров.— Кто сделал?

— Мальчик, из нашего дома мальчик. Ему шестнадцать лет,— сказала Таня.

— Вот так мальчик! — сказал Азаров.

Потом они прощались. Таня сказала:

— Передайте папе...

— Я знаю, что передать ему,— поспешно сказал Азаров.— И вообще, теперь я очень много знаю.— И застенчиво добавил: — Какие вы у нас все!

Таня поднялась на цыпочки, положила руки ему на плечи, поцеловала. Потом она вздохнула и сказала:

— Теперь папа приедет домой на метро.

— Точно,— сказал Азаров.

Дул ветер, и на улицах было темно, но небо было высоким и очень чистым.

1943

КУЗЬМА ТАРАСЮК

— Вот так Тарасюк!

— Вот тебе и вобла карие глазки!

— Отчудил.

— И откуда прыть взялась?!

— Прямо лев!

— А до чего кислый парень был!

— Теперь он фрицу кислый.

Тарасюк стоит посреди землянки. Застенчивая, расслабленная улыбка блуждает на его изможденном, грязном лице.

Он пытается расстегнуть крючки на обледеневшей шинели, но пальцы плохо слушаются.

Кто-то из бойцов помогает ему снять шинель, и от этой дружеской услуги он еще больше теряется.

Кто-то сует ему в руки горячую кружку с чаем, еще кто-то сыплет в кружку сахар, чуть не весь недельный паек.

— Сбрось валенки.

— Орлы! У кого что есть — тащи!

Ему дают валенки, теплые, только что снятые с ног, а владелец их залезает на нары.

На колени ему ставят целую банку разогретых консервов и тут же суют скрученную цигарку и подносят огонь.

Тарасюк не знает, что сначала делать: надеть ли сухие валенки, пить чай, есть консервы или курить?

С головы Тарасюка сматывают окровавленные тряпки и бинтуют ее чистым бинтом. Тарасюк покорно подчиняется всему.

Он не может произнести ни одного слова.

У него першит в горле. Он все время откашливается.

Ему хочется плакать.

Тарасюк трет глаза и шепотом говорит:

— Печь дымит очень,— и трет глаза. А печь вовсе не дымит.

Кто-то ворошит солому на нарах, стелет сверху плащ-палатку, готовит изголовье.

Чумаков, самый грубый человек в отделении, кричит:

— Сегодня «козла» отставить! Тарасюк спать должен. Понятно?

А Тарасюк все никак не может справиться с блаженной, расслабленной улыбкой на лице. Сладкое самозабвение, почти как сон, не покидает его.

Тарасюк ложится на нары. Он притих. Его накрыли шинелями. Свет коптилки отгородили газетой.

Но Тарасюк спать не может. Он дрожит под шинелями. Дрожит не от озноба, нет. Слишком непомерно волнение, которое он переживает сейчас.

Есть одна простая мера отношений человека к человеку на войне. Эта мера — мужское воинское товарищество. И нет ничего справедливее этой меры. Став солдатом, ты увидишь ее в большом и малом, и будет она твоей гордостью, любовью, совестью, всем на свете и дороже жизни.

Тарасюк был одинок. Но в этом виноват был он сам.

После первого боя командир проверял у новых бойцов количество оставшихся боеприпасов. Тарасюк израсходовал только шесть патронов.

— Почему мало стреляли?

Тарасюк молчал.

— Товарищ Тарасюк, в чем дело?

— У меня... Я... Видимой цели не было,— промямлил Тарасюк.

А потом к Тарасюку подошел боец Липатов и горячо сказал:

— Зачем про цель наврал? Страшно было. Ведь, правда, страшно? Дашь по нему раз, а он по тебе очередь. А ты молчишь, и он молчит. Ведь так?

— Нет,— сказал Тарасюк, хотя это действительно было так.

— Значит, ты вон из каких? Ну ладно,— сказал Липатов.

За ужином Тарасюк попросил:

— Ребята, лишняя ложка есть?

Но Липатов сказал ему:

— Военторг тебе тут, что ли? Свою надо иметь.

Перед сном бойцы разговаривали. Чумаков сказал:

— Я очень приятно жил и по-другому жить несогласный. Вот какая у меня страшная злость на фашистов.

Липатов оглянулся на Тарасюка и сказал:

— Есть и такие, у кого от хорошей жизни сердце как курдюк.

— Есть и такие,— согласился Чумаков и тоже поглядел на Тарасюка.

— Я свою жизнь всегда готов отдать,— сказал Тарасюк.

— Даром,— перебил его Липатов.— Это враг любит. Он любит, когда его не трогают, чтоб самому тронуть.

— Ты что думаешь, я трус?

— Нет, это я трус,— спокойно сказал Липатов,— и при всех говорю, что трусил, и для того говорю, чтобы все знали и в следующий раз спуску не давали.— И вызывающе повторил: — Вот сказал, и теперь все знают, теперь я трусить уже никак не смогу. Не выйдет теперь у меня трусить.

— Правильно,— сказал Чумаков,— теперь ты трусить не будешь. Раз у тебя такая совесть острая, никак не будешь.

В первом бою человек обычно испытывает чувство тоски. Это чувство подавляет, изнуряет, делает беспомощным, избавиться от него сразу трудно. Это — как душевная болезнь.

Тарасюк, страдая от этого чувства, жался к соседу. Но Липатов крикнул:

— Держи дистанцию!

Тарасюк отполз, остался один. Сначала он стрелял, не видя врага, потом подумал, что стреляет для того, чтобы не бояться. Ему стало стыдно, и он перестал стрелять.

В бою чувствуешь, если и не видишь, поведение своего соседа. Помочь слабому — мужественная обязанность товарища. И Липатов хотел помочь Тарасюку, но Тарасюк, не поняв его намерения, отрекся от помощи и тем самым отрекся от дружбы и стал одиноким.

Очень скоро Липатов стал любимцем роты. Каждый его поступок отличался правдивостью и чистотой. Но с Тарасюком он больше не разговаривал. Он, казалось, не замечал его. А Тарасюка тянуло к Липатову. И когда ходили в атаку, он по-прежнему стремился быть ближе к нему.

Однажды Липатова ранили. Тарасюк подхватил его под руки и попытался отвести к перевязочному пункту.

Но Липатов вырвался из его рук и сказал:

— Из боя уйти хочешь?

Не знаю, говорил Липатов о Тарасюке с бойцами или не говорил, только отчужденно стали относиться к нему бойцы. И это усугубилось еще вот чем.

Отделение блокировало дзот. Шел рукопашный бой. Неожиданно в ходе сообщения показалась новая группа немцев. Они спешили на помощь своим. Командир крикнул:

— Гранату! Бей гранатой!

Тарасюк бросил гранату. Но забыл отодвинуть предохранительную чеку, и граната не разорвалась.

Бой был неравным, тяжелым. После боя Липатов разыскал неразорвавшуюся гранату и отдал ее Тарасюку.

— Вот, возьми обратно. Спасибо не надо. Это тебе враги спасибо скажут.

Теперь Тарасюк ел из котелка один, курил только свой табак. Ему некому было читать письма, и никто не читал ему своих. Это было одиночество.

Есть на войне такое, чего легко не прощают.

Мучаясь болью своего сиротства, Тарасюк попытался угодливыми услугами добиться расположения к себе.

Но от доброты его отказывались с отвращением.

Он попытался сдружиться с поваром Егошиным. Но Егошин сказал:

— Ты ко мне лучше не вяжись. У меня такая точка зрения: продукты на тебя переводят. Другому лишнего черпну, тебе — ни в жизнь!

Когда Тарасюк уходил с донесением, про него говорили:

— Пошла паша вобла к тихой заводи. Не любит, когда враг свинцовую икру мечет.

И хотя Тарасюк не по своей воле уходил из боя и его в пути обстреливали фашисты, нелюбовь бойцов сопутствовала ему. Тарасюк это чувствовал.

Но к чести Тарасюка нужно сказать: как ни страдал он, как ни тяжело ему было, он понимал справедливость такого отношения к нему.

Для каждого своего поступка он стал искать мысленно сравнение с той мерой, какую диктовало ему суровое воинское товарищество. И если поступок хоть на вершок подымался над этой мерой, он был счастлив. Но это было куцее и одинокое счастье.

Ну кто мог знать, что совсем недавно, чтобы быстрее доставить донесение, Тарасюк не прополз, а пробежал под огнем лощину, и, когда у самого лица пищали пули, он не пугался этого писка, не ложился, а продолжал бежать... А ведь ничего плохого не было бы, если б он лег. А вот он не лег.

Или вот тоже. Возвращаясь в подразделение, он на-

ткнулся на раненого пулеметчика. Второй номер был убит. Пулеметчик один отбивался от автоматчиков.

Тарасюк лег рядом, за второго номера, и до вечера вел бой. Потом, когда пришла помощь, Тарасюк встал и сказал пулеметчику:

— До свидания.

— Спасибо,— сказал пулеметчик.

— Не за что,— сказал Тарасюк.

А когда пришел в подразделение, командир наложил на него взыскание за то, что пропадал невесть где.

Тарасюк постеснялся сказать, где он пропадал,— ведь не поверят: Тарасюк — и вдруг в такое дело по своей охоте полез. Он только пробормотал:

— Заблудился я.

— А компас на что? — спросил командир.— Еще раз заблудитесь — в обоз пошлю. Там не заблудитесь.

И вот что сейчас отчудил этот самый Тарасюк. Хотя многим его подвиг показался удивительным, ничего, пожалуй, удивительного в этом не было. Вот утверждают, что характер человека выдается один на всю жизнь, вроде этакого духовного костюма. Но ведь это ж неправда.

Была река. По одну сторону окопались мы, по другую — враг. Получилось так, что река была «ничейной». Но что значит «ничейной», когда река наша?

А ты ее возьми.

Приказ будет — и возьмем.

Пришел приказ.

Начался штурм. Подразделения прорвали линию вражеских укреплений и ворвались в глубину.

Тяжелые немецкие батареи открыли отсечный огонь.

Они били по реке. Снаряды дробили лед. Темная, дымящаяся на морозе вода высоко выплескивалась после каждого взрыва.

Воспользовавшись огневой завесой, немцы подтягивали резервы.

Лейтенант Кузовкин составил донесение с указанием расположения огневых точек врага. Их нужно подавить огнем наших батарей. Иначе противник не даст подойти нашим подразделениям и отбросит их обратно.

— Идите,— сказал командир.

— Есть,— сказал Тарасюк.

— Дойдете? — спросил командир и посмотрел в глаза Тарасюку.

Тарасюк понял, о чем подумал командир, и смутился.

Тарасюк хотел рассказать про пулеметчика. Теперь это было очень нужно, чтоб командир верил ему. Но лейтенант вдруг пожал ему руку и сказал:

— Все.

И Тарасюк пошел.

Была ночь. Мела пурга. На длинных световых стеблях в небе качались ракеты. Сыпались, как угли, трассирующие красные пулеметные очереди. Ломалась и трещала земля от взрывов.

Тарасюк шел по целине.

На снегу лежал фашист с примерзшими к земле длинными светлыми волосами. Лицо его запрокинуто, глаза открыты, в орбитах, словно очки, круглый лед. По-видимому, плакал перед смертью.

Тарасюк равнодушно посмотрел на труп и прошел мимо. Разве мало их валялось в степи!

Тарасюк шел и думал — думал о том, как сильно он волновался, когда командир говорил с ним. Это было потому, что командир мог его не послать. И если бы командир не послал его, он был бы так раздавлен, так унижен... Сейчас он испытывал такое чувство, будто чудом спасся от смерти. Потому что это было б тогда как смерть.

Снаряды падали в реку. Сначала они пробивали лед. Мгновение на льду оставалась только темная дыра. Потом из реки вздымалось гигантское водяное дерево. Льдины кололись со звоном, вода между ними дымилась, словно была горячая.

Тарасюк спустился к реке. Он ступил на льдину.

Она плавала в воде легко, как пласт сала. Льдина погрузилась в воду. Он прыгнул на другую, потом на третью. Но валенки успели обледенеть, он поскользнулся, он катился. Чем ближе к краю, тем льдина больше кренилась. Тогда он упал.

На краю льдины он осторожно поднялся, занес ногу и поставил ее на следующую льдину. Не прыгал, боялся поскользнуться. Но льдины стали разъезжаться в разные стороны. Он пытался удержать их ногами, но они оказались сильнее его. И он упал в воду.

Вода показалась горячей, потому что это было как ожог. Он пытался влезть на льдину, но она кренилась, становилась покатой, и он не мог на нее взобраться.

Снаряд зашуршал в воздухе. Звук был такой, как у дисковой пилы, работающей на холостом ходу.

Тарасюк сжался в отчаянии, погружаясь с головой

в воду. Взрыв. Его тяжело ударило водой, несколько раз перевернуло. Вода била его, и она была тяжелая, твердая, как стекло.

Тарасюк попытался встать. Он стукнулся затылком о сомкнувшиеся льдины. Он пытался поднять льдину, но сил у него хватило только на то, чтоб успеть хлебнуть воздуха, и льдина прихлопнула его, как тяжелая крышка люка. Наконец ему удалось сдвинуть ее.

Он пошел дальше вброд, раздвигая льдины руками. У самого берега лед был целым. Он выбрался на кромку, поднялся на берег и побежал. Но очень скоро одежда стала тесной, она сделалась твердой и негнущейся. Потом она начала ломаться, резала тело, словно десятки лезвий безопасной бритвы.

Вдруг Тарасюк споткнулся, чуть не упал и машинально посмотрел, обо что он споткнулся.

Тарасюк увидел труп фашиста с примерзшими к земле длинными светлыми волосами, с запрокинутым лицом, и в орбитах трупа лежали круглые льдины, похожие на очки.

Тарасюк подумал: «Где-то я уже его видел», но где — вспомнить не мог.

И вдруг вспомнил. И он не поверил, что это так. Разве мало их валяется в степи. Это не тот... Это другой...

Он стал озираться и с ужасом убедился, что это тот самый фашист, которого он видел, отправляясь в путь.

Тогда он побежал обратно.

Он бежал, и одежда его трещала.

Теперь он не пытался перебраться по льду. Он бросился в воду. И странно — вода показалась теплее. Он расталкивал лед и шел по дымящейся, как кипяток, воде, хотя она была такая студеная, что и рыба мерзла бы от холода.

Он выбрался на берег и снова побежал.

В землянку пункта сбора донесений вошел человек и упал, стукнувшись о землю так, словно он был железный.

И действительно, когда разрезали на нем одежду, она была твердая, как железо.

Его переодели во что могли и привели в чувство.

И очень скоро над рекой полетели стаи тяжелых снарядов. Они летели со звоном, летели, как зрячие, падали на немецкие пушки и разрывались. Стая за стаей, залп за залпом.

А потом в землянку пункта сбора донесений пришел майор Курбатов и спросил:

— Где тут товарищ Тарасюк?

— Я,— сказал Тарасюк.

— Вы еще что-нибудь можете? — спросил майор.

— Могу,— сказал Тарасюк.

— И снова сможете? — спросил майор.

— И снова смогу,— сказал Тарасюк.

— Рацию им надо доставить. Разбили у них рацию.

— Есть доставить рацию,— сказал Тарасюк.

Он поправил плечевые ремни рации, надел ее на себя и вышел из землянки.

Пурга улеглась. Воздух был прозрачный. Река была тихой. Разбитый лед спаялся. И вода больше не дымилась.

Тарасюк вступил на лед. Лед его выдержал. Он шагал с льдины на льдину, и лед только кряхтел, но не ломался.

У самого берега Тарасюк поспешил и попал в воду.

Потом он выбрался на берег и пошел с рацией на спине по степи.

Скоро он добрался до того места, где лежал убитый фашист. Тарасюк посмотрел на его запрокинутое лицо, на круглые льдины в орбитах и вновь подумал: «Плакал, наверно, перед смертью».

И еще подумал Тарасюк, что, когда ему было совсем плохо, он не хотел плакать, а только злился. Злость — какая это правильная штука! Злость давала ему силы. И, может, ее-то прежде и не хватало Тарасюку.

Потом Тарасюк сдал рацию командиру и получил приказ отдыхать.

И вот он пришел в землянку, где раньше жили фашисты, и его встретили бойцы отделения. А как они его встретили, я уже рассказал.

Сейчас Тарасюк спит. Бойцы сидят вокруг него молча, и, хотя хочется поиграть в «козла», они не играют, потому что стук костей будет мешать спящему. Правда, можно играть без стука, но без стука какая же это игра!

Дверь землянки распахнулась. На пороге стоял Липатов. Он громко и радостно сказал:

— Орлы, про Тарасюка слышали?

— Тише! Тарасюк спит. Понятно?

Это вскочил Чумаков и закрыл рот Липатова своей тяжелой ладонью.

Липатов подмигнул бойцам, кивнул на спящего, а потом осторожно уселся на нары.

— Будьте уверены,— сказал один боец.

— Главное — совесть имей, а она себя рано или поздно покажет,— сказал другой.

— Сила у русского человека, как у кощея, схоронена,— сказал третий.

— Землю носом перевернет,— сказал четвертый.

— Довольно вам,— опять грубо вмешался самый грубый человек в отделении — Чумаков,— спит же Тарасюк!

И все замолчали. А Липатов сидел на нарах и улыбался с таким видом, будто он знает что-то такое, чего не знают другие.

1943

ЛЕЙТЕНАНТ КОЛОБУХИН

Он был подтянут, одет безукоризненно и даже щеголевато. Не то что пальца, лезвия ножа не просунуть было за пояс, так он затягивался. Голенища сапог сверкали, как черные зеркала. Меховые варежки он отгибал манжетой наружу. Жесткое лицо его с прищуренными глазами шелушилось от частого бритья, а на скулах играли блики. Так выглядел лейтенант Александр Колобухин.

Стремительная тактика современной войны породила новый вид войскового подразделения — штурмовые группы. Внезапностью, быстротой действий они вынуждают противника к самому смертельному из всех видов боя — к ближнему бою. Бойцов, с честью ведущих себя в таком бою, навечно связывает дружба людей, повидавших кое-что такое, что не всякому дано увидеть. Плохих в таких подразделениях не держат. А лейтенант Александр Колобухин был командиром штурмового отряда.

До войны Колобухин был знатным человеком.

На Дальнем Востоке, в Приморском крае, бригады шахтеров, которые, рубая уголь, пускали лавы, неиссякаемые, как реки,— только это были черные, каменные реки,— хорошо знают и помнят Колобухина, одного из первоклассных мастеров своего дела.

Но старой славой не живут. Когда Колобухин прибыл на фронт и его спросили, не тот ли он самый Колобухин, он ответил:

— Не тот.

Ибо гордость пришедших от мирного труда к трудному воинскому уделу бывала частенько уязвленной: как всякое мастерство, воинское мастерство дается не сразу. И только после одиннадцати месяцев войны лейтенант признался, что он тот самый Колобухин.

— Теперь я собой доволен,— сказал Колобухин,— теперь мне стесняться нечего, поскольку я себя не уронил.

Как бы бешено и яростно ни протекал бой, Колобухин ни на секунду не упускал нити умного и точного расчета. Он властвовал на поле боя. Предугадывая намерения противника, он словно принимал команду и над врагом, заставляя его делать то, что ему, Колобухину, в данный момент было нужно. И поэтому, хотя ближний бой самый смертельный, в подразделении Колобухина потери были всегда ничтожны.

Принимая нового бойца, Колобухин разговаривал с ним примерно так:

— Ты про меня слышал?

— Как же,— почтительно отвечал боец.

— Небось говорили — храбрый.

— Точно,— соглашался боец.

— А я не храбрый. Я пугливый,— неожиданно заявлял Колобухин. И, став вдруг суровым, наставительно и раздельно пояснял: — Если фашист по мне огонь ведет, считаю: бежать надо. Куда бежать? А туда, к нему. Вполне нормально. Из артиллерии по мне садят? Садят. Из минометов. Из пулеметов тоже. Неприятно? Именно! Я на двести метров выкинулся. Артиллерийский огонь где? Позади. Я еще на сто. Мины где? Сзади. Я еще на пятьдесят поднажал — пулеметы за спиной палят. Тишина. Спокойствие. Благодать. Теперь еще чуть — и будьте здоровы. Шуми и действуй. Допустим, фашистов на данном этапе больше. Очень приятно. В кучу бить легче, чем в одинокого человека? Легче. Бей и будь гордым. И тут они запаникуют. Почему? Почему они, а не ты? Очень просто. Ты один, а их несколько,— выходит, хуже ничего для себя не придумаешь. Считай, что влип, рази хладнокровно,— вроде как тебе теперь все равно. Но враг тоже мыслит, у него своя арифметика. Знают, что их много, а нас мало. Каждый хочет спасти себя и на другого надеется. А ты бей из автомата и наблюдай их глупость.

— По-вашему, выходит, они так, чурки? — сомневался боец.

— Никак нет. Они соображают. Но и ты свое соображение имей.

И чтоб окончательно убедить бойца, Колобухин спрашивал:

— Слышал, как я верхом на немецком танке ездил?

— Нет,— отвечал боец. Он уже знал об этом от других, но послушать самого Колобухина ему было лестно.

— Ну, заскочил-то я на него сдуру,— говорил Колобухин небрежно и почему-то обиженным тоном,— сгоряча за свой принял. Мы тогда десантом ходили. Потом гляжу — не наш танк. Ошибку допустил. А он уже на полном газу. Такая неприятность! Завезет, думаю, в неизвестное направление. И тут я решил с ним в жмурки сыграть. Скинул с себя плащ-палатку и прикрыл смотровые щели. От ветра она как прилипла. Сослепу он меня сначала чуть было не сбросил на ухабах, но потом затормозил. Щелк-щелк, открывается крышка. Из башни фашист: в чем, мол, дело? Но я ему объяснять не стал. Сработал из автомата и давай внутрь сыпать. Вот только водителя не мог достать, железный карниз мешал. Водитель стряхнуть меня решил. Дал полный газ и ну об деревья стучаться, потом в хату вмазал, чтобы меня об стену стереть. Ушибся я, конечно, очень. Ну, он себе тоже гусеницы порвал и застрял, как свинья в подворотне. И вот вышло, что я загнал танк.

Но вообще Колобухин не увлекался словесностью.

В предвиденье боевого задания он подбирал местность, схожую с той, на которой придется действовать его подразделению, и отрабатывал будущее сражение, гоняя бойцов до седьмого пота.

— Пот не кровь,— кричал Колобухин,— давай веселее!

Если подразделению приходилось действовать совместно с ПТО или минометчиками, он обязательно водил своих бойцов к ним в гости.

— Будем знакомы,— говорил Колобухин огневикам.— Вот глядите на моих орлов, какие под вашей ответственностью будут действовать. Уважайте!

Знакомство это Колобухин устраивал, исходя из простого расчета: огневикам останутся памятными живые лица его бойцов, которых они должны поддержать в напряженные мгновения, когда те пойдут на сближение с противником; тем воодушевленнее будет их мастерство. У бойцов же Колобухина останется неиссякаемая уверенность, что огневики не подведут и что они вообще народ надежный.

Кстати сказать, во встречах этих на первый взгляд не было ничего такого, что указывало бы на сердечную дружбу двух родов войск. Наоборот, они всегда сопровождались взаимными упреками и довольно-таки обидными шуточка-

ми и розыгрышем. Но тут уж ничего не поделаешь. Внешне грубоватый и насмешливый характер русского человека — только оболочка, защитная оболочка застенчивости, нежности, доверчивости, любви необыкновенной.

Два раза мы обрабатывали передний край противника артиллерией. И оба раза он встречал нашу пехоту плотным огнем. Как только орудия начинали бить по переднему краю, враг отходил в глубину, оставляя в дотах лишь гарнизоны. Едва мы переносили огонь в глубину, гитлеровцы бежали по ходам сообщения обратно к передовым траншеям, залегали в них и били по нашей пехоте.

И вот Колобухин явился к командиру части и доложил свой план. Замысел был до предела ясным. Ночью бойцы штурмовой группы в определенных пунктах просочатся в расположение противника. Артиллерия откроет огонь по переднему краю. Фашисты покинут траншеи и побегут в ходы сообщения. Артиллерия переносит огонь в глубину, фашисты бегут по ходам сообщения обратно,— здесь их бьют автоматчики.

— Сигналы? — спросил командир.

— Сигналов особенных не надо,— сказал Колобухин,— будем действовать по расписанию, по часам. План точный.

Теплый, с какого-то океана занесенный ветер не остывал даже к ночи. И поэтому лужи не замерзали, отряд мог идти бесшумно.

В проволочных заграждениях и ажурных трубах спирали Бруно саперы заранее прорезали проходы. Но каждую пядь прохода приходилось просматривать и прощупывать заново: враг мог с вечера обнаружить проход и, не заделывая его, установить на тропе минные ловушки.

Продвигались по одному. Пока один полз, другие лежали, прилипнув к влажной земле, вслушиваясь. Достаточно одного неловкого движения, чтобы вся тишина треснула и обрушилась огнем.

Дно извилистой балки служило лучшим скрытым подступом к кустарнику, где был назначен рубеж скопления. Но так могли думать и враги. И Колобухин повел бойцов не по балке, а по брошенным, оползшим, старым окопам, наполненным тяжелой талой водой.

Брели, склонившись, прижимаясь грудью к воде, и, если у кого всплескивало под ногой, все останавливались и ждали.

В кустарнике сохранился снег. Он был почти сухим, и люди лежали на этом снегу в мокрой одежде.

Колобухин, оставаясь верным себе, произнес едва слышно:

— Продукты здесь хорошо хранить, не испортятся. Как в леднике.

Потом он вынул фонарь со стеклом, заклеенным черной бумагой. Бумага в одном месте была проколота булавкой, и узкий, как паутина, луч повис на циферблате часов.

— Вот немного остынете,— сказал Колобухин,— и скоро начнем.

Все произошло именно так, как рассчитал Колобухин.

В момент переноса огня в глубину бойцы пробрались в немецкие траншеи. Саперы взорвали два бетонированных дота вместе с гарнизонами. В изгибах ходов сообщения стали автоматчики. В колодцы для сброса воды залезли бойцы, которые должны были пропустить мимо себя врагов и бить им в спины гранатами. Два ручных пулемета и один немецкий станковый выставили наружу, чтобы вести огонь, если фашисты попытаются вылезать из ходов сообщения.

Схватка была короткой, кровавой и очень ожесточенной.

На следующий день нам удалось повидать место боя. В тесных и длинных канавах протекала вода. Отвесные стены канав были иссечены бороздами пуль; в тех местах, где рвались гранаты, земля оползла, и из нее торчали обломки креплений. На дне канав лежали трупы вражеских солдат. Их было много.

Вечером мы увидели Колобухина с его бойцами у танкистов. Похлопывая ладонью по броне танка, Колобухин небрежно говорил:

— Из него видимость куцая, да и сам заметен, как амбар какой-нибудь.— И, оглядываясь на своих бойцов, он подмигнул и добавил: — Разве что по пути, потому можем к вам попроситься, а так ни в жизнь.

Высокий черный танкист, пытаясь скрыть обиду напускным равнодушием, сказал:

— Вы только бечевками привяжитесь: растрясем по дороге, потом езди, собирай вас.

— Веревки мы захватим обязательно,— в тон ему ответил Колобухин,— если завязнете, чтобы было чем вас вытянуть.

Но хотя так, внешне язвительно, и разговаривали друг с другом эти представители разного вида оружия, мы догадались, что Колобухин опять что-то затеял.

И верно. На рассвете он посадил своих бойцов на эти грозные машины и пошел в ответственную операцию по спутанным тылам врага, чтоб в неразрывном и дружеском взаимодействии с танкистами снова нанести смертельный удар в ближнем и неотвратимом бою.

1943

БИТВА НА РУБЕЖЕ

Небо скрежещет. Этот звук заполняет собой все. Клокочущий, металлический, он делает пространство тесным, воздух плотным.

И когда открываешь дверцу машины и глядишь вверх, видишь битву в воздухе, то кажется: она потому происходит там, что стало мало места на земле.

Гудящие клубки — наши истребители, они сражаются с «мессерами»... А под ними почти одновременно, почти параллельно навстречу друг другу плывут тяжелые эшелоны наших и немецких бомбардировщиков. Бомбы немцев рвутся на нашей земле, наши бомбы рвутся на земле немцев. Черные стены разрывов медленно сближаются. И между этими стенами идет бой — в траншеях, в блиндажах на линии немецкой обороны.

Кругом обломанный лес. Вместо ветвей из стволов торчит только щепа. Горячие черные воронки. Сгоревшие машины. Расколотые танки. Изуродованная земля. Трупы с вздутыми животами.

Лопающийся хруст рвущихся снарядов раздается то сзади, то впереди, то сбоку. Бой на опушке леса. По дороге, прорубленной в лесу, идут тяжелые машины с боеприпасами. У одной ветровое стекло пробито частыми круглыми дырами — следы нападения «мессершмитта». В прицепе за «студебеккером» катится колесница походной кухни с трубой, как на паровозе Стефенсона. Повар, открыв крышку котла, размешивает варево.

Снаряд падает на дорогу. На земле бьются умирающие лошади, горит повозка с сеном. Шоферы тормозят, спрыгивают, оттаскивают мертвых лошадей, затаптывают горящее сено, рубят дерево, мешающее объехать воронку, и снова катят вперед.

Навстречу идет раненый боец. Гимнастерка, залитая кровью, разрезана, сквозь разрез видно, как подергиваются мышцы на животе. Но лицо у раненого несказанно торжественное. Он останавливается и говорит:

— На ихней земле был! Слышите? А? — И тут же с удивлением и восторгом рассказывает: — Мы цепью ползли, он нас огнем прижал, деваться некуда, прямо землей засыпал. Лежу, один глаз прижмурил, а другой на всякий случай открытым держу. И вдруг в душу словно огнем поддало. Столб такой особенный увидел, полосатый... Ах ты, думаю, мать честная, это ж пограничная вешка! Вскочил, кричу «ура», а ноги подо мной уж сами ходят. Что ты, думаю, дурак, делаешь, в рост прямо на пулемет прешь, убьют ведь! А ноги несут. Спасибо, догадался на бегу гранатой по пулемету. И сшиб. Прошла рота. А я лежу, кровь течет. Кое-как еще шагов десять прополз, чтоб, значит, по всей форме ихней земли достичь, потом дыханием осекся.

— Там, где наша рота в атаку ходила, до границы еще километра три,— сказал кто-то.

Раненый обернулся.

— А ты там был? Если был, так и столб видел. На нем знак,— сказал солдат вызывающе, но по лицу пробежала тень тревоги.

— Тот столб не пограничный, тебе померещилось. Была бы карта, я бы тебе по карте показал. Там сейчас КП батальона, я им лично связь подавал, знаю.

Пожалуй, связной был прав.

Раненый опустился на землю, вытер потное лицо подолом гимнастерки и слабым голосом пожаловался:

— Пыль была действительно, может, я и ошибся? Вот неприятность какая...

Все молчали, всем было неловко.

— Так, значит, не достиг,— вздохнул раненый.

— Нет, почему же,— попробовал утешить связист.— Может, я чего спутал? Может, это другой КП, где я был.

Но раненый уже не слушал. Он поднялся, озабоченно ощупал забинтованную грудь, потом вдруг проделал несколько резких движений. Видно, ему было очень больно, лицо его исказилось, губы побелели. Выждав, когда пройдет боль, он сипло сказал:

— Ничего, присохнет. Бывайте здоровы.

И пошел обратно.

И то, с какой естественной простотой он принял это

решение — без тени рисовки, без лихости или громкого слова,— говорило о воле, о красоте духа этого человека.

С наблюдательного пункта виднелся лес. У края зеленый, в глубине синий, он сливался с небом, блестящим и знойным. Наискось леса тянулась тяжелая гряда дыма, над дымом странные белые круглые облака — такие бывают в сухую погоду после долгой артиллерийской канонады.

В лесу вторые сутки идет бой. Здесь, как в уличном бою, штурмовые группы действуют гранатами и толом. Немцы построили крепостные срубы из толстых бревен, в амбразурах пулеметы. В вырубленных просеках установлены крупнокалиберные орудия. Видно, как немецкие бомбардировщики сбрасывают на красных парашютах боеприпасы лесным гарнизонам.

Полковник протягивает бинокль, советует смотреть на кромку вершины. Над кронами, словно шаровидная молния, прыгает желтое ослепительное пламя. Это рикошетный огонь. Снаряды рвутся в воздухе, задевая вершины деревьев, засыпая все вокруг осколками.

— Виртуозная работа,— замечает полковник. Потом, помедлив, жалуется: — Очень затруднено в лесном массиве наблюдение. Я сегодня с рассветом на вершине сосны болтался, закачало не хуже, чем на У-2.

Полковнику за пятьдесят, он толст, лысоват, но в карих живых глазах столько озорства и веселья, что не трудно представить себе его качающимся в гнезде наблюдателя с телефонной трубкой, привязанной веревкой к уху.

— Скажите, товарищ полковник, снаряды ваших орудий уже рвутся на территории Пруссии?

Полковник сердито засопел, прищурился.

— Для нас, артиллеристов, существует только одно понятие — цель.— И вдруг с какой-то большой и нежной грустью сказал: — Первый залп по прусской земле мы произвели от имени наших героически павших товарищей.

Откашлялся и глухо добавил:

— Но вообще я лично против эдаких особых моментов. Ну, бьем по прусской земле. Что ж тут такого?

Вот это двойственное отношение к битве, происходящей на прусской земле, мы подметили у многих солдат и офицеров. Выразить его можно примерно так: «Ну, что ж тут особенного? Так оно и должно быть».

А другие слова, которых не произносят вслух, но хранят в сердце, звучат так: «За всю кровь, за скорбь, за боль

и муки, за семью свою, за дом свой разочтусь я теперь сполна с фашистами, их землю буду топтать, и тут уж вы меня извините».

Командир разведывательного отряда, младший лейтенант Духов, побывавший одним из первых на немецкой земле, рассказал:

— Наш разведывательный отряд вчера на рассвете наткнулся неожиданно на немецкий. Встреча произошла в долине узкой заболоченной речушки, еще покрытой белым слепым туманом. Ни немцы, ни наши разведчики не решались открывать огонь из боязни, чтоб их не накрыло артиллерийским и минометным огнем. Оба отряда наткнулись друг на друга в «ничейной» зоне. Бились ножами, врукопашную, поверженного на землю затаптывали в тину болота, бились в одиночку, каждый наметив себе противника.

Один наш боец был сброшен в трясину. Немец, держась рукой за ивовый куст, стоя на кочке, старался затоптать тонущего бойца. Бойцу удалось схватить немца за ногу, он увлек его в трясину и стал душить, хотя сам уже погибал.

Духов подбежал и бросил бойцу ремень, но боец не захотел разжать руки, сжимавшие горло немца... А немец отпустил бойца и ухватился за конец брошенного Духовым ремня.

Потом Духов сказал мне:

— Немец дерется сейчас с большим остервенением. Он от ужаса так сражается: уйти ему теперь от кары совсем некуда.

— Ну, а тот немец, который отпустил вашего бойца?

— Извлекли...

Этой же ночью я понял, что́ такое спокойствие. Немцы предприняли танковую контратаку. Внезапно они форсировали узкую речушку, затопив с ходу несколько танков, переправились по ним, как по железным трупам. Танки мчались с зажженными фарами, выли сирены. Немецкие бомбардировщики разбросали над нашим расположением осветительные ракеты. Белый, пронзительный, без теней свет, зловещий и холодный, разлился по земле. Танки мчались, ведя бешеный огонь на ходу. И толстые ветви деревьев, срезанные осколками, осыпались, словно осенние листья.

Но вдруг, когда танки показались уже в лесу, мерно, не звонко застучали наши противотанковые орудия. И сквозь

белое зарево осветительных ракет вспыхнули кусты огня горящих танков.

Подпустив врага метров на триста, наши артиллеристы расстреляли восемнадцать немецких танков. Остальные повернули назад. Вслед за немецкими танками ринулась наша танковая бригада, находившаяся в засаде. Преследуя немцев, наши танкисты переправились через реку по затопленным танкам врага.

На рассвете земля снова глухо вздрагивала, но клубящаяся стена дыма от разрывов уже подымалась из-за леса: значит, наши части за ночь продвинулись вперед. В капонирах, где прежде находились танки, разместились обозные кони. Работники банно-прачечного отряда развесили сушить белье на веревках, привязанных к стволам деревьев с размозженными вершинами. Где-то играл патефон.

В свежем номере дивизионной газеты была напечатана справка о прусских городах, в которые предстояло вступить нашим частям.

1943

ВОИНСКОЕ СЧАСТЬЕ

— Вот, взгляните! Теперь можете представить себе полную картину.

Картина была такая: огромная сосна; желтый ствол облит длинными светлыми слезами еще не засохшей смолы; дерево иссечено осколками, длинные борозды топорщатся щепой; обтрепанная вершина; на перистых ветвях висит что-то темное, бесформенное.

Мой собеседник продолжал:

— Вы в сторонку отойдите. Вот теперь виднее. Вон гнездо Чекарькова. В развилке. Я ведь уже докладывал. Сначала Чекарьков в гнезде сидел и вел наблюдение. Враги заметили, огонь открыли, но попасть сразу не могли, стали рикошетными бить. Это когда снаряды прямо в воздухе рвутся. Слезть с дерева, конечно, просто. Стесняться тут не приходится. Но Чекарьков гордый, у него престиж. Вон он вместо себя на дерево чучело посадил. Гитлеровцы потом еще двое суток били. Всё насквозь изрубили. Другой, конечно, и в этом удовольствие бы получил, только не Чекарьков, у него самолюбие особенное. Он снова на дерево полез и глядел оттуда, сверху, будто матрос на мачте...

Нет, фашисты больше не стреляли. Что они, глупые? На дереве кто? Покойник! Кто же на покойника снаряды тратить будет? Неделю с этого дерева Чекарьков наблюдение вел. Закачивало его, конечно, сильно. Особенно если ветер. На здоровье даже подействовало. Похудел.

Недавно вот тоже Чекарьков комический номер устроил.

Враги на лето по новому плану минное поле кантовали. Приказано было Чекарькову вести наблюдение. Спустя

несколько дней фашисты начали скапливаться для атаки вон на той опушечке. Хорошо. Приготовились, ждем. Приходит в это раздражительное время Чекарьков, на лице усмешка, глаз прищурен.

«Товарищ командир, очень вас прошу, не пугайте вы мне моих...»

Мы понимаем — Чекарьков подает себя. Но все-таки обстановка. Приказываю:

«Доложите».

«Разрешите им хоть до кустиков прогуляться, получите удовольствие».

Мы бы и так раньше этого огня открывать не стали. Только ждать долго не пришлось.

Подорвались гитлеровцы на своем же собственном минном поле. Только и всего. Почему подорвались? А Чекарьков их подвел. Когда они перекантовку закончили, выполз он на минное поле и проходы, которые они для себя оставили, их же минами заминировал.

Какой же у Чекарькова гонор! Он тихий. У него и специальность тихая. На переднем крае работает. Самая тяжелая разведка...

Пойдемте, я вас по их бывшему расположению проведу.

Вот здесь примерно Чекарьков и хозяйничал. Место открытое, неприятное.

Кочки впереди сосчитать можете?

Тогда я вам скажу. Кочек этих двести семьдесят восемь штук. Откуда известно? Чекарьков сосчитал. Но главное не в этом, главное потом. В один прекрасный день кочек прибавилось четыре лишних — значит, четыре пулеметных гнезда. Арифметика для маленьких...

Но спрашивается: как узнать, какие кочки фальшивые, какие натуральные?..

Нет, почему же невозможно! Обратите внимание. У натуральной кочки вершина пухлая, бурая и вроде как вся в тонюсеньких ворсинках...

Именно — шерстяной кажется. А если вы ее лопатой подрезали и без питания влагой оставили, что будет? У ней вроде желтой пролысинки на макушке образуется. Шерстка вянет. Мох сохнет — светлее, значит, становится.

Когда знаешь, все просто. Но Чекарьков тоже под кочкой сидел. Он ее два раза в сутки, словно цветок, из котелка поливал.

Если бы он за ней, как за розой, не ухаживал, враг и его обнаружить мог безусловно... А это колышки обыкновенные. Не обращайте внимания. Гитлеровцы ими свои сектора обстрела обозначали. У каждого расчета своя делянка. Чтоб не путаться. Немец — аккуратист. Только подпутал Чекарьков. Их вина, ничего не поделаешь. Тонкость не соблюли.

Не заметь Чекарьков лишних кочек, прогляди он шкурку на фальшивых, не одна б русская мать в горе своем руки ломала. А теперь их матери плачут.

Правильно. Глаз у разведчика должен быть как у птицы.

Но глаз одних мало. Ум выдающийся требуется. Вернемся, я вам журнал наблюдений Чекарькова покажу. В нем все изо дня в день записано. Полная статистика...

Вот, к примеру, пишет: «Днем слышал звук пилы. Ночью — несколько пил. На рассвете снова пилили часа три, но чтобы кололи, слышно не было».

Как что же! Значит, не дрова заготовляют, а бревна. Бревна — значит, дзот новый строить собираются либо блиндаж. А в блиндаже кто жить должен? Вот то-то же... Пополнения ждут.

Или вот тоже знаменитая запись. Наизусть помню:

«В районе переправы замечен нацист с розовым кантом на погоне. Спустился под мост с шестом и долго не вылезал оттуда».

Красиво написано?

При чем тут зрение? Не в зрении смысл. Саперы, которые у переправы работали, у них черный кант на погонах. А у этого — розовый. Что значит?..

Именно! Танкист розовый носит.

В газетах читали, как наши гвардейцы шестнадцать ихних танков уничтожили? Помните?.. Очень приятно!

Так вот, Чекарьков этой записью нам тогда указание дал, откуда танков ждать. Мы противотанковые средства подтянули. Приготовились. Отсюда и успех.

И опять обратите внимание. Если б в это время, когда их танкист под мост с жердью лазил, допустим, Чекарьков чесался или на птичку какую со скуки глядел, мы бы тогда от врагов такой танковый удар под душу получили, что просто думать об этом неприятно.

Осторожней! Вы все-таки под ноги глядите, здесь воронка.

Вон, колокольню видите? Не там, правее. Ну, все равно. Колокольня в немецком расположении находилась. Должен на колокольне наблюдатель сидеть? Ага. Так и артиллеристы думали. Требовали огонь дать. Но я посоветовал воздержаться. Приказал Чекарькову проверить. Только на третий день на колокольню действительно наблюдатель залез. Гитлеровцы к наступлению готовиться стали, и тут мы наблюдателя и сшибли. Остались они без главного наблюдательного пункта в ответственный момент...

Как узнали, что наблюдатель на третий день залез? Чекарьков узнал. Он два дня за колокольней следил. На третий день на какую-то долю секунды в ней что-то блеснуло. Бинокль у наблюдателя блеснул. Он обязательно должен был блеснуть, но главное — момент поймать!

Но чтоб поймать эту долю секунды, Чекарьков два дня с рассвета до сумерек смотрел окаменевшими глазами и, верно, моргнуть боялся. У него после глаза опухшие, красные были, но своего добился...

Мало сказать — волевой. А такого человека душа должна быть твердая. Ведь не проверишь, как он там смотрит. В глаза не заглянешь, что в них отражено. Он один там, только совесть его с ним — и больше никого.

А потом опять обратите ваше внимание. Где он находится? Он в расположении врага находится. Его каждую секунду снайпер убить желает.

У человека тысячи мелких мыслей, а нужно, чтобы одна главная была.

Понимаете теперь, как должен смотреть разведчик и что не в одной зоркости суть? Нужно еще что-то в сердце иметь такое особенное...

Нет, почему же беззащитный? Наблюдателя напарники охраняют. Потом верное средство — маскировка. Чекарьков в зимнее время, например, себе пост в брюхе убитой лошади вырубил. Лежала она у самой немецкой проволоки. Чекарьков и устроился, даже полочку сделал, чтоб бинокль класть. Недавно вырыл под гнилым пнем яму, а сам пень внутри выдолбил и дырки наружу сделал. Влез в яму, сунул голову в пень и смотрел в дырки на все направления. Много приемов всяких. Сетку наденет, в петли веток насует и работает под куст. И ничего, получается.

Нет, скрытно не всегда удается уходить. Бывают такие

моменты, когда хочешь не хочешь, а выдавать себя приходится.

Что? Ракета? А вы не обращайте внимания: это мы молодых тренируем прицельно ракеты посылать. Допустим, обнаружил разведчик ночью на своем секторе скопление противника. Разведчик обязан оповестить свои войска об этом немедленно и посылает ракету. Цвет ее зависит от рода сосредоточившихся войск. Трассой указывает направление. Ясно? Но только после сигнала разведчику немедля уходить нужно, поскольку он себя выдал. Автоматчики на него облаву устраивают.

У Чекарькова, например, для таких случаев особый прием. Он не назад, к своим,ползет, а туда, к гитлеровцам. Фашист его ищет позади того места, где сигнал заметит. Он уверен, что человек бежать в таком случае должен, а Чекарьков, учитывая эту гитлеровскую психологию, поступает как раз наоборот...

Как ничего не боится? У него свой страх есть. Например, простуда. Как-то у самого их расположения на него кашель напал. Враги огонь открыли, еле ноги унес. Теперь всегда шею шерстяным шарфом кутает, будто тенор из ансамбля. Понятно, кому же охота помереть от такой глупости, а он человек популярный, ему особенно неловко по своей вине повреждение получить.

Риску, конечно, достаточно. Но если каждый шаг и секунда в учете, тут не риск, а тонкий расчет.

Чекарьков работает сейчас в чистом поле. Место открытое. Но выползает он на свой пост не ночью, а с рассветом. Рискует? Нет, зачем. Солнце откуда подымается? С востока. С нашей стороны. Кому оно первому в глаза засвечивает? Врагу!

Вот, пока тень с поля не сползла, Чекарьков и доползает. Выспался, голова свежая, видать хорошо, немца всего освещает. А вот когда солнце заходит и тебе в глаза светит, тут он больше на землю глядит, какие там тени написаны. Враги самоходные пушки на выходе из леса замаскировали. Шум моторов они своей авиацией прикрыли. Только Чекарьков их изобличил. Рисунок кромки леса оказался не такой, как вчера. Он и задумался. Ночью мы уточнили разведку, огоньку дали. На следующий день Чекарьков не только тени, но и самой опушки не нашел...

Именно. Конечно, счастливым себя чувствовал.

Вы не торопитесь? Разрешите еще заметить.

На войне, видите ли, люди характер свой полностью обнаруживают. Да я не вам, всем могу сказать, свидетельствую, что у гитлеровцев таких Чекарьковых нет и не будет, так и запишите.

Рассказал мне все это о Чекарькове капитан Аниканов, который в немецких расположениях больше времени провел, чем у себя в части.

А недавно привелось увидеть самого Чекарькова. Снова пришлось побывать в этой гвардейской части.

Я попал на митинг, устроенный в честь прихода бойцов нового пополнения. И вот на просеку вышел боец и остановился. Он искал глазами, к кому обратиться за разрешением присутствовать. Звезда ордена Отечественной войны второй степени блестела у него на груди рядом со значком гвардейца. И тут мы услышали команду: «Встать!»

Майор Лютов подошел к опоздавшему строевым шагом и первый приветствовал его. Удивлению моему не было предела. Но когда я услышал фамилию, я все понял. Это воздали почесть мастеру. Ибо ничем другим нельзя было лучше выразить сейчас свое уважение к умению человека, чем это сделал майор Лютов, боевой вожак комсомола прославленной гвардейской части.

Я следил за выражением лица Чекарькова, за его живыми глазами, в углах которых лежали усталые, напряженные светлые морщинки, какие бывают только у снайперов и у летчиков. Чекарьков, обращаясь к молодым бойцам, рассказывал, каким должен быть разведчик.

Чекарьков любил свое дело, как любят единственное главное,— воинственно и страстно любил.

И вот это выражение восторга, которое появлялось на лице Чекарькова, когда он рассказывал о том, каким должен быть разведчик, я увидел и на лицах других молодых бойцов.

Что же касается самой ораторской манеры Чекарькова, то она была не совсем складной. Он все время держал руки по швам, глядел в одну точку, стесняясь встретиться с кем-нибудь взглядом. Но лицо его было такое воодушевленное и слова такие строгие, что нельзя было не подчиниться их силе.

Наступили сумерки, серые тени ложились на землю. Сосны стали похожими на остроконечные башни. И опять я вспомнил то одинокое дерево, заплаканное длинными

смолистыми слезами. Какое оно сейчас? Помнит ли его Чекарьков,— летящее, гибкое, с разбитыми крылатыми ветвями, прекрасный живой памятник мудрой отваге человека?

И еще я подумал о том, что в этой тяжелой войне сурово состязается с врагом весь гений моего великого народа,— сколько удивительных талантов сверкает в этих умельцах, отважных мастерах своей воинской, строгой и священной профессии.

1943

ПОД ЛЕДЯНОЙ КРЫШЕЙ

Капитан Василий Никифорович Корешков очень волновался, когда его вызывал к себе командир дивизии.

У входа в командирский блиндаж он проверял свою заправку, проводил маленькой жесткой ладонью по щекам, чтобы убедиться, насколько чисто выбрит, и просил адъютанта:

— Нельзя ли веничка? А то сапоги вот...— и показывал глазами на сапоги, густо облепленные окопной глиной.

Докладывал он всегда каким-то неестественным голосом, и глаза его при этом становились круглыми.

Когда комдив пытался поговорить о чем-нибудь неслужебном, Корешков упорно уклонялся от такого разговора: он не хотел и не мог себе позволить отойти от раз навсегда выработанной строго официальной манеры обращаться с начальством. Однажды комдив спросил Корешкова:

— Не кажется ли вам, Василий Никифорович, что вы слишком подчеркиваете разницу в званиях и потому чувствуете себя стесненно, когда в этом нет необходимости?

Корешков улыбнулся ласково и печально:

— Нет, мне это не кажется, товарищ гвардии полковник.— И с задушевной простотой объяснил: — Ведь я тоже командир и у меня тоже есть подчиненные, но мне вовсе не надо, чтобы они себя со мной запросто чувствовали.

— Правильно,— согласился комдив.

— Разрешите,— сказал Корешков торжественно и тихо.— Вот случай. Залегли мы недавно у минного поля. Немец фланкирующий огонь открыл. Что делать? Ждать? Положу зря людей. Приказываю: три человека вперед! И пошли ведь, пошли они, а уж потом мы за ними.

— А те трое? Что ж, подорвались? — спросил комдив.

— Точно,— сказал Корешков тоскливо.— Двое подорвались. И знали, что подорвутся, а пошли!

Ломая вздрагивающими пальцами спички, торопливо закуривая и, против своего обыкновения, забыв попросить при этом разрешения у старшего начальника. Корешков вдруг неожиданно уверенно и твердо сказал:

— Вот что такое командир! И как он должен чтить свою персону, если ему дано право такой священный приказ отдать! — И тут же, смущенно оправдываясь за свой приподнятый тон, Корешков закончил: — Вы извините, что такими словами говорю, но они правильные.

— Да, они правильные,— согласился командир очень серьезно и больше уж никогда не пытался по-дружески беспечным тоном обращаться к капитану Корешкову.

Властный, с нарочито подчеркнутой строгостью в обращении с подчиненными, щепетильный до крайности во всех деталях субординации, Корешков, казалось, сознательно делал все, что могло бы вызвать нелюбовь к нему. Он был мелочен и придирчив. Он не стеснялся остановить бойца и обследовать его обмундирование вплоть до белья. Он ни о чем не спрашивал, но насущные нужды бойцов знал отлично. Пищу брал из общего котла. И повар считал себя самым несчастным человеком на свете, потому что капитан не умел прощать даже самых простых, безобидных упущений.

Иное дело — в боевой обстановке: тут капитан становился совсем другим человеком.

Какая-то мирная, успокаивающая озабоченность сопутствовала его словам и поступкам. Поднимаясь в атаку, он не забывал отряхнуть шинель. Подползая к пулеметчикам, он неторопливо вынимал из кармана патрон и клал его на крышку короба, чтобы проверить, словно ватерпасом, не с перекосом ли установили пулемет. Если видел, что боец слишком зарывается в азарте боя, капитан кричал:

— Гордый — так ты себя втридорога цени! Пускай их матери плачут, а свою жалей.— И, оглядываясь на бойцов, капитан объяснял: — Фашиста умненько бить надо. Пулю лбом ушибить каждый дурак может!

Если капитан замечал, что боец начинает тоскливо колебаться в бою, он подползал и советовал:

— Неприятно, что здесь стреляют! Так в тыл назад ступайте, отдохнете, квасу выпьете, а другие тут за вас похлопочут...

И от этого насмешливого голоса сжималось сердце больше, чем если бы командир пригрозил пистолетом, приказывая идти вперед.

Корешков пришел на войну, когда ему было уже сорок лет. Профессия его была мирная, самая обыкновенная: мастер ткацкой фабрики из города Ногинска. Дома у него осталось трое детей. Рост у него средний, глаза карие а душа необыкновенной чистоты. Так, во всяком случае, бойцы говорили о его душе.

И вот когда высота 869,5 была взята ротой лейтенанта Стожарова в ночном штурме, укрепленная линия противника на этом участке лопнула. В прорыв устремились наши части. Подразделению капитана Корешкова было приказано преследовать врага. Двое суток бойцы не выходили из боя.

Пока отступающий не оторвется, инициатива и воля его подавлены и подчинены воле наступающего. Но если враг вырвется, достигнет рубежа, обопрется спиной о новую линию укреплений, успеет собрать в кулак растрепанные части, тогда он и сам сможет нанести ответный удар.

Весна на войне — самое тяжелое время года. Попробуй окопаться, когда вода натекает в окоп быстрее, чем ты оттуда выбрасываешь землю. В лесу лежит еще снег, а наступишь на него — провалишься по пояс в мокрую кашу. На полях сдобная земля нагрета солнцем, но, когда она липнет к ногам пудовыми комьями, ты ненавидишь ее, эту землю.

Противник отходил по хорошей дороге, калеча ее и минируя. Мелкие стычки с засадами изматывали наших бойцов. Все приданные средства приходилось тащить на руках.

Бойцы устали до предела. Только упорная ярость от близости врага заставляла их еще держаться на ногах. Капитану Корешкову не было нужды торопить бойцов: люди сами понимали, что только в этой близости с врагами они черпают свою силу.

Но враг извернулся.

Немцы взорвали плотину. Взрывом вышибло насыпь. Озеро через пробоину вылилось в балку.

Выгнутый, сверкающий водяной вал, вращаясь, как гигантский каток, выскочил навстречу атакующему подразделению. Бойцы побежали рядом с водой, пытаясь обогнать ее. Но вода оказалась проворнее. Люди принуждены были вернуться.

Вода лежала теперь между ними и немцами, а там, где раньше находилось озеро, остался ледяной покров.

Сооружать переправу через балку, наполненную водой, тратить часы, когда выиграть бой могут только минуты, или идти по голому льду и разложить людей, как в тире мишени? Вся боль ответственности, вся горечь оскорбленного воодушевления собрались теперь в сердце капитана Корешкова.

Ледяная крыша озера медленно оседала. Лед у берегов лопался от напряжения со стальным звоном. Длинные трещины расползались по его поверхности, как черные кривые молнии.

Капитан Корешков вышел на лед. Он бродил по нему, одинокий, маленький, иногда ложился на живот и, свесив голову, заглядывал в щели, словно потерял там что-то. Потом он повис на локтях, спустился в трещину и больше не показывался.

Бойцы обеспокоились. Шесть человек во главе с сержантом Ляпушкиным полезли под лед на поиски командира. Нашли они его не скоро.

Капитан сам окликнул их откуда-то из гулкого пространства опорожненного озера. А когда он подошел, в темноте не было видно, что он улыбается,— об этом можно было догадаться только по голосу.

— Соскучились? — спросил капитан.— Или, может, сами додумались?

— Додумались,— радостно сказал Ляпушкин.— Глядим, вас долго нету. Думаем: чего-нибудь случилось. Ну и пошли.

— Так,— сказал капитан разочарованно.— Интересно.— И строго добавил: — Штурмовать будем.

— С какой стороны именно?

— А вот.— И капитан показал на ледяную полуобвалившуюся поверхность озера.

— Значит, по льду идти,— печально протянул Ляпушкин.

— Не по, а под,— поправил капитан.

— Обвалится, пожалуй? — спросил Ляпушкин.

— Может,— сказал капитан.

— А в ямах и промоинах еще вода,— напомнил Ляпушкин.

— Не высохло еще? — съязвил капитан.

Люди выходили на лед. Торжественная неторопливость сопутствовала их движениям. Пока один не спускался

в трещину и не исчезал в ней, другой не следовал за ним. У каждого бойца под мышкой было зажато по короткому обрезку дерева.

А ледяная кровля все трещала. Лопающийся звук, протяжный, томительный, заканчивался глухим звоном бьющихся при своем падении льдин.

Дно озера поросло водорослями, жухлыми, как осенняя, мертвая трава под снегом. Ползли, как по болоту. Источенные водой днища льдин были дряблыми и пористыми. Из них капало. Ползли, как под сильным дождем. Лед над головами был голубым от пропитавшего его лунного зарева. Но свету было не больше, чем от белого ствола березы в темную ночь.

Ползли с двумя фонарями. Лед толстый, не просветит. А если бы и просвечивал, разве разглядят немцы блуждающие белые пятна на поверхности льда, залитого едким светом луны? А когда над головами раздвигались трещины, фонари гасили.

Лед кренился и трещал. Бойцы подпирали ледяные плиты кругляками,— совсем как шахтеры кровлю.

Провисшую ледяную полуобрушившуюся крышу озера пересекала вспученная полоса, похожая на мозолистый след зимней дороги. В давние времена здесь была плотина. Остатки этой плотины черными окаменевшими сваями подпирали теперь лед, образуя нечто вроде длинного навеса. Капитан спешил вывести людей к старой плотине, потому что тут, как в соляной штольне, было просторно и надежно. А пока приходилось рыть руками в студеной тине, чтобы проползать под ледяными плитами на брюхе.

Капитан полз последним. И вот тяжелая льдина, слабо скрипнув, начала сползать, осыпаться мелкими осколками. Ляпушкин бросился к капитану и, встав на колени, опираясь руками о почву, принял на себя всю тяжесть льдины. Деревянные чурки, которые бойцы пытались подсунуть подо льдину, были вмяты в ил, словно тощие колотушки.

— Вот,— сказал капитан сипло,— веселее надо идти вперед, братцы!

Вражеские солдаты возводили укрепления вдоль крутого откоса озерного котлована. Офицеры торопили их: ожидали подхода наших основных частей, но и свежие резервы немцев должны были прийти с часу на час.

И вдруг из трещин, расколовших лед у берега, поднялись русские бойцы и молчаливо вышли на землю.

Внезапное появление наших бойцов из-подо льда, разрывы многочисленных и метких гранат советских воинов ошеломили врага.

К рассвету преследовать уже было некого. И стали видны лица бойцов — усталые, измученные и разные, как были разными их наклонности, характеры, как различны были их прежние, мирные профессии.

Рухнувший лед лежал в котловане опустошенного озера стеклянными развалинами. Солнце ломало о льдины свои лучи, и льдины сверкали разноцветными искристыми огнями.

Капитан ехал верхом на лошади, и глаза его слипались от пронзительного света и усталости, и он, засыпая, ударялся лицом о прыгающую холку лошади. Тогда он начинал дергать повод и сердился, думая, что это лошадь спотыкается, но лошадь шла мирной рысью и ни в чем не была виновата.

1943

ДВА СВЯЗИСТА

Витюнькин Василий и Голощапов Андрей — связисты гвардейцы.

Витюнькину работа связиста нравится. Он деятелен, смышлен, любопытен и гордится своей профессией.

Голощапову работа связиста не нравится. Она кажется ему не по его силам, легкой.

— Люди воюют, а мы тут хвосты у проволоки крутим. Война кончится — чего, спросят, делали? А так, катушки катали.

Угрюмое, обиженное выражение не сходит с большого, скуластого лица Голощапова. Он считает, что на войне его обошли.

Когда связистам приходится встречаться с бойцами, вышедшими из боя, Витюнькин слушает их рассказы с благоговением. Он восхищенно ахает, восторженно вертит стриженой головой, словно в ухо ему попала муха.

Голощапов, наоборот, становится надменным и оскорбительно недоверчивым. Он считает — доведись ему драться, он бы наколотил немцев целую гору.

Действительно, он очень сильный. Однажды от удара проходившего мимо танка телеграфный столб, на котором работал Витюнькин, накренился и начал падать. Голощапов бросился к столбу и, подпирая его руками, не дал столбу с висящим на нем Витюнькиным тяжело рухнуть на землю.

Витюнькин очень привязан к Голощапову, но грустная уверенность, что рано или поздно Голощапов уйдет на передовую, не покидает его.

Витюнькин убежден, что Голощапов с войны вернется героем.

Голощапов тоже уверен в этом. И поэтому он снисходительно покровительствует Витюнькину.

Обоим связистам вместе 40 лет. Голощапов на два года старше Витюнькина.

Витюнькин и Голощапов работали на дороге. Сматывали трофейный кабель на тяжелые катушки.

Немецкие бомбардировщики показались в воздухе. Они построились в колонну и начали разрушать телеграфную линию, неторопливо и довольно точно сбрасывая возле столбов фугасные бомбы.

Связисты легли в придорожную канаву. Почва под ними вздымалась и дышала, словно живот загнанной лошади. Комья глины засыпали их. А сердца их и головы заливало черным ядом звука разрывов, от которого, казалось, должны были лопнуть головы и сердца.

Хотелось вползти в землю, как мышь в нору. Потому что одна она здесь, земля-мать, могла спасти.

И вдруг Витюнькин вскочил. Теснимый тяжелыми, как скалы, кусками раздираемого воздуха, он на корточках подполз к валяющемуся на земле оборванному проводу, дрожащими руками заголил конец его и, присоединив к концу немецкого кабеля, намотанного на катушку, побежал за немецкими бомбардировщиками, висящими в кильватерной колонне над телеграфной линией и роняющими на нее бомбы.

Несколько раз Витюнькина отбрасывало назад, засыпало землей, но он руками разрывал землю и снова бежал — полз вслед за немецкими бомбардировщиками. Но вот что-то огромное, мчащееся, как поезд, больно толкнуло его в грудь, и он упал.

Очнулся Витюнькин от мерного покачивания. Сначала он подумал, что его везут на машине, но когда открыл глаза, увидел запрокинутый подбородок Голощапова, широкий, плохо выбритый.

Голощапов прохрипел, что он успел дотащить кабель до тех пор, пока немцы все бомбы не покидали, и связь теперь через немецкий кабель работает нормально.

Облегченно вздохнув, Витюнькин попросил снять с него гимнастерку.

На груди Витюнькина не оказалось ран, только один огромный, в две ладони, кровоподтек.

Голощапов тревожно спросил:

— Может, тебе легкие отшибло?

Витюнькин открыл рот, подышал, потом сказал:

— Нет, ничего, дышится.

— Тогда порядок,— сказал Голощапов.

Потом связисты снова шли по дороге и сматывали трофейный кабель на катушки.

Витюнькин, довольный тем, что смерть миновала его, весь во власти этого волшебного ощущения себя живым, оборачиваясь к Голощапову, снова рассказывал ему, хотя Голощапову это не было интересно, как ловко они прошлый раз, когда на месте разрыва не хватило провода, присоединили к линии шомпола винтовок — и связь работала. Или вот тоже пришлось линию через лес прокладывать, а шесты сгорели, потому что в связную повозку попала мина. Так они вместо шестов использовали стволы деревьев. Но, чтобы сквозь сырое живое дерево ток не заземлялся, они в стволы деревьев вбивали колышки из сухих сучьев, и связь тоже хорошо работала.

Голощапов, успокоенный тем, что Витюнькин жив, снова принял вид человека, обойденного судьбой. Слушать же про провода ему было вовсе не интересно.

В то время, когда немцы бомбили нашу связь, а Витюнькин и Голощапов в огне разрывов протягивали аварийную линию, я был в блиндаже генерала, и он передавал в часть очень важное приказание, от которого во многом зависел успех боя.

И вдруг связь прервалась. Но потом аппарат снова стал работать, и генерал успел сказать то, что было нужно ему, и то, что было важно для всего нашего дела. Правда, потом генерал выругал дежурного телефониста за плохую работу. Телефонист виноват не был, а виноваты были немцы. Но генерал этого не знал, как не знали Витюнькин и Голощапов того, что говорил генерал.

Может быть, теперь гвардии красноармейцы Витюнькин и Голощапов прочтут эти мои строки и узнают в общих чертах, как проходило дело. А то Голощапов до сих пор убежден, что если он нынче снова шагает по очищенной от немцев земле, так он тут ни при чем.

1943

СОДЕРЖАНИЕ

М. Синельников. «Живучее во все времена...» Мотивы и образы прозы Вадима Кожевникова 5

РАССКАЗЫ
1936—1943

Испорченное настроение 27
Происшествие 30
Пироги 35
Расписка 38
Кипяток 42
Клоп 50
Акварели 56
Девятое знамя 59
Дождь 64
Каша 71
Лунная ночь 75
Лицо человека 77
Конокрад 82
Черный ерик 86
У лошадей был праздник 93
Преступление Остапа Чудя 97
Сеанс 100
Александр Иванович 102
Веселый человек 105
Необыкновенные приключения Акима Курячего, а также мелкие подробности из его ничтожной биографии 110
Варвар 144
Дивный 150
Цыплячий обоз 154
Старинная карта 161

Гневное море 168
Директор зверинца 172
Большое небо 178
Моментальная фотография 182
Огни 208
Ваза 215
Школьная история 223
Ночной разговор 229
Как-то ночью 236
Сорок труб мастера Чибирева 244
Гудок 264
Два друга 281
Павел Филиппович 284
Данила 288
Пятый номер 290
На тяжелом бомбардировщике 294
Бессонница 296
Мост 299
Заведующий переправой 302
Декабрь под Москвой 304
Григорий Кисляков 311
Любовь к жизни 314
Ганси Киля 319
Сережа Измайлов 324
Гвардейская гордость 330
Девушка, которая шла впереди 333
Гвардейский гарнизон дома № 24 338
Человек с топором 342
Неспокойный человек 345
Март — апрель 349
Поединок 368
Семь дней 375
Два товарища 379
Дом без номера 386
Линия 395
Мера твердости 399
Разведчик Захар Сипягин 405
Весенние ручьи 407
На старом заводе 410
Концерт 413
Приказ есть приказ 415
Высшая огневая точка 420
Штурманское самолюбие 423
Я вижу 426

Клятва 430
Необыкновенный день 434
Кузьма Тарасюк 441
Лейтенант Колобухин 450
Битва на рубеже 456
Воинское счастье 461
Под ледяной крышей 468
Два связиста 474

Кожевников В. М.

К58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 1. Рассказы 1930—1943 / Вступ. статья М. Синельникова.— М. Худож. лит., 1985.—479 с., портр.

В первый том Собрания сочинений известного советского писателя лауреата Государственной премии СССР Вадима Михайловича Кожевникова (1909—1984) включены рассказы 1930—1943 гг.

К $\frac{4702010200-172}{028(01)-85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Вадим Михайлович
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том I

Редактор Т. Халилова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор В. Кулагина

Корректоры Т. Медведева и Т. Сидорова

ИБ № 3556

Сдано в набор 25.07.84. Подписано в печать 31.01.85. А 10318. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2 + вкл. = 25,25. Усл. кр.-отт. 25,25. Уч.-изд. л. 24,44 + вкл. = 24,49. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1738. Заказ № 1523. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Scan Kreyder - 11.02.2018 - STERLITAMAK